

# ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЛЮДИ



Сборник



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



## Annotation

В суровые годы Великой Отечественной войны в издательстве «Молодая гвардия» выходили небольшие биографические книжечки о прославленных наших соотечественниках. Они составляли серии «Великие русские люди» и «Великие люди русского народа», заменившие на время войны серию «Жизнь замечательных людей». В год празднования сорокалетия великой Победы издательство ознакомит читателей с некоторыми из этих биографий.

---

- [ВЕЛИКИЕ](#)
- [СЛОВО МАРШАЛА](#)
- [СЛОВО ПИСАТЕЛЯ](#)
- [А. МЯСНИКОВ](#)
  - 
  - [ДЕТСТВО](#)
  - [В ЛИЦЕЕ](#)
  - [В ПЕТЕРБУРГЕ](#)
  - [ССЫЛКА НА ЮГ](#)
  - [ССЫЛКА В МИХАЙЛОВСКОЕ](#)
  - [ПОРА ЗРЕЛОСТИ](#)
  - [ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ](#)
- [Н. ГУДЗИЙ](#)
- [Е. ТАРЛЕ](#)
  - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)

- VIII
  - IX
  - X
- В. СТРУМИНСКИЙ
  - ВЕЛИКИЙ ПЕДАГОГ
  - ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ К. Д. УШИНСКОГО
  - КАРЬЕРА УЧЕНОГО-КАМЕРАЛИСТА И ЕЕ НЕОЖИДАННОЕ КРУШЕНИЕ
  - ЧЕРНОРАБОЧИЙ ЖУРНАЛИСТ
  - В ГАТЧИНСКОМ СИРОТСКОМ ИНСТИТУТЕ
  - ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
  - ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ
  - РЕФОРМА СМОЛЬНОГО ИНСТИТУТА И «НОВЫЙ ТОЛЧОК СУДЬБЫ»
  - ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ШВЕЙЦАРСКИХ НАРОДНЫХ ШКОЛ
  - «РОДНОЕ СЛОВО»
  - ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА
  - БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ УШИНСКОГО
- Л. ГУМИЛЕВСКИЙ
- В. САФОНОВ
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
- А. СИДОРОВ
- С. ДУРЫЛИН
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V

- VI
- С. МАРКОВ
  - 
  - ОТ БОРОВИЧЕЙ ДО МАРОККО
  - ЗАВЕТ КАРЛА БЭРА
  - ЗДРАВСТВУЙ, ПОЛИНЕЗИЯ!
  - БЕРЕГ МАКЛАЯ
  - НОВЫЕ СТРАНСТВИЯ
  - СРЕДИ ЛЮДЕЙ ЛЕСА
  - ЧЕРНЫЕ ОДИССЕИ
  - АРХИПЕЛАГ ДОВОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
  - СТРАНА ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ
  - СТРАНА ЛЮДОЕДОВ
  - ГОСПОДИН ОТТО ФИНШ
  - СЫН ОТЕЧЕСТВА
  - «ЗНАК МАКЛАЯ»
  - МЕЧТА О ЛАЗУРНОЙ СТРАНЕ
  - РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
- Н. АСЕЕВ
  - 1
  - КОМУ РОДНЯ МАЯКОВСКИЙ
- ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
- КОММЕНТАРИИ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

- [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
-

# **ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ЛЮДИ**

***Сборник***

***Составитель В. Володин***

***Второе издание***

## **СЛОВО МАРШАЛА КНИГИ-СОЛДАТЫ**

С древнейших времен наш народ славится ратными подвигами, поразительным упорством в защите своего Отечества. «Россия отличалась тем, — писал великий Ленин, — что в самое трудное время у нее всегда находились массы, которые можно было двинуть вперед, как запас, в котором находились новые силы, когда старые начинали иссякать»<sup>[1]</sup>.

Стойкость, непоколебимость патриотического духа русского воина вынуждены были отмечать даже враги. «Его мало убить, — сказал Наполеон о русском солдате еще во время известного сражения при Прейсиш-Эйлау 27 января 1807 года, — его убитого надо повалить».

«Ляжем костями! Не посраим земли Русской!» — говорили патриоты нашего Отечества на Чудском озере и на поле Куликовом, под Полтавой и на Бородино, под Москвой и под Сталинградом. Эти и еще многие другие сражения (а сколько их было?!), в которых решалась судьба нашей Родины, ее настоящее и будущее, навечно останутся в памяти народной.

«Жалкий народ, для которого не существует прошедшего», — сказал А. С. Пушкин. Великий поэт завещал нам любовь и уважение к истории Родины, ее героическому прошлому.

Патриотизм всегда воспринимался передовыми людьми как могучая сила, способная сплотить народ в борьбе с многочисленными захватчиками, посмеявшимися посягнуть на само существование Русского, а затем Советского государства.

Все меньше и меньше остается в живых свидетелей Великой Отечественной войны. Каждое воспоминание участника войны, каждая листовка, каждое письмо

фронтовика, каждое патриотическое слово писателя и ученого — это драгоценные, подлинные документы великой эпопеи. Неверно, что павшие не участвуют в боях. Они всегда идут рядом с нами в бой, если народ хранит о них память. Память о героях должно хранить вечно!

Прекрасной реликвией Великой Отечественной войны являются малоформатные книжечки, я бы сказал, книжечки-солдаты, серии «Великие русские люди», издававшиеся на базе редакции серии «Жизнь замечательных людей» издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Они начали выходить в 1943 году. И это в то время, когда враг находился у стен Ленинграда, под пятой фашистов были еще Украина и Белоруссия. Когда на весь мир прозвучало слово — Сталинград!

Уже под Москвой фашисты поняли, что в Советской России они воюют не только с армией, а со всем народом. Народом гордым, смелым, мужественным и непоколебимым. Тогда же, в грозном 1941 году, у стен Кремля в историческом обращении Коммунистической партии к советскому народу прозвучали имена наших великих предков Александра Невского и Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова. В единый боевой строй с полководцами и военачальниками Великой Отечественной встали и герои гражданской войны — Михаил Фрунзе и Василий Чапаев, Николай Щорс и Григорий Котовский, Сергей Лазо и Александр Пархоменко. Они как бы ожили в наших сердцах и повели на «смертный бой».

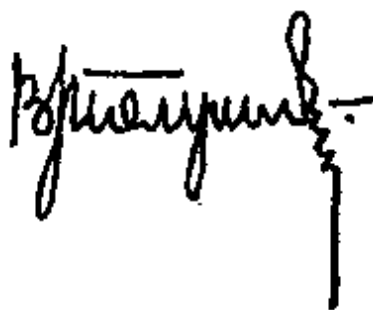
На ратные подвиги поднимали советский народ в грозный год войны и герои малоформатных книжечек-солдат серии «Великие русские люди» — Пушкин, Толстой, Репин, Жуковский, Нахимов, Тимирязев, Ушинский, Щепкин, Миклухо-Маклай, Маяковский. И на мой взгляд, очень хорошо, что популярнейшая в народе



серия «Жизнь замечательных людей» издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» издает в год 40-летия нашей великой Победы сборник этих биографий, которые дают нам нравственный героико-патриотический урок, особенно ценный для молодого поколения нашей могучей социалистической Родины.

*Главный маршал артиллерии*

*В. ТОЛУБКО*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'В. Толубко', with a long vertical stroke extending downwards from the end.

## **СЛОВО ПИСАТЕЛЯ**

# **АРСЕНАЛ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

Мое поколение, рожденное на рубеже Великого Октября, очень гордится тем, что на протяжении одной нашей еще далеко не прожитой жизни сделано так много, что наш ровесник, появившийся на свет, может быть, где-то под бревенчатым потолком русской избы, при свете лучины или керосиновой лампы, стал одним из творцов космического корабля.

Все это так. Но мы не Иваны, не помнящие родства. Мы оказались бы плохими сыновьями и дочерьми Советской России, если б, охваченные гордым волнением по случаю наших нынешних, воистину великих достижений во всех сферах человеческой деятельности, забыли бы о замечательных предках наших, кому мы обязаны тем, что Русская земля раскинулась без конца и края, от «финских хладных скал... до стен недвижимого Китая». Воздвигая, например, сооружения на Иртыше, мы не забываем, что под его студеными волнами нашел свой вечный покой донской казак Ермак Тимофеевич, который пришел на дикие эти брега, чтобы было где развернуться душе русского человека во всю его ширь и неукротимую салу. И не вина Ермака, что царское самодержавие вскоре превратило эту прекрасную землю в места ссылок, в сплошную каторгу, где умирали и томились лучшие сыны России.

Дмитрий Донской, Александр Невский, простой посадский человек Кузьма Минин и воевода князь Пожарский, Александр Суворов и Михаил Кутузов и тысячи тысяч оставшихся безвестными русских ратников, окропивших своей горячей кровью поля

России, — разве мы, праправнуки, наследники вашей славы, разве мы вправе забыть о бессмертных подвигах ваших? И разве не дух великих предков вдохновлял нас, когда мы четыре года вели неслыханную по кровопролитию и жестокости войну с полчищами современного Аттилы — Гитлера?! И разве не та же богатырская стать и удаль видна была в легендарных подвигах Александра Матросова и Зои Космодемьянской, Александра Покрышкина и Ивана Кожедуба, генералов Ватутина и Черняховского, известных и неизвестных чудо-богатырей Бреста, Москвы и Сталинграда?!

Ясный ум, стойкий характер, терпение, неколебимая вера в мудрость партии и правоту нашего дела — все эти качества советского народа, помноженные на глубокие патриотические чувства, оказались той силой, которая помогла им выстоять, вынести на своих плечах безмерную тяжесть войны и затем не пасть духом от ее чудовищных последствий: чуть ли не полстраны лежало в руинах.

Да, образы великих русских людей стояли и будут стоять перед нами во дни грозных испытаний. Нам бесконечно дорого славное прошлое Родины нашей, но, как говорит Леонид Леонов, «одним воспоминанием прошлого не проживешь. Старина, — продолжает он, — любит красоваться в раме могучей современности, и сколько на нашей памяти увяло славных былых, не поддержанных деяниями потомков. Плохо бывает не успевшим включиться в стремительный гераклитов поток. Громадные империи уходят в пучину, как разломленные на штормовой волне старомодные корабли, — даже надменные религии пытаются приспособиться к ритму текущей жизни. Время от времени врываясь в застойные будни, новые, высшей целесообразности идеи порождают гигантские, подобные Октябрю, события — они перепахивают карту

мира, разоблачают мнимое благообразие прежнего уклада, ускоряют бег технического прогресса: так было и с нашей страной. Неторопливые историки, когда придут на смену нетерпеливым нынешним летописцам, подведут окончательный баланс совершившимся преобразованиям с учетом и материальных достижений, выдвинувших нашу державу на полупервейшее индустриальное место».

Отлично понимая это и предупреждая об этом нас, его современников, а также тех, кто придет нам на смену на этой земле, великий писатель, однако, предупреждает и о другом, о том, что, как бы ни был прекрасен и величествен день сегодняшний твоего Отечества, он нуждается в опоре дней минувших, в опоре материальных и в особенности духовных ценностей, оставленных предшественниками. И чем грознее время, чем суровее испытания, тем больше нужда в такой опоре. Поэтому известную поговорку относительно того, что надобно всегда держать порох сухим, следует рассматривать, несомненно, с точки зрения состояния народного духа, который, быть может, прежде всего и должно охранять.

Духовные же ценности, равно как и материальные, создавались людьми, причем людьми конкретными, своими деяниями обессмертившими не только свои имена, но и прославившими на веки вечные свое Отечество. В настоящем сборнике из множества богатырей духа взято лишь десять: Пушкин, Толстой, Нахимов, Тимирязев, Жуковский, Репин, Щепкин, Ушинский, Миклухо-Маклай, Маяковский.

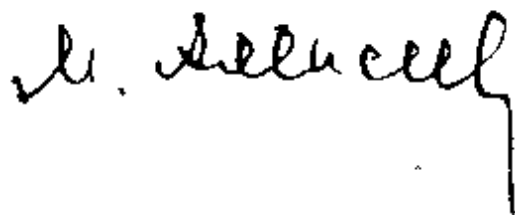
Гении слова, флотоводец, великие ученые, художник, путешественник, гениальнейший артист... Можно ли с математической точностью вычислить их вклад в арсенал духовных ценностей Родины нашей? Вероятно, сделать это немыслимо. Но ясно одно: вклад этот грандиозен. Богатыри духа, о них должны знать и

всегда помнить потомки, потому что они продолжают жить среди нас, и работать на современность.

По этой причине для меня представляется в высшей степени необходимым появление этой книги, да еще в год празднования сорокалетия нашей великой Победы, в которой принимали самое непосредственное участие примером своей великой жизни российские подвижники Духа.

*Герой Социалистического Труда*

*М. АЛЕКСЕЕВ*

A handwritten signature in black ink, reading "М. Алексеев". The signature is written in a cursive style with a long vertical stroke at the end.

# **А. МЯСНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН**

Пушкин — гениальный русский поэт, родоначальник новой русской литературы, создатель современного литературного языка. Им гордится наша страна. Имя его стоит в одном ряду с именами величайших писателей всего мира.

Лучшие черты русского народа отразил Пушкин в своих произведениях. «Пушкин, — писал Гоголь в 1834 году, — есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

«Поэзия Пушкина, — отмечал Белинский, — удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры».

Пушкин горячо любил родную страну. «Все должно творить в этой России и в этом русском языке», — писал поэт. С какой ненавистью бросил он в лицо врагам своей родины гневные строки, продиктованные чувством беззаветной преданности ей, веры в могущество ее народа и в ее творческие силы:

Иль мало нас? или от Перми до Тавриды,  
От финских хладных скал до пламенной  
Колхиды,  
От потрясенного Кремля  
До стен недвижного Китая,  
Стальной щетиною сверкая,

## Не встанет русская земля?

Но любовь Пушкина к родине не была слепой любовью. Он смотрел на Россию вдумчивыми глазами передового мыслителя своего времени. Он не мирился с самодержавным деспотизмом, с крепостным правом, с властью мракобесов; он скорбел об отсталости родной страны. Его сердце умело любить все светлое и могучее в ней и ненавидеть все темное и мрачное.

Пушкин не замыкался в кругу узконациональных интересов. Европейские события, течения общественной мысли Запада живо интересовали его. Франция, пережившая буржуазную революцию в конце XVIII века, была в то время политически передовой страной мира, и французскую литературу Пушкин знал с детства. Он изучал историю, философию, искусство, политические науки многих стран и народов; он с изумительной проникновенностью отражал их жизнь в своих произведениях. В своих занятиях он пользовался шестнадцатью языками.

Все лучшее в мировой общественной мысли Пушкин усваивал. Но всегда в своем творчестве он сохранял национальный русский облик.

Да, он был патриот, великий патриот; но никогда он не был узким националистом.

Как богат и многообразен мир поэзии Пушкина! Наша страна ни до, ни после него не знала таких поэтов.

Он создал целый мир художественных образов, глубокий и необъятный.

Неиссякаемо изобилие литературных жанров в творчестве Пушкина: и роман, и изысканный сонет, и историческая трагедия, и романтическая поэма, и народная сказка, и повесть, и историческое исследование. А какое богатство форм в одной его

лирической поэзии! И всюду, всегда «мыслям просторно, а словам тесно».

В своих произведениях Пушкин ведет за собой читателя к высокому человеческому идеалу.

Поэзия Пушкина пробуждает чувство человеческого достоинства, сознание великой ценности человеческой мысли, будит в душе человека его лучшие чувства и думы, облагораживает, зовет к свободе, возбуждает творческую энергию, очищает. Поэзия Пушкина — это поэзия «нравственного здоровья», по определению Н. Г. Чернышевского.

Ни один русский поэт не умел открывать столько красоты и поэзии в природе, в человеческих характерах и отношениях. «К особенным свойствам его поэзии, — отмечал Белинский, — принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека как человека».

И стихи и проза Пушкина поражают нас не только глубиной идейного содержания, богатством мыслей и чувств, но и непревзойденным совершенством формы. Когда мы говорим о гармоническом совершенстве поэзии Пушкина, мы невольно вспоминаем образ Татьяны Лариной — любимой пушкинской героини:

Она была не тороплива,  
Не холодна, не говорлива,  
Без взора наглого для всех,  
Без притязаний на успех,  
Без этих маленьких ужимок,  
Без подражательных затей...  
Все тихо, просто было в ней.

Эти черты так хорошо характеризуют поэзию самого Пушкина, поэзию высокого внутреннего горения,



гармонического «союза волшебных звуков, чувств и дум».

«Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грандиозное во всяком чувстве Пушкина, — писал Белинский. — В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых людей обоего пола. Ни один из русских поэтов не может быть столько, как Пушкин, воспитателем юношества, образователем юного чувства. Поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеального; она не кладет на лицо жизни белил и румян, но показывает ее в ее естественной, истинной красоте. В поэзии Пушкина есть небо, но им всегда проникнута земля».

История жизни Пушкина — история могучего роста гения. Полный веры в конечное торжество светлых своих идеалов, веры в победу разума, просвещения, свободы над невежеством, деспотизмом, реакцией, всегда напряженно размышляющий о судьбах родной страны, родного народа, вечно ищущий новых путей, Пушкин был достойным сыном великого народа, солнцем русской поэзии.

## **ДЕТСТВО (1799-1811)**

Пушкин родился 26 мая (6 июня по новому стилю) 1799 года в Москве. Здесь прошло его детство. Память ребенка не сохранила впечатлений от поездок в Петербург и Михайловское — ему не было и двух лет, когда родители вернулись в Москву.

Мальчик часто гулял в роскошном парке князя Юсупова в Большом Харитоньевском переулке. Пытливому ребенку навсегда запомнились прохладная тень высоких деревьев, идеальные формы античных статуй, строгие линии «Московского Версаля».

Любил я светлых вод и листьев шум,  
И белые в тени дерев кумиры,  
И в ликах их печать недвижных дум.  
Все — мраморные циркули и лиры,  
И свитки в тощих, мраморных руках,  
На главах лавры, на плечах порфиры —  
Все наводило сладкий некий страх  
Мне на сердце; и слезы вдохновенья  
При виде их рождались на глазах.

Летом Пушкина увозили в Захарьино, подмосковную деревню бабушки.

Мальчик любил эти места: и березовую рощицу, которая начиналась прямо у ворот захарьинского дома — здесь пили чай в жаркие дни, — и огромную липу у пруда, и темный еловый лес на другом его берегу. Он играл здесь, воображая себя богатырем, сражающимся со злыми силами. А по вечерам он вслушивался в

веселые и грустные русские песни, смотрел на хороводы, которые водили крестьянские девушки.

Родители мало занимались ребенком. Сергей Львович, отец поэта, принадлежал к старинному дворянскому роду, правда, значительно уже обедневшему. Он презирал «прозаическую» сторону жизни, мало думал о своем хозяйстве, о судьбе крепостных, о доме, о воспитании детей. Он был душой светского общества, любил сострить, блеснуть каламбуром, удивить общество изящным стихом. Надежда Осиповна, мать поэта, была внучкой знаменитого Ганнибала, «арапа Петра Великого», вывезенного некогда из северной Абиссинии. Красивая светская женщина была занята только собой. Постоянная неуравновешенность ее характера создавала в семье напряженную, нервную атмосферу.

Настоящей хозяйкой в доме Пушкиных была бабушка поэта, Мария Алексеевна Ганнибал, умная, дельная и рассудительная женщина. Она очень любила внука. И ребенок, не знавший родительской ласки, всем сердцем привязался к ней. Он любил слушать ее тихие рассказы. Любил сказки няни Арины Родионовны. Своим певучим голосом она уводила ребенка в такой ослепительный мир народной фантазии, пела такие удивительные песни, что мальчик забывал об окружающем мире.

Ах! умолчу ль о мамушке моей,  
О прелести таинственных ночей,  
Когда в чепце, в старинном одеянье,  
Она, духов молитвой уклоня,  
С усердием перекрестит меня  
И шепотом рассказывать мне станет  
О мертвецах, о подвигах Бовы...  
Тогда толпой с лазурной высоты  
На ложе роз крылатые мечты,  
Волшебники, волшебницы слетали,

Обманами мой сон обворожали.  
Терялся я в порыве сладких дум;  
В глуши лесной, средь муромских пустыней  
Встречал лихих Полканов и Добрыней,  
И в вымыслах носился юный ум...

Когда Пушкин стал подрастать, его передали в руки «дядьки» Никиты Тимофеевича Козлова. Козлов, болдинский крепостной крестьянин, знал грамоту, сам сочинял в народносказочном стиле. Будущий поэт часто с ним гулял по Москве, взбирался на колокольню Ивана Великого, посещал глухие закоулки столицы и ее окрестностей, толкался среди простонародья.

В доме Сергея Львовича Пушкина нередко собирались крупнейшие представители русской литературы. Маленький Пушкин видел и слушал прославленного историка и вождя русских сентименталистов Н. М. Карамзина, стихи молодого Жуковского, басни И. И. Дмитриева, первые поэтические опыты Батюшкова. В гостиной Пушкиных шли споры о борьбе литературных школ, о европейских событиях, о консуле Бонапарте, ставшем императором Наполеоном. Все это оставляло следы в сознании впечатлительного мальчика.

У отца была превосходная библиотека, преимущественно на французском языке. Ребенок жадно потянулся к книге. Тайно от взрослых он по ночам пробирается к книжным шкафам, читает при свете свечи. Он зачитывается Вольтером. Великий французский просветитель XVIII века учит мальчика смело мыслить и не верить ничему, что не утверждается разумом. Читает молодой Пушкин знаменитые биографии Плутарха, читает «Илиаду», и «Одиссею» Гомера, Лафонтена и Мольера, читает русских писателей от Ломоносова до Карамзина — и новый мир

открывается перед ним. Юсупов сад, Захарьино, дом отца, шумная Москва — это только островки в том большом мире, куда заглянул ребенок. Чтение превратилось в страсть.

Пора приняться за ученье, но гувернеры и гувернантки не удерживаются в доме. Пушкин не любил своих учителей, они не умели заинтересовать его. Однако память у ребенка была блестящая, это помогало ему усваивать заданный урок, повторяя его за сестрой Ольгой.

Впечатления окружающего мира, литературной среды, книг переполняют душу ребенка. На восьмом году жизни он начинает писать, подражая Лафонтену, Вольтеру и Мольеру. Из-под его пера выходят басни, шуточные поэмы, комедии. Свою комедию «Похититель» он один «разыгрывает» перед сестрой. Он пишет небольшие стихи в альбомы соседских барышень. Взрослые не придают значения поэтическим упражнениям мальчика. До нас не дошло даже отрывков из этих ранних произведений Пушкина.

К двенадцати годам Пушкин в общем развитии намного опередил своих сверстников. Он, по словам своего брата, «был одарен памятью невероятною и на одиннадцатом году уже знал наизусть всю французскую литературу». Однако это не мешало ему бегать и прыгать через стулья, ловко бросать мяч, то есть оставаться двенадцатилетним шаловливым мальчиком. Он любил родную природу, народные сказки и песни, любил бабушку, няню, Никиту Козлова, любил Юсупов сад и Захарьино, любил книги. Еще неосознанно сливались в его сознании русская национальная культура с лучшими идеями западного просвещения.

## **В ЛИЦЕЕ (1811-1817)**

19 октября 1811 года в Царском Селе был открыт Лицей, привилегированное учебное заведение для подготовки высших государственных чиновников. В огромном зале по правую сторону большого стола, покрытого красным сукном с золотой бахромой, в три ряда стояли тридцать будущих воспитанников Лицея, в синих двубортных сюртуках с красными воротниками, блестя позолоченными пуговицами. Тут был и Пушкин. Слева стояли профессора и чиновники Лицея. На креслах расположились император Александр, члены царской фамилии, высшие сановники.

После официальной церемонии с речью выступил профессор Куницын. С воодушевлением говорил молодой ученый об обязанностях гражданина и воина. Публика, утомленная предшествующим скучным чтением официальных актов, оживилась. «Любовь к славе и отечеству должна быть вашим руководителем!» — воскликнул профессор. Через много лет Пушкин, ставший великим поэтом, вспоминал своего учителя:

Он создал нас, он воспитал наш пламень,  
Поставлен им краеугольный камень.  
Им чистая лампада возжена...

23 октября начались занятия. Шесть лет воспитанники не покидали Лицея. Они жили в большом царскосельском здании, выстроенном в 1744 году Растрелли. На четвертом этаже каждый воспитанник имел свою комнату. Пушкин жил в дортуаре № 14. Рядом за тонкой перегородкой, в дортуаре № 13, жил его

лучший друг Пущин. Конторка, стул, железная кровать, комод, зеркало, стол для умывания — вот и вся утварь студенческой «кельи». Учебные занятия происходили на третьем этаже. Во втором этаже помещались столовая, больница и конференц-зала. Внизу жили воспитатели и чиновники Лицея. В Царском Селе, среди садов, чудесных фонтанов и памятников историческим деятелям, прошла юность Пушкина.

Страна переживала грозные дни. Полчища Наполеона нахлынули на Россию. Русская армия, руководимая Кутузовым, отступала, но не была разбита. Народ поднялся на Отечественную войну. Лицеисты жадно следили за событиями.

Вы помните: текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались,  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирать  
Шел мимо нас...

Могучий русский народ победил в этой смертельной схватке. Русские армии победным маршем прошли по Европе и возвратились на родину, покрытые бессмертной славой.

Лучшие люди задумывались над судьбой своей страны. Народ, только что избавивший мир от грозной армии Наполеона, оставался в крепостной зависимости. Судьба офицеров, руководивших невиданной освободительной войной, зависела от капризной воли самодержавного царя. Крестьянство глухо волновалось. Среди передового офицерства зародилась мысль о создании тайного общества.

Лицеисты на последних курсах сблизились с гусарскими офицерами и стали участниками их пирушек и собраний. Так Пушкин встретился с крупным русским

мыслителем П. А. Чаадаевым, участником московского ополчения (тогда он был гусаром), с П. П. Кавериним, веселым и остроумным П. Х. Молостровым и другими. Все это были передовые люди своего времени. Через год после окончания Лицея Пушкин обратился к Чаадаеву с посланием:

Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы!  
Товарищ, верь: взойдет она,  
Звезда пленительного счастья,  
Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья  
Напишут наши имена.

Декабристский «Союз спасения» был создан в 1816 году. Юность Пушкина протекала в атмосфере подъема чувства патриотизма и свободолюбия.

Лучшие профессора были учителями Пушкина. Многие из них окончили европейские университеты, были авторами серьезных научных трудов. Пушкин с увлечением слушал лекции профессора Кайданова по истории. Профессор Будри, брат знаменитого Марата, народного трибуна Французской революции, рассказывал о штурме Бастилии, о жирондистах и якобинцах, о правительстве Робеспьера. Профессор Галич вдохновенно говорил об искусстве, стараясь пробудить в своих слушателях любовь к прекрасному, воспитать самостоятельность их мышления. Профессор Кошанский, преклонявшийся перед античным искусством, убеждал своих слушателей, что в основе эстетики лежат законы разума. Но особенно любил Пушкин слушать профессора Куницына. Опираясь на



передовые общественные учения Запада, профессор Куницын говорил лицеистам на лекциях о правах личности, о гражданском долге, о свободе. Люди, говорил он, свободны и должны подчиняться только своему разуму, человек не имеет права стеснять свободу другого человека. Лекции Куницына помогали Пушкину разбираться в том, что он и сам неясно и смутно думал о крепостном праве и самодержавии.

Лицей был строго закрытым учебным заведением, но вопросы общественно-политической жизни живо волновали лицеистов. В коридорах и дортуарах Лицея шли нескончаемые споры о различных формах правления, о конституциях, парламентах, палатах, выборах. Воспитанники Лицея с воодушевлением читали революционные стихи, цитировали отрывки из сочинений выдающихся мыслителей, сочиняли колкие эпиграммы и повторяли остроты о высших правительственных сановниках. Если нужно было достать запрещенную книгу, то ее всегда находили в Лицее. Здесь, вспоминают современники, сосредоточился архив всех рукописей, тайно ходивших по рукам.

Интеллектуальная жизнь в Лицее была ключом. Русская поэзия, древняя и новая, от «Слова о полку Игореве» до Карамзина, была хорошо известна лицеистам. Они в совершенстве знали античных авторов и произведения Шекспира, Мольера, Расина, Корнеля, Стерна, Ричардсона, Шиллера, Гёте.

Многие лицеисты пробовали свои силы в литературе. Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский, Яковлев писали лирические стихотворения, басни, поэмы, повести, драмы. Талантливые юноши выпускали рукописные журналы («Лицейский Мудрец»; «Жертва Мому, или Лицейская антология» и др.). Товарищи, собравшись в кружок, читали, а иногда просто импровизировали стихи и повести. Лицеисты с восхищением приветствовали

удачи друзей и беспощадно высмеивали их ошибки. Многие сочинения были проникнуты политическим вольномыслием.

С восхищенным вниманием следили воспитатели и учителя за ростом молодого Пушкина. Его успехи, писали они в своих характеристиках, не столько тверды, сколько блистательны. Он казался некоторым из них маловнимательным и совсем неприлежным. Но все поражались обширности его познаний, оригинальности его ответов, неожиданным поворотам еще неопытной мысли.

«Ни одно чтение, ни один разговор, ни одна минута размышления не пропадали для него на целую жизнь, — вспоминает современник. — По-видимому, рассеянный и невнимательный, он из преподавания своих профессоров уносил более, нежели товарищи».

Живой и общительный, колкий и добрый, молодой Пушкин прозван в Лицее Французом за прекрасное знание французской культуры. Вокруг него всегда товарищи, искренне ему преданные. Он ведет ночные беседы, с Пушиным, исповедуется ему в самых интимных своих переживаниях и чувствах, он любит Кюхельбекера, Дельвига. Чувство дружбы для него — священное чувство, он остается верен ему на всю жизнь.

Друзья мои, прекрасен наш союз!  
Он, как душа, неразделим и вечен —  
Неколебим, свободен и беспечен  
Срастался он под сенью дружных муз.

Позже Пушкин в дни лицейских годовщин писал прекрасные стихотворения, посвященные Лицею, лицейским товарищам, учителям.

4 июля 1814 года подписчикам был разослан очередной номер журнала «Вестник Европы». Здесь

было напечатано стихотворение Пушкина «К другу стихотворцу» — первое печатное произведение поэта.

В те дни в таинственных долинах,  
Весной, при кликах лебединых,  
Близ вод, сиявших в тишине,  
Являться муза стала мне.  
Моя студенческая келья  
Вдруг озарилась. Муза в ней  
Открыла пир молодых затей,  
Воспела детские веселья,  
И славу нашей старины,  
И сердца трепетные сны.

8 января 1813 года на экзамене в Лицее присутствовали прославленный поэт Державин, министр просвещения Разумовский и другие сановники. Стоя в двух шагах от Державина, с необыкновенным воодушевлением Александр Пушкин читал свое стихотворение «Воспоминания в Царском Селе». Стихи были близки к классической оде. «Здесь каждый шаг в душе рождает Воспоминанья прежних лет», — декламировал он. Пушкин вспоминал об Отечественной войне с Наполеоном:

Страшись, о рать иноплеменных!  
России двинулись сыны;  
Восстал и стар и млад, летят из дерзновенных,  
Сердца их мщеньем зажжены.

Державин весь оживился, он был в восторге.  
Это было первое публичное признание литературного таланта Пушкина.

Жуковский вскоре подарил Пушкину собрание своих стихотворений. «Пари, орел, но не останавливайся в

полете», — завещал ему Карамзин. «Мы от тебя много ожидаем», — писал ему дядя, поэт Василий Львович Пушкин, выражая мнение талантливейших литераторов своего времени. А Державин сказал С. Т. Аксакову о Пушкине: «Вот кто заменит Державина».

Лицейские годы Пушкина — это годы ученичества, но годы ученичества большого поэта. Он прошел превосходную школу западной и русской литературы. В Лицее он как бы хочет перепробовать все поэтические лады и возможности, прежде чем запеть собственным голосом. Многие стихи еще напоминают Батюшкова, Жуковского, Парни, Вольтера, реже Державина. Мифологические образы переплетаются с символами; еще много отвлеченных понятий, еще много декларативности в его стихах. Кажется, широко открытыми глазами смотрит поэт на мир, стараясь запечатлеть все его многообразие, его прошлое и настоящее. В стихах «К Лицинию» он рисует древний мир. «Свободой Рим возрос — а рабством погублен», — делает вывод поэт. Стихотворение «Казак» построено на мотивах украинского фольклора. Стихотворение «Под вечер, осенью ненастной» станет впоследствии популярным романсом. Пишет Пушкин и поэму о Бове-королевиче.

Лицейские стихи Пушкина полны радостной, горячей любви к жизни. В них поэт прославляет человека, его любовь к свободе и независимости. Много тут бездумного веселья, много иронии, насмешек над несообразностями бытия человека. Но уже в начале 1817 года он пишет:

Все чередой идет определенной,  
Всему пора, всему свой миг;  
Смешон и ветреный старик,  
Смешон и юноша степенный.

9 июня 1817 года состоялся первый выпуск Лицея. Среди окончивших был и Александр Пушкин. С грустью расставаясь с друзьями, он писал:

Разлука ждет нас у порогу,  
Зовет нас дальний света шум,  
И каждый смотрит на дорогу  
С волненьем пылких, юных дум.

## **В ПЕТЕРБУРГЕ (1817-1820)**

Пушкин был зачислен в коллегию иностранных дел. Из стен закрытого учебного заведения, где безвыходно прошло целых шесть лет, он попадает в кипящий политическими страстями Петербург.

Первое тайное общество — декабристский «Союз спасения» — организовали братья Муравьевы, С. Трубецкой, братья Муравьевы-Апостолы, Пестель, Пущин... Враги крепостного права и самодержавной монархии, они составляли тесную группу заговорщиков, связанную узами дружбы. В 1818 году создается более массовая тайная организация — «Союз благоденствия». Передовые русские люди — Ф. Глинка, А. И. и Н. И. Тургеневы, Н. М. Муравьев, П. Я. Чаадаев и многие другие — почти открыто порицают правительство и жаждут переворота. Пушкин — в кругу этих лучших людей своего времени. Не зная о тайных обществах, он разделял высокие идеи декабристов.

Но ему был близок и круг литераторов. Еще в Лицее Пушкин стал членом литературного общества «Арзамас» (оно существовало в 1815-1818 годах). «Арзамас» объединял передовую молодежь, но там Пушкин встречал и Жуковского, Батюшкова, Вяземского и своего дядю, известного поэта Василия Львовича Пушкина. Заседания этого общества проходили оживленно и весело. Арзамасцы читали свои стихи, произносили надгробные «похвальные речи» над литературными староверами, вели протоколы в шутливой форме и в конце заседания съедали жареного гуся (провинциальный городок Арзамас, в честь которого было названо «Арзамасское общество безвестных литераторов», славился своими гусями). Арзамасцы

пародировали напыщенный «старый слог», старались создать легкий язык, близкий к разговорному, приблизить литературу к жизни.

В апреле 1818 года в доме Всеволожского начались заседания кружка «Зеленая лампа», филиала «Союза благоденствия». Пушкин встречался здесь с С. Трубецким, Ф. Глинкой, П. Кавериним, Я. Толстым, своим лицейским товарищем А. Дельвигом. Заседания происходили один раз в две недели. Читались стихи, обсуждались серьезные вопросы общественно-политической жизни, осуждалось самодержавное правительство.

Известность Пушкина росла. Молодежь твердила наизусть его стихи. «Деревня», «Вольность» и «Noël», эпиграммы на знатных сановников стали широко известны не только в столицах, но и в провинции. Декабристы использовали их в целях агитации.

Поэт обличает «барство дикое и важное безделье», «жеманство в тонких кружевах», «глупость в золотых очках».

Увы! куда ни брошу взор —  
Везде бичи, везде железы,  
Законов гибельный позор,  
Неволи немощные слезы;  
Везде несправедная власть...

В злых эпиграммах Пушкин клеймит царя и его сановников. Александра I он именует «кочующим деспотом». Его обещание дать «людям все права людей» называет сказками. Всесильного временщика Аракчеева, «без ума, без чувств, без чести», «друга и брата» царя, Пушкин называет «всей России притеснителем».

«Под гнетом власти роковой... отчизны внемлем призыванье», — говорит он о себе и своих друзьях. Он

хочет «воспеть свободу миру», осудить «порок на тронах»; «Тираны мира! трепещите! А вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы!»

Пушкин верит в светлое будущее своей родины. Россия станет страной «свободы просвещенной» и «на обломках самовластья» напишет имена борцов, погибших за ее освобождение.

И неподкупный голос мой  
Был эхо русского народа.

Еще в Лицее Пушкин задумал написать большую поэму. Весной 1820 года в ряде журналов появились отрывки из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Летом 1820 года вышло отдельное издание поэмы. Жуковский, прочитав новое произведение Пушкина, подарил поэту свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила».

Пушкин взял традиционный сюжет. На свадебном пиру злой колдун Черномор похищает красавицу Людмилу; жених ее Руслан отправляется на поиски возлюбленной. Преодолевая невероятные препятствия и совершив сказочные подвиги, Руслан побеждает Черномора и находит Людмилу. Весело издеваясь над напыщенностью классицизма и новым «чувствительным» направлением (сентиментализмом), ведет автор свой рассказ, перемежая его живой шуткой, остроумным замечанием, беседуя по душам с читателем в многочисленных лирических отступлениях.

Поэма Пушкина была новым, невиданным в русской литературе явлением. Так тогда не писали. Вокруг нее шли споры. «Все восхищались ее прекрасным языком, стихами; всегда легкими и звучными... грациозной



шуткой, рассказом плавным, увлекательным, живым и быстрым», — писал позже Белинский. Взбешенные реакционеры обвиняли поэта в безвкусице. Они уподобляли поэму «мужику с бородою, в армяке, в лаптях», вторгшемуся в Московское благородное собрание и закричавшему зычным голосом: «Здорово, ребята!» «Неужели бы стали бы таким проказником любоваться?» — иронически спрашивал возмущенный критик Каченовский у «благопристойных» читателей.

Поэма «Руслан и Людмила» — одно из первых произведений Пушкина, получившее известность на Западе. В феврале 1821 года французский журнал «Révue Encyclopédique» так оценивал эту поэму: «Она полна первостепенных красот: язык ее, то энергический, то грациозный, но всегда изящный и ясный, заставляет возлагать большие надежды на молодого автора».

А над головой Пушкина сгущались мрачные тучи. Политические стихи и эпиграммы Пушкина стали известны правительству. Император Александр I при встрече с Энгельгардтом (директором Лицея) сказал ему: «Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами: вся молодежь наизусть их читает». Царь решил сослать поэта в Сибирь. За поэта вступились Карамзин, Жуковский и другие значительные лица. Его высылка из Петербурга была облечена в форму служебного перевода в один из городов южной России. Формально чиновник коллегии иностранных дел Александр Пушкин должен был отвезти генералу И. Н. Инзову предложение принять пост полномочного наместника Бессарабии.

## **ССЫЛКА НА ЮГ (1820-1824)**

Скучен белорусский тракт. Редко на станциях встречаются проезжающие. В жаркий день, в мае 1820 года, из Петербурга выехал по этому тракту Пушкин. Ссылный поэт был в красной рубахе, в большой поярковой шляпе. Его сопровождал неизменный слуга Никита Козлов. Поэт Пушкин не был членом тайного декабристского общества, но первый из всей группы передовой молодежи поплатился за свои свободолобивые взгляды.

В середине мая он прибыл в Екатеринослав, к Инзову. Однажды, купаясь в Днепре, поэт сильно простудился и схватил горячку. Генерал Раевский, известный герой Отечественной войны 1812 года, проезжал с семьей на Кавказ. Его сын нашел Пушкина в бедном домике, на дощатом диване, в бреду, без врача. Раевский выхлопотал у Инзова отпуск для больного Пушкина. Поэт отправился с Раевскими на Кавказ.

Два месяца провел Пушкин в Горячеводске (Кисловодске), Железноводске. Пушкин с восхищением смотрел на могучую цепь Кавказских гор, на ледяные их вершины, ранним утром похожие на разноцветные облака. Он вслушивался в рев горных ручьев, в грохот обвалов, в далекое горное эхо. Он карабкался по каменистым тропинкам над бездонными пропастями. Приглядывался к жизни и быту вольных кавказских народов.

Курорт тогда еще не был благоустроен. «Ванны находились в лачужках, наскоро построенных», — вспоминал позже Пушкин. Источники, большею частью в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и

красноватые следы. «Мы черпали кипучую воду ковшиком из Куры или дном разбитой бутылки...» Здоровье поэта укреплялось.

В августе Раевские и Пушкин тронулись в обратный путь. Дорога была небезопасной. Горцы глухо волновались. Отряд из шестидесяти казаков с заряженной пушкой и горящим фитилем при ней сопровождал путешественников.

Из Феодосии до Юрзуфа (так тогда называли Гурзуф) ехали морем. Ночь была безлунная, звездная. Пушкин написал элегию «Погасло дневное светило». Он вспоминал в ней «желаний и надежд томительный обман», «прежних лет безумную любовь», молодых друзей и подруг.

Три недели прожил поэт в Юрзуфе. Пушкин отдыхал душой в семье Раевских. Сам генерал был человеком с ясным умом, прекрасной душой, внимательным и ласковым хозяином. Дочери Раевского — Мария, Софья, Елена, — красивые и образованные девушки, волновали ум и сердце Пушкина. С его сыновьями он дружил. Существует предание, что Пушкин восторженно полюбил пятнадцатилетнюю Марию Раевскую, смуглую девочку, уже превращавшуюся в стройную красавицу с черными кудрями и удивительными глазами. «Ее пленительные очи яснее дня, темнее ночи», — писал впоследствии Пушкин.

Тут, в Юрзуфе, Пушкин перечитывал Вольтера, стал изучать и английский язык, почти ежедневно читал и переводил Байрона с помощью Елены Раевской и ее брата.

Природа Крыма пленила Пушкина. Он любил, проснувшись ночью, долго слушать шум моря.

В сентябре Пушкин приехал в Бахчисарай. Он посетил ханский дворец, увидел знаменитый «фонтан слез». Легенду о любви татарского хана Гирея к прекрасной пленнице, польской княжне Полторацкой, он слышал в семье Раевских.

21 сентября 1820 года Пушкин приехал на службу к генералу Инзову, который уже был в Кишиневе. Двухэтажный дом Инзова, где вскоре поселился Пушкин, стоял на возвышенной окраине Кишинева. Пушкину были отведены две небольшие комнаты в нижнем этаже: в одной он жил сам, в другой — Никита Козлов. Три окна с железными решетками выходили в сад. Из окон Пушкин хорошо видел реку Бык, текущую под обрывом, каменоломни, раскинувшийся город. Стол, диван, несколько стульев — вот и вся обстановка комнаты Пушкина. Везде раскиданы бумаги и книги. Дома поэт проводил ночь и раннее утро. По утрам он писал.

Этот небольшого роста, сильный, довольно плечистый человек, необыкновенно живой, с быстрым наблюдательным взором, поражал резкими переходами от неотразимой веселости к строгой задумчивости.

В Кишиневе Пушкин сблизился с кругом членов «Союза благоденствия» (М. Орлов, П. Пущин, П. Липранди, К. Охотников и др.).

В ноябре 1820 года Пушкин побывал в Каменке, киевском имении Давыдовых. Усадьба раскинулась на скалистых берегах реки Тясмина. Каменка была одним из важнейших центров южного филиала общества декабристов. М. Ф. Орлов и К. А. Охотников приехали вместе с Пушкиным. А в Каменке он встретился с Раевским и Якушкиным. «Время мое протекает, — писал Пушкин, — между аристократическими обедами и демократическими спорами. Общество наше... — разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России... Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов».

Здесь, в Каменке, Пушкин закончил свою поэму «Кавказский пленник». Работал он много и упорно, не отрываясь от бумаги по несколько часов.

Заговорщики опасались, что генерал Раевский подозревает о существовании тайного общества. Поэтому они решили устроить собрание и пригласить на него Раевского, чтобы убедить его, что ничего серьезного тут нет.

Председателем собрания был выбран Раевский. Орлов в конце вечера поставил перед собравшимися вопрос: возможно ли в России существование тайного общества? Были высказаны разные мнения. Пушкин с горячностью доказывал необходимость создания такого общества. Генерал Раевский, стремясь узнать тайные намерения заговорщиков, заговорил об условиях, в которых тайное общество могло бы действовать с успехом и пользой. Но Якушкин в упор спросил: если бы такое общество существовало, присоединился бы к нему Раевский? «Наверное, присоединился бы», — ответил генерал и подал Якушкину руку. Заговорщики рассмеялись, обратив весь разговор в шутку. Пушкин был очень взволнован. «Он верил, что тайное общество или существует, или тут же получит свое начало и он будет его членом; но когда он увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, покрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастен, как теперь: я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собою, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен», — вспоминал Якушкин.

Пушкин выехал с Раевским из Каменки в Киев в феврале 1821 года. Тяжело было у него на душе:  
Я пережил свои желанья,  
Я разлюбил свои мечты;  
Остались мне одни страданья,  
Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой

Увял цветущий мой венец;  
Живу печальный, одинокий,  
И жду: придет ли мой конец?

В Киеве один из знакомых встретил Пушкина и выразил удивление, какими судьбами поэт попал в этот город. «Язык до Киева доведет», — ответил Пушкин, намекая на причину высылки из Петербурга.

В марте 1821 года Пушкин вернулся в Кишинев. В это время народы Балканского полуострова поднялись на борьбу против иноземного владычества. «Греция восстала и провозгласила свою свободу», — с восторгом сообщает Пушкин А. Н. Раевскому. Поэт рассказывает о тайно созданном греческом правительстве, о подготовке восстания.

Летом 1821 года он пишет стихотворение «Кинжал». Во множестве списков оно распространяется по России.

Пушкин предупреждает деспотов: кинжал вольнолюбивых борцов кроется и «под сенью трона», и «под блеском праздничных одежд».

Пушкин знакомится с руководителем Южного общества декабристов П. И. Пестелем. «Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч., — пишет Пушкин. — Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю». «Только революционная голова, подобная М. Орлову и Пестелю, может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке».

Осенью 1821 года Пушкин долгие часы проводит с декабристом В. Ф. Раевским. Беседы и споры привели к дружбе. Владимир Раевский с воодушевлением говорил поэту о национальном содержании поэзии, о древнерусской вольности. Случайно узнав о готовящемся аресте Раевского, Пушкин бежит

предупредить друга, чтобы тот успел сжечь наиболее важные документы.

«Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство», — доносит секретный агент. Поэт всей душой ненавидел рабство и презирал крепостников. «Их надобно всех повесить», — запальчиво говорил Пушкин о дворянах.

Служба в канцелярии Инзова не очень обременяла Пушкина, но ссылка тяготила его.

Все это время Пушкин много работал над собой.

В уединении мой своенравный гений  
Познал и тихий труд, и жажду размышлений;  
Владею днем моим; с порядком дружен ум;  
Учусь удерживать вниманье долгих дум;  
Ищу вознаградить в объятиях свободы  
Мятежной младостью утраченные годы  
И в просвещении стать с веком наравне.

Уже в это время молодой Пушкин был одним из образованнейших людей своего времени. А его окружало чванливое и тупое «привилегированное» кишиневское общество.

У Пушкина было немало столкновений с этим обществом. Поэт с болезненным чувством относился к малейшим нарушениям прав его личности, к оскорблениям его человеческого достоинства. И многие столкновения приводили его к дуэлям, которых Пушкин не боялся и от которых никогда не старался уклониться.

Между тем в общественно-политической жизни происходили тяжелые перемены. Греческое восстание было подавлено, испанская революция потерпела поражение. Реакция нависла над Европой. Император Александр I, напутанный революционным движением на

Западе и в России, издал указ от 1 августа 1822 года о закрытии всех «масонских и тайных обществ».

Пушкин переживал тяжелый кризис. Многие надежды его рухнули. Но и в эти сумрачные дни 1823 года поэт воспевал свободу:

Вы, ветры, бури, взойте воды,  
Разрушьте гибельный оплот —  
Где ты, гроза, символ свободы?  
Промчись поверх невольных вод.

А. И. Тургенев и П. А. Вяземский стали хлопотать об облегчении участи ссыльного поэта. Им удалось добиться только того, что в июле 1823 года он был переведен в Одессу. Но и этому был рад Пушкин. «Я оставил мою Молдавию и явился в Европу», — сообщал он брату. Одесситы видели, как в черном, наглухо застегнутом сюртуке, в черной шляпе, с увесистой железной тростью в руках поэт гулял по улицам оживленного торгового города.

Я жил тогда в Одессе пыльной...  
Там долго ясны небеса,  
Там хлопотливо торг обильный  
Свои подьемлет паруса;  
Там все Европой дышит, веет,  
Все блещет югом и пестреет  
Разнообразием живой...

Пушкин служит в канцелярии знаменитого вельможи графа М. С. Воронцова. Он бывает в самом аристократическом обществе. Нередко Пушкин посещает театр.

И в то же время продолжает упорно, напряженно работать. «Чтение — вот лучшее учение», — заметил он



как-то в письме к брату. Пушкин пользуется прекрасной библиотекой графа Воронцова. В рукописном отделе этой библиотеки он нашел запретные тогда «Записки» Екатерины II, ее замечания на книгу Радищева, переписку Радищева с родственником графа А. Р. Воронцовым (1741-1805). Пушкин на свои скудные средства покупает много книг, походя, по его собственному выражению, «на стекольника, разоряющегося на покупку необходимых ему алмазов». Немало времени Пушкин уделяет изучению языков — английского и итальянского.

9 мая 1823 года еще в Кишиневе Пушкин задумал написать роман «Евгений Онегин». «Я теперь пишу не роман, — сообщает он из Одессы Вяземскому, — а роман в стихах — дьявольская разница». В 1823 году поэт написал две главы. Третья глава создавалась в 1824 году. Здесь же поэт работал над поэмой «Цыганы».

Высокомерный граф Воронцов пренебрежительно относился к Пушкину: для вельможи это был ничтожный чиновник, а не великий поэт земли Русской.

«Мы не хотим быть покровительствуемы равными, — писал Пушкин. — Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одой, — а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин». Ссылка поэта на давность своего дворянского рода была средством борьбы за независимость. Сдержанный и сухой, безукоризненный во внешних манерах, граф Воронцов был достаточно мстительным человеком. Пушкин написал на него злую эпиграмму.

Полу-герой, полу-невежда,  
К тому ж еще полу-подлец!..  
Но тут, однако ж, есть надежда

Что будет полный наконец.

Желая оскорбить в Пушкине поэта, вольнолюбивого человека, дворянина, Воронцов давал ему унижительные поручения, и Пушкин был вынужден выполнять требования начальника.

В одном из писем Пушкин иронически отозвался о религии. Письмо перехватили. Предлог был найден. В Петербург полетели доносы. Император исключил Пушкина «за недостойное поведение» из списка чиновников министерства иностранных дел и выслал под надзор местных властей в село Михайловское.

30 июля 1824 года Пушкин, сопровождаемый верным Никитой, выехал из Одессы в новую ссылку.

\* \* \*

Поразительно широк круг интересов Пушкина, отраженный в лирических стихотворениях, поэмах, письмах, заметках периода южной ссылки. Мы находим тут вопросы политики, философии, истории, искусства.

На юге Пушкин пишет несколько поэм, выступая русским представителем той общеевропейской школы, которая получила имя романтической. Его герои — сильные, мятежные люди, всей душой презирающие условия жизни окружающего их общества. Это люди больших страстей, большой воли, незаурядного ума.

Первая романтическая поэма «Кавказский пленник» была закончена в 1821 году. На фоне грандиозной картины Кавказа в жизни воинственных горцев Пушкин изображает своего героя. Это «герой того времени», по определению Белинского.

Людей и свет изведаль он,  
И знал неверной жизни цену.  
В сердцах друзей нашёл измену,  
В мечтах любви — безумный сон...  
Отступник света, друг природы,  
Покинул он родной предел  
И в край далекий полетел  
С веселым призраком свободы.

Пушкин впервые с такой вдохновенной любовью заговорил в этом произведении о Кавказе. «Муза Пушкина, — писал Белинский, — как бы освятила давно уже на деле существующее родство России с этим краем».

За этой поэмой последовал «Бахчисарайский фонтан» (1822 г.). Пушкин показал сверкающую роскошь дворца крымского хана, его гарем, безнадежную любовь Гирея к прекрасной пленнице Марии, ревность прежде любимой жены Гирея Заремы. «Но лучшая сторона поэмы — это описания, или, лучше сказать, живые картины мухаммеданского Крыма... Они непобедимо очаровывают этой кроткою и роскошною поэзией, которою запечатлена соблазнительно-прекрасная природа Тавриды» (Белинский).

Поэма «Братья-разбойники» создана в том же 1822 году. Действительное событие послужило материалом для этого произведения. В 1820 году из Екатеринослава бежали два разбойника, скованные вместе. Они сумели переплыть Днепр и скрылись. Поэма начинается стихами, напоминающими народные разбойничьи песни;

Не стая воронов слеталась  
На груды тлеющих костей,  
За Волгой, ночью, вокруг огней

Удалых шайка собиралась.

Пушкин усваивал стиль народной поэзии. Поэма, к сожалению, осталась незаконченной.

Лучшая поэма этого цикла — «Цыганы». Она начата на юге и закончена уже в Михайловском в 1824 году. Герой этой поэмы Алеко ушел от общества, где

...люди в кучах, за оградой  
Не дышат утренней прохладой,  
Ни вешним запахом лугов;  
Любви стыдятся, мысли гонят,  
Торгуют волею своей,  
Главы пред идолами клонят  
И просят денег да цепей.

«Какой энергический, полный мощного негодования голос! — воскликнул Белинский, приведя эту тираду Алеко. — Какая пламенная, вся проникнутая благородным пафосом речь!»

Алеко, полюбив цыганку Земфиру, поселяется в цыганском таборе. Идут счастливые дни. Но Земфира увлекается молодым цыганом. Алеко безумно ревнует. Он убивает Земфиру и ее возлюбленного. Законы «душных городов», от которых он бежал, оказались сильнее его проповеди свободы. Старик цыган, отец Земфиры, говорит ему:

«Оставь нас, гордый человек!  
Мы дики, нет у нас законов,  
Мы не терзаем, не казним,  
Не нужно крови нам и стонов;  
Но жить с убийцей не хотим.  
Ты не рожден для дикой доли,

Ты для себя лишь хочешь воли...»

Табор покинул место, где было совершено преступление. Алеко остался на поле один, как «подстреленный журавль», когда станица уже улетела в теплые края.

Алеко не умеет уважать чужую свободу, он признает свободу только для себя. И Пушкин развенчивает Алеко.

Лирические стихотворения и поэмы этого периода создали Пушкину громкую славу. Из Одессы в михайловскую ссылку приезжает поэт, известный всей читающей России.

Немалый интерес возбуждало творчество Пушкина и на Западе. Еще в Одессе он познакомился с «Anthologie russe», изданной в Париже в 1823 году, где были помещены отрывки из поэмы «Руслан и Людмила» во французском переводе и сообщались краткие биографические сведения о русском поэте. Французский журнал «Révue Encyclopédique» (1825, т. XXVI) рассказывал читателям о новой, тогда еще не напечатанной поэме Пушкина «Цыганы», которая возбуждала «восторг любителей русской литературы».

## **ССЫЛКА В МИХАЙЛОВСКОЕ (1824-1826]**

9 августа 1824 года Пушкин приехал в имение Михайловское, куда он был сослан по распоряжению императора. «В присутствии псковского губернатора коллежский секретарь Александр Пушкин дал подписку о том, что он обязуется жить безотлучно в поместье родителя своего, вести себя благонаравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни, и не распространять оных никуда».

Но злобно мной играет счастье:  
Давно без крова я ношусь,  
Куда подует самовластье;  
Уснув, не знаю, где проснусь.  
Всегда гоним, теперь в изгнание,  
Влачу закованные дни...

Первые месяцы пребывания в Михайловском были особенно тяжелы Пушкину. Над поэтом был установлен двойной надзор: со стороны церковной власти за ним должен был следить настоятель Святогорского монастыря, со стороны светской — отец поэта Сергей Львович. В семье создались тягостные отношения. Сергей Львович распечатывал письма к сыну, обвинял его в безбожии, выражал опасение, что за сына и он будет наказан. Взбешенный поэт крупно поговорил с отцом и составил письмо к царю, прося перевести себя в одну из крепостей. Только благодаря вмешательству друзей это прошение не было отослано по адресу. К счастью, в ноябре 1824 года родители поэта с его

сестрой и братом уехали. Пушкин остался один в Михайловском.

В глуши сосновых лесов Псковской губернии расположилось село Михайловское. Липовая аллея подводит к усадьбе. Справа — огромное озеро с плоскими берегами, слева — другое, поменьше. Внизу по лугу извивается река Сороть. Пушкин жил в небольшом, одноэтажном доме своего деда Ганнибала. Кабинет поэта, как всегда, был очень скромно обставлен. Простая деревянная кровать с пологом, ободранный ломберный стол, на котором стояла вместо чернильницы помадная банка, два стула да полки с книгами — вот и все убранство рабочей комнаты Пушкина. Рядом жила няня. Остальные комнаты были заколочены.

Просыпался Пушкин рано и бежал купаться в студеную речку. Зимой принимал ледяную ванну. Все утро посвящал литературным занятиям, часто в постели. Нередко, прервав занятия, на коне или пешком совершал далекие прогулки (ходок он был неутомимый). Поэт рассказывал, что сцену у фонтана в трагедии «Борис Годунов» он создал во время одной из прогулок.

Обедал он поздно. «Вечером слушаю сказки, — писал он брату, — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» Долгие часы длинных зимних вечеров проводил поэт в обществе своей старой няни Арины Родионовны.

«Это была старушка чрезвычайно почтенная, — вспоминает один современник, — лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца». Няня знала много старинных сказаний, умела рассказывать удивительные сказки, пела русские народные песни.

Пушкин называл Арину Родионовну единственной своей подругой. Арина Родионовна была живым оригиналом няни Татьяны из «Евгения Онегина».

«Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя» — так нежно обращался поэт к своей няне в позднейшем стихотворном послании.

Часто в соломенной шляпе, в ситцевой красной рубахе, с неизменной железной палкой в руках появлялся Пушкин на народных гуляньях. Поэт любил слушать пение нищих у Святогорского монастыря, а иногда и сам подпевал им. На ярмарке он садился на землю, собирал вокруг себя слепцов, которые пели ему народные песни, сказывали народные стихи. Любил поэт поговорить с крестьянами, послушать их рассказы, шутки, песни. Бывал он и на кладбище, прислушивался к женским «причитаниям» над какой-нибудь из могил. Он записывал сказки, песни о Степане Разине и другие, составил небольшой сборник свадебных песен. Поэт изучая быт, характер, культуру родного народа.

Недалеко от Михайловского расположилось село Тригорское. Здесь жила помещица П. А. Осипова со своими дочерьми. Пушкин часто бывал в этом уютном уголке. Лесная дорога вела из Михайловского в Тригорское. Перед усадьбой — зеркальная Сороть с песчаным дном. Рядом — густой сад с вековыми деревьями.

Почти ежедневно бывает Пушкин в Тригорском: то придет пешком, то прискачет на коне. В доме переполох. Девушки бросают работу, фортепьяно, книжки, бегут навстречу поэту. Шутки, смех, веселые игры, забавные рассказы... Пушкин понемногу ухаживает за всеми, не увлекаясь серьезно никем из обитательниц Тригорского. Он пишет им альбомные стихи, иногда полушутливые любовные признания.

Алина! Сжальтесь надо мною.  
Не смею требовать любви.  
Быть может, за грехи мои,  
Мой ангел, я любви не стою!



Но притворитесь! Этот взгляд  
Все может выразить так чудно!  
Ах, обмануть меня не трудно!..  
Я сам обманываться рад!

Летом 1824 года в Тригорское приехала Анна Петровна Керн, племянница Осиповой. Молодая, привлекательная женщина взволновала поэта. Специально для нее принес он в Тригорское свою большую черную тетрадь, где была записана недавно законченная поэма «Цыганы». Певучим, мелодичным голосом с большим подъемом читал Пушкин стихи о «роковых страстях», о вольной любви, о ревности, историю Алеко и Земфиры. Слушатели были в восхищении. «Имел он песен чудный дар и голос, шуму вод подобный», — повторяла Анна Петровна стихи из новой поэмы.

Однажды, в чудесную лунную ночь, обитатели Тригорского поехали в экипажах в Михайловское вместе с поэтом. Пушкин был добродушно весел и любезен. Поэт и Керн, оставя общество, долго гуляли в запущенном михайловском парке среди высоких деревьев, спотыкаясь о их корни, которые, сплетясь, вились по дорожкам.

На другой день Керн уезжала. Пушкин подарил ей экземпляр второй главы «Онегина». В его неразрезанных листах Анна Петровна нашла стихотворение Пушкина, обращенное к ней: «Я помню чудное мгновенье».

И сердце бьется в упоенье,  
И для него воскресли вновь  
И божество, и вдохновенье,  
И жизнь, и слезы, и любовь.

Мало было светлых дней в жизни Пушкина: его тяготила ссылка...

Лицейский друг Пушкина И. И. Пущин, один из членов декабристского общества, решил навестить ссыльного товарища. Знакомые и даже родной дядя Пушкина Василий Львович предостерегали Пущина от свидания с поэтом, который находился под политическим и духовным надзором. Но в январский день 1825 года кибитка Пущина, прыгая на ухабах, подъезжала к Михайловскому. На крыльце Пущин увидел Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Пущин схватил поэта в охапку и втащил в комнату. «Смотрим друг на друга, целуемся, молчим».

Поэта дом опальный  
О Пущин мой, ты первый посетил;  
Ты уладил изгнанья день печальный,  
Ты в день его лица превратил.

Друзья, не встречавшиеся пять лет, не могли наговориться. Пушкин рассказывал другу об Одессе, о своей деревенской жизни, о литературных занятиях, о своих тригорских приятельницах. Поэт живо интересовался, что о нем говорят в обществе. «На это я ему ответил, — вспоминает Пущин, — что читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность по всей России».

Пущин привез с собой рукопись комедии Грибоедова «Горе от ума», тогда еще не напечатанную. После обеда, за кофе, Пушкин стал читать вслух «Горе от ума», сопровождая чтение критическими замечаниями.

Затем прочел отрывки из своих сочинений, продиктовал начало «Цыган» для журнала, просил

Пущина, «обнявши крепко Рылеева», благодарить его за патриотические «Думы».

Настала ночь. Друзья подняли стаканы надеясь скоро увидеться. Грустно было на душе.

Мой первый друг, мой друг бесценный!  
И я судьбу благословил,  
Когда мой двор уединенный,  
Печальным снегом занесенный,  
Твой колокольчик огласил.

Ямщик подал лошадей. Было три часа ночи. Пушкин стоял со свечкой на крыльце. Сани тронулись. «Прощай, друг!» — услышал Пущин. Больше им никогда не пришлось свидеться. Скоро Пущин был сослан на долгие годы по делу декабристов.

В апреле 1825 года Пушкина посетил и другой лицейский его друг, поэт А. А. Дельвиг.

И ты пришел, сын лени вдохновенный,  
О Дельвиг мой: твой голос пробудил  
Сердечный жар, так долго усыпленный,  
И бодро я судьбу благословил.

«Как я рад баронову (Дельвига) приезду, — писал Пушкин брату. — Он очень мил. Наши барышни все в него влюбились, а он равнодушен, как колода, любит лежать на постели, восхищаясь «Чигиринским старостою» (Рылеева).

Четыре года провел он в южной ссылке. Два года тянулась ссылка в Михайловском. Поэт отчаянно хотел вырваться из тисков неволи. Планы сменялись планами. В ноябре — декабре 1824 года он обдумывал возможность побега из царской России за границу через Дерпт. Летом 1825 года записал проект письма

императору Александру с просьбой об отпуске за границу для лечения. Осенью того же года собирается просто просить царя освободить его. Когда в начале декабря 1825 года Пушкин узнал о смерти Александра, он решил самовольно покинуть Михайловское. Только случайность помешала ему приехать в Петербург накануне декабрьского восстания.

Пушкин томился в долгом невольном изгнании. «Книг, ради бога, книг!» — умолял он брата. Книги были его друзьями. Он хочет читать о вождях крестьянских восстаний в XVII и XVIII веках, о Разине и Пугачеве. Степана Тимофеевича Разина он называет «единственным поэтическим лицом русской истории». Пушкин изучает только что вышедшие X и XI тома «Истории государства российского» Н. М. Карамзина. Вчитывается в русские летописи. «История народа принадлежит поэту», — заявил Пушкин в одном из своих писем.

Шекспир и Гёте, Шиллер и Байрон, Сервантес и Данте, Петрарка и Мильтон, Саади и Тацит, Гафиз и Соути... их трудно перечислить, «взыскательных художников» и «мудрецов», историков и мыслителей Запада и Востока, живших тысячи лет назад, и современников, всех тех, с кем «беседовал» Пушкин.

«Я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития и что я могу творить...»

В Михайловском он заканчивает поэму «Цыганы», пишет четыре главы романа «Евгений Онегин» (две были написаны в Одессе), создает монументальную историческую трагедию «Борис Годунов», поэму «Граф Нулин» и множество лирических стихотворений.

В размеры стройные стекались  
Мои послушные слова  
И звонкой рифмой замыкались.  
В гармонии соперник мой

Был шум лесов, иль вихорь буйный,  
Иль иволги напев живой,  
Иль ночью моря гул глухой,  
Иль шёпот речки тихоструйной.

15 февраля 1825 года вышла в свет первая глава романа в стихах «Евгений Онегин» в количестве 2400 экземпляров (в то время это был значительный тираж).

30 декабря 1825 года появились «Стихотворения Александра Пушкина» (1200 экземпляров).

О Пушкине говорили в обществе, спорила критика, а он изгнанником проводил дни в своем Михайловском или в Тригорском, страдая от бессилия изменить что-нибудь в своей судьбе.

Как ни тяжело было Пушкину, он находил в себе силы верить в светлое начало, в торжество ума и справедливости. Пессимизм, отчаяние были органически чужды поэту. Здесь, в Михайловском, Пушкин написал знаменитую «Вакхическую песню» — гимн любви, радости, поэзии, разуму.

Подыдем стаканы, содвинем их разом!  
Да здравствуют музы, да здравствует разум!  
Ты, солнце святое, гори!  
Как эта лампада бледнеет  
Пред ясным восходом зари,  
Так ложная мудрость мерцает и тлеет  
Пред солнцем бессмертным ума.  
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

«Никто из современных поэтов, — написал Горький в 1909 году, — не может, не способен написать такого великолепного гимна радости, как «Вакхическая песня» Пушкина».

В конце декабря 1825 года до Пушкина дошла весть о восстании декабристов в Петербурге против царя Николая I. Поэт уничтожает свои записки, которые могли бы, если бы их обнаружили, дать в руки правительства дополнительный материал о многих друзьях. В. А. Жуковский писал поэту в апреле 1826 года: «В бумагах каждого из действовавших (то есть декабристов. — А. М.) находятся стихи твои». Бестужев-Рюмин говорил на следственной комиссии о том, что «рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что это нас самих удивляло».

В июле 1826 года по приговору Верховного уголовного суда были повешены пять декабристов: Рылеев, Пестель, Каховский, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин. Со всеми Пушкин был знаком. Сохранился рисунок поэта: виселица, пять повешенных фигур и начало фразы: «И я бы мог...» «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна», — писал он в августе 1826 года П. А. Вяземскому.

В сентябре 1826 года молодой император Николай I приказал Пушкину приехать в Москву «в своем экипаже *свободно, под надзором фельдъегеря* (подчеркнуто мною. — А. М.) не в виде арестанта».

## **ПОРА ЗРЕЛОСТИ (1826-1830)**

Пушкина привезли во дворец Николая I. Великий русский поэт, покрытый дорожной пылью, иззябший в пути, не совсем здоровый, отбывший шестилетнюю ссылку, стоял перед молодым императором, еще не коронованным (Николай приехал в Москву на коронацию), но уже подавившим восстание против самодержавия. На вопросы царя Пушкин отвечал смело и честно...

Беседа продолжалась более часа. «Что бы вы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил царь. «Был бы в рядах мятежников», — твердо ответил Пушкин. За одни эти слова поэт подлежал суровому наказанию. Но царь понял: перед ним стоит великий поэт, известный всей России, очень умный, прямой и смелый. «Я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России», — сказал Николай вечером одному сановнику. Уничтожить Пушкина ему, самодержцу, легко, но не выгоднее ли попробовать заставить поэта служить самодержавной власти? Так думал царь. И он лицемерно позволяет Пушкину жить, где он хочет, сам берется просматривать его рукописи, освобождая от цензуры; он прощает дерзкие слова. Пушкин ошеломлен. Долго раздумывает поэт. Дворянское восстание подавлено. Лучшие люди повешены или сосланы. Надежд на новый подъем общественного движения нет никаких. Народ молчит. Вся власть в руках Николая. Он освободил из ссылки. Он обещает дать свободу. Он позволяет печататься без цензуры. А нельзя ли повлиять на него? Может быть, он станет хорошим монархом, просвещенным, свободомыслящим, гуманным царем-реформатором!

Царь сумел посеять иллюзии в душе измученного Пушкина. Поэт не был республиканцем. Подобно многим западным мыслителям, он ненавидел деспотизм неограниченной монархии, но верил в возможность идеальной монархической власти. Таким идеалом разумного монарха был для него Петр Великий. Пушкин скоро после свидания с Николаем пишет «Стансы». Он рисует величественный образ Петра, который «не презирал страны родной», «смело сеял просвещение», был «то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» и всегда «на троне вечный был работник». В заключительных стихах Пушкин мужественно дает совет царю:

Семейным сходством будь же горд;  
Во всем будь пращуру подобен:  
Как он, неутомим и тверд,  
И памятью, как он, незлобен.

В этих «Стансах» была целая программа общественно-политических реформ, изложенная в иносказательной форме. В других «Стансах», 1826 года, мы читаем:

Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу,  
А небом избранный певец  
Молчит, потупя очи долу.

Царь лицемерно обманул поэта. В конце сентября 1826 года шеф жандармов граф Бенкендорф подтверждает, что Пушкин имеет право на свободный въезд в Петербург, но оговаривается: каждый раз поэт должен испрашивать «разрешение через письмо». Когда Пушкин, не уведомив начальство, приехал в Москву,



Бенкендорф потребовал от него объяснений. Тайная полиция следила за поэтом. В 1828 году по решению Государственного совета за ним был учрежден официальный секретный надзор. Пушкин не получил личной свободы.

Бенкендорф в сентябре 1826 года писал ему: «Сочинений Ваших никто рассматривать не будет — на них нет никакой цензуры: государь-император сам будет первым ценителем произведений Ваших и цензором». А когда Пушкин прочел свою новую трагедию «Борис Годунов» в ряде литературных кружков Москвы, тот же Бенкендорф запрашивал его, на каком основании он допустил такую вольность? Царь вскоре предложил переделать гениальную трагедию «в историческую повесть или роман наподобие Вальтер-Скотта». Пушкин отказался. Трагедия была напечатана полностью только через несколько лет. В 1827 году Государственный совет установил и обычную цензуру для произведений поэта.

По заданию самого царя Пушкин составил большую записку о народном воспитании. Николай I читал ее, почти у каждой строки на полях ставил вопросительные знаки. Бенкендорф, выражая мысли императора, грубо поучал Пушкина: «Принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную тоlikое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению, неопытному, безнравственному и бесполезному».

Даже появление Пушкина на балу у французского посланника в 1830 году во фраке вызывает неудовольствие царя. Он приказывает ему через шефа жандармов надевать в подобных случаях мундир.

Все это мучает Пушкина, унижает и оскорбляет его. «Я желал бы сделать путешествие, — пишет с отчаяния

поэт Бенкендорфу в 1830 году, — либо во Францию, либо в Италию. Однако, если мне это не будет дозволено, я просил бы разрешения посетить Китай с отправляющейся туда миссией».

На все эти просьбы последовал отказ.

Император и его сановники хотели, чтобы Пушкин стал их поэтом, в своих дивных стихах прославлял их дела, пропагандировал их идеи.

Подите прочь — какое дело  
Поэту мирному до вас!  
В разврате каменейте смело:  
Не оживит вас лиры глас! —

гневно отвечал им поэт. Из Пушкина хотели сделать разносчика прописной морали правящих кругов, а он считал себя вправе остаться народным поэтом. Холопствовать (а этого и требовали от него) Пушкин не желал.

Но совсем иначе, чем царь и его окружающие, встретили вернувшегося из ссылки поэта широкие общественные круги Москвы и Петербурга. «Завидую Москве, — писал старый писатель В. В. Измайлов Пушкину в сентябре 1826 года. — Она короновала императора, теперь коронует поэта».

Когда он появился в театре, все лица, все бинокли повернулись к нему.

Где бы он ни появлялся, всюду он становился в центре общего внимания.

В первый же день знакомства известная в столичном обществе красавица, княгиня Зинаида Волконская пропела ему кантату Геништы на слова элегии «Погасло дневное светило». В салоне Зинаиды Волконской, где, по определению Вяземского, «все носило отпечаток служения искусству и мысли», Пушкин встречался с

виднейшими художниками и литераторами, профессорами и журналистами.

Здесь в 1827 году Пушкин встретился и с женой декабриста Волконского, Марией Раевской, с которой в далекие дни южной ссылки он проводил часы на берегу моря, влюбленный и восторженный. Она ехала к мужу, сосланному в Сибирь. Поэт восхищался женами декабристов. Они ради своих мужей покидали привычную обстановку, рвали с обществом, теряли свое положение в свете — их не пугала глухая Сибирь. Пушкин рассказывал Волконской о своих планах: он собирается написать сочинение о Пугачеве, для изучения материала должен поехать на Урал, а затем, может быть, заглянуть и на Нерчинские рудники, где работали ссыльные декабристы. Пушкин не успел передать с Волконской своего «Послания в Сибирь». Это стихотворение он переслал с женой Никиты Муравьева. Мужественный поэт смело говорил узникам Николая I: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье», бодро надейтесь на лучшие времена, «желанная пора» придет.

Оковы тяжкие падут,  
Темницы рухнут, и свобода  
Вас примет радостно у входа,  
И братья меч вам отдадут.

Пушкин встречался и с Мицкевичем, великим польским поэтом, высланным из Польши за участие в освободительной борьбе.

Мицкевич был поражен глубиной суждений русского поэта об отечественной и западной политике, о вопросах искусства и литературы. Мицкевич считал Пушкина первым поэтом своего народа. Он переводил его стихи на польский язык.

И Пушкин высоко ценил своего польского собрата.

...мы

Его любили. Мирный, благосклонный,

Он посещал беседы наши. С ним

Делились мы и чистыми мечтами...

И песнями...

Пушкин знакомил Мицкевича с русским народным творчеством, а сам перевел две его баллады и отрывок из поэмы «Конрад Валленрод».

Перед царским правительством Пушкин ходатайствовал о разрешении Мицкевичу возвратиться в Польшу.

В декабре 1828 года на балу в Москве Пушкин увидел девушку шестнадцати лет в белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, скромную и стыдливую. Она поражала всех своей классической красотой. Это была Наталья Николаевна Гончарова. Пушкина познакомили с ней. Она держалась застенчиво и робко. Пушкин стал бывать в семье Гончаровых. Долго он добивался руки Натальи Николаевны. «Он прикован, очарован, он совсем огончарован», — шутил над ним брат. Только 6 апреля 1830 года предложение поэта было принято.

В это время слава Пушкина — первого поэта России — гремела по стране и далеко за ее пределами.

«Не классический ли автор Пушкин? — такой вопрос ставит один из лучших журналов того времени «Московский телеграф» (1829, № 8). — Ибо классический автор есть тот, чьи сочинения составляют потребность народную, а не временную, чьи произведения поэтические выучиваются наизусть и составляют неременную часть литературного богатства народа. Да, Пушкин классик».

Уже в первой книжке этого журнала, вышедшей в 1826 году, Пушкин был назван «жемчужиной новой поэзии». Сравнивая его с Жуковским, писал автор статьи, можно повторить старинную пословицу; «Он не второй, а другой». Пушкин, отмечает тот же журнал в 1829 году, «нашел тайну своей поэзии в духе своего отечества, в мире русском» (№ 10, стр. 232). Появление каждой главы «Евгения Онегина» встречалось всеобщим восторгом. «И женщины, и девушки, и литераторы, и светские люди, — писал тогда «Московский вестник», — встретясь, начинают друг друга спрашивать: читали ли вы «Онегина», как вам нравятся новые песни, какова Таня, какова Ольга, каков Ленский?» (1828, № 4).

Однажды Пушкин встретился на улице с лицейским товарищем. Тот спросил поэта, где он теперь служит. «Я числюсь по России», — полушутливо ответил поэт.

Пушкина уже знали многие выдающиеся деятели Западной Европы. «Великий Гёте, — говорится в записках современника, — разговорившись с одним путешественником о России и слыша о Пушкине, сказал: «Передайте моему собрату вот это мое перо». Им он только что писал. Гусиное перо великого поэта было доставлено Пушкину. Он сделал для него красный сафьяновый футляр, на котором было напечатано: «Перо Гёте» — и дорожил им».

\* \* \*

12 октября 1826 года в доме Веневитиновых в Москве собрались литераторы. Здесь были критик и публицист Иван Киреевский, его брат Петр — собиратель памятников народной поэзии, писатель Хомяков, историк, беллетрист и критик Погодин, историк литературы и поэт Шевырев, любитель литературы Соболевский, университетская молодежь. К 12 часам

приехал Пушкин. Только полтора месяца назад он вернулся из ссылки. Собравшиеся увидели худощавого человека, небольшого роста в черном сюртуке, с небрежно повязанным галстуком; темноватое и в то же время бледное лицо, окруженное тучами кудрявых волос и густыми бакенбардами, было изборозжено глубокими морщинами. Полные губы нервно подергивались, при смехе обнажая зубы необычайной белизны. Глаза светили ярко и вдумчиво.

Пушкин начал читать свою новую трагедию «Борис Годунов». Читал он превосходно. И то, что он читал, было очень просто и вместе поразительно по силе жизненности и убедительности.

Разговор лукавых царедворцев-князей в первой картине. Девичье поле, где волнуется народ. Кремлевские палаты. Царь Борис с патриархом и боярами. Сцена в Чудовом монастыре: келья, горит лампада, престарелый летописец Пимен и молодой послушник, будущий самозванец. Старик рассказывает об Иоанне, об убийстве царевича Димитрия:

Борис, Борис! все пред тобой трепещет...  
А между тем отшельник в темной келье  
Здесь на тебя донос ужасный пишет:  
И не уйдешь ты от суда мирского,  
Как не уйдешь от божьего суда.

Слушателям казалось, что они жили вместе с героями поэта в XVII веке. Они воочию видели бродяг-монахов в корчме на литовской границе, среди которых был и бежавший из монастыря послушник, будущий самозванец; они видели панскую Польшу, хитрых панов-шляхтичей, для которых самозванец — удобное орудие для борьбы с Россией.

Самозванец очарован Мариной Мнишек. Сцена свидания у фонтана. Самозванец признается гордой панне, что он не Дмитрий. Она отталкивает его.

Тень Грозного меня усыновила,  
Димитрием из гроба нарекла,  
Вокруг меня народы возмутила  
И в жертву мне Бориса обрекла... —

заявляет бывший послушник Марине. Она готова его выдать. Но Дмитрий смеется над ней: ни королю, ни польским вельможам нет никакого дела до того, царевич ли он действительно. «Но я предлог раздоров и войны, им это лишь и нужно».

Новые сцены. Самозванец приводит на Русскую землю иноземные полки. Борису изменяют бояре. Он умирает.

«Народ, народ! В Кремль! в царские палаты!» И вот — сын Бориса убит. Боярин появляется на крыльце. Народ в ужасе молчит. «Что же вы молчите? — изумляется боярин. — Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович!»

Но народ безмолвствует.

Пушкин кончил чтение. «Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину, — вспоминал Погодин. — Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления».

«Это последнее слово трагедии, — писал позднее Белинский, — заключающее в себе глубокую черту, достойную Шекспира. В этом безмолвии народа слышен страшный, трагический голос новой Немезиды, изрекающей суд над новой жертвою — над тем, кто погубил Годунова».

По Пушкину, народ — настоящий вершитель истории. Народа боятся и к народу апеллируют все: и царь Борис,

и бояре, и самозванец. И страшное безмолвие народа в конце трагедии — приговор авантюристу и изменнику родины — самозванцу. «Что развивается в трагедии? — спрашивал Пушкин в одной из заметок. — Какая ее цель? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная».

Всех изумил язык пушкинской трагедии. Вместо напыщенного, тяжеловатого, однообразного языка старых трагедий современники услышали вдруг живые человеческие голоса героев. Трагедия была написана современным Пушкину литературным языком, совсем не переполнена архаическими словами и оборотами. Но манера и строй речи трагедии великолепно передавали дух XVII века.

Русская литература не знала таких трагедий. Пушкин и сам это признавал. «Успех или неудача моей трагедии, — писал он, — будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы».

Глубоко историческая по содержанию драма Пушкина перекликалась с современностью. Тема узурпации власти, тема конфликта власти и народа в период, когда у всех в памяти было убийство Павла I, совершенное при участии его сына и наследника Александра, вступление на престол Николая I после подавления восстания декабристов — это были самые острые, самые животрепещущие темы для русского передового общества 20-х годов прошлого столетия.

«Всегда народ к смятенью тайно склонен», — читал поэт современникам восстания декабристов. «Противен мне род Пушкиных мятежный», — слушали друзья поэта слова царя Бориса и вспоминали ссылку Пушкина. «Уверены ль мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает, тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы», — читал Пушкин, и перед слушателями вставали образы ста двадцати декабристов, томящихся в далекой Сибири.



16 октября 1828 года Пушкин оканчивает поэму «Полтава». Она переносит читателя в первую четверть XVIII столетия, когда страна быстро перестраивалась деятельной волей Петра:

Но в искушеньях долгой кары  
Перетерпев судеб удары,  
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,  
Дробя стекло, кует булат.

Украинский гетман Мазепа, властолюбивый старик, изменяет Петру. Он хочет стать королем Украины, он идет на союз со злейшим врагом России — шведским королем. Наступает день Полтавской битвы. «Это была битва, — говорит Белинский, — за существование целого народа, за будущность целого государства». Мазепа с горсткой предателей — в рядах шведских дружин. Петр сам руководит боем. Русские дерутся отчаянно. Смяты «непобедимые» полки короля Карла XII.

...близок, близок миг победы.  
Ура! мы ломим; гнутся шведы,  
О славный час! о славный вид!  
Еще напор — и враг бежит.

«Картина Полтавской битвы, — писал Белинский, — начертана кистью широкой и смелой. Тут живописцу нечего изобретать — для него готовы и группы, и подробности, и лицо Петра».

Через украинские степи мчатся, спасаясь, раненый шведский король и предатель Мазепа. Петр празднует великую победу над врагом.

В «Полтаве» Пушкиным создан обаятельный образ красавицы Марии Кочубей, любящей и обманутой Мазепой женщины.

«Обращаясь к отдельным красотам «Полтавы», — говорил Белинский, — не знаем, на чем остановиться, — так много их». Вся поэма дышит «нравами тех времен, все верно истории». Белинский считает, что в этой поэме стих поэта «достиг своего полного развития, вполне стал пушкинским».

Много и других чудесных стихов написал Пушкин в эти годы. Их знала вся грамотная Россия.

Выходила из печати глава за главой гениального романа «Евгений Онегин».

1 мая 1829 года Пушкин выехал из Москвы в Грузию, направляясь в действующую русскую армию: он ехал на свидание с сосланными декабристами, не спросив разрешения у начальства. Пушкин снова увидел Кавказ, где он бывал в дни своей южной ссылки в 1820 году.

Кавказ подо мною. Один в вышине  
Стою над снегами у края стремнины:  
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,  
Парит неподвижно со мной наравне.

26 мая Пушкин приехал в Тифлис. Русская и грузинская интеллигенция встретила его восторженно. В виноградном саду за рекой Курой был устроен праздник в его честь. Весь сад был освещен разноцветными фонариками. Было шумно и весело. Томная персидская песня переходила в огненную лезгинку; декламацию стихов Байрона сменил имеретинский импровизатор с волынкой. Провозгласили задравный тост в честь поэта. Грянул оркестр. На Пушкина надели венок из цветов, посадили на кресло и высоко подняли при криках «ура». Присутствующие

подходили к русскому поэту и благодарили его кто как умел от лица современников и потомков. На глазах Пушкина сверкнули слезы.

Пушкин заговорил: «Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего... Я вижу, как меня любят, понимают и ценят, — и как это делает меня счастливым!»

Скоро Пушкин отправился дальше. 13 июля у крепости Гергеры он встретил простую арбу с телом Грибоедова. Русского посла и великого художника убили в Тегеране. Грустно стало Пушкину. «Не думал я встретить уж когда-нибудь нашего Грибоедова!» — записал он.

Наконец Пушкин приехал в лагерь действующей армии. Брат и старые знакомые, среди которых были и разжалованные в солдаты декабристы, обступили его. Поэт участвовал в перестрелке с врагами, а однажды вскочил на лошадь, схватил пику и устремился против неприятельских всадников.

В конце сентября 1829 года поэт вернулся в Москву. При прямом покровительстве правящих кругов некоторые журналы стали травить Пушкина. Когда в начале 1830 года появилась гениальная VII глава «Евгения Онегина», продажный журналист Булгарин писал: «Ни одной мысли в этой водянистой VII главе. Ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения. Совершенное падение». Булгарин оказался не одинок...

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе  
Грядущего волнуемое море, —

писал Пушкин.

Но не хочу, о други, умирать;  
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,  
И ведаю, мне будут наслажденья  
Меж горестей, забот и треволненья:  
Порой опять гармонией упьюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь,  
И может быть — на мой закат печальный  
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

## **ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ (1830-1837)**

Осень 1830 года Пушкин провел в селе Болдине Нижегородской губернии. Отец выделил ему часть имения — надо было оформить это официальным актом.

Село Болдино раскинулось на небольшом пригорке. Господский дом с деревянной крышей обнесен мелким дубовым частоколом. Кругом — пустырь, ни сада, ни цветников. Из окон дома открывается невеселый вид на разбросанные крестьянские избы, крытые соломой.

Невдалеке было расположено село Кистеневка. Бедно жили здесь крестьяне: редкие избы имели печи и трубы, большинство топились по-черному.

Пушкин думал прожить здесь несколько дней. Но в Поволжье вспыхнула эпидемия холеры. Въезд в Москву был воспрещен. Поэт провел в Болдине три месяца.

Это была знаменитая Болдинская осень.

«Осень подходит, — сообщал поэт другу. — Это любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет — пора моих литературных трудов настает», — писал Пушкин.

И с каждой осенью я расцветаю вновь:  
Здоровью моему полезен русский холод.  
И мысли в голове волнуются в отваге,  
И рифмы лешие навстречу им бегут,  
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,  
Минута — и стихи свободно потекут...

В дни Болдинской осени 1830 года в течение трех месяцев Пушкин написал так много, как не писал никогда. Сколько нужно было передумать, пережить,

перечувствовать, выносить в себе, сколько нужно было изучить исторического, философского, искусствоведческого материала, чтобы в период, например, с 20 октября по 6 ноября написать «маленькие трагедии» (как их называют): «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы», чтобы за два месяца окончить две главы «Евгения Онегина», написать цикл повестей Белкина, «Сказку о попе и работнике его Балде», поэму «Домик в Коломне», создать ряд таких замечательных лирических стихотворений, как «Бесы», «Элегия», «Шалость», «Расставанье», «Моя родословная», «Заклинание»...

С одинаково изумительной легкостью Пушкин ведет своего читателя в средневековый замок и в современную великосветскую гостиную, в русскую помещичью усадьбу и в один из старинных городов Англии; он ведет читателя в нищую крепостную деревню, в убогую комнатку станционного зрителя, в домик гробовщика... Люди разных эпох, возрастов и классов: бедный станционный зритель Вырин и скупой рыцарь, гениальный Моцарт и работник Балда, Татьяна Ларина и донна Анна — сколько образов, созданных уверенной рукой великого мастера!

Кажется, жизненный опыт, многолетнее изучение источников, напряженное раздумье над судьбами родины своей и человечества так переполнили душу поэта, что достаточно было нескольких недель относительного спокойствия и свободы, чтобы родились произведения величайшей идейной напряженности и художественной силы. Пушкин ставит в центре своего внимания жизненные конфликты большого социального значения: проблему накопления и власти золота, проблему любви, проблему гениальности и таланта, проблему классовых отношений. Характеры, им созданные, противоречивы, как противоречива жизнь,

сложны, как сложна жизнь, многогранны, как многогранна жизнь.

Сальери не просто завистник. Он, несомненно, талантливый человек, он «поверил алгеброй гармонию», он много и упорно трудится, он знает, как гениален Моцарт, и любит по-своему своего соперника, как художник любит искусство. Но зависть берет верх над всеми другими чувствами. Сальери губит Моцарта, любя его «художнической половиною своей души» (по выражению Белинского) и ненавидя другой половиной души, завистливой и мелкой, принадлежащей талантливой посредственности. Сальери сам страдает: ведь «гений и злодейство — две вещи несовместные». Но Сальери не хочет увидеть в этих словах Моцарта приговор себе, он хочет опровергнуть их и увериться в противном.

«Скупой рыцарь» — произведение огромной обобщающей силы. В нем говорится о страшной власти денег, о стирании человеческих черт в мире собственнических отношений. Бальзак в начале 1830 года написал свой замечательный рассказ о ростовщике — «Гобсек». Русский поэт осенью этого же года создал небольшую драму, не уступающую шедеврам мировой драматургии.

Так Пушкин впервые в России создавал основы реалистической драматургии.

«Повести Ивана Петровича Белкина» посвящены русской действительности. Станционный смотритель, Семен Вырин, у которого светский шалопай-гусар увез красавицу дочь Дуню, «маленький человек», нарисованный Пушкиным с искренним участием и теплотой, — таких героев до Пушкина русская литература тоже не знала. Новым был для нее и образ мелкого ремесленника («Гробовщик»). Быт провинциальных усадеб встает перед нами в «Барышне-

крестьянке» и «Метели», а в повести «Выстрел» — нравы и обычаи армейских офицеров.

Пушкин начал писать «Историю села Горюхина» — так он называл крепостную деревню эпохи Николая I. Вот жизнь этой деревни, отраженная в заметках помещика: «4 мая. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде».

Все эти темы, все эти образы были открытиями Пушкина. По его стопам пошли Гоголь, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Достоевский.

Здесь же, в Болдине, Пушкин закончил долгий труд, плод многолетних, самых заветных «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», — роман «Евгений Онегин».

Великий критик Белинский так оценил этот роман: «Онегин есть самое душевное произведение Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его, здесь его чувства, понятия, идеалы. В своей поэме Пушкин умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества. «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением».

Пушкин писал о современности. Тут и светская жизнь с ее балами, ресторанами, театрами, с ее шумом, мишурой, и захолустные помещичьи, усадьбы, где стонала «крепостная нищета» и помещики вели разговоры «о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне».

А какая вереница героев проходит перед глазами читателя: светские денди, самодовольные и скучающие, светские красавицы, надменные и недоступные, простые русские девушки, помещики и крестьяне. Какие картины русской природы: и зимней, и весенней, и летней, и осенней! Какие краски, как все это точно, правдиво, как все это по-настоящему поэтично!



Роман Пушкина — роман больших конфликтов. А лирические отступления романа пестрят автобиографическими заметками, сатирическими памфлетами, тонкими замечаниями по искусству, гениальными, мимоходом, кажется, брошенными сценками.

Каждый грамотный человек читал этот гениальный роман и знает его содержание.

Два образа стоят в центре романа: Евгений Онегин и Татьяна Ларина.

Изображенный Пушкиным с изумительной художественной силой Онегин — тип светского человека того времени. Но это, бесспорно, выдающийся человек, во многом сумевший стать выше своей среды, презирающий ее предрассудки и все же часто рабски покоряющийся им. «Факт тот, — с горечью писал Герцен, — что все мы более или менее Онегины, раз только мы не предпочитаем быть чиновниками или помещиками». Онегин — родоначальник тех «лишних людей», которых с болью и тоской рисовала позднейшая русская литература.

В конце концов Онегин — умная ненужность.

Пушкин первый заметил этот тип в русской общественной жизни еще в первой половине XIX века.

Татьяна Ларина, героиня романа, — любимая героиня Пушкина. «Я так люблю Татьяну милую мою», — признается поэт. Лучшие национальные черты русской женщины воплотил в этом образе Пушкин. «Татьяна создана как будто бы из одного цельного куска, — говорит Белинский, — без всяких приделок и примесей». Ее любовь — сильная, всепоглощающая страсть; ей незнакомо расчетливое светское кокетство. Она смела и решительна, она чутка и умна.

Выданная замуж за генерала, ставшая великосветской дамой, она остается в душе своей «прежней Таней». Свой модный дом, всю эту пышность,

свои «успехи в вихре света» она называет мишурой и готова отдать их «за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище», за те места, где впервые встретила Онегина, да за «смирненное кладбище», где лежит ее няня.

Татьяна по-прежнему любит Онегина. Но в серьезность и продолжительность чувства Онегина, который отверг любовь бедной девушки и ищет любви великосветской дамы, она не верит. Раз она замужем — у нее обязанности по отношению к мужу и обществу. На мимолетное увлечение она не способна. И она остается верна нелюбимому мужу, с душой чистой и честной, но страдающей и неудовлетворенной.

Справедливо современный критик назвал «Евгения Онегина» одним из самых грустных романов в русской литературе.

\* \* \*

В начале декабря 1830 года Пушкин наконец приехал в Москву из Болдина. Он привез с собой целую грудку замечательных стихов и прозаических набросков. Кое-как он уладил свои материальные дела и готовился к предстоящей свадьбе с Н. Н. Гончаровой. «Мне за 30 лет, — писал он одному товарищу. — В 30 лет люди обыкновенно женятся — я поступаю, как люди, и, вероятно, не буду в том раскаиваться. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью».

18 февраля 1831 года состоялась свадьба Пушкина с «первой европейской красавицей». Поэт переехал с женой в Петербург, где ее очень скоро заметили при дворе. Молодая красивая женщина быстро вошла в колею светской жизни. Успех в свете, всеобщее внимание волновали ее и льстили ее самолюбию. Сам

император как-то назвал Наталью Николаевну «царицей бала». «Не кокетничай с царем», — предупреждал жену Пушкин.

Чтобы не упускать из поля зрения крамольного поэта и видеть его красавицу жену на придворных балах, император вновь принимает Пушкина на службу. В 1831 году Пушкин был зачислен в коллегию иностранных дел, а в 1833 году «высочайше пожалован в камер-юнкеры». Царская «милость» оскорбила Пушкина. Известного русского поэта, отца семейства, тридцатичетырехлетнего человека одели в мундир камер-юнкера, дали придворное звание, которое обыкновенно присваивали юнцам из аристократических фамилий. Это компрометировало имя Пушкина и в широких демократических кругах читателей. В середине 1834 года он пытается через Бенкендорфа подать в отставку, но всемогущий шеф жандармов заставляет его взять свое заявление обратно.

Пушкин когда-то мечтал увидеть в Николае I славного продолжателя дел Петра I, мечтал о влиянии на него. Эти иллюзии Николай давно рассеял. Реакция праздновала победу. Царь окружил себя новыми сановниками, угодливыми и слепо преданными самодержавной власти. Пушкин теперь мечтал вырваться хотя бы в деревню. Но его не пускали. Светская жизнь требовала больших средств, а их у него не было. К 1835 году он имел около шестидесяти тысяч рублей долга. Царь не без задней мысли давал ему ссуды из казны: это еще больше увеличивало зависимость Пушкина от правительства. «Кружусь в свете, — пишет он приятелю, — жена моя в большой моде — все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения». Это настроение характерно для последних лет жизни Пушкина. И вот в поисках денег он обращается то в казну, то к друзьям, то закладывает женины шали,

жемчуг, вещи свояченицы Александры, серебро Соболевского, свою шинель. Все это унижает и оскорбляет поэта, выводит его из равновесия, мешает работать.

\* \* \*

Общественно-политическая атмосфера 30-х годов была очень напряженной. В 1830 году вспыхнула июльская революция в Париже и началось польское восстание. В 1831 году возникли холерные бунты в Петербурге и в Новгородской губернии. Сам Николай I ездил на их усмирение.

Великий русский критик В. Г. Белинский исключается из университета за сочинение, направленное против крепостного права. В 1834 году закрывается журнал «Московский телеграф» за критику пьесы Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». Члены либерального студенческого кружка Герцена арестованы и сосланы. В 1836 году закрывается журнал «Телескоп» за опубликование «Философического письма» Чаадаева, где автор позволил себе критически отнестись к современному положению в стране. Редактор журнала сослан, а Чаадаев, крупнейший мыслитель, объявлен сумасшедшим. По стране в 30-е годы прокатывается волна крестьянских восстаний.

Пушкин внимательно приглядывался ко всему происходящему, жадно изучая прошлое и настоящее родной страны.

Два чувства дивно близки нам —  
В них обретает сердце пищу —  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.  
На них основано от века

По воле бога самого  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.

Поэт занимается в архивах, изучая материалы по истории Петра Великого. Он разбирает в Петербурге библиотеку Вольтера. Пушкин просит военного министра разрешить ему ознакомиться со следственным делом Пугачева. Он едет в Приуралье для изучения районов, которые при Пугачеве охватило крестьянское восстание, разыскивает тех, кто помнит еще крестьянского вождя, объезжает места, связанные с его именем.

В 1833 году Пушкин закончил «Историю Пугачева» и роман «Дубровский». В этом же году он составил план романа «Капитанская дочка», который окончил в 1836 году. Тема крестьянского восстания, взаимоотношений дворянства и крестьянства встала в центре внимания Пушкина. Поэт, преодолевая традиции дворянской литературы, в невероятно жестких цензурных условиях дал совершенно новый образ вождя крестьянского восстания. Он открыл русскому читателю Пугачева. Его Пугачев — народный вождь, умный, смелый, находчивый, прекрасный организатор. Хотя и не сочувствуя крестьянской революции, Пушкин, как великий художник, с правдивостью, неведомой до него русской литературе, показал крестьянское движение как неизбежное явление в крепостной России XVII века. Разные слои русского общества проходят перед нами в этих работах Пушкина. Здесь и надменный крепостник Троекуров, и верный долгу офицер Миронов, здесь и честный, но недалекий Гринев, и пылкий Дубровский, изумительный образ доброго и преданного Савельича, «господа-генералы» из мятежного штаба Пугачева... Не случайно «Капитанскую дочку» Белинский назвал «Онегиным» в прозе.

Тридцатые годы — полный расцвет пушкинского гения. Поэт-мыслитель поднимается на такую высоту общественно-политических прозрений и художественных достижений, что многие современники не были в состоянии осознать этот гигантский рост. В своих произведениях он ставит самые коренные вопросы современности и разрешает их с поразительной глубиной.

Поэма «Медный всадник» родилась в результате глубоких раздумий поэта о судьбах родной страны. Это прежде всего гимн Русскому государству, его творческой силе и воинской мощи, гимн в честь Петра I, построившего прекрасный Петербург на «топких невских берегах».

Красуйся, град Петров, и стой  
Неколебимо как Россия.  
Да умирится же с тобой  
И побежденная стихия...

Это — признание исторической закономерности огромного дела Петра, его правды. Петр — самодержавный властелин; но есть еще и маленькие люди, а у них свое право на счастье, бесспорное право, утверждает Пушкин.

В Петербурге живет мелкий чиновник Евгений. «Трудом он должен был себе доставить и независимость и честь». Он любит Парашу и мечтает о маленьком счастье с любимой: «Кровать, два стула, шей горшок, да сам большой... Чего мне боле?»

Но вот произошло страшное наводнение 1824 года. Город, построенный по воле Петра, затопило. Параша погибла. Евгений сходит с ума. Однажды он подошел к памятнику Петру I и с угрозой обратился «к горделивому истукану». Случилось невероятное: ему показалось, что

грозное лицо царя обернулось к нему; он кинулся бежать, слыша за собой грозный топот скачущего Медного всадника на медном коне.

Всею душой сочувствуя своему разночинцу-герою, Пушкин признает его бунт против исторической необходимости безумием. Вместе с тем, рисуя картину исторического масштаба, Пушкин рассказывает и о трагедии «маленького человека». Как сочетать счастье Евгения с делом Петра? Пушкин не дает ответа. Он только ставит этот вопрос, вопрос громадной этической значимости.

Но какая чуткость, какая прозорливость была нужна, чтобы указать в те времена на эту проблему так, как это сделал Пушкин!

Оценивая художественное значение этой поэмы Пушкина, Белинский писал: «Тут не знаешь, чему больше дивиться: громадной ли грандиозности описания или его почти прозаической простоте — что, вместе взятое, доходит до высочайшей поэзии».

И этот шедевр пушкинского творчества вздумал редактировать Николай I. Цензура потребовала значительных исправлений. Поэма при жизни поэта не была опубликована.

Последние годы жизни Пушкина были трагическими. Он вынужден был вращаться в кругу придворного общества, которое ненавидел всею душой. Его произведения цензорски читались царем, Бенкендорфом, специалистами-цензорами. Близкая к правительству печать травила его. Говорили о закате таланта Пушкина. Денежные затруднения переходили в материальную нужду. Светский прохвост Дантес, приехавший в Россию «на ловлю счастья и чинов», открыто ухаживал за женой Пушкина. Грязные сплетни поползли по Петербургу. Поэт метался, страдал, не знал, что делать. Не было спокойствия духа, необходимого для нормальной творческой работы.

А ведь это был период творческой и интеллектуальной зрелости поэта, расцвета его сил. Из-под его пера одно за другим выходили великие художественные произведения.

Пушкин сознавал свое значение для русской литературы, для русской культуры, для России. В знаменитом своем «Памятнике» он сказал:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире  
Мой прах переживет и тленья убежит...

И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что в мой жестокий век восславил я Свободу  
И милость к падшим призывал.

А враги поэта не унимались. В ноябре 1836 года он получил по почте издевательский диплом «ордена рогоносцев», где прозрачно намекали на связь царя с его женой. Пушкин возмутился. Он предполагал, что это гнусное письмо было составлено голландским посланником Геккереном, приемным отцом Дантеса. Пушкин послал Дантесу вызов на дуэль. Дантес сделал предложение сестре жены Пушкина, Екатерине Николаевне, влюбленной в него. Обошлось без дуэли. Но сплетни не прекращались, травля длилась. Дантес продолжал добиваться внимания Натальи Николаевны. Дальше так жить было нельзя. Дуэль развязывала узел. После нее Пушкина ожидала или ссылка, на этот раз желанная, избавляющая его от позорного мундира камер-юнкера, от придворного общества, или... смерть.

27 января в 4 часа 30 минут дня секунданты Пушкина и Дантеса протапывали тропинку в глубоком снегу у Комендантской дачи под Петербургом. Поэт, закутавшись в медвежью шубу, нетерпеливо ждал, сидя



на сугробе снега. Секунданты бросили свои шинели, отмечая барьеры. Противники встали на свои места. Дантес выстрелил первым. Пушкин упал, тяжело раненный...

Поэт лежал в своем кабинете на диване. «Прощайте, друзья!» Он прощался с книгами своей обширной библиотеки. Страдания его были невыносимы. Приходили врачи, близкие люди. Весть о ранении Пушкина разнеслась по Петербургу. Огромные толпы народа тянулись к его дому. В 2 часа 45 минут дня 29 января 1837 года, измученный невероятными страданиями, он ясно произнес: «Жизнь кончена... тяжело дышать, давит...»

Россия потеряла своего великого поэта.

Николай I приказал опечатать его бумаги. Тысячи людей приходили поклониться праху Пушкина. «Пушкин был более популярен и встречал больше поклонения у русских низших слоев, — доносил своему правительству иностранный дипломатический агент. — Смерть Пушкина представляется здесь как несравнимая потеря страны, как общественное бедствие».

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
К нему не зарастет народная тропа,  
Вознесся выше он главою непокорной  
Александрийского столпа.

Прах Пушкина, по распоряжению правительства был похоронен тайно — боялись народных демонстраций.

От лица всей мыслящей России, от лица русского народа выступил молодой поэт Лермонтов. «Жадная толпа», стоящая у трона, дети «известной подлостью прославленных отцов», «свободы, гения и славы палачи» — вот кто настоящие убийцы Пушкина. «И вы не смаете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь», —

бросил в лицо убийцам гневные, облитые горечью слова Лермонтов.

Смерть Пушкина взволновала и Запад. В парижском журнале «*Révue des Deux Mondes*» русский поэт сопоставлялся с крупнейшими писателями Запада: его сравнивали с теми гениями, которые напоминают «могучие дубы, возросшие на горных высотах»; они «ищут бури для того, чтобы показать нам, как глубоки их корни и как непоколебимы их вершины» (1837, т. XI, стр. 345).

Мицкевич написал статью о Пушкине, полную искреннего горя и преклонения перед памятью великого поэта («*Le Globe*» от 25/V 1837 г.).

Английский писатель и переводчик Пушкина Джордж Борро писал: «С печалью услышал я о смерти Пушкина: поистине это потеря не только для России, но и для всего мира».

Шли годы, проходили десятилетия. Слава Пушкина росла в России и далеко за ее пределами. С чувством законной гордости открывали потомки заветные пушкинские страницы.

«Сокровища, дарованные нам Пушкиным, действительно велики и неоцененны, — говорил знаменитый драматург А. Н. Островский в речи на пушкинских торжествах в 1880 году. — Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть. Кроме наслаждения, кроме форм для выражения мыслей и чувств. Богатые результаты совершеннейшей умственной лаборатории делаются общим достоянием. Высшая творческая натура влечет и подравнивает к себе всех».

Великий Ленин любил перечитывать сочинения русских классиков. Н. К. Крупская вспоминала: «Я привезла с собой в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей

кровати, рядом с Гегелем... Больше всего любил он Пушкина».

В грозные дни великой Отечественной войны с германским фашизмом И. В. Сталин, призывая к беспощадной борьбе с врагами, говорил о «великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова».

Через столетие мы слышим голос нашего любимого поэта: «Здравствуй, племя, младое, незнакомое. Не я увижу твой могучий поздний возраст». И мы знаем: людей нашего поколения, миллионы граждан великого Советского Союза приветствует Пушкин, великий сын русского народа.

*1943 год*

# **Н. ГУДЗИЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ**

В старости Лев Толстой записал некоторые свои воспоминания. И вот самое раннее из них: «Я связан: мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто... Крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым... Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому сила нужна, я слаб, а они сильны».

Протест против всяческого насилия — морального или физического, стремление сбросить с себя всякие путы, связывающие свободу человека, определили весь путь Толстого до последних лет его жизни, когда он, негодуя против массовых смертных казней в царской России после 1905 года, на весь мир закричал: «Не могу молчать!» Этот почти предсмертный крик Толстого, как и протестующие его выступления во второй половине жизни, вызван был сознанием не личной несвободы, не насилия над своей личностью, а сознанием несвободы и насилия, которые испытывало человечество, порабощенное всем строем капиталистической системы.

\* \* \*

Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года<sup>[2]</sup> в имении Ясная Поляна Крапивенского уезда Тульской губернии. В семидесятипятилетнем возрасте Толстой с большой художественной силой и внутренней теплотой написал свои «Воспоминания детства». Разделяя свою жизнь на четыре периода, он выделяет «чудный» в особенности в сравнении с последующим, «невинный, радостный, поэтический период детства до четырнадцати лет».

Потребность все и всех любить побуждала Толстого-ребенка во всех окружавших его видеть только одно хорошее и не замечать, что в них было дурного. Говоря о своей матери, он пишет: «Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица, от отца до кучеров, представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правда, чем то, когда я видел одни их недостатки».

Детские впечатления так ярко отложились в памяти Толстого, что в глубокой старости он припоминает не только людей, окружавших его в то далекое время, но и малейшие события, происшедшие в ту пору, и самые мелкие детали, вплоть до того, как с левой стороны касается его волос рука отца «с красной характерной полосой на внешней выступающей части ладони». Только в гениальной памяти могло отчетливо запечатлеться такое количество фактов, какое мы находим в воспоминаниях Толстого, и только гениальный художник мог с такой поэтической, заражающей прелестью передать их читателю.

Среди тех, кто имел особенное значение для Толстого в его детстве, на первом месте в этих воспоминаниях стоит его мать Марья Николаевна, урожденная княжна Волконская. Она умерла, когда

Толстому было около двух лет. Портретов ее в семье Толстых не сохранилось, и в представлении сына жив был лишь ее душевный облик, в течение всей жизни пробуждавший в нем высокие, чистые сердечные движения. Некоторые черты ее жизни и характера воплотились в образе княжны Марии Николаевны Болконской в «Войне и мире», как отразились в старом князе Николае Сергеевиче Болконском черты характера и поведения деда Толстого по матери, князя Николая Сергеевича Волконского. Высокий моральный облик матери Толстого, внутреннее богатство ее натуры угадываются и в образе мамы, изображенной в «Детстве».

Мать Толстого была женщиной очень хорошо образованной. Кроме своего родного русского языка, которым она владела прекрасно и на котором умела писать образно, просто и точно, она знала языки французский, немецкий, английский и итальянский. Отец ее, дед Толстого, постарался приохотить дочь и к астрономии, и к космографии, и к истории, и к практическим наукам. Она чутко воспринимала искусство; хорошо играла на фортепьяно и с большим мастерством рассказывала сказки, которые придумывала сама.

Выдающимся ее качеством, по словам Толстого, была ее сдержанность. Никому из прислуги не сказала она никогда грубого слова. Другим ее положительным качеством было равнодушие к толкам людей и скромность, которая проявлялась и в том, что она не тщеславилась своим образованием и умом и даже старалась скрывать превосходство свое в этом над другими людьми, чтобы не обидеть их. Жила она, как пишет Толстой, стремясь постоянно удовлетворять свою потребность любви. Сначала любила своего умершего жениха, потом своего мужа — больше всего потому, что он был отцом ее детей, потом француженку-

компаньонку, затем сыновей — сначала первенца Николая, потом самого младшего — Льва.

Замуж она вышла тридцати двух лет за графа Николая Ильича Толстого, который был моложе ее на четыре года. Брак устроили родные жениха, получившего в наследство от отца расстроенное состояние и женитьбой на богатой невесте решившего поправить свои дела. Это был красивый, веселый, обходительный, по тому времени относительно гуманный человек, не злоупотреблявший своей властью помещика, владельца крепостных душ. Поступив в юности на военную службу и проделав заграничные походы в 1813-1815 годах, он вышел затем в отставку и после женитьбы занялся сельским хозяйством. Оставив военную службу, он потом уже никогда не служил, по чувству собственного достоинства не считая для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни в царствование Николая I. Ни с одним чиновником, как вспоминает Толстой, его семья не имела близких отношений.

Умер Николай Ильич, когда Льву Николаевичу было девять лет. Значительного влияния на сына он не оказал, но оставил у него по себе добрую и благодарную память. В основном он послужил прототипом для Николая Ильича Ростова в «Войне и мире».

Наибольшее нравственное влияние на Толстого, по его признанию, оказала Татьяна Александровна Ергольская, дальняя родственница Толстых, с детского возраста оставшаяся сиротой и взятая бабушкой Льва Николаевича на воспитание. Она была одних лет с Николаем Ильичом и за свой твердый, решительный и самоотверженный характер пользовалась в семье большой любовью. В молодости она была, видимо, очень привлекательна. Вероятно, она любила Николая Ильича, и он любил ее, но она сознательно не пошла за него, чтобы он мог жениться на богатой девушке. Когда же

Марья Николаевна умерла и Николай Ильич предложил ей выйти за него замуж, она отказалась это сделать, чтобы не нарушать уже сложившихся чистых отношений с ним и его семьей.

Вот какой была эта женщина, которую Толстой называл своим лучшим другом.

Не только в пору детства, но и в юности и в зрелом возрасте (Ергольская умерла, когда Толстой был уже женат) он делился с ней всем, что его занимало, волновало и тревожило. К ней он обращался за советом, когда нужно было найти нравственную поддержку и руководство. Она действовала на него при этом не упреками и наставлениями, а тем даром внутреннего проникновения и понимания, которые лучше всего помогали ему духовно расти и крепнуть. Все это продолжало сказываться и в последующие годы — вплоть до конца жизни писателя.

Старше Льва Николаевича были братья Николай, Сергей и Дмитрий, моложе — сестра Марья, родами которой и умерла их мать. Все три брата и сестра были люди по-своему незаурядные, но из них наиболее ярким человеком был, по-видимому, Николай, умерший совсем еще молодым. О нем Толстой говорил, что он был «удивительный мальчик и потом удивительный человек». Он обладал тонким художественным чутьем, ярким, неистощимым воображением, добродушным юмором. Как и его мать, он мог рассказывать часами увлекательнейшие сказки или истории, которые выдумывал сам, искусно рисовал. Ко всему тому он был очень привлекателен и своими нравственными качествами. С его именем связано одно из самых волнующих и самых значительных воспоминаний раннего детства Толстого.

Однажды Николай объявил мальчикам, что он знает тайну «муравейных братьев». Очевидно, под «муравейными братьями» крылись «Моравские братья»



— религиозная секта, возникшая в XV веке в Чехии и стремившаяся к водворению на земле «справедливой жизни», как ее представляли себе первые христиане. О ней Николай мог узнать либо по книге, либо из рассказов. Своим братьям он сказал, что, когда эта тайна откроется, все люди станут счастливыми, не будет ни у кого ни болезней, ни неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут друг друга любить, все сделаются «муравейными братьями». Самая тайна, которая должна была осчастливить людей, как уверял Николай, была им написана на зеленой палочке, зарытой у дороги на краю оврага Старого Заказа. Дети не раз играли в «муравейных братьев», и зеленая палочка стала потом на всю жизнь для Толстого символом нравственного самосовершенствования и всеобщего человеческого счастья. Записывая свои воспоминания детства, он просил в память брата Николеньки похоронить его в том месте Старого Заказа, где, по детскому преданию, была зарыта зеленая палочка. В 1908 году Толстой эту просьбу продиктовал своему секретарю Н. Н. Гусеву, а за два года до этого написал статью на тему о человеческом счастье, озаглавив ее «Зеленая палочка». «И как я тогда верил, — писал он на склоне лет, — что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает».

Таковы были то ближайшее человеческое окружение и та нравственная атмосфера, в которой протекало детство Толстого. Бабушка, слуги, гувернер Федор Иванович Рессель, родственники и близкие знакомые, наезжавшие в Ясную Поляну, в воспоминаниях Толстого дополняли собой картину патриархальной помещичьей идиллии, так любовно нарисованной им в рассказе о детских годах. Эта идиллия в сознании ребенка не

нарушалась еще существованием крепостного права. А между тем именно оно и обуславливало собой привольную жизнь барской семьи в сорока двух комнатах, с большим штатом прислуги и дворни; именно оно создавало условия для беззаботной жизни господ, для тех радостных впечатлений от псовой охоты, от приезда ряженных на святках, от веселых поездок в окрестности и от многого другого, что так запомнил Толстой. Обратная сторона благополучной барской жизни была скрыта от глаз ребенка, а то, что окружало его в повседневной жизни, что близко его касалось, представлялось ему почти непреходящим праздником, лишь изредка нарушаемым скоропреходящими огорчениями.

\* \* \*

Осенью 1836 года семья Толстых переехала в Москву: нужно было готовить старшего сына Николеньку в университет. Летом следующего, 1837 года внезапно умер отец — Николай Ильич, а меньше чем через год после этого скончалась бабушка — Пелагея Николаевна. Смерть отца произвела на мальчика Толстого потрясающее впечатление. Он впервые, по собственному признанию, глубоко задумался над вопросами жизни и смерти.

Осложнилось и материальное положение семьи: пришлось прежде всего переменить обширную квартиру в Москве на меньшую, более дешевую, чтобы уменьшить расходы: часть семьи, и в том числе Лев Николаевич, не только на лето, но иногда и на всю зиму переселялась в Ясную Поляну, а одну зиму прожила в Ясной Поляне и вся семья.

Отроческие годы Толстого омрачены были очень напряженными отношениями, создавшимися у него с

новым гувернером Saint Thomas (Сен-Томас). Своим формально-педантическим, нечутким, часто жестоким обращением с мальчиком он вызывал в нем чувство протеста, переходившего в раздражение, а иногда и в упорную ненависть.

«Не помню, за что, это был какой-то пустяк, не заслуживавший наказания, — вспоминает Толстой, — Saint Thomas запер меня сначала в отдельной комнате, а затем грозил высечь меня, и я испытал глубокое чувство негодования, возмущения не только к Saint Thomas, но и к насилию, которое хотели учинить надо мной. Вероятно, отвращение и страх перед всяким насилием, который я испытывал всю жизнь, зародились во мне именно в эту минуту».

Видимо, поводов для столкновений со строгим гувернером у Толстого в детстве было немало, если принять в расчет, что он был ребенком не только очень подвижным и шаловливым, но и склонным к неожиданным чудачествам и странным выходкам. Так, однажды, только для того, чтобы сделать что-нибудь необыкновенное и удивить окружающих, он выпрыгнул в окно из второго этажа и только благодаря счастливой случайности легко отделался...

Вместе с тем мальчик жил очень напряженной внутренней жизнью. Честолюбивые мечты, в особенности о военной славе, жажда необыкновенных подвигов уживались в нем с очень энергичной работой нравственного сознания, со стремлением разрешить отвлеченные вопросы о назначении человека и о смысле человеческой жизни. То, что сказано об этом в отношении Николеньки в повести Толстого «Отрочество», целиком относится к отроческим годам самого Толстого.

В эту пору перед ним впервые встали вопросы, выходившие за пределы его личного быта. И поводом для них послужили факты, связанные как раз с

крепостным правом. Однажды дети, в том числе Левушка, встретили уже немолодого помощника кучера, которого управляющий за какую-то провинность вел на расправу. Узнав, в чем дело, Лев Николаевич испытал, по его словам, «ужасное чувство», еще более обострившееся, когда от тетушки он услышал, что дети могли остановить управляющего и предотвратить наказание. В другой раз из разговора друга его отца, помещика Тимяшева, он узнал, что тот отдал своего слугу в солдаты за то, что слуга ел постом скоромное. И это поразило мальчика Толстого, показалось ему чем-то странным и непонятным.

Около одиннадцати лет Толстой испытал первую влюбленность. В письме к своему другу и биографу П. И. Бирюкову он писал в 1903 году: «Первая, самая сильная (любовь. — *Н. Г.*) была детская к Сонечке Колошиной». Это была любовь восторженная, мечтательная, переполнявшая мальчика счастьем, любовь без мысли о взаимности. Об этом вспоминал Толстой еще в 1890 году, думая написать роман о целомудренной любви. В ночном разговоре Николеньки Иртенева с братом Володи о Сонечке Валахиной в «Детстве» этот детский роман Толстого нашел яркое и трогательное художественное отражение.

В 1841 году умерла опекунша детей Толстых — тетка Александра Ильинишна Остен-Сакен, и опека над ними перешла к другой тетке — Пелагее Ильинишне Юшковой, жившей в Казани. Туда и переселилась осенью того же года вся семья Толстых (каждое лето, однако, проводя по-прежнему в Ясной Поляне). В Казани Толстой прожил пять с половиной лет. В 1844 году он поступил в Казанский университет на турецко-арабское отделение восточного факультета с намерением стать дипломатом.

Б ту пору Толстой как бы ощупью отыскивал свое жизненное призвание. Вскоре он понял, что этим

жизненным призванием не могла быть дипломатия. Учился он без особого рвения, тем более что в Казани родовитый юноша Толстой попал в круговорот светских развлечений, среди которых протекала жизнь местного «высшего общества».

Вскоре Толстой перешел на юридический факультет. Но перспектива карьеры по судебному ведомству также не могла прельстить его. Да и большинство тогдашних профессоров юридического факультета были как ученые и преподаватели далеко не на высоте. С другой стороны, не все, что преподавалось на факультете, интересовало Толстого.

Он, по его собственному признанию, читал бесконечное количество книг, но чтение это всегда у него шло по какому-нибудь одному, строго определенному направлению, продиктованному его личным внутренним интересом. «Когда меня интересовывал какой-нибудь вопрос, — говорит он, — то я не уклонялся от него ни вправо, ни влево и старался познакомиться со всем, что могло бросить свет именно на этот один вопрос. Так было со мной и в Казани».

Особенно усиленно в студенческие годы занимался Толстой философией. К ней его влекла не простая любознательность, а стремление найти разрешение тех жизненных вопросов, которые не переставали его занимать и волновать. Он не просто читал, например, Руссо, которого, по его словам, «боготворил» настолько, что вместо нательного креста носил на шее медальон с его портретом, но и сам написал несколько философских сочинений, преимущественно на тему о моральных основах человеческого поведения.

Вероятно, результатом увлечения философией явилась у Толстого первая его, несколько наивная попытка опроститься, сбросить с себя иго «светскости». Приехав однажды на лето из Казани в Ясную Поляну, он демонстративно стал там одеваться в какой-то

парусиновый балахон, ходил в туфлях на босу ногу и вообще не обнаруживал никакой заботы о своей внешности.

В последние месяцы жизни в Казани Лев Николаевич начал вести дневник. Поводом для этого было стремление к самосовершенствованию во всех областях — в умственной, нравственной и физической. Однако началом всего, как говорил Толстой, было самосовершенствование нравственное. Дневник должен был быть, с одной стороны, средством систематического контроля над собой, с другой — заключать в себе «правила», которым намеревался следовать Толстой. В дальнейшем дневник на всю жизнь стал почти постоянным его спутником. Ему онверял самое сокровенное, в него заносил замыслы своих произведений, в нем отмечал факты и события жизни своей и близких ему людей.

Переходных экзаменов со второго курса на третий Толстой не держал, решив оставить университет, с надеждой, впрочем, впоследствии сдать экзамены за весь университетский курс. Вспоминая в старости этот свой шаг, он говорил: «Я стал читать Руссо и бросил университет именно потому, что захотел заниматься». Оставить университет побудило Толстого еще одно обстоятельство: как раз в это время состоялся раздел отцовского имущества между всеми детьми. Льву Николаевичу, в частности, досталась Ясная Поляна. Чувствуя нравственное обязательство по отношению к своим крепостным, он счел необходимым поселиться в своем имении и приняться за устройство их судьбы. Он уехал в Ясную Поляну в апреле 1847 года.

Толстой решил заняться сельским хозяйством.

Однако вскоре яснополянное одиночество становится ему в тягость. Огромные неизрасходованные силы, душевные и физические, заставляют его метаться по жизни. Он переезжает в Москву, затем — в

Петербург, где приступает к сдаче экзамена на степень кандидата прав. Но, как и прежде, он отчетливо чувствует, что это не его жизненная дорога. Он прерывает экзамены, делает еще попытку поступить на военную службу, потом возвращается в Ясную Поляну. Некоторое время он служит в Туле, в губернском правлении. Жизнь без серьезных целей и перспектив, наконец, угнетает его и создает у него ощущение глубокой неудовлетворенности. Внутренний голос самообличения и самоосуждения непрестанно звучит в его дневниках этой поры.

\* \* \*

В апреле 1851 года Толстой вместе с братом Николаем уехал на Кавказ. Там он прожил три года и там впервые перестал испытывать мучительный разлад с самим собой. Добровольцем он принял участие в боевых делах Кавказской армии. Он стал юнкером и офицером.

На Кавказе наконец прорвалось наружу то, что долго созревало в его душе.

Он написал там повести «Детство» и «Отрочество» и несколько рассказов из военного быта. Там же начата была и повесть «Казаки».

«Детство» напечатано было в 1852 году в журнале Некрасова «Современник» и сразу же поставило Толстого в ряды крупнейших русских писателей. Появившиеся вслед за тем «Отрочество» и военные рассказы закрепили репутацию его как незаурядного мастера, выдающегося художника. Совсем особенное искусство в изображении человеческой души, умение подсмотреть и закрепить в слове тончайшие, часто противоречивые проявления внутренней жизни и

ребенка и взрослого сказались уже в этих ранних произведениях Толстого.

Знаменитый русский критик и мыслитель Чернышевский, оценивая первые литературные шаги Толстого, необыкновенно метко определил существеннейшие черты его писательского дарования. В творчестве Толстого он отметил две черты: во-первых, «глубокое знание тайных движений психической жизни», способность очень тонко улавливать «психический процесс, его формы, его законы», удивительное умение изображать «диалектику души» и, во-вторых, «непосредственную чистоту нравственного чувства». С поразительной прозорливостью Чернышевский предсказал, что эти две черты останутся основными особенностями таланта Толстого, какие бы новые стороны ни обнаружились в его последующих произведениях.

И действительно, обе эти черты характеризуют творчество Толстого на всем протяжении его творческого пути.

Но это замечательное начало литературной деятельности было подготовлено большой внутренней работой юноши Толстого.

По дневникам, по письмам, по морально-философским опытам, по неоконченному, очень своеобразному и все же не удовлетворившему Толстого рассказу «История вчерашнего дня», по четырем редакциям «Детства» мы можем судить теперь, что это была за работа...

Уже при первом своем литературном выступлении Толстой обнаружил самобытность и оригинальность. И они дались ему неспроста. Они были отражением его напряженной душевной жизни, его непрестанных усиленных попыток самому разобраться в окружающей действительности.



С первых же шагов своей сознательной жизни он стремился на все смотреть своими собственными глазами и все проверять своим собственным критическим судом. Эта независимость взглядов и суждений влекла за собой и свободу от подчинения популярным литературным образцам, особенно если они не шли навстречу самостоятельным философским и литературным исканиям Толстого.

С его именем неразрывно связано представление о несравненном мастерстве в изображении природы. Многие страницы «Войны и мира» и «Анны Карениной» нагляднее всего убеждают нас в этом. Но эта черта явственно выступает и в ранних произведениях, написанных на Кавказе. Уже здесь картины природы теснейшим образом связаны с внутренним миром человека, с душевными переживаниями и интимными чувствами героев.

Непосредственное участие Толстого в военных действиях дало ему материал для первых рассказов о войне и военном быте. Кавказские впечатления Толстого отразились в рассказах «Набег» и «Рубка леса». В них война была показана с такой стороны, с какой до тех пор она никем не изображалась в литературе. Толстого занимает не столько внешняя батальная сторона войны, сколько то, как ведут себя люди в военной обстановке, какие свойства своей натуры они при этом обнаруживают. И тут, как позже в «Войне и мире», настоящими героями являются люди простые, часто с виду неказистые, совершенно чуждые каких бы то ни было черт внешнего молодечества. Таков капитан Хлопов в «Набеге» в отличие от романтически-эффектного, всегда как бы стоящего в позе, поручика Розенкранца, таковы капитан Тросенко и солдат Веленчук в «Рубке леса».

Определяя в последнем рассказе характер храбрости русского солдата, Толстой говорит: «Дух

русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остываемом энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить пасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера».

Отношение самого Толстого к войне в ту пору было сложное. Человек мужественный по природе, еще с детства стремившийся испытывать себя в трудных и рискованных жизненных положениях, Толстой, естественно, чувствовал потребность проверить себя и силу своей душевной стойкости в опасностях войны. Но войны завоевательные не увлекали его; он осуждал их, как осуждал и те жестокости, с которыми они были связаны. В обширных черновых вариантах «Набега» он несколько раз сочувственно изображает страдания покоренных обитателей горных аулов. Война России с кавказскими народами не вызывала у Толстого того подъема патриотического настроения, какое испытал он вскоре в связи с Крымской войной и какое обнаружил, обратившись к эпохе Отечественной войны 1812 года.

По возвращении с Кавказа Толстой был направлен в Дунайскую армию, а в ноябре 1854 года переведен в Крым и здесь принял участие в славной обороне Севастополя. Мы знаем, что он сам стремился перевестись в Севастополь; как он объяснил в письме к брату, «больше всего из патриотизма», который и в то время «сильно нашел» на него. Еще до приезда в Севастополь Толстой записал в дневник: «Велика моральная сила русского народа. Много политических

истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства».

Вскоре по прибытии в Севастополь Толстой с восторгом пишет брату: «Дух в войсках свыше всякого описания. Во времена Древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: «Здорово, ребята!» говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» — и войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было что не шутя, а *взаправду*, и уж 22 000 исполнили это обещание. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие (то есть женщины. — Н. Г.) убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде — 24-й было 100 человек, которые, раненые, не вышли из фронта. Чудное время!»

Толстой благодарит бога за то, что видел этих людей и живет «в это славное время». 4 сентября 1855 года он пишет Т. А. Ергольской: «Я плакал, когда увидел город, объятый пламенем, и французские знамена на наших бастионах». Сам Толстой во время Севастопольской осады обнаружил незаурядную храбрость. Больше месяца он служил в самом опасном месте — на знаменитом четвертом бастионе. Его впечатления от Севастопольской осады нашли отражение в трех замечательных «Севастопольских рассказах», из

которых первые два в Крыму были и написаны, третий же закончен в Петербурге.

В «Севастопольских рассказах» Толстой, в сущности, первый в мировой литературе правдиво показал войну — «не в правильном, красивом, блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти». Заканчивая свой второй севастопольский рассказ, Толстой писал: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны... Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

И главная правда, которую увидел Толстой в осажденном Севастополе, — это душевное величие скромного русского солдата, спокойно, уверенно и без похвальбы защищающего свою родину.

В рассказе «Севастополь в декабре месяце», говоря о «стыдливом чувстве любви к родине», лежащем в глубине души каждого русского человека, он писал: «Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в ее тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие слезы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский».

Но это была не вся правда, которую знал Толстой о людях, переживших Севастопольскую осаду. В следующих двух рассказах он показал, как в этой войне рядом с проявлением подлинного героизма обнаруживались мелкая человеческая зависть, тщеславие, холодный расчет, эгоизм и жалкая

суетливость себялюбивых посредственностей, вечно занятых собой позеров. Но это не заслоняет от него главного: бессмертного величия Севастопольской обороны.

Описав в рассказе «Севастополь в августе 1855 года» ссору офицеров во время карточной игры, он говорит: «Но опустим скорее завесу над этой глубоко грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно... На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть ярко — придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела».

\* \* \*

Приехав во второй половине ноября 1855 года, после падения Севастополя, в Петербург, Толстой впервые попал в литературную среду и лично познакомился с наиболее крупными русскими писателями — Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым, Дружининым, Писемским, Фетом, Чернышевским. С их стороны он встретил, как писатель и человек, очень внимательное и часто даже восторженное отношение к себе.

Один из его новых друзей — П. В. Анненков — написал в конце ноября 1856 года Тургеневу: «Толстой неузнаваем, и путь, который он пробежал в течение лета и осени, просто огромен... Я с ним сошелся и, просто сказать, люблюсь им... Работа в нем идет страшная». В. П. Боткин в начале января 1857 года в письме к Тургеневу говорит, что Толстой «весь исполнен жажды знания и учения» и в нем происходит «великий нравственный процесс». Сам Толстой через два дня после этого записывает в дневнике: «Я решительно

счастлив все это время. Упиваюсь быстротой морального движения вперед и вперед».

В течение года с небольшим, прошедшего со времени возвращения из Крыма, Толстой закончил рассказы «Севастополь в августе 1855 года» и «Юность», написал рассказы «Метель», «Разжалованный» («Встреча в отряде с московским знакомым»), повести «Два гусара» и «Утро помещика».

«Утро помещика» представляет собой сокращенный вариант начатого Толстым еще на Кавказе автобиографического произведения, носившего в рукописях заглавие «Роман русского помещика». Никто до Толстого в русской литературе с таким трезвым реализмом не изображал русского крепостного крестьянина, как это сделано в «Утре помещика». В сравнении с повестью Толстого по силе таланта могут идти лишь «Записки охотника» Тургенева, но по реализму и правдивости, с которой Толстой вскрыл пропасть, отделяющую барина от мужика, «Утро помещика» превосходит и «Записки охотника».

В «Двух гусарах» замечательно изображены представители двух поколений русской военной аристократии. И рядом с ними дан образ уездной русской девушки. С большой лирической теплотой показывает Толстой пробуждение в ее душе чувства первой влюбленности, которое было глубоко оскорблено пошлым и циничным поведением графа Турбина-сына, намерения которого не шли дальше легкой интрижки с попавшейся ему на пути доверчивой и неопытной провинциалкой.

\* \* \*

В конце ноября 1856 года Толстой вышел в отставку. Через два месяца после этого он совершил первое свое

путешествие за границу.

Заграничное путешествие продолжалось полгода. Толстой посетил Францию, Швейцарию, Северную Италию, Германию. В Париже он часто бывал в театрах, музеях, слушал лекции в университете. Зрелище смертной казни через гильотинирование на одной из площадей произвело на Толстого настолько потрясающее впечатление, что он стремительно покинул город и отправился в Швейцарию. Здесь он немало разъезжал и ходил пешком. В Германии, в Дрездене, он дважды посетил картинную галерею, где восторгался «Сикстинской мадонной» Рафаэля, оставшись холодным ко всем другим картинам.

За границей Толстой продолжал работу над начатыми ранее художественными произведениями и написал новую повесть — «Люцерн», подсказанную личными, глубоко взволновавшими его впечатлениями. Толстой в этой повести негодуяще ополчается против современной ему европейской буржуазной цивилизации, не знающей ни жалости, ни участия к человеку, равнодушной к искусству, покровительствующей лишь сытым, душевно черствым богачам. Свой гневный протест он выражает в такой записи, резюмирующей содержание его повести и напечатанной курсивом: «Седьмого июля 1857 года в Люцерне, перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним». И затем этот факт вызывает такие раздумья у Толстого: «Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными, неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях».

Вернувшись в конце июля 1857 года в Россию, Толстой жил то в Ясной Поляне, то в Москве. Литературная работа его шла не так энергично, как раньше. За два с лишним года он создал лишь замечательный рассказ «Три смерти» и небольшой по объему роман «Семейное счастье», которым, однако, остался очень недоволен. Помимо этого, Толстой закончил начатый еще за границей рассказ «Альберт» из жизни музыканта и продолжал работу над «Казачками».

В конце 1859 года он с большим увлечением отдался школьным занятиям с яснополянскими детьми.

Толстой очень остро ощущал оторванность привилегированного меньшинства от тех условий жизни, в каких живет большинство трудового человечества. В его представлении основная масса трудового народа была связана с землей, следовательно, жила жизнью, близкой к жизни природы. Эту жизнь он резко противопоставлял ложной жизни сытых и богатых.

В рассказе «Три смерти» показано, как умирают барыня, мужик и дерево. В смерти барыни, вся жизнь которой далека была от жизни по законам природы, есть что-то отталкивающее и жалкое, мужик, который как раз жил и трудился по законам природы, умирает спокойно и деловито, но прекраснее всего смерть дерева. Она даже не ощущается как смерть, а как возрождение к новой жизни никогда не умирающей природы. Прекрасно и мудро все, что связано с природой и что живет по ее законам; ложно, немощно и внутренне бесплодно то, что живет, нарушая эти законы, — вот мысль, так тесно породнившая Толстого с его учителем Руссо, мысль, проходящая через все, что писал до тех пор Толстой и что он напишет позже.

Все больше и больше задумывается теперь Толстой над тем, как надо воспитывать человека, чтобы подготовить его к подлинно человеческой жизни.



В середине 1860 года он вместе с сестрой и ее детьми вторично поехал за границу. Нужно было навестить лечившегося там от чахотки брата Николая Николаевича. На этот раз путешествие продолжалось более девяти месяцев. Толстой побывал опять в Германии, во Франции, в Италии, посетил Лондон и Брюссель. Но теперь всюду, где он останавливался, он больше всего интересовался вопросами педагогики. Он усиленно посещал школы. Немецкая школа произвела на него тягостное впечатление. «Ужасно, — записывает он в дневник после посещения одной школы в Киссингене, — молитва за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети».

В Лондоне Толстой познакомился с Герценом, которого всегда высоко ценил как писателя и мыслителя, посетил парламент и слушал лекцию Диккенса о воспитании; в Брюсселе встречался с Прудоном, с которым вел длительные беседы, и с польским революционером Лелевелем. На обратном пути через Берлин он посетил немецкого писателя Ауэрбаха, автора «Деревенских рассказов», и ученого-педагога Дистервега.

Брата своего Толстой застал уже в безнадежном состоянии. И снова смерть близкого человека тяжело поразила его...

Он вернулся в Россию. В нем была сильнее, чем когда-либо, жажда общественной деятельности. Крепостное право было только что уничтожено, но судьбы русского крестьянства, по-прежнему бесправного, глубоко волнуют Толстого. Сам помещик, граф, он чувствует и свою долго ответственности за эти судьбы. Он принимает должность мирового посредника, чтобы способствовать облегчению участи крестьянства в своих родных местах, и со страстью предается педагогической деятельности в устроенной им яснополянской школе для крестьянских детей. Он пишет

педагогические статьи, издает в течение года с лишним педагогический журнал «Ясная Поляна».

Общественная и педагогическая деятельность сделала Толстого подозрительным в глазах правительства, и по предписанию из Петербурга в его отсутствие в Ясной Поляне был произведен тщательный обыск...

\* \* \*

В сентябре 1862 года Толстой женился на дочери московского врача придворного ведомства Софье Андреевне Берс. Он почувствовал себя счастливым мужем и счастливым отцом все умножавшегося семейства. Став семьянином, он увлекся хозяйственной деятельностью, не отвлекавшей его, впрочем, от напряженной литературной работы, которая вновь его захватила. Он закончил давно начатых «Казakov» и в 1863 году напечатал их. В том же году вышла в свет повесть «Поликушка», начатая во время второго заграничного путешествия.

«КазакИ» — одно из самых поэтических созданий Толстого. Люди и природа Северного Кавказа изображены тут во всей своей стихийной силе и почти первобытной красоте. Дяде Ерошке, красавице Марьянке, казаку Лукашке неведом тот душевный разлад, каким заражен столичный аристократ Оленин (во многом образ автобиографический). Оленину самому хочется зажить такой же простой и гармонической жизнью, какой живут эти люди, но он отягчен душевным грузом, от которого не в силах освободиться. Он чужой здесь, его любовь к Марьянке остается безответной, и он уходит от казаков, чтобы возвратиться в привычные для него условия жизни.

«Поликушка» — жуткая история крестьянина, живущего в пору крепостного права. Как и в «Утре помещика», Толстой в этой трагической повести показывает тщету всяких попыток со стороны помещиков прийти на помощь крепостным крестьянам даже тогда, когда помещики искренне хотят этого. Несомненно, он вспоминает тут о своих многочисленных и глубоко не удовлетворявших его попытках облагодетельствовать своих крестьян. Повесть написана с тем же суровым и откровенным реализмом, что и «Утро помещика», и держит читателя все время в состоянии взволнованного напряжения.

Внутренняя ложь и уродство жизни привилегированных классов художественно ярко и смело показаны Толстым в повести «Холстомер», задуманной еще в 1856 году, в большей своей части написанной в 1863 году, но окончательно отделанной лишь в 1865 году. Необычен герой повести: Холстомер — это лошадь. Перед читателем проходит вся жизнь Холстомера — от молодости, когда он был замечательным рысаком, до старости, когда он превратился в жалкую клячу. И параллельно с этим Толстой рисует образы хозяев, поочередно владевших Холстомером. Эта повесть заставляет вспомнить о «Трех смертях». Холстомеру непонятна та масса условностей и предрассудков, которыми люди опутали свою жизнь. Ему представляется бессмысленным и противоречивым институт собственности. Жизнь лошади, живущей по законам природы, оправдана вся, от начала до конца, жизнь же ее хозяев ничтожна и жалка. И смерть их не приносит окружающим ничего, кроме досадных хлопот. Мертвым телом Холстомера напитались собаки, птицы и голодные волчата, кости его употребил мужик для своих нужд, пригодилась людям и его шкура. Тело же долголетнего владельца лошади князя Серпуховского и кости его никому ни на что негодились.

В конце 1863 года Толстой принялся за работу над самым могучим своим созданием — над романом «Война и мир». Шесть с лишним лет «непрестанного и исключительного труда при наилучших условиях жизни», как говорил сам Толстой, потребовалось для того, чтобы написать «Войну и мир». Это исторический роман, равного которому по художественным качествам, по глубине содержания и широте охвата не знает ни одна литература во всем мире. Знаменитый французский писатель Флобер, один из величайших европейских романистов, познакомившись с «Войной и миром» во французском переводе, с восторгом восклицал: «Это Шекспир, это Шекспир!» Русский критик и философ И. Н. Страхов, к голосу которого особенно прислушивался Толстой, писал о «Войне и мире»: «Какая громада и какая стройность! Ничего подобного не представляет нам ни одна литература. Тысячи лиц, тысячи сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения — от ощущений вора, укравшего червонцы у своего товарища, до высочайших движений героизма и дум внутреннего просветления — все это есть в этой картине... Подобного чуда в искусстве, притом чуда, достигнутого самыми простыми средствами, еще не бывало на свете».

Сам Толстой, очень сдержанно относившийся к своим произведениям, часто резко осуждавший их, относительно «Войны и мира» как-то сказал А. М. Горькому: «Без ложной скромности — это как «Илиада». Мы добавили бы: «И как «Одиссея», потому что в романе с одинаковой художественной силой изображены картины военной и мирной жизни.

К «Войне и миру» Толстой пришел от повести «Декабристы». В этой повести рассказывалось о событиях 1856 года — времени возвращения из Сибири героя произведения. Но начатая повесть вскоре была оставлена. Толстой почувствовал необходимость для объяснения судьбы своего героя в 50-х годах обратиться в глубь истории, сначала к 1825 году — поре молодости героя. Эта пора совпала со «славной для России эпохой», «запах и звук» которой еще слышны были во время работы Толстого над романом.

Но и на этот раз он оставил начатое: личность героя, как говорит Толстой в наброске предисловия к роману, отступила в его изображении на второй план, а на первое место выступила сама эпоха, предшествовавшая 1812 году и ею подготовившая, — с ее людьми, молодыми и старыми мужчинами и женщинами.

Толстой начал роман с событий 1805 года.

Отойдя таким образом от 1856 к 1805 году, Толстой, судя по тому же наброску его предисловия, намерен был провести своих героев и героинь через исторические события 1805, 1812, 1825 и 1856 годов. Гораздо более короткий, чем было задумано, период времени, в котором происходит действие «Войны и мира», выбрал зато в себя такой материал, который и не мыслился в начале работы над романом. По первому замыслу Толстого, преобладающей темой в романе должна была быть семейная, а исторические события — лишь фоном для нее. Отсутствовало описание Бородинской битвы: лишь эпизодически выступали Александр I, Наполеон, Кутузов, причем Наполеон вначале изображался не так отрицательно, как в завершительной редакции «Войны и мира».

В ранней редакции романа отсутствовал еще народ как истинная сила, отсутствовала народная война, не был выведен и Платон Каратаев, ставший затем в глазах Толстого воплощением народной мудрости и мужицкой

правды. И лишь по мере того, как работа над романом подвигалась вперед, он превращался в величественную эпопею народной доблести и славы, не утратив, однако, черт семейной хроники, намеченных в первоначальном его замысле. Творчески вживаясь в эпоху, Толстой понял, каковы были основные движущие силы в героических событиях этого славного людьми и делами времени. Величайшая художественная четкость приводила Толстого к тому творческому озарению, которое открывало ему подлинную правду жизни и истории.

И в той «Войне и мире», которую мы знаем, самый главный, самый непререкаемый герой — русский народ, защищающий родную землю от вторгшегося в нее, непобедимого до тех пор и увенчанного военными лаврами Наполеона и его армии. Война России с иностранными захватчиками показана Толстым в романе как война народная; поэтому она и кончилась победой русского народа. С правдивостью историка и художника-реалиста Толстой показал, что Отечественная война 1812 года была справедливой войной. Обороняясь, русские подняли «дубину народной войны», которая «гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие». «Скрытая теплота патриотизма» поднялась во всех слоях русского общества: ненависть к врагу в одинаковой мере испытывали и купец Ферапонтов, и князь Андрей Болконский, вначале преклонявшийся перед Наполеоном как полководцем.

Проигрыш русскими Аустерлицкого сражения Болконский объясняет тем, что при Аустерлице нам не за что было драться, и потому мы, заранее сказав себе, что проиграем сражение, действительно его проиграли. Предстоящая же битва (при Бородине), по твердому убеждению Болконского, должна быть русскими выиграна, потому что победа зависит от того чувства родины, которое есть в нем самом, в капитане Тимохине

и каждом русском солдате. Толстой говорит тут о воле к победе всего русского войска перед Бородинской битвой. Пьер Безухов накануне Бородина видит, как лица солдат, строгие и значительные, осветились «новым светом», а в самый разгар боя, «как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня». Пьер понял главное, что привело их к победе: «Они не говорят, но делают».

Бородинская битва, по мысли Толстого, была прежде всего нравственной победой русского народа. Русские, потеряв половину своего войска, стояли так же грозно в конце сражения, как и в начале его. И французы поняли нравственное превосходство своего противника; поняла также, что сами они были нравственно истощены, опустошены. Это и предопределило в дальнейшем их полное поражение.

Докатившись до Москвы, смертельно раненная французская армия неминуемо должна была погибнуть. Оставление Москвы ее жителями, по убеждению Толстого, произошло потому, что «для русских людей не могло быть вопроса: хорошо или дурно будет под управлением французов в Москве? Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего. И оттого, что жители покинули Москву, совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа».

Сила народного духа выдвигает великих полководцев, осуществляющих в своей деятельности волю народа. Таким полководцем в войну 12-го года был Кутузов. О нем Толстой говорит: «Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его. Только признание в нем этого чувства заставило народ такими

странными путями его, в немилости находящегося старика, выбрать, против воли царя, в представителя народной войны».

Кутузов всегда утверждал, что Бородинское сражение было победой русских войск и что эта победа повлекла за собой катастрофу наполеоновской армии. В одном из черновых вариантов «Войны и мира» Толстой писал: «Приняв командование армиями в самую трудную минуту, он вместе с народом и по воле народа делал распоряжения для единственного сражения во все время войны, сражения при Бородине, где народ напряг все свои силы, и где народ победил, и где один Кутузов, чувствовавший всегда вместе с народом, противно всем толкованиям своих генералов, противно преданиям о признаках победы, предполагающим занятие места, знал то, что знал весь русский народ, — то, что народ этот победил».

Полной противоположностью Кутузову в изображении Толстого является Наполеон, человек самовлюбленный и самомнительный, воплощающий в себе личное начало, верящий лишь в себя и в свою непогрешимость полководца и распорядителя человеческими судьбами.

Рядом с Кутузовым ничтожными пигмеями и бездарностями изображены в «Войне и мире» генералы из немцев, служившие в русской армии в войну 12-го года. Самоуверенная ограниченность немцев ярче всего воплощена Толстым в образе генерала Пфуля, незадачливого организатора Дрисского укрепленного лагеря. Пфуль, по словам Толстого, «был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы». Сравнивая характер самоуверенности у разных народов, Толстой пишет: «Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он



воображает, что знает истину, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина».

Духовная сила, которую обнаружил русский народ в Отечественную войну 1812 года, — та сила, что воплотилась в деятельности Кутузова, — дает себя знать и в Андрее Болконском, и в Пьере Безухове, и в Наташе Ростовой, и в других персонажах «Войны и мира». В самые значительные моменты своей жизни они прибегают к народной правде и ею духовно возрождаются.

Характерная особенность художественного письма «Войны и мира», обусловившая его реалистичность, заключается в том, что автор, выводя своих героев, не говорит и не рассуждает за них, но им самим предоставляет говорить, чувствовать и действовать. Каждое их душевное движение, каждый поступок и каждое слово находятся в полном соответствии с их характерами. И битвы и другие события в «Войне и мире» доводятся до сознания читателя не путем авторского пересказа, а через впечатления лиц, в них принимавших участие. Шенграбенское сражение описано большей частью так, как его воспринимает Андрей Болконский; битва при Аустерлице передается через впечатления Николая Ростова. И самих действующих лиц романа Толстой предпочитает описывать не от себя, а сообщая читателю впечатления от них других своих героев. При этом внутренний и внешний облик того или иного героя выступает не сразу, а раскрывается постепенно, так, как это нужно и естественно по ходу действия романа.

Природа в «Войне и мире», как и в большинстве других произведений Толстого, также изображается не путем авторских описаний, а через ощущение ее действующими лицами. И тогда то, о чем говорит Толстой, с поразительной силой жизненности встает перед читателем.

«Война и мир» в наше время — самое популярное и самое любимое произведение искусства. Его жадно перечитывают миллионы советских читателей и в тылу, и на фронте, потому что страницы, посвященные героическому прошлому русского народа, помогают лучше осмыслить и почувствовать героизм и духовное величие нашего народа в настоящем. Они вооружают к борьбе, внушают веру в наше полное торжество над теперешним нашим врагом — кровавым гитлеризмом, воодушевляют к подвигу. Толстой своим гениальным постижением русского народного духа в пору тяжких исторических испытаний крепит нашу мощь и помогает нам защищать нашу Родину.

Не только на советской земле, освобождающейся от вражеского нашествия, бессмертная эпопея Толстого звучит так, как не звучала она еще никогда: ее читают и перечитывают теперь всюду, где ненавидят гитлеровскую Германию и ведут с ней борьбу. В Англии, в Америке, в Швейцарии выходят новые и новые издания «Войны и мира». О романе Толстого с восторгом говорят критики, писатели, журналисты, общественные деятели дружественных нам стран.

В Англии «Война и мир» передается по радио, в Америке по тексту романа сделан большой фильм. Газета «Таймс» цитирует письмо одного из своих подписчиков, который за последний год перечитал «Войну и мир» пять раз. «Неизменно, — пишет он, — я черпал в бессмертном произведении Льва Толстого спокойствие и уверенность в победе...»

В художественных образах «Войны и мира», и в главных и второстепенных, нас привлекает не только глубокое проникновение Толстого в человеческие характеры и в исторический быт, не только исключительный по силе реализм, но и его глубокая вера в непочатые силы народа, а также та утверждающая и радостная сила жизни, которой

проникнут весь роман. Великая эпопея Толстого пробуждает в нас лучшие человеческие чувства, как это делают создания Пушкина, Шекспира и других гениев человечества.

\* \* \*

В 1865 году на среднерусскую деревню надвигался голод. В это время Толстой, чувствовавший себя в пору работы над «Войной и миром» на вершине личного счастья, написал Фету очень характерное письмо: «Последнее время я своими делами доволен, но общий ход дел, т. е. предстоящее народное бедствие голода, с каждым днем мучает меня больше и больше. Так странно и даже хорошо и страшно: у нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях рады, что жарко и тень, а там этот злой черт — голод — делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле, и обдирает мозольные пятки мужиков и баб, и трескает копыта скотины и всех их проберет и расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом на расписном блюде достанется».

В этих словах, пока еще глухо, слышится тот мотив возмездия, который громко зазвучит у Толстого в 80-е годы.

Вскоре после того, как написаны были приведенные строки, Толстой заносит в записную книжку: «Всемирнонародная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности». Таким образом уже в 60-х годах главное средство разрешения социальных

противоречий Толстой видел в упразднении частной собственности на землю.

Очень важным событием в жизни Толстого в этот период было его выступление в качестве защитника по делу солдата Шибунина, ударившего офицера, систематически его преследовавшего. Толстому, однако, не удалось добиться смягчения участи своего подзащитного, и по приговору военного суда Шибунин был расстрелян. Вспоминая незадолго до своей смерти о казни Шибунина, Толстой писал: «Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо большее влияние, чем все кажущиеся более важные события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неудачи в литературе, даже потеря близких людей».

Вскоре после окончания работы над «Войной и миром» Толстой задумал роман из эпохи Петра I, но, заготовив для романа много материала и написав ряд замечательных фрагментов его, он прекратил эту работу: неподкупный реалист, он остался неудовлетворен той степенью реальности в изображении отдаленной петровской эпохи, которой ему удалось достигнуть.

С большой энергией он взялся за составление задуманной им «Азбуки» для народа.

В это же время он принялся изучать греческий язык и в три месяца настолько овладел им, что мог без словаря читать греческих авторов.

Толстому было тогда 42 года.

В 1870 году он писал Фету: «С утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Невероятно и ни на что не похоже. А *livre ouvert* <sup>[3]</sup> читаю Ксенофонта.

Жду с нетерпением показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня бог насладил эту дурь! Я убедился, что из всего истинно-прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как все».

Свой «фокус» Толстой вскоре показал специалисту-классику профессору Леонтьеву, по достоинству оценившему необычайные его успехи в усвоении языка, которого еще три месяца тому назад совершенно не знал.

Тогда же Толстой «страстно, но урывками», как он говорит, занимался естественными науками, особенно физикой и астрономией.

Второй великий роман Толстого — «Анна Каренина», за который он принялся в марте 1873 года, не оторвал его от новых разносторонних занятий и интересов. В это время он вновь особенно увлекается педагогикой — она стала для него важнее, чем литературная деятельность. Своей родственнице А. А. Толстой он сообщает: «Я опять в педагогике, как четырнадцать лет тому назад; пишу роман, но часто не могу оторваться от живых людей для воображаемых».

С 1871 по 1875 год Толстой несколько раз ездил в Самарскую губернию для лечения кумысом: здоровье его было расшатано усиленной работой. В 1872 году Самарскую губернию постиг голод, и он принял энергичное участие в помощи пострадавшему от голода населению.

В 1877 году разразилась русско-турецкая война. У Толстого она вновь вызвала подъем патриотических чувств. Еще до начала войны, в ноябре 1876 года, он приехал в Москву со специальной целью — узнать последние известия о военных приготовлениях. В день объявления войны он писал А. А. Толстому, что начавшаяся война «занимает» и «сильно трогает» его. Через четыре месяца после этого в письме к Н. Н. Страхову он признался, что не может писать «от волнения». «Мысль о войне», «вопрос о нашей несостоятельности» «застилает все». Толстой думал, что «мы находимся на краю большого переворота». Он замышляет написать Александру II письмо, в котором

хочет указать причины наших неудач и высказать свою точку зрения по поводу общего состояния России. Своей жене Толстой говорил, что, пока продолжается война, он не может ни за что взяться. Когда же в ноябре 1877 года русские войска взяли турецкую крепость Карс, он в письме к Фету облегченно признался, что ему «перестало быть совестно».

И как раз в том же году была закончена и вышла полностью в свет «Анна Каренина». Задумывая новый роман, Толстой первоначально хотел показать в нем судьбу «потерявшей себя замужней женщины из высшего общества». Но чем дальше подвигалась работа над романом, тем все шире раздвигались его рамки, как это всегда бывало у Толстого, когда он осуществлял свои литературные замыслы. В завершительной редакции «Анна Каренина» превратилась в роман с очень широким и очень глубоким охватом лиц и событий, отразив в себе целую эпоху русской жизни. В окончательном тексте романа Толстой с поразительным мастерством и предельной силой психологической правды изобразил трагедию молодой, внутренне незаурядной женщины, попытавшейся пойти тем путем, какой подсказывал ей живой инстинкт жизни, и погибшей в тисках светского уклада с его лживой и бездушной моралью.

«Свет» и вся обстановка старой России — все становится на пути Анны и ее любви к Вронскому. Муж ее — Каренин — не способен удержать ее от увлечения блестящим, красивым Вронским. Каренин — черствая натура, канцелярская машина; в нем редко проявляется настоящий живой человек. Ему не хватает таланта любви, которым в избытке наделена Анна. Но в своей любви к Вронскому она не находит счастья, потому что у Вронского нет той широты понимания страдающей женской души и той чуткости, какие особенно нужны

были Анне, чтобы справиться со своим непосильно тяжелым бременем, которое выпало на ее долю.

Рядом с историей жизни Анны Карениной, Каренина, Вронского в романе показана жизнь Левина и его невесты, а затем жены — Кити. Здесь Толстой в очень большой степени отразил свою собственную жизнь и жизнь своей невесты и жены в ее молодости, а также свои поиски смысла и цели жизни. Вместе с тем судьба всех героев романа, и основных и второстепенных, показана в тесной связи с эпохой 70-х годов. Получилась яркая картина тех настроений и социальных и экономических сдвигов, какие характеризовали жизнь разных слоев общества тогдашней России, начиная от дворянских верхов и кончая крестьянством. Все основное, что занимало и волновало широкие круги русского общества в то время, нашло в романе свое отражение. Пореформенный помещичий и крестьянский быт, научные и философские проблемы эпохи, вопросы искусства, исторические и политические события, отдельные правительственные мероприятия, факты общественной жизни — все это так или иначе отразилось в «Анне Карениной».

Так усложнилась тема романа, задуманного первоначально лишь как повествование о судьбе неверной жены. Недаром Ленин, приводя цитату как раз из «Анны Карениной» (слова Левина: «У нас теперь все это перевернулось и только укладывается»), указывает, что «трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861–1905 годов».

Через двенадцать лет после написания «Анны Карениной» Толстой писал своему хорошему знакомому Г. А. Русанову: «Иногда хочется все-таки писать и, представьте себе, чаще всего именно роман, широкий, свободный, вроде «Анны Карениной», в который без напряжения входило бы все, что кажется мне понятным с новой необычайной и полезной людям стороны».

Характерно, что у Толстого работа над художественным произведением всегда сопровождалась стремлением уяснить себе существенные вопросы, волновавшие его и выдвигавшиеся современностью. Он вмещал в роман все казавшееся ему животрепещущим, идейно значительным, смело нарушая общепринятые литературные каноны и жертвуя ими, когда ему нужно было откликнуться на факты реальной жизни, так или иначе задевавшие его и заставлявшие работать его сознание. Художественный образ для Толстого был прежде всего средством возможно более точно и наглядно сообщить читателю свои мысли о жизни и одновременно самому себе помочь оформить их в их конкретном выражении.

«Анна Каренина» — произведение, в котором глубина идейного замысла органически сочеталась с изумительной мощью словесного искусства. По силе и мастерству изображения живых людей с их душевными переживаниями, с их радостями и страданиями, волнениями и заботами, нравственными исканиями и блужданиями этот роман не уступает «Войне и миру». В «Анне Карениной» Толстой все тот же великий художник-психолог, необыкновенный знаток человеческой души. Казалось бы, что во всем, ранее им созданном он исчерпал все разновидности человеческой психологии и человеческих характеров, доступные писательскому и жизненному опыту одного художника. Однако в «Анне Карениной» писатель, не повторяя себя, показал нам новые человеческие индивидуальности и проник в новые психологические глубины, им пока еще не затронутые или затронутые лишь мимоходом. Анна, Вронский, Каренин, Левин, Кити, Стива Облонский, его жена Долли — все эти образы — замечательные художественные открытия. Они были под силу только все крепнувшему и развивавшемуся таланту Толстого, нашедшего сверх того и новые, свежие краски для



изображения в своем романе быта и природы, и новые формы построения самого романа.

\* \* \*

Ко времени окончания «Анны Карениной» уже вполне созрел тот перелом во взглядах Толстого на жизнь, на ее нравственные основы, на религию, на общественные отношения, который лишь углублялся в 80-е годы и затем отразился во всех последующих произведениях Толстого. В 80-е годы из-под его пера вышли такие сочинения, как «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», в которых он с большим волнением и с большой искренностью пересматривал и свои собственные нравственные, религиозные и общественные взгляды и навыки, и все то, чем жило современное ему общество и что усердно охранял социальный и государственный строй царской России. Критика Толстого направлена была, впрочем, не только против отрицательных сторон одной лишь русской действительности, но и против устоев жизни привилегированных классов вообще во всех цивилизованных странах.

Начав с отрицания церковной веры, Толстой все больше проникается отрицательным отношением к государственному строю Российской империи. Ему внушает отвращение фигура Победоносцева, ставшего опорой реакции. В 1881 году Толстой пишет Александру III письмо, в котором просит его помиловать революционеров, убивших Александра II, но Победоносцев отказывается передать это письмо по назначению. Тогда же Толстой записывает в дневнике: «Революция экономическая не то что может быть, а не может не быть. Удивительно, что ее нет».

Когда десять народовольцев по «процессу 22-х» были приговорены к смертной казни, он, справляясь в письме к жене об участии приговоренных, пишет ей: «Не выходят у меня из головы и сердца. И мучает, и негодование поднимается».

В сентябре 1881 года Толстой с семьей на длительное время поселился в Москве, чтобы дать образование подросткам. Посещение им московского Хитрова рынка и ночлежного дома, а также участие в январе 1882 года в трехдневной московской переписи открыло ему глаза на ужасы городской нищеты и городского разврата. Об этом он рассказал в большой статье «Так что же нам делать?», изложив в то же время в ней свои основные взгляды на проблемы религии, морали, науки, искусства, а также на проблемы социальные, экономические и педагогические.

В этой статье вполне определились позиции Толстого, сблизившие его с идеологией русского патриархального крестьянина, все больше разоряемого, нищавшего по мере того, как и деревню захватывал развивавшийся капитализм. Ленин наглядно показал, в какой мере протест и критика Толстого были отражением настроений обездоленной крестьянской массы. Теперь уже до конца своих дней Толстой и в своих публицистических и религиозных статьях, и в художественных произведениях особенно энергично и настойчиво выступает как суровый обличитель устоев капиталистической действительности.

«Я отрекся от жизни нашего круга, — пишет он в «Исповеди», — признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь, и что для того, чтобы понять жизнь, я должен понять жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа — того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей».

«Простой трудовой народ» — было русское многомиллионное крестьянство.

В мировоззрении Толстого отразилась вся противоречивость крестьянского мышления и крестьянской психологии в пору стремительного наступления капитализма и подготовки в России буржуазно-демократической революции. Ленин гениально отметил, что противоречивость эта и у нашего крестьянства, и у Толстого сказалась в том, что страстный протест против гнета полицейско-самодержавного государства совмещался у них с пассивным отношением к царившему злу, с религиозной мечтательностью и проповедью непротивления.

«Противоречия во взглядах Толстого, — говорит Ленин, — надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма, а с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней»<sup>[4]</sup>. Подходя так к противоречиям во взглядах Толстого, Ленин увидел в них «действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции»<sup>[5]</sup>. По словам Ленина, Толстой «сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования»<sup>[6]</sup>.

Близко принимая к сердцу народное горе, смело и энергично обличая все то, что он считал причиной бедственного положения народа, Толстой последние тридцать лет своей жизни упорно и настойчиво проповедовал свое учение, которое, по его убеждению, должно было способствовать водворению истинной справедливости и «царства божия» на земле. Его

проповедь и его учение оказались бессильными в деле переустройства жизни на началах добра и справедливости, как того хотел Толстой. И это потому, что Толстой в своих воззрениях и в своем отношении к волновавшим его вопросам исходил не из непреложных законов исторической необходимости, а из отвлеченных моральных и религиозных положений.

Толстой утверждал, что все завоевания культуры и цивилизации ничего, кроме вреда, не принесли трудовому народу, и потому ополчился против этих завоеваний, как ополчился, в частности, и против научного и технического прогресса. Не возражая против использования всех достижений техники для подчинения природы человеку, Толстой все же единственно оправданным видом человеческого труда считал труд земледельческий, а идеальным общественным строем — строй своеобразного «христианского коммунизма». Утопическая система Толстого находилась в явном противоречии с реальной действительностью и поэтому не могла сыграть положительной роли в социальном строительстве.

Тем не менее Ленин, признавая в целом учение Толстого утопичным и реакционным, говорил, что Толстой велик как «выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени буржуазной революции в России»<sup>[7]</sup>. Мировое значение Толстого как художника и мировую его известность как мыслителя и проповедника Ленин объяснял тем, что и в том и в другом по-своему отразилось мировое значение русской революции. Ленин очень образно сказал: «Великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами отразилось в учении Толстого»<sup>[8]</sup>. Наконец, утопичность и реакционность учения Толстого, по мысли Ленина, не препятствует тому, чтобы считать его учение

социалистическим (речь идет, разумеется, о социализме утопическом) и признавать в нем наличие критических элементов, «способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов»<sup>[9]</sup>.

Религиозно-философские и публицистические сочинения Толстого по цензурным условиям не могли печататься в России. Они издавались за границей, сначала в Швейцарии, а затем в Англии при посредстве его друга и единомышленника В. Г. Черткова, с которым он познакомился в 1883 году. При ближайшем участии Толстого и при деятельной помощи Черткова в конце 1884 года в Москве основано было издательство «Посредник», ставившее себе задачей создание литературы для народа в духе тех идей, которые Толстой проводил в своих сочинениях. В этом издательстве вышел также ряд его собственных рассказов.

Стремясь согласовать свою жизнь со своим учением, Толстой желал приблизить и свой быт к жизни и быту трудового народа. Он ограничил свои потребности и чередовал литературную работу с физическим трудом. И в то же время, уже стариком, он снова принялся изучать новый язык — древнееврейский. На этом языке он читал Библию.

Толстовская проповедь вызвала со стороны правительства и церковных властей резко недоброжелательное отношение. Только огромный авторитет великого писателя спасал его от личных преследований. Но еще больше, чем цензурные притеснения, чем травля и клевета, огорчало Толстого то, что в своей собственной семье он не только не встречал сочувствия своему образу мыслей, но наталкивался на противодействие всему тому, что теперь ему было особенно дорого. Жить Толстому в таких условиях было настолько трудно, что он несколько раз уже в эту пору пытался уйти из своего дома.

Моральный и религиозный кризис, вполне определившийся у Толстого к началу 80-х годов, не мог не сказаться на всем характере его художественного творчества этого и последующего времени, как не мог он не сказаться и на взглядах его на задачи искусства. Теперь Толстой энергично восстает против искусства, рассчитанного на удовлетворение вкусов и потребностей привилегированных классов, и защищает искусство всенародное, способное объединить возможно большее количество людей в их духовной деятельности. Такое искусство должно быть общепонятным и должно отвечать на жизненные запросы трудовой народной массы, то есть, по взгляду Толстого, крестьянства.

И теперь, как в молодые годы, он необыкновенно высоко оценивает народное творчество — сказки, легенды, песни, былины, пословицы — и берет это творчество за образец для себя как писателя. Так создаются народные рассказы Толстого, которые ставят себе задачей дать народу здоровую духовную пищу, взамен низкопробной и безыдейной лубочной литературы. Многие из этих рассказов написаны в форме притчи, и этим еще больше подчеркивается их поучительный, сугубо моралистический характер. Им чужд изощренный психологизм большинства произведений Толстого, но они отличаются той ясностью и сжатостью стиля и той простотой, которые сами по себе являются высоким достижением искусства и роднят прозу народных рассказов не только со стилем народного творчества, но и с гармонически ясной и прозрачной прозой Пушкина.

Наряду с народными рассказами Толстой пишет в ту пору и народные драмы, которые противостояли балаганным представлениям так же, как народные рассказы лубочной литературе. По своим художественным качествам эти драматические опыты в большинстве уступают народным рассказам, но среди

них высится, как мировой драматический шедевр, пьеса «Власть тьмы» — подлинная трагедия шекспировской мощи. Толстой в ней использует те средства проникновенного психологического анализа, которые так хорошо знакомы нам по его предшествующим произведениям и к которым он намеренно не прибегал в народных рассказах. В пьесе показана с огромным художественным мастерством патриархальная, отсталая русская деревня в ее столкновении с проникающими в нее капиталистическими отношениями. Впечатление, произведенное «Властью тьмы» не только в России, но и в Западной Европе, было очень велико. Вслед за русской сценой она появилась и на западной сцене, во многих заграничных театрах.

Вскоре после «Власти тьмы» Толстой написал комедию «Плоды просвещения», в которой изобразил праздное барство, увлекающееся модным в ту пору спиритизмом. Это злая и очень остроумная сатира на господские причуды и господское безделье. Сочувственно изображены в комедии только безземельные крестьяне, добившиеся продажи им господской земли лишь при помощи изобретательной, смышленной и веселой своей односельчанки — горничной, одурачившей бар вмешательством «духов», которое она сама ловко подстроила.

В том же году, что и «Власть тьмы», появляется в свет одна из замечательнейших повестей Толстого — «Смерть Ивана Ильича», написанная на тему об ужасе умирания человека, все существование которого было наполнено ничтожной и жалкой житейской пустотой. Ничего сколько-нибудь значительного, что поднималось бы над мелочным распорядком размеренной жизни, не было в скудной биографии Ивана Ильича; никакие серьезные вопросы, выходящие за пределы служебной карьеры и обеспеченного домашнего быта, не приходили ему в голову. Но вот его неожиданно

настигает тяжелая, мучительная болезнь, приключившаяся от случайного легкого ушиба. С гениальной интуицией Толстой изображает все течение болезни, со всеми ее деталями, показывая при этом, как впервые у Ивана Ильича возникает работа внутреннего сознания, приводящая его к суровой самопроверке, к безнадежному отчаянию человека, которому нечем оправдать себя перед лицом неминуемой смерти. Никто до Толстого, да и после него, не вскрыл с такой правдивостью душевную и физическую муку умирающего, жизнь которого была сплошной бессмыслицей и самообманом.

В конце 80-х годов и в начале 90-х годов Толстой усиленно работал над художественными произведениями на тему о половой любви. К этому времени относятся «Крейцера соната» и «Дьявол», а также начало работы над повестью, из которой через десять лет вырос роман «Воскресение». И в «Крейцеровой сонате» и в «Дьяволе» Толстой с необыкновенной смелостью вскрыл губительность испепеляющей человека стихии чувственной любви, не согретой ни одним лучом человеческих, духовных отношений. Эта же тема занимает значительное место в тогда же начатой, но так и не законченной повести «Отец Сергей».

То мирозерцание и то отношение к жизни, которое определялось у Толстого в 80-е годы, в дальнейшем все более и более укреплялись. В 1891 году Толстой, преодолев сопротивление жены, публично заявил об отказе от литературной собственности на свои произведения, написанные после 1881 года. В 1891-1893 годах и 1896-м он принимал энергичное участие в помощи пострадавшим от голода: сам посещал голодающие деревни в Рязанской, Тульской и Орловской губерниях, устраивал для голодающих столовые,



организовывал сбор денежных пожертвований, писал статьи о способах борьбы с голодом.

В этих статьях Толстой не мог не связывать тяжелое народное бедствие со всем государственным и общественным строем современной ему России и не мог не осуждать сурово этот строй. Реакционная газета «Московские ведомости», перепечатывая выдержки из статьи Толстого «Почему голодают русские крестьяне?» (так озаглавленной в обратном переводе с английского языка), в редакционной статье писала: «Письма гр. Толстого... являются открытою пропагандою к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя. Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда».

После этой статьи в сферах, близких ко двору, высказывалось мнение о необходимости выслать Толстого, или засадить его в дом для умалишенных, или заточить в тюрьму Суздальского монастыря. Н. Я. Грот писал Толстому, что весь Петербург целую неделю только и говорит о его статье о голоде и что «все богатые тунеядцы раздражены» против Толстого «донельзя». В. Н. Ламздорф, занимавший крупный пост в министерстве иностранных дел, записал в своем дневнике, что недавно захваченные прокламации находились в прямой зависимости от мыслей, высказанных Толстым в этой статье, и это доказывает действительную опасность статьи. Тут же Ламздорф добавил, что в Петербурге было произведено несколько обысков.

В своих письмах к Александру III и потом к Николаю II Толстой очень смело и настойчиво протестовал против всяческих проявлений произвола и насилий, характеризовавших самодержавный режим. Так, в конце декабря 1901 года он пишет Николаю II письмо, в

котором призывает его уничтожить «тот гнет, который мешает народу высказать свои желания и нужды», отменить «те исключительные законы», которые ставят трудовой народ «в положение пария», предоставить русским гражданам «свободу передвижения, свободу обучения и свободу исповедания веры» и уничтожить частную собственность на землю.

Выражением страстного протеста против коренных устоев самодержавного строя явился и роман Толстого «Воскресение». Начатый еще в 1889 году, он продвигался медленно, с большими остановками, и лишь с 1898 года работа над ним пошла очень интенсивно. Толстой решил в виде исключения продать роман и вырученным гонораром помочь сектантам-духоборам, переселявшимся в Канаду в результате преследования их царским правительством. Обличительная сила романа была настолько велика, что текст его, печатавшийся в России в журнале «Нива» за 1899 год и затем выпущенный отдельным изданием в 1900 году в Петербурге, появился с огромным количеством цензурных изъятий и изменений. Бесцензурное издание романа могло выйти лишь за границей в Англии, где его параллельно с русским изданием печатал В. Г. Чертков. Выход в свет «Воскресения» был основным поводом к отлучению Толстого синодом в 1901 году от церкви.

В «Воскресении» дана суровая переоценка всех тех устоев, на которых покоилась жизнь привилегированных классов общества. Действие романа, его персонажи, обстановка, в которой разворачиваются события, — все это приурочено к определенной эпохе русской жизни, хотя, по существу, может характеризовать жизнь любого общества капиталистической эпохи.

Рисуя судьбу Катюши Масловой, жертвы плотской страсти князя Нехлюдова, и затем возрождение посланной в Сибирь Масловой под влиянием ссыльных революционеров, мастерски изображая раскаяние

Нехлюдова и его стремление нравственно переродиться, Толстой в то же время показывает в романе нищую, разорившуюся деревню, царскую тюрьму и ее обитателей, сибирскую ссылку и революционеров, дает обличительное изображение суда, церкви, высшего чиновничества и всего государственного и общественного строя самодержавной России.

История мировой литературы не знает другого произведения, в котором с такой взволнованностью, с такой чистотой высокого нравственного чувства и в такой широте были бы показаны неправда и вопиющая ненормальность капиталистического строя и самодержавно-полицейского режима, как это сделано в «Воскресении». Все, что до тех пор писал Толстой как проповедник-обличитель, все, против чего он выступил как моралист и публицист, нашло себе в «Воскресении» свое наиболее художественное выражение. Ни одно из предшествовавших художественных созданий Толстого не заключало в себе такого разоблачения капиталистической действительности, как «Воскресение».

В последующих своих произведениях, и художественных и публицистических, Толстой не переставал отзываться на все, что волновало его нравственное сознание и тревожило его взыскательную совесть.

На склоне своих дней он написал пьесу «Живой труп» и повесть «Хаджи-Мурат» — произведения, во многом резко противоречащие его учению о непротивлении. Главное действующее лицо «Живого трупа» — Федя Протасов — живое воплощение горячего протеста против узаконенного лицемерия буржуазной семьи, в которой супружеские отношения скреплены не чувством взаимной любви, а узами юридического принуждения. Тут прописные заповеди «морали» оказываются жалкими и беспомощными перед

естественной силой душевной привязанности, связывающей Протасова и цыганку Машу. Не отвлеченные моральные предписания определяют поведение человека, а живое полноценное чувство, не стесняемое никакой условной ложью, не допускающее никаких компромиссов и сделок с голосом совести. Таков внутренний смысл пьесы Толстого.

В «Хаджи-Мурате» с таким замечательным художественным мастерством нарисована фигура непокорного, свободолюбивого горца, с такой нескрываемой симпатией относится к нему Толстой, что кажется, будто он отказался от своей проповеди непротивления злу насилием и даже приветствует противление угнетению и насилию над свободой и достоинством человека. Читая «Хаджи-Мурата», вспоминаешь больше автора «Казаков», чем автора позднейших религиозно-философских трактатов.

Так могучий дар художника-жизнелюбца вернул Толстого к поре его писательской молодости и как будто заставил поколебаться его — проповедника незлобия и всепрощения. Поразительна благородная простота и строгость стиля и языка «Хаджи-Мурата». Перед нами словно воскресает сжатая и чеканная проза Пушкина, сдержанная и немногословная, но тем более волнующая и впечатляющая.

«Хаджи-Мурат» и «Живой труп» нагляднейшим образом иллюстрируют те противоречия у Толстого, которые так убедительно вскрыты в статьях Ленина о Толстом. Мы знаем, что эти противоречия между тем, что писал Толстой-художник, и тем, чему учил Толстой-проповедник, не помешали Ленину сказать, что творчество Толстого — «шаг вперед в художественном развитии всего человечества», и в беседе с М. Горьким заявить, что в Европе рядом с Толстым как художником некого поставить.

Последние годы жизни Толстого были заполнены обычной для него неустанной работой. Несмотря на очень тяжелую болезнь, перенесенную им в 1901–1902 годах, он был крепок не только духовно, но и физически. Однако чем дальше, тем больше Толстой тяготился жизнью своей в Ясной Поляне. Разногласия с женой становились все резче; у него не было душевного покоя. Толстой все настойчивее стал думать об уходе из Ясной Поляны.

В 1905 году он записал в дневнике: «Все больше и больше болею своим довольством и окружающей нуждой... Пропать народа, все нарядные, едят, пьют, требуют. Слуги бегают, исполняют. И мне все мучительнее и труднее участвовать и не осуждать».

Во время революции 1905 года Толстой надеялся, что пришло освобождение народа от тяжелых материальных и нравственных условий его существования. Он писал в одном из своих писем: «Я во всей этой революции состою в звании, добро- и самовольно принятом на себя, — адвоката стомиллионного земледельческого народа. Всему, что содействует или может содействовать его благу, я сорадуюсь: всему тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую». Его, врага всякого насилия, на этот раз не смущали неизбежные насилия, которыми сопровождалась революция. В письме к В. В. Стасову он говорил: «События совершаются с необыкновенной быстротой и правильностью. Быть недовольным тем, что творится, — все равно что быть недовольным осенью и зимой, не думая о той весне, к которой они нас приближают». Он верил, что революция 1905 года «будет иметь для человечества более

значительные и благотворные последствия, чем Великая французская революция».

Жестокая реакция, наступившая после подавления революции, многочисленные смертные казни, каторжные приговоры глубоко волновали Толстого и обостряли его душевные страдания. В 1908 году он написал статью «Не могу молчать!» — гневный протест против кровавого террора, которым царское правительство думало до конца уничтожить следы революции.

Сильнее и сильнее смущала Толстого разница между той обстановкой, в которой он жил, и обстановкой, в какой жили народные массы. В том же 1908 году он записывает в заведенном им «тайном» дневнике: «Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду — стыд и страдание». И через несколько дней: «Все мучительнее — неправда безумной роскоши среди недолжной нищеты, нужды, среди которых я живу... Не могу забыть, не видеть». В апреле 1910 года Толстой жалуется в дневнике: «Мучительная тоска от сознания мерзости своей жизни среди работающих для того, чтобы еле-еле избавиться от холодной, голодной смерти. Вчера проехал мимо бьющих камень, точно меня сквозь строй прогнали...»

Начиная с 1906 года в дневниках Толстого все чаще и чаще встречаются записи о том, что ему необходимо покинуть свой дом. Столкновения с женой стали невыносимо тяжелыми. Наконец рано утром 28 октября 1910 года Толстой выполнил свое намерение. Он тайком уехал из Ясной Поляны. Но в пути, в вагоне 3-го класса, 82-летний старик заболел воспалением легких. Начальник маленькой железнодорожной станции Астапово поместил тяжело больного великого писателя в своем доме. Там он и умер 7 ноября. Прах его был погребен в Ясной Поляне, в лесу, на месте, заранее им самим указанном.

Отзываясь на смерть Толстого, Ленин писал: «Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе»<sup>[10]</sup>.

Величие Толстого-художника обуславливается, помимо его прирожденной гениальности, также исключительной его требовательностью к себе и тем высоким пониманием задач искусства, какое присуще ему было на протяжении всего его писательского пути.

В глазах Толстого художник и мыслитель прежде всего учителя жизни; на них возлагаются величайшие обязанности: они несут великую ответственность за все, что выходит из-под их пера. «Мыслитель и художник, — писал Толстой, — никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, и он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно — он умрет... Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает». Трудно подыскать у какого-либо другого писателя такую четкую и высокую формулировку требований к писателю, какую мы находим в этих словах (они взяты из трактата «Так что же нам делать?»).

Чтобы стать настоящим писателем, нужно, по мысли Толстого, непрестанно и упорно работать над собой не только как над художником, но прежде всего как над

человеком. И такая огромная работа всегда сопровождала Толстого на всем его жизненном пути, до самой смерти. Внешнее свое выражение она находила в дневниках, которые он вел с небольшими перерывами, от юности до кончины. В них он и в важном и в мелочах контролировал самого себя, определял правила своего поведения, с суровостью взыскательного и неподкупного судьи анализировал свои поступки, намечал замыслы и планы своих произведений, оценивал, наконец, и — чаще всего очень строго — то, что им было написано.

В дневниках этих мы находим богатейший материал для уразумения не только процесса внутренней работы Толстого, но и процесса его творческих исканий. Чтение толстовских дневников дает нам возможность уяснить весь тот поистине гигантский труд, какой сопровождал никогда не прекращавшиеся и не ослабевавшие у него поиски совершенного идеала в жизни и в творчестве. То же в значительной степени нужно сказать и о письмах Толстого, которых он за всю жизнь написал свыше десяти тысяч.

Высокая идейность произведения, совершенство его художественной формы и — самое главное — искренность и правдивость художника по отношению к изображаемым им явлениям жизни — вот те основные требования, какие в разных формулировках предъявляет Толстой к искусству и к художнику. Писать художник должен лишь о том, что сам страстно любит, чему верит и о чем не может не говорить. На самом пороге своей литературной деятельности, в 1854 году, он записал: «Все сочинения, чтобы быть хорошими, должны, как говорит Гоголь в своей прощальной повести (она выпелась... из души моей), выпеться из души сочинителя». В старости Толстой говорил: «Писать надо только тогда, когда каждый раз, что обмакиваешь перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса».



В замечательном письме к В. А. Гольцеву, написанном в 1889 году, Толстой наиболее выразительно сформулировал свои взгляды на то, что нужно подлинному художнику: он должен знать то, что «свойственно» всему человечеству и вместе с тем еще неизвестно ему, т. е. человечеству. Для этого он должен быть «на уровне высшего образования своего века», а главное, не замыкаться в рамки эгоистической личной жизни, а жить общей жизнью человечества. Он должен овладеть мастерством и для этого упорно работать, подвергая себя самокритическому суду. И самое главное — он должен страстно любить свой предмет и быть искренним и правдивым в своем писании. Для этого «нужно не начинать говорить о том, к чему равнодушен и о чем можешь молчать, а говорить только о том, что страстно любишь».

В дневниковых записях, в письмах Толстого мы сплошь и рядом встречаемся с его жалобами на то, что та или иная вещь, над которой он работает, перестала его удовлетворять и он не может продолжать ее. Острое чувство неудовлетворенности часто сопровождало работу Толстого и над «Войной и миром», и над «Анной Карениной», и над «Воскресением». Нужно было обрести на время утраченное чувство любви к теме, к образам произведения, нужно было до конца ощутить правдивость и искренность своего писания, чтобы с новыми силами и новым творческим подъемом продолжать его.

В течение всей писательской деятельности Толстого в его голове роились замыслы художественных произведений, и к иным из этих замыслов он неоднократно возвращался, но не принимался за них, пока не чувствовал, что его так захватила тема, что не писать уже нельзя, как нельзя, по его словам, жениться до тех пор, пока не почувствуешь, что не можешь не жениться. Многие задуманное Толстым так и не нашло

себе воплощения; другое, начатое почти всегда с большой художественной силой, не было завершено потому, что вещь не поглощала его целиком, или потому, что она вытеснялась другой, сильнее его волновавшей. Наконец, иные произведения были совершенно закончены вчерне, многократно переписаны и переработаны и все же, на взгляд Толстого, не достигли той предельной художественной ясности, какая нужна была, чтобы их можно было отдавать в печать. К числу их относился, между прочим, такой толстовский шедевр, как «Хаджи-Мурат».

Трудолюбие Толстого и его взыскательность к себе были поистине безграничны. Он многократно исправлял, переделывал, сокращал и дополнял написанное, добиваясь, чтобы его произведение во всех отношениях стало возможно более доходчивым до читателя, чтобы «выразить словами то, что понимаешь, так, чтобы другие поняли тебя, как ты сам». Черновые редакции и варианты произведений Толстого во многих отношениях представляют собой самостоятельную ценность либо по своему содержанию, либо по их художественной форме. В выходящем ныне девяностопяти томном полном собрании его сочинений это богатство неопубликованного при жизни Толстого рукописного его наследства впервые представлено действительно полно.

Толстой придавал большое значение художественной форме произведения и считал, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Однако он ценил форму лишь тогда, когда в произведении было значительное идейное содержание. «Странное дело забота о совершенстве формы, — записывает он в дневнике 1890 года, — недаром она. Но не даром тогда, когда содержание доброе... Надо заострить художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить — и значит сделать его совершенным художественно». Содержание же

подсказывалось Толстому стремлением ответить на самые существенные вопросы, какие выдвигала перед ним жизнь. Вот почему первоначальные замыслы его в процессе их постепенного претворения часто очень расширялись, захватывая новые большие темы и одновременно углубляя, обогащая тему основную тем живым, злободневным содержанием, которое доставлялось современной ему действительностью. Это особенно нужно сказать об «Анне Карениной» и «Воскресении».

Толстой оставил после себя великое наследство. Оно заключается не только в его произведениях, но и во взглядах его на задачи писателя, в его воззрениях на то, что и как должно направлять работу писателя. Слово для Толстого было средством духовного обогащения людей, и он как мог старался пользоваться словом именно для этой цели.

Завершая «Воскресение» в 1889 году, Толстой записал в дневнике: «Усиленно работал и работаю над «Воскресением». Есть много, есть недурное, есть то, во имя чего пишется». И во всем, что писал, над чем трудился Толстой, было свое «во имя», было стремление в совершенной художественной форме показать и уяснить непременно большое по своему моральному и общественному значению явление человеческой жизни, так, чтобы оправдать правило, предписанное им себе еще в молодости: «Предмет сочинения должен быть высокий».

Толстой — национальная гордость русского народа. Он — наш, но вместе с тем он гордость всего человечества, потому что влияние его гения выходит далеко за пределы России. Человечеству Толстой дорог как гениальный писатель, сумевший показать ту великую правду жизни, которая нужна людям и которую они находят в его бессмертных созданиях. Пусть не во всех своих суждениях о том, что нужно человечеству,

был прав Толстой; пусть он был сильнее в своей отрицательной критике, чем в положительных утверждениях, — важен самый принцип его писательской деятельности, о котором сказано выше.

Непререкаемое величие Толстого — человека и художника — признано всем культурным миром.

Русскому же народу Толстой особенно дорог потому, что он в своем творчестве поразительно правдиво отразил духовную физиономию русского человека, склад его натуры, основные черты его характера. «Толстой глубоко национален, — писал Горький, — он с изумительной полнотой воплощает в своей душе все особенности сложной русской психики... Толстой — это целый мир».

Толстой не только хорошо знал свой народ, но любил его и высоко ценил его природную даровитость. В свою записную книжку он занес в 1870 году: «Читаю историю Соловьева. Все по истории этой было безобразно в допетровской России: жестокость, грабеж, праведж, грубость, глупость, неумение ничего сделать... Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершалась история России. Но как же так ряд безобразий произвел великое и единое государство?! Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черно-бурых лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и растил этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную? Кто

делал, что Богдан Хмельницкий передался русским, а не татарам и полякам?..»

Известно, что в последние десятилетия своей жизни Толстой в согласии со своим учением о непротивлении и со своей проповедью всемирного братства людей с осуждением относился к чувству патриотизма. Но стоит прочесть его острую, памфлетную по духу статью «Христианство и патриотизм», написанную в 1894 году, чтобы понять, какой род патриотизма Толстой осуждал. То был патриотизм насквозь бездушный, лицемерный, сугубо казенный, приводивший к захватническим войнам и к порабощению более сильными, экономически более развитыми и лучше вооруженными государствами государств, менее сильных технически и экономически отсталых.

Оправдывая чувство патриотизма в древнем мире, когда отдельным народам приходилось защищать себя от нападения варваров, и, по существу, отступая от своего учения о непротивлении, Толстой в той же статье писал: «Понятно, что при таком положении патриотизм, т. е. желание отстоять от нападения варваров, не только готовых разрушить общественный порядок, но угрожающих разграблениями и поголовными убийствами, и пленением, и обращением в рабство мужчин, и изнасилованием женщин, был чувством естественным, и понятно, что человек для избавления себя и своих соотечественников от таких бед мог предпочитать свой народ всем другим и испытывать враждебное чувство к окружающим его варварам и убивать их, чтобы защищать свой народ».

Толстой не допускал существования таких варваров «в наше христианское время». Но что сказал бы он, если бы жил в наши дни, когда чудовищный германский фашизм воскресил худшие времена варварства и первобытной дикости? Не приходится сомневаться в том, что великий правдолюбец присоединил бы к нашим

голосам свой могучий голос негодования и самого страстного протеста против преступлений, чинимых гитлеровцами, и не нашел бы никаких других путей для спасения мира от невиданного в истории насилия, кроме самого энергичного и самого стойкого противления злу единственно реальной силой — силой оружия.

Когда в русско-японскую войну крепость Порт-Артур была сдана японцам, Толстой записал в своем дневнике 31 декабря 1904 года: «Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно. Это патриотизм. Я воспитан в нем и не свободен от него так же, как не свободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма». В этих словах звучит нота самоосуждения, но они лишний раз говорят о том, как до глубокой старости сильно было в Толстом чувство привязанности к своей родине.

В дни Великой Отечественной войны с лютым врагом мы особенно остро чувствуем, как преступными действиями людских отребьев — гитлеровской банды предается поруганию все то, что связано с памятью одного из самых человеческих писателей, созданных мировой культурой. Смерть, разрушение и запустение несет с собой фашистская чума всюду, где мирный созидательный труд стремился обеспечить людям нормальные условия их существования. Гнет и рабство сеет он среди народов, подпавших под его временное, но тягчайшее ярмо. Страшные беды причинил фашизм родине Толстого, бесстыдно и нагло оскорбил память о нем. Гитлеровские громы, ворвавшись в Ясную Поляну, опоганили, осквернили все, что связано с именем Толстого, все те реликвии великой жизни, которые благоговейно чтит все культурное человечество. И это чудовищное преступление не только перед нашей страной, но и перед всем человечеством нельзя забыть и нельзя простить.

Сейчас великая родина великого художника и человека победоносно изгоняет из своих пределов разбойничьи орды озверелых насильников. Напряжением всех своих духовных и материальных сил она залечит свои тяжелые раны. В возрожденной жизни нашей страны еще слышнее зазвучат голоса тех ее славных сынов, которые крепили наш дух в мужественной борьбе за наше священное достояние, и среди этих голосов одним из самых могучих будет голос Льва Толстого.

*1944 год*

**Е. ТАРЛЕ  
ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ  
НАХИМОВ**



## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

Нынешние черноморские моряки, герои новой обороны Севастополя, любят называть себя «нахимовскими внуками». Если внуки гордятся своим великим дедом, то как бы гордился ими он, славнейший из всех флотоводцев, вышедший из русского народа! Что сказал бы он, если бы видел, как обучены, как накормлены, как обуты, одеты, вооружены теперь моряки, если бы мог предугадать, что его обращение с обожавшими его моряками станет господствующим правилом для всего нашего флота?

В этой небольшой книге, которую я посвящаю нашим героям-краснофлотцам, мне хотелось хоть в самой сжатой форме помянуть одного из вождей, создавших великую и навеки славную военную традицию русского народа.

Теперь, когда краснофлотцы показывают ежедневно примеры героизма в борьбе с наиболее подлым и презренным врагом из всех, с которыми русскому народу приходилось сталкиваться за всю его тысячелетнюю историю, рассказ о великом флотоводце, о великом патриоте и воспитателе морских бойцов, быть может, окажется нелишним.

*Автор*



Павел Степанович Нахимов родился в 1803 году в семье небогатых смоленских дворян. Отец его был офицером и еще при Екатерине вышел в отставку со скромным чином секунд-майора.

Еще не окончились детские годы Нахимова, как он был зачислен в Морской кадетский корпус. Учился он блестяще и уже пятнадцати лет от роду получил чин мичмана и назначение на бриг «Феникс», отправлявшийся в плавание по Балтийскому морю.

И уже тут обнаружилась любопытная черта нахимовской натуры, сразу обратившая на себя внимание его товарищей, а потом сослуживцев и подчиненных. Эта черта, замеченная окружающими уже в пятнадцатилетнем гардемарине, оставалась господствующей и в седеющем адмирале вплоть до того момента, когда французская пуля пробила ему голову. Охарактеризовать эту черту можно так: морская служба была для Нахимова не важнейшим делом жизни, каким она была, например, для его учителя Лазарева или для его товарищей Корнилова и Истомина, а единственным делом, иначе говоря: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел и просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он забыл влюбиться, забыл жениться. Он был фанатиком морского дела, по единодушным отзывам очевидцев и наблюдателей.

Усердие, или, лучше сказать, рвение к исполнению своей службы во всем, что касалось морского ремесла, доходило в нем до фанатизма, и он с восторгом принял

приглашение М. П. Лазарева служить у него на фрегате, названном новым тогда именем «Крейсер».

Три года плавал он на этом фрегате, сначала в качестве мичмана, а с 22 марта 1822 года в качестве лейтенанта, и здесь-то и сделался одним из любимых учеников и последователей Лазарева. После трехлетнего кругосветного плавания с фрегата «Крейсер» Нахимов перешел (все под начальством Лазарева) в 1826 году на корабль «Азов», на котором и принял выдающееся участие в Наваринском морском бою в 1827 году против турецкого флота. Из всей соединенной эскадры Англии, Франции и России ближе всех подошел к неприятелю «Азов», и во флоте говорили, что «Азов» громил турок с расстояния не пушечного выстрела, а пистолетного выстрела. Нахимов был ранен. Убитых и раненых на «Азове» было в наваринский день больше, чем на каком-либо ином корабле трех эскадр, но и вреда неприятелю «Азов» причинил больше, чем наилучшие фрегаты командовавшего соединенной эскадрой английского адмирала Кодрингтона.

Так начал Нахимов свое боевое поприще.

Вот что говорит об этих первых блистательных шагах Нахимова близко наблюдавший моряк-современник:

«В Наваринском сражении он получил за храбрость георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта. Во время сражения мы все любовались «Азовом» и его отчетливыми маневрами, когда он подходил к неприятелю на пистолетный выстрел. Вскоре после сражения я видел Нахимова командиром призового корвета «Наварин», вооруженного им в Мальте со всевозможной морской роскошью и щегольством, на удивление англичан, знатоков морского дела. В глазах наших... он был труженик неутомимый. Я твердо помню общий тогда голос, что Павел Степанович служит 24

часа в сутки. Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться, а веровали в его призвание и преданность самому делу. Подчиненные его всегда видели, что он работает больше их, а потому исполняли тяжелую работу без ропота и с уверенностью, что следует им или в чем можно сделать облегчение, командиром не будет забыто».

Двадцати девяти лет от роду он стал командиром только что выстроенного тогда (в 1832 году) фрегата «Паллада», а в 1836 году — командиром «Силистрии» и спустя несколько месяцев произведен в капитаны 1-го ранга. «Силистрия» плавала в Черном море, и корабль выполнил за девять лет своего плавания под флагом Нахимова ряд трудных и ответственных поручений.

Лазарев безгранично доверял своему ученику. В 1845 году Нахимов был произведен в контр-адмиралы, и Лазарев сделал его командиром 1-й бригады 4-й флотской дивизии. Его моральное влияние на весь Черноморский флот было в эти годы так огромно, что могло сравниться с влиянием самого Лазарева. Дни и ночи он отдавал службе: то выходил в море, то стоял на Графской пристани в Севастополе, зорко осматривая все входящие в гавань и выходящие из гавани суда. По единодушным записям очевидцев и современников, от него решительно ничто не ускользало, и его замечаний и выговоров страшились все, начиная с матросов и кончая седыми адмиралами, которым Нахимов вовсе не имел ни малейшего права делать замечания по той простой причине, что они были чином выше его. Но Нахимов этим обстоятельством решительно никогда не затруднялся.

На пристани, на море была его служба, там же были и все его удовольствия. Денег у него водилось всегда очень мало, потому что каждый лишний рубль он отдавал матросам и их семьям, а лишними рублями у него назывались те, которые оставались после оплаты

квартиры в Севастополе и расходов на стол, тоже не очень отличавшийся от боцманского.

На службу в мирное время он смотрел только как на подготовку к войне, к бою, к тому моменту, когда человек должен полностью проявить все свои моральные силы. Еще во время кругосветного плавания лейтенант Нахимов однажды чуть не погиб, спасая упавшего в море матроса; в 1842 году командир «Силистрии» Нахимов бросился без всякой нужды в самое опасное место, когда на «Силистрию» наскочил корабль «Адрианополь». А когда офицеры недоумевали, зачем он так дразнит судьбу, Нахимов отвечал: «В мирное время такие случаи редки, и командир должен ими воспользоваться. Команда должна видеть присутствие духа в своем командире; ведь, может быть, мне придется идти с ней в сражение».

Ведя себя так и высказывая такие мысли, Нахимов шел по стопам своего учителя и начальника Михаила Петровича Лазарева, главного командира Черноморского флота.

М. П. Лазарев создал в морском ведомстве того времени свою особую школу, свою традицию, свое направление, ровно ничего общего не имевшие с господствовавшим в остальном флоте, и его ученики — Корнилов, Нахимов, Истомин — продолжили и упрочили эту традицию. Лазарев требовал от своих офицеров моральной высоты, о которой николаевский командный состав в своей массе никогда и не помышлял. Он требовал такого обращения с матросами, которое готовило бы из них дееспособных воинов, а не игрушечных солдатиков для забавы «высочайших» лиц на смотрах и парадах: телесное наказание, царившее тогда во всех флотах (и додержавшееся в английском флоте до мировой войны), не было отменено и лазаревской школой, но оно стало на черноморских судах редкостью. Внешнее чинопочитание было на

судах, управляемых лазаревскими учениками, сведено к минимуму; и сухопутные офицеры в Севастополе жаловались, что адмирал Нахимов разрушает дисциплину. Лазарев, Нахимов, Корнилов воспитывали в матросах сознательную любовь к России и успели воспитать желание и умение бороться за нее, защищать ее.

Но и в этой лазаревской школе моряков Нахимов занял особое место. Был он необыкновенный добряк по натуре — это во-первых; а во-вторых, как уже сказано, он был в полном смысле слова фанатиком морской службы: он не имел ни в молодости, ни в зрелом возрасте семьи, не имел «сухопутных» друзей, не имел никаких привязанностей, кроме как на кораблях и около кораблей, потому что для него Севастополь, Петербург, Лондон, Архангельск, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско, Сухум-Кале были не города, а лишь якорные стоянки. Все эти его свойства сделали то, что на матросов он стал смотреть как на свою единственную, правда большую, семью.

Когда он, начальник порта, адмирал, командир больших эскадр, выходил на Графскую пристань в Севастополе, там происходили любопытные сцены, одну из которых со слов очевидца, князя Путятина, передает лейтенант П. И. Белавенец. Утром Нахимов приходит на пристань. Там, сняв шапки, уже ожидают адмирала старики, отставные матросы, женщины и дети — все обитатели Южной бухты из севастопольской матросской слободки. Увидев своего любимца, эта ватага мигом, безбоязненно, но с глубочайшим почтением окружает его, и, перебивая друг друга, все разом обращаются к нему с просьбами... «Постойте, постойте-с, — говорит адмирал, — всем разом можно только «ура» кричать, а не просьбы высказывать. Я ничего не пойму-с. Старик, надень шапку и говори, что тебе надо».

Старик матрос, на деревянной ноге и с костылями в руке, привел с собой двух маленьких девочек, своих внучек, и прошамкал, что он с малютками одинок, хата его продырявилась, а починить некому. Нахимов обращается к адъютанту: «...Прислать к Позднякову двух плотников, пусть они ему помогают». Старик, которого Нахимов вдруг назвал по фамилии, спрашивает: «А вы, наш милостивец, разве меня помните?» — «Как не помнить лучшего маляра и плясуна на корабле «Три святителя»... «А тебе что надо?» — обращается Нахимов к старухе. Оказывается, она, вдова мастера из рабочего экипажа, голодает. «Дать ей пять рублей!» — «Денет нет, Павел Степанович!» — отвечает адъютант, заведовавший деньгами, бельем и всем хозяйством Нахимова. «Как денег нет? Отчего нет-с?» — «Да все уже прожиты и розданы!» — «Ну, дайте пока из своих». Но у адъютанта тоже нет таких денег. Пять рублей, да еще в провинции, были тогда очень крупной суммой. Тогда Нахимов обращается к мичманам и офицерам, подошедшим к окружающей его толпе: «Господа, дайте мне кто-нибудь займы пять рублей!» И старуха получает ассигнованную ей сумму. Нахимов брал в долг в счет своего жалованья за будущий месяц и раздавал направо и налево. Этой его манерой иногда и злоупотребляли. Но, по воззрениям Нахимова, всякий матрос уже в силу своего звания имел право на его кошелек.

Нахимов настойчиво старался внушить подчиненным ему офицерам те идеи, которыми сам он был одушевлен и которые не походили на общепринятые тогда в этой среде воззрения. «Мало того что служба представится нам в другом виде, — говорил Нахимов, — да сами-то мы совсем другое значение получим на службе, когда будем знать, как на кого нужно действовать. Нельзя принять поголовно одинаковую манеру со всеми. Подобное однообразие в действиях начальника показывает, что

нет у него ничего общего со своими подчиненными и что он совершенно не понимает своих соотечественников. А это очень важно. Офицеры, глубоко презирующие сближение со своими соотечественниками-простолюдинами, не найдут должного тона. А вы думаете, что матрос не заметит этого? Заметит лучше, чем наш брат! Мы говорить умеем лучше, чем замечать, а последнее уже их дело. А каково пойдет служба, когда все подчиненные будут наверно знать, что начальники их не любят и презируют их? Вот настоящая причина, что на многих судах ничего не выходит и что некоторые молодые начальники одним только страхом хотят действовать. Страх подчас хорошее дело, да согласитесь, что не натуральная вещь — несколько лет работать напропалую ради страха. Необходимо поощрение сочувствием; нужна любовь к своему делу-с, тогда с нашим лихим народом можно такие дела делать, что просто чудо. Удивляют меня многие молодые офицеры: от русских отстали, к французам не пристали, на англичан также непохожи; своих презируют, чужому завидуют, своих выгод совершенно не понимают. Это никуда не годится!»

Для Нахимова не подлежало сомнению, что классовое чванство офицеров — гибельное дело для службы, и он это открыто высказывал: «Пора нам перестать считать себя помещиками, а матросов крепостными людьми!» И снова и снова он повторяет свою излюбленную мысль: «Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него действуют. Матрос управляет парусами, он же наводит орудия на неприятеля; матрос бросится на abordаж, если понадобится. Все сделает матрос, если мы, начальники, не будем эгоистичны, ежели не будем смотреть на службу как на средство для удовлетворения своего честолюбия, а на подчиненных — как на ступени для собственного возвышения.



Матросы — основная военная сила флота. Вот кого нам нужно возвышать, учить, возбуждать в них смелость, геройство, ежели мы не себялюбивы, а действительные слуги Отечества». Нахимов вспоминает знаменитую победу Нельсона над французским и испанским флотом 21 октября 1805 года. «Вы помните Трафальгарское сражение? Какой там был маневр — вздор-с! Весь маневр Нельсона заключался в том, что он знал слабость неприятеля и свою силу и не терял времени, вступая в бой. Слава Нельсона заключается в том, что он постиг дух народной гордости своих подчиненных и одним простым сигналом возбудил запальчивый энтузиазм в простолюдинах, которые были воспитаны им и его предшественниками. Вот это-то воспитание и составляет основную задачу; вот чему я посвятил себя, для чего тружусь неусыпно и, видимо, достигаю своей цели: матросы любят и понимают меня. Я эту привязанность дорожу больше чем отзывом чванных дворянчиков-с! У многих командиров служба не клеится на судах оттого, что они неверно понимают значение дворянина и презирают матросов, забывая, что у мужиков есть ум, душа и сердце, так же как у всякого другого».

Нахимов просто отказывался понять, что у морского офицера может быть еще какой-нибудь интерес, кроме службы. Он говорил, что необходимо, чтобы матросы и офицеры постоянно были заняты, что праздность на судне не допускается, что ежели на корабле работы идут хорошо, то нужно придумывать новые... Офицеры тоже должны быть постоянно заняты. Есть свободное время — пусть занимаются с матросами обучением грамоте или пишут за них письма на родину. Ухтомский, начинавший службу под начальством Нахимова, передает еще: «Все ваше время и все ваши средства должны принадлежать службе, — ораторствовал Павел Степанович. — Например, зачем мичману жалованье?

Разве только затем, чтобы лучше выкрасить и отделать вверенную ему шлюпку или при удачной шлюпочной гонке дать гребцам по чарке водки, — иначе офицер от праздности или будет пьянствовать, или станет картежником, или будет развратничать, а ежели вы и от натуры ленивы, сибариты, то лучше выходите в отставку». Тратя все свое адмиральское жалованье не на себя, а на корабль и на матросов, Нахимов искренне не понимал, почему бы и мичману не делать того же.

Замечательно, что близко наблюдавшие Нахимова не могли говорить впоследствии ни о Синопе, ни о Севастополе, не подчеркивая огромного значения личного влияния адмирала на свою команду, объясняя именно этим его успех. Вот одно из подобных высказываний:

«Синоп, поразивший Европу совершенством нашего флота, оправдал многолетний образовательный труд адмирала М. П. Лазарева и выставил блестящие военные дарования адмирала П. С. Нахимова, который, понимая черноморцев и силу своих кораблей, умел управлять ими. Нахимов был типом моряка-воина, личность вполне идеальная... Доброе, пылкое сердце, светлый, пытливый ум, необыкновенная скромность в заявлении своих заслуг. Он умел говорить с матросом по душе, называя каждого из них при объяснении другом, и был действительно для них другом. Преданность и любовь к нему матросов не знали границ. Всякий, кто был на севастопольских бастионах, помнит необыкновенный энтузиазм людей при ежедневных появлениях адмирала на батареях. Истомленные донельзя матросы, а с ними и солдаты воскресали при виде своего любимца и с новой силой готовы были творить и творили чудеса. Это секрет, которым владели немногие, только избранные, и который составляет душу войны... Лазарев поставил его образцом для черноморцев».

Наступил 1853 год. Надвинулись сразу навеки памятные грозные события мировой истории — Нахимов со своими матросами оказался на посту.

Черные тучи сгустились катастрофически быстро и обложили со всех сторон политический горизонт. Начинается война с Турцией; позиция Наполеона III и Пальмерстона делается все более угрожающей. И в Петербурге понемногу крепнет сознание, что живые опасения наместника Кавказа князя М. С. Воронцова имеют реальнейшее основание и отнюдь не объясняются только старостью умного и лукавого Михаила Семеновича. Если турки, а за ними французы и англичане в самом деле подадут вовремя существенную помощь Шамилю, то Кавказ для России будет потерян и попадет в руки союзников. Нужного количества войск на Кавказе нет — это одно. А другое: турецкая эскадра снабжает восточное Кавказское побережье оружием и боеприпасами. Отсюда вытекают два непосредственных задания русскому Черноморскому флоту: во-первых, в самом спешном порядке перевести более или менее значительные военные подкрепления из Крыма на Кавказ и, во-вторых, обезвредить разгуливающие в восточной части Черного моря турецкие военные суда.

Оба эти дела и осуществил Нахимов.

13 сентября 1853 года в Севастополе было получено экстренное приказание немедленно перевезти из Севастополя в Анакрию пехотную дивизию с артиллерией. На Черном море было очень беспокойно не только вследствие равноденственных сентябрьских бурь, но и вследствие близкой войны с Турцией и упорных слухов об угрожающей близости французских и английских судов к проливам.

Нахимов взял на себя эту труднейшую операцию. Уже через четыре дня после получения приказания не только все собранные им суда были совершенно готовы

к отплытию, но на них уже находились и разместились в полном порядке все назначенные войска: 16 батальонов пехоты с двумя батареями — 16 393 человека, 624 лошади и все необходимые грузы. 17 сентября Нахимов вышел в море, а ровно через семь суток, 24 сентября, пришел утром в Анакрию, и в 5 часов вечера в тот же день он уже закончил высадку всех войск и орудий на берег. Для этой блистательно выполненной операции у Нахимова было в распоряжении лишь 14 парусных кораблей (из них два фрегата), 7 пароходов и 11 транспортных судов. Войска были доставлены в наилучшем состоянии: больных солдат оказалось всего лишь 7 человек, а из матросов эскадры — 4 человека. Моряки-специалисты называют этот переход «баснословно счастливым», исключительным в военноморской истории и для сравнения указывают, что англичане в свое время перевезли подобное же количество войск более чем на двухстах военных и транспортных судах.

Покончив с одной задачей, Нахимов взялся за другую, еще более опасную и сложную: найти на Черном море турецкую эскадру и сразиться с ней. Но тут он оказался флотоводцем, база которого находится не в его руках, а зависит от человека, вовсе не желающего считаться с критическим положением адмирала, рыщущего по бурному морю в поисках неприятеля.

Князь Меншиков, главнокомандующий Крымской армией и Черноморским флотом, был фактически морским министром, но никогда не был моряком, никогда не управлял кораблем и понятия не имел, даже самого отдаленного, о морских боях. Вот почему, конечно, ему и в голову не могло прийти самому выйти в море и среди октябрьских шквалов искать турок, чтобы с ними сразиться. И что бы он ни писал Корнилову, якобы желая «назначения пункта соединения», никуда он ни для каких «соединений» с Корниловым ехать из

Севастополя не собирался. У него был Нахимов, уже крейсировавший около анатолийского берега, и был Корнилов, которого князь и отправил в море 28 октября. По обыкновению (когда дело касалось войны и военных действий), Меншиков предсказал нечто диаметрально противоположное тому, что случилось на самом деле: он писал Горчакову за 16 дней до Синопа, что эскадры Корнилова и Нахимова, «вероятно», никого в море не встретят, кроме нескольких транспортных или паровых судов, да и те укроются в портах.

А на самом деле уже 5 ноября Корнилов встретил и взял с боя турецкий (египетский) пароход «Перваз-Базри», шедший из Синопа. Затем Корнилов на «Владимире» вернулся в Севастополь, а Новосильскому приказал найти Нахимова и усилить его эскадру двумя кораблями.

Когда Нахимов дал знать о том, что силы турок в Синопе, по дополнительным его наблюдениям, больше, чем он раньше доносил, Меншиков довольно поздно сообразил всю опасность крейсировки Нахимова возле Синопа и послал ему подкрепление. Но сделано это было запоздало. И в результате все-таки ни одного парового судна у Нахимова под Синопом не оказалось, а спешно вышедший с эскадрой, где были три парохода, Корнилов, как увидим, опоздал и подоспел в Синопскую бухту, когда уже сражение окончилось.

С конца октября, все время при очень бурной погоде, Нахимов крейсировал между Сухумом и той частью турецкого (анатолийского) побережья, где главной гаванью является Синоп. Были получены сведения, что на этот раз турки намерены уже не только переправить горцам боеприпасы, но и высадить на кавказском берегу целый десантный отряд. У Нахимова было сначала, после встречи 5 ноября с Новосильским, пять больших кораблей, на каждом из которых имелось по 84 орудия: «Императрица Мария», «Чесма», «Ростислав»,

«Святослав», «Храбрый» и, кроме того, фрегат «Коварна» и бриг «Эней», Еще 2(14) ноября вечером приказом по эскадре Нахимов объявил, что имеет в виду сразиться с неприятелем. Этот приказ живо напоминает, что за двадцать шесть лет, прошедших со времени Наваринской битвы, тактические приемы Нахимова нисколько не изменились и что он по-прежнему считает, так же как и его учитель командир «Азова» при Наварине М. П. Лазарев, наиболее целесообразным, не щадя себя, подходить к неприятелю не на орудийный, а на пистолетный выстрел. Вот как кончился приказ, прочитанный командам вечером 2 ноября: «Не распространяясь в наставлениях, я выскажу свою мысль, что в морском деле близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая тактика. Уведомляю командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело».

Но турки не показывались. Нахимов уже 3 ноября знал, что из Севастополя вышел, тоже для поисков турецкого флота, Корнилов с шестью кораблями. 5-го числа Корнилов отделил от своей эскадры Новосильского, который вечером того же 5 ноября встретился с эскадрой Нахимова. Именно Новосильский и отделил от своей эскадры Нахимову «Ростислава» и «Святослава» взамен кораблей, потрепанных бурей и отправленных Нахимовым в Севастополь для починки. 8 ноября разразилась жестокая буря, и Нахимов отправил опять четыре корабля в Севастополь чиниться. Положение было довольно критическое, потому что судов у него оставалось мало, а по морю бродили не очень далеко турецкие эскадры. Очень сильный ветер продолжался и после бури 6-го числа. Нахимов подошел к Синопу 11 ноября и немедленно отрядил из своей эскадры бриг «Эней» с известием, что на Синопском

рейде стоит большая турецкая эскадра (семь фрегатов, два парохода, два корвета, один шлюп). Положение Нахимова было в этот момент более чем затруднительным. Но он решил со своими малыми силами все-таки блокировать гавань и ждать скорейшей присылки подкреплений из Севастополя. Он просил у Меншикова немедленной присылки отправленных для починки кораблей «Храброго» и «Святослава», фрегата «Коварна» и парохода «Бессарабия», а также выражал недоумение, почему не присылают ему фрегат «Куленчи», который больше месяца стоит в Севастополе. Нахимов, которого упрекали, что он слишком привык к парусному флоту и будто бы недооценил значение флота парового, вот что писал того же 11 (23) ноября Меншикову: «В настоящее время в крейсерстве пароходы необходимы, и без них — как без рук: если есть в Севастополе свободные, то я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство прислать ко мне в отряд по крайней мере два».

Нахимов получил наконец подмогу, и 17(29) ноября у него было шесть больших кораблей («Мария», «Париж», «Три святителя», «Константин», «Ростислав» и «Чесма») и два фрегата («Кагул» и «Кулевчи»). Эскадра Нахимова в этот момент могла дать с одного борта залп весом в 378 пудов 13 фунтов. Орудий у Нахимова было 716; значит, при стрельбе с одного борта — 358. У турок было семь фрегатов, три корвета, два парохода, два транспорта и один шлюп — в общем, 472 орудия, то есть с одного борта 236 орудий.

Нахимов, как только подошли подкрепления, решил немедленно войти в Синопскую гавань и напасть на турецкий флот.

Генерал Зайончковский в полном согласии с морскими специалистами так оценивает распоряжения адмирала перед Синопом: «В действиях Нахимова обнаружилось то редкое соединение твердой решимости



с благоразумной осторожностью, то равновесие ума и характера, которое составляет исключительную принадлежность великих военачальников». Нахимов, долго крейсируя перед Синопом, каждый день мог погибнуть, потому что неоднократно оказывалось так, что у него судов было гораздо меньше, чем у турок. И тут больше всего сказались его железная выдержка и уверенность в себе и в команде.

В Синопе стояла эскадра Осман-паши, который уже с 10(22) ноября знал, что русская эскадра явно сторожит его у самого выхода из Синопского рейда; он знал, что она усилилась, и уже 12(24) ноября отправил очень тревожное донесение в Константинополь, прося немедленно подкреплений. Решид-паша сейчас же сообщил об этом главному руководителю турецкой политики, британскому послу лорду Стрэтфорду-Рэдклифу. Но это уже было поздно — 17 (29) ноября, то есть за сутки до того, как Нахимов вошел в Синопскую бухту. Даже если бы Константинополь решил оказать помощь, даже если бы Стрэтфорд немедленно приказал английскому адмиралу, стоявшему у Дарданелл, идти в Синоп (чего Стрэтфорд делать не имел права), даже если бы адмирал его послушался, — все равно помощь запоздала бы. Участь турецкого флота решена была в несколько часов.

В сущности, решив напасть на турецкий флот, Нахимов рисковал очень серьезно. Береговые батареи у турок в Синопе были хорошие, орудия на судах также были в исправности. Но уже давно, еще с конца XVI века, турецкий флот, некогда один из самых грозных и дееспособных в мире, не имел в решающие моменты своего существования сколько-нибудь способных адмиралов. Так оказалось и в фатальный для Турции день Синопа. Осман-паша расположил как бы веером свой флот у самой набережной города: набережная шла вогнутой дугой, и линия флота оказалась вогнутой

дугой, закрывавшей собой если не все, то многие береговые батареи. Да и расположение судов было, естественно, таково, что они могли встретить Нахимова только одним бортом: другой был обращен не к морю, а к городу Синопу.

На рассвете 18(30) ноября 1853 года русская эскадра оказалась милях в десяти от Синопского рейда.

В 9 часов утра 18(30) ноября Нахимов на корабле «Мария» и рядом Новосильский на другом 120-пушечном корабле «Париж», а за ними, в двух колоннах, остальные суда пошли к Синопу. В половине первого часа дня раздался первый залп турецких батарей против эскадры Нахимова, входившей на рейд. Корабль Нахимова шел впереди и ближе всех стал к турецкому флоту и береговым батареям. Нахимов стоял на капитанском мостике «Марии» и смотрел в подзорную трубу на развернувшийся сразу артиллерийский бой. Русская победа определилась уже спустя два часа с небольшим. Турецкая артиллерия осыпала снарядами русскую эскадру, успела причинить некоторым кораблям большие повреждения, но не потопила ни одного. А диспозиция Нахимова была исполнена в точности, и его приказы и наставления о том, как держаться в морском бою, принесли громадную пользу. Корабль «Константин» оказался в опасном положении и был окружен неприятельскими судами. Тогда «Чесма» вдруг вовсе перестала отстреливаться от обращенного против нее огня и направила полностью весь огонь своих орудий против особенно яростно громившего «Константина» турецкого фрегата «Навек-Бахри», Фрегат «Навек-Бахри», поражаемый огнем «Константина» и «Чесмы», взлетел на воздух, притом так, что груда его обломков и тела экипажа упали на береговую батарею, загромождали ее и этим вывели временно из строя.

Подобное же положение, когда тоже помогло внушение Нахимова о взаимной поддержке, повторилось

спустя полчаса с кораблем «Три святителя». Корабль был поврежден, он беспомощно стал вращаться, и его отнесло ветром под сильную береговую батарею, которая могла его потопить и произвела на нем сильные разрушения. Но тут «Ростислав», сам находясь под сильнейшим огнем, тоже сразу прекратил свои ответы на обстрел, а весь свой огонь направил на ту самую турецкую батарею № 6, которая расстреливала «Трех святителей». Не только корабль «Три святителя» был спасен, но вся батарея № 6 была сама снесена русским огнем с лица земли. Правда, это случилось лишь в начале четвертого часа дня и обошлось недешево «Ростиславу»: он получил тяжелые повреждения и чуть сам не взлетел на воздух, так как на нем возник пожар и искры подбирались к кюйт-камере с ее запасами пороха, но удалось потушить огонь. С этой дуэлью между «Ростиславом» и турецкой береговой батареей № 6 связано бегство «Таифа» с места сражения.

Нужно заметить, что присутствие в составе эскадры Осман-паши двух паровых судов очень озабочивало Нахимова, у которого в распоряжении ни одного парохода не было, а были только парусные суда. Нахимов имел все основания опасаться, что быстроходный 20-пушечный пароход «Таиф», удобоподвижный, находящийся притом под управлением не турка, а прекрасного моряка-англичанина, может очень и очень себя проявить в битве, где большим парусным судам поворачиваться и маневрировать не так-то удобно и легко. Нахимов настолько считался с этим, что посвятил пароходам Осман-паши особый (9-й) пункт своей диспозиции, отданной в его приказе накануне боя вечером 17 ноября: «Фрегатам «Кагул» и «Кулевчи» во время действия остаться под парусами для наблюдения за неприятельскими пароходами, которые, без сомнения,

вступят под пары и будут вредить нашим судам по выбору своему».

Но это совершенно логичное и, казалось бы, безусловно правильное предположение Нахимова не оправдалось нисколько. Случилось нечто совсем неожиданное. Адольфус Слэд, командир «Таифа», мог сколько угодно переименовываться в Мушавер-пашу, но он, как был до своего превращения в поклонника пророка истым бравым англичанином, а вовсе не турком, так англичанином и остался, и служил он в турецком флоте не во славу аллаха и Магомета, а во славу лорда Стрэтфорда-Рэдклифа. Свое пребывание в составе эскадры Осман-паши он понимал по-своему, как всегда, без исключений, понимали это англичане, переходившие на турецкую службу.

Сделал же он следующее. Будучи превосходным, опытным командиром (единственным в этом отношении во всей эскадре Осман-паши), Слэд уже с самого начала битвы увидел, что турецкому флоту грозит поражение, а так как лордом Стрэтфордом ему было поручено наблюдать и доносить, а вовсе не класть свою голову в борьбе за Полумесяц, то, убедившись уже вскоре после начала битвы в неминуемой и сокрушающей победе Нахимова, он, искусно сманеврировав в самом опасном месте боя между «Ростиславом» и береговой батареей № 6, вышел из рейда и помчался на запад, в Константинополь, забыв, очевидно, за множеством дел уведомить об этом своем внезапном бегстве своего прямого начальника Осман-пашу, которого покинул, таким образом, в самый трудный момент. За ним вдогонку полетели на всех парусах фрегаты «Кагул» и «Кулевчи», которые, как сказано, именно и были предназначены Нахимовым по диспозиции для наблюдения за «Таифом». Но им было не угнаться за быстрым пароходом, да еще превосходно управляемым.

Слэд несколько раз менял курс, круто изменял направление, зная, как трудно большим парусникам следовать за всеми его зигзагами. В конце концов «Таиф» их оставил далеко позади и пропал на горизонте. Но именно тут он чуть не погиб: его чуть-чуть не потопила эскадра Корнилова, как раз спешившая из Севастополя на помощь Нахимову. Корнилов открыл огонь по «Таифу». Командир Слэд стал отстреливаться и сильно повредил напавший на него пароход «Одессу». Выведя на момент «Одессу» из боя, Слэд помчался на всех парах дальше, держа румб на Константинополь. Корнилов отрядил за ним два других парохода своей эскадры — «Крым» и «Херсонес», но они после долгой погони должны были отказаться от своей задачи. «Таиф» прибыл в Константинополь.

Эскадра Корнилова, еще подходя только к Синопскому рейду, могла убедиться, что она опоздала. Сражение шло к концу. Можно сказать, что бой, начавшийся в половине первого, привел к полному разгрому турок уже около трех — трех с четвертью часов дня. Стрельба нахимовских комендоров при этом была всегда на редкость метка.

Турецкий флот, застигнутый Нахимовым, погиб полностью — не уцелело ни одного судна, и погиб он почти со всей своей командой. Были взорваны и превратились в кучу окровавленных обломков четыре фрегата, один корвет и один пароход «Эрекли», который тоже мог бы уйти, пользуясь быстроходностью, подобно «Таифу», но на нем командовал турок, и он не последовал примеру Слэда. Были зажжены самими турками пробитые и искалеченные другие три фрегата и один корвет. Остальные суда, помельче, погибли тут же. Турки считали потом, что из состава экипажа погибло около 3 тысяч с лишком. В английских газетах упорно приводилась цифра 4 тысячи.

Перед началом сражения турки были так уверены в победе, что они уже наперед посадили на суда войска, которые должны были взойти на борт русских кораблей по окончании битвы.

Когда опоздавшая эскадра Корнилова входила на Синопский рейд, ликующие крики команд обеих эскадр слились воедино. Некоторые из погибающих турецких судов выбросились на берег, где начались пожары и взрывы на батареях. Часть города пылала, все власти и сухопутный гарнизон Синопа в панике бежали в горы, поднимающиеся в окрестностях. Население бросилось в бегство еще в начале боя.

Наступил вечер, и вот какая картина предстала перед глазами экипажа корниловской эскадры, когда она вошла в Синопскую бухту: «Большая часть города горела, древние зубчатые стены с башнями эпохи средних веков выделялись резко на фоне моря пламени. Большинство турецких фрегатов еще горело, и когда пламя доходило до заряженных орудий, происходили сами собой выстрелы, и ядра перелетали над нами, что было очень неприятно. Мы видели, как фрегаты один за другим взлетели на воздух. Ужасно было видеть, как находившиеся на них люди бегали, метались на горевших палубах, не решаясь, вероятно, кинуться в воду. Некоторые, было видно, сидели неподвижно и ожидали смерти с покорностью фатализма. Мы замечали стаи морских птиц и голубей, выделяющихся на багровом фоне озаренных пожаром облаков. Весь рейд и наши корабли до того ярко были освещены пожаром, что наши матросы работали над починкой судов, не нуждаясь в фонарях. В то же время весь небосклон на восток от Синопа казался совсем черным...»

Корнилов увидел, что нахимовские суда, многие с перебитыми и поваленными мачтами, продолжали перестрелку, добывая те немногие суда турок, которые еще не затонули и не взорвались. Один из

современников так описывает встречу двух адмиралов: «Мы проходим совсем близко вдоль линии наших кораблей, и Корнилов поздравляет командиров и команды, которые отвечают восторженными криками «ура», офицеры машут фуражками. Подойдя к кораблю «Мария» (флагманскому Нахимова), мы садимся на катер нашего парохода и отправляемся на корабль, чтобы его поздравить. Корабль весь пробит ядрами, ванты почти все перебиты, и при довольно сильной зыби мачты так раскачивались, что угрожали падением. Мы поднимаемся на корабль, и оба адмирала кидаются в объятия друг друга. Мы все тоже поздравляем Нахимова. Он был великолепен: фуражка на затылке, лицо обагрено кровью, а матросы и офицеры, большинство которых мои знакомые, все черны от порохового дыма. Оказалось, что на «Марии» было больше всего убитых и раненых, так как Нахимов шел головным в эскадре и стал с самого начала боя ближе всех к турецким стреляющим бортам». Пальто Нахимова, которое он перед боем снял и повесил тут же на гвоздь, было изорвано турецким ядром. Среди пленных находился и сам флагман турецкой эскадры Осман-паша, у которого была перебита нога. Рана была очень тяжелая. В личной храбрости у старого турецкого адмирала недостатка не было, так же как и у его подчиненных. Но одного этого качества оказалось мало, чтобы устоять от нахимовского нападения.

23 ноября, после бурного перехода через Черное море, эскадра Нахимова бросила якорь в Севастополе.

Все население города, уже узнавшее о блестящей победе, встретило победоносного адмирала. Нескончаемые «Ура, Нахимов!» неслись также со всех судов, стоявших на якоре в Севастопольской бухте. В Москву, в Петербург, на Кавказ к Воронцову, на Дунай к Горчакову полетели ликующие известия о сокрушительной русской морской победе. «Вы не

можете себе представить счастье, которое все испытывали в Петербурге по получении известия о блестящем Синопском деле. Это поистине замечательный подвиг» — так поздравлял Василий Долгоруков, военный министр, князя Меншикова, главнокомандующего флотов в Севастополе. Николай дал Нахимову Георгия 2-й степени — редчайшую военную награду — и щедро наградил всю эскадру. Слава победителя гремела повсюду.

Озабочен по поводу Синопа и сосредоточен был с самого начала лишь один человек во всей России — Павел Степанович Нахимов.

Конечно, чисто военными результатами Синопского боя Нахимов, боевой командир, победоносный флотоводец, был доволен. Колоссальный, решающий успех был достигнут с очень малыми жертвами: русские потеряли в бою 38 человек убитыми и 240 человек ранеными, и при всех повреждениях, испытанных русской эскадрой в бою, ни один корабль не вышел из строя, и все они благополучно после тяжелого перехода через бурное Черное море вернулись в Севастополь. Мог он быть доволен и своими матросами: они держали себя в бою превосходно, без тени боязни, быстро, ловко, дружно выполняя все боевые приказы. Прекрасно действовали и его артиллеристы-комендоры. Наконец, мог Нахимов быть доволен и собой, а он ведь учил, что начальник обязан строже всего и в мирное время, но особенно в бою, относиться именно к себе, потому что на него все смотрят и по нему все равняются. На него смотрели и матросы и любовались им в Синопский день. «А, Нахимов! Вот смелый! Ходит себе по юту, да как свистнет ядро — только рукой, значит, поворотит: туда тебе и дорога!» — рассказывал, лежа в госпитале в Севастополе, изувеченный взрывом участник боя матрос Антон Майстренко.



Итак, собой и своим экипажем Нахимов мог быть вполне удовлетворен. «Битва славная, выше Чесмы и Наварина! Ура, Нахимов! Михаил Петрович Лазарев радуется своему ученику!» — так писал о Синопе другой ученик Лазарева — адмирал Корнилов. Сам Нахимов тоже помянул покойного своего учителя и в свойственном себе духе: «Михаил Петрович Лазарев, вот кто сделал все-с!» Это полное отрицание собственной руководящей центральной роли было совершенно в духе Нахимова, лишенного от природы и тени какого-либо тщеславия или даже вполне законного честолюбия.

Но в данном случае было и еще кое-что. У нас есть ряд свидетельских показаний, исходящих от современников (Богдановича, Ухтомского, адмирала Шестакова и др.) и совершенно одинаково говорящих об одном и том же факте — о настроении Нахимова вскоре после Синопа: «О возбужденном им восторге он говорил неохотно и даже сердился, когда при нем заговаривали об этом предмете, получаемые же письма от современников он уклонялся показывать. Сам доблестный адмирал не разделял общего восторга». Он не любил вспоминать о Синопе, утверждают другие. Он говорил, что считает себя причиной, давшей англичанам и французам предлог войти в Черное море, говорят третьи. «Павел Степанович не любил рассказывать о Синопском сражении, во-первых, по врожденной скромности и, во-вторых, потому, что он полагал, что эта морская победа заставит англичан употребить все усилия, чтобы уничтожить боевой Черноморский флот, что он невольно сделался причиной, которая ускорила нападение союзников на Севастополь».

Случилось именно то, чего он опасался.

От синопского разгрома спасся бегством, таким образом, единственный турецкий пароход «Таиф», на котором командовал английский моряк сэр Адольфус Слэд, называвшийся, как сказано, по турецкой службе адмиралом Мушавер-пашой. Уйдя от русской погони, Мушавер-паша примчался в Константинополь 2 декабря и тотчас сообщил о катастрофе.

Турецкое правительство растерялось до такой степени, что чуть ли не в один и тот же день главному начальнику всех турецких морских сил (Капудан-паше) было объявлено, чтобы он не смел показываться на глаза разгневанному на него падишаху, а затем ему же был дан великим визирем и Решид-Мустафой-пашой любопытный по своей полной нелепости приказ: немедленно выйти в Черное море с четырьмя оставшимися в Босфоре фрегатами. Зачем выйти? Кого и зачем искать? Неизвестно. Но турецкие дела в то время не зависели ни от Решида, ни даже от самого падишаха, «повелителя правоверных», а только и исключительно от лорда Стрэтфорда-Рэдклифа. Английский посол сейчас же, конечно, отменил затевавшуюся бессмысленную авантюру с четырьмя турецкими фрегатами.

4 декабря, то есть через четыре дня после Синопа, вот что он писал в Лондон: «К прискорбию, очевидно, что мир в Европе подвергается самой непосредственной опасности, и я не вижу, как мы можем с честью и с благоразумием, понимаемым в более широком и истинном смысле, воздержаться далее от входа в Черное море со значительными силами, каков бы при этом ни был риск». Стрэтфорд, делавший в Константинополе все от него зависящее, чтобы довести

дело до войны, тут же, в официальной бумаге, уповает на лжесвидетельство со стороны самого создателя: «Бог знает, что мы довели наше воздержание (forbearance) и любовь к миру до таких размеров, которые породили много затруднений и чреваты опасными случайностями».

Стрэтфорд неспроста вставил эту фразу о воздержании и любви к миру.

Только во вторую неделю декабря по Лондону стала распространяться весть о том, что Нахимов уничтожил 30 ноября турецкий флот.

Русский посол в Лондоне Бруннов спешил донести в Петербург о потрясающем впечатлении, произведенном в Лондоне этой русской блестящей морской победой. Он сразу же правильно уловил основной мотив возмущения в прессе и в широких слоях общества: «Где была Великобритания, которая недавно утверждала, что ее знамя развевается на морях Леванта затем, чтобы ограждать и оказывать покровительство независимости Турции, ее старинной союзницы? Она оставалась неподвижной. До сих пор она не посмела даже пройти через пролив. Это значит дойти до предела позора. Жребий брошен. Больше отступать уже нельзя, не омрачая чести Англии неизгладимым пятном». Бруннов не скрывает опасения, что под влиянием таких нападок английское правительство может решиться на активное выступление.

Тут не место распространяться об общих причинах, побудивших Англию и Францию взяться за оружие в 1854 году. Здесь достаточно сказать, что 17 декабря английский посол при французском дворе лорд Каули имел разговор с Наполеоном III, после которого немедленно сообщил министру иностранных дел Кларендону: «Французское правительство полагает, что Синопское дело, а не переход (русских войск. — Е. Т.) через Дунай должно бы быть сигналом к действию

флотов». Не успел Кларендон опомниться, как лорд Каули известил его, что французский император снова его призвал и прямо заявил, что нужно «выместить с моря прочь русский флаг» и что он, император, будет разочарован, если этот план не будет принят Англией. 3 января 1854 года англофранцузский флот вошел в Черное море.

Позиция русского посла барона Бруннова среди поднявшейся в Англии бури по поводу Синопа была такова: Россия и Турция находятся в состоянии войны, присутствие в Босфоре или даже в Черном море судов какой-либо третьей державы не может заставить русский флот отказаться от преследования турецких кораблей и нападения на эти корабли. Николай написал сверху карандашом «C'est juste» («это справедливо»).

Англия и Франция решили идти в этом вопросе напролом.

Вопрос в прессе ставился так: могут ли Франция и Англия, ограждая свои экономические и политические интересы, позволить, чтобы Россия завоевала Турцию? Нет. Можно ли смотреть на нападение Нахимова в Синопе как на начало крушения Турции? Да, можно и должно. Чем более яростно шла вдохновляемая Пальмерстоном агитация в прессе и парламенте, тем чаще писали о «предательском» (treacherous) нападении Нахимова на турок, о «бойне», учиненной им, и о нарушении международного права русским адмиралом. Эта версия всецело была поддержана и французской прессой, которая в данном случае отразила лишь взгляды владыки Франции, да ничего другого при полнейшей своей скованности и не могла отразить.

Нужно отдать справедливость английской исторической науке — теперь уж она признала, что Нахимов имел полнейшие и международно-правовые и военные основания напасть 18(30) ноября на флот, стоявший в Синопе.

Вот что писал Наполеон III Николаю о победе Нахимова: «До сих пор мы были просто заинтересованными наблюдателями борьбы, когда Синопское дело заставило нас занять более определенную позицию. Франция и Англия не считали нужным послать десантные войска на помощь Турции. Их знамя не было затронуто конфликтами, которые происходили на суше, но на море это было совсем иное. У входа в Босфор находилось три тысячи орудий, присутствие которых достаточно громко говорило Турции, что две первые морские державы не позволят напасть на нее на море. Синопское событие было для нас столь же оскорбительно, как и неожиданно. Ибо неважно, хотели ли турки или не хотели провезти боевые припасы на русскую территорию. В действительности русские суда напали на турецкие суда в турецких водах, когда они спокойно стояли на якоре в турецкой гавани.

Они были уничтожены, несмотря на уверение, что не будет предпринята наступательная война, и несмотря на соседство наших эскадр. Тут же не наша внешняя политика получила удар, но наша военная честь. Пушечные выстрелы при Синопе болезненно отдались в сердце всех тех, кто в Англии и во Франции обладает живым чувством национального достоинства. Раздался общий крик: всюду, куда могут достигнуть наши пушки, наши союзники должны быть уважаемы».

В ответном письме, помеченном 9 февраля 1854 года, Николай I говорит о Синопе: «С того момента, как турецкому флоту предоставили свободу перевозить войска, оружие и боевые припасы на наши берега, можно ли было с основанием надеяться, что мы будем терпеливо ждать результата подобной попытки? Не должно ли было предположить, что мы сделаем все, чтобы ее предупредить? Отсюда последовало Синопское дело: оно было неизбежным последствием положения,

занятого обеими державами (Францией и Англией. — *Е. Т.*), и, конечно, это событие не должно было показаться им неожиданным».

Вскоре после этой переписки послы Англии и Франции выехали из Петербурга, русские послы покинули Лондон и Париж, и последовало объявление обеими западными державами войны Российской империи.

Нахимов и с ним весь Черноморский флот следили с напряженным вниманием за первым актом начинающейся трагедии, за Парижем и Лондоном, за вступлением русских войск в Молдавию и Валахию, за войной на Дунае, за первым торжеством русского наступления и за последующими неудачами на Дунае. Они пока еще были зрителями и с беспокойством думали о сцене, на которой им суждено было выступить в качестве главных действующих лиц.

Много черных дум было некоторыми из них передумано и отчасти высказано и после Синопа, и после прохода союзных эскадр через Босфор в Черное море в январе 1854 года, и после зловещей последней переписки Наполеона III и Николая I в январе — феврале 1854 года, и после бомбардировки Одессы в апреле, и после снятия осады с Силистрии в июне. С каждым днем нарастала грозная туча именно над Севастополем, с каждым месяцем становилось все более ясно, что именно на юге Крыма, а не в каком-либо другом месте произойдет решающая схватка между Россией и враждебной ей коалицией Франции, Англии, Турции.

Утром 1(13) сентября 1854 года телеграф сообщил Меншикову, что огромный флот направляется непосредственно к Севастополю.

Нахимов и Корнилов с вышки Морской библиотеки увидели в отдалении несметную массу судов. Сосчитать их издали в точности было невозможно. В действительности их оказалось, не считая мелких, около

360 вымпелов. Это были как военные суда (парусные и паровые), так и транспорты с армией, артиллерией и обозом. Вся эта огромная масса была окутана туманом и дымом. Она шла к Евпатории. Нахимов и Корнилов долго глядели на эту медленно проходившую, далекую, темнеющую в тумане громаду в подзорные трубы. Им обоим она несла славу и гибель.

## IV

Историческая роль матросов и солдат, и многих из рядового офицерства, и тех единичных личностей в командном составе, какими явились Корнилов, Нахимов, Истомин, Тотлебен, Хрулев, А. Хрущов, Васильчиков, может быть определена так. Эти люди были брошены в полном смысле слова на произвол судьбы сначала без верховного руководства вовсе, потом при таком верховном руководстве, которое делало одну за другой ряд грубейших ошибок. Мало того. У них не только не было искусного командования, но не было ни правильного и достаточного снабжения боеприпасами, ни сколько-нибудь честно, нормально и, главное, организовано поставленной доставки пищевых продуктов, ни достаточной обеспеченности лекарствами и медицинской помощью, потому что и Пирогов, и Гюббенет, и самоотверженные сестры милосердия так же точно зависели во многом от тыла, как в своей области Нахимовы, Корниловы и Тотлебены, а тыл одинаково мало был способен помочь севастопольским защитникам и на бастионах и в лазаретах.

Эти люди, поставленные в такое истинно отчаянное положение, создали вместе со своими матросами и солдатами великую севастопольскую эпопею, затмившую все исторические осады; они создали то своего рода историческое чудо, которое даже во враждебной печати стали именовать (уже после окончания войны) «русской Троей», вспоминая эпическую осаду, воспетую гомеровской «Илиадой». Мы тут задаемся целью проследить деятельность лишь одного из этих людей; поэтому будем касаться только тех перипетий кровавой борьбы, в которых он принимал непосредственное участие. Но, даже самым строгим



образом ограничивая свою задачу, тот, кто пытается дать сколько-нибудь реальное представление об этих людях, непременно должен напомнить и о совсем других, о деятелях, стоявших на самой вершине военной иерархии. Ограничимся самыми краткими словами хотя бы о двух, от которых непосредственно зависела судьба Севастополя со всеми защитниками — от солдата и матроса до адмиралов включительно — о главнокомандующем Крымской армии и флота князе Меншикове и военном министре князе В. А. Долгорукове, который долгое время был перед тем помощником военного министра А. И. Чернышева.

Меншиков был взыскан всеми милостями, пользовался неизменно благоволением Николая, обладал колоссальным богатством и занимал в придворной и государственной жизни совсем особое место. Он был очень образованным человеком, и не только по сравнению с придворными и сановниками Николая Павловича, но и безотносительно. Он был умен и злоречив. По своему положению он примерно с сорокалетнего возраста ни в ком не нуждался, кроме, конечно, самого царя. Личной храбростью он, бесспорно, обладал и на войне 1828–1829 годов был тяжело ранен.

В 1829 году Николай буквально ни с того ни с сего сделал его начальником Главного морского штаба, хотя князь Александр Сергеевич никогда нигде не плавал и лишь чисто любительски интересовался морским делом. Из начальника штаба он превратился очень скоро фактически, если не по титулу, в морского министра, одновременно стал еще и финляндским генерал-губернатором, хотя Финляндию знал еще меньше, если это только возможно, чем морское дело. В 1853 году своим вызывающим поведением в качестве чрезвычайного посла в Константинополе он сыграл, не ведая и не желая того, на руку Пальмерстону и Стрэтфорду-Рэдклифу и ускорил взрыв войны с Турцией.

А затем и был назначен главнокомандующим Крымской армии и Черноморского флота с оставлением во всех прежних должностях, вплоть до финляндского генерал-губернаторства. Он без колебаний и сомнений проходил свой блестящий жизненный путь, беря все должности, которые ему предлагались, конечно, если эти должности принадлежали к числу наивысших и почетнейших в государстве.

Он был циник и скептик, откровенно презирал своих коллег.

Меншиков остерегался лишь затрагивать царя, но тем более беспощадно издевался над его креатурами, над их холопством, казнокрадством, тщеславием, тупостью, бесчестностью. О министре путей сообщения Клейнмихеле он утверждал, что тот совсем уже сговорился продать свою душу черту, но сделка, к огорчению обеих договаривавшихся сторон, расстроилась, ибо никакой души у Клейнмихеля вообще не оказалось. Киселева, министра государственных имуществ, Меншиков предложил послать на Кавказ, где нужно было разорять враждебные аулы, потому-де, что никто так не умеет дочиста разорять деревни и села, как Киселев, доказавший это по всей России.

Иностранные дипломаты очень прислушивались к этим остротам и выходкам князя. Военный министр Александр Иванович Чернышев, долгие годы вместе со своим помощником, а потом преемником Василием Долгоруковым разрушавший боеспособность русской армии, ненавидел Меншикова за то, что на вопрос княгини Чернышевой: «Не помните ли, как называется город, который взял Александр?» — Меншиков быстро ответил: «Вавилон!», притворяясь, будто он думает, что его спрашивают не об Александре Чернышеве, но об Александре Македонском, хотя знал отлично, что жена Чернышева желала, чтобы вспомнили о городе Касселе, куда Чернышев вошел в условиях полнейшей

безопасности в 1813 году, во время выхода русской армии в Германию. Этого «Вавилона» Чернышев не простил Меншикову до гробовой доски.

Меншикову справедливо казались смешными претензии Чернышева на полководческие лавры, но ему нисколько не показалось смешным, что сам-то он внезапно попал, не имея на это ни малейших прав по своим данным, в верховные вожди русских сухопутных и морских сил, да еще в один из самых грозных моментов в истории русского народа и именно в наиболее угрожаемом пункте империи. Впрочем, это и в самом деле было вовсе не смешно: это было трагично.

Еще до нападения союзников на Севастополь в Петербурге ни для кого, кроме царя, не было тайной, что такое Меншиков как морской министр.

Из документов ясно, как безучастен был Меншиков в октябре — ноябре 1853 года, когда Нахимов следил на море за турецким флотом. Теперь, в конце лета 1854 года, гроза уже шла прямо на Севастополь. Как же Меншиков готовился встретить ее?

Уже с того дня, как союзный флот вошел 3 января 1854 года в Черное море, Одесса, Севастополь, Николаев и все форты восточного берега Черного моря оказались под угрозой не только прямого нападения, но и немедленной гибели, потому что решительно ничего не было готово к обороне. Бомбардировка Одессы в апреле 1854 года тоже ничуть не заставила взяться за дело.

Если севастопольская драма началась не в марте, а только в сентябре 1854 года, то это произошло прежде всего потому, что союзников задерживали опасения за турецкую армию на Дунае. Но вот 1(13) июня под давлением нарастающей угрозы со стороны Австрии Николай дал свое принципиальное согласие на снятие осады с Силистрии, и Паскевич, получив письмо императора, мгновенно этим согласием воспользовался. Русская армия ушла за Дунай.

С этого момента руки у французов и англичан были развязаны. Уже можно было думать не о защите Турции от России, но о прямом нападении на русскую территорию.

Любопытно отметить, что еще в середине лета главнокомандующий Меншиков временами видел грозящую опасность. Меншиков доносил Николаю 29 июня (11 июля) 1854 года, что среди опасностей, угрожающих Крыму, он считает также и «покушение на Севастополь», и уничтожение Черноморского флота. Он предполагал, что неприятель может высадить до 60 тысяч человек, не считая турецких войск. А для обороны у Меншикова было 22 700 человек пехоты, 1128 человек кавалерии и 36 легких орудий, да еще он мог бы собрать с кордонов 500 или 600 казаков. Вывод князя был очень пессимистичен: «Против внезапного нападения Севастополь, конечно, обеспечен достаточно временными своими укреплениями. Но противу правильной осады многочисленного врага и противу бомбардирования с берега средства нашей защиты далеко не соразмерны будут с средствами осаждающего... Мы положим животы свои в отчаянной борьбе на защиту святой Руси и правого ее дела».

Но, к сожалению, роковой легкомысленный оптимизм вдруг овладел Меншиковым как раз перед катастрофой. В одной из рукописей симферопольского исторического архива рассказывается о таком случае: когда Корнилов хотел показать Меншикову список офицеров и жителей Севастополя, давших добровольные пожертвования из личных средств на предстоящую оборону города, то Меншиков, отрицавший возможность высадки и осады, ответил: «Я не желаю видеть списка трусов...»

Но не только Меншиков проявлял в эти наступающие катастрофические дни полную беспечность. О Крыме и Севастополе как-то забыли и в Петербурге. «Наступило как будто затишье. Почему-то успокоились и у нас в

Петергофе, и в самом Севастополе, несмотря на то, что из-за границы продолжали приходить сведения о приготовлениях союзников к большой морской экспедиции, о многочисленных судах, собранных у Варны и Балчика», — читаем в воспоминаниях Д. А. Милютина.

Один из знакомых князя Меншикова, местный булганакский помещик, явился незадолго до начала осады Севастополя к князю с вопросом: не лучше ли будет заблаговременно с семьей уехать? И получил в ответ, что «предпринять нашим неприятелям высадку менее сорока тысяч человек невозможно, а сорока тысяч им поднять не на чем».

Совершенно согласуется с этими показаниями и история первого появления в Севастополе Эдуарда Ивановича Тотлебена.

Горчаков, командовавший в 1854 году русской армией на Дунае, впоследствии столь же роковой человек для Севастополя, как и Меншиков, неожиданно оказал колоссальную услугу обороне этой крепости в самом начале этой эпопеи: он прислал Тотлебена.

Тотлебен никогда не мог забыть той встречи, которая постигла его у Меншикова. Приведем лишь одно (из многих) документальное показание:

«10(22) августа вечером я встречал на Графской пристани только что приехавшего из Дунайской армии давно знакомого мне саперного подполковника Тотлебена. Поздоровавшись с ним, я спрашиваю его, по какому случаю он пожаловал к нам в Севастополь. Тотлебен ответил мне, что приехал по поручению от князя Горчакова и что, может быть, он останется у нас в Севастополе. Поговоривши еще кое о чем, Тотлебен отправился к князю Меншикову. Через четверть часа Тотлебен возвратился на пристань. Смотрю: он что-то невесел. Тотлебен, подойдя ко мне, передал следующее: «Когда я представился князю Меншикову, он спросил

меня, с какими вестями я приехал в Севастополь. Я подал ему письмо от князя Горчакова... Князь (Меншиков. — *Е. Т.*) прочитал письмо и сказал: «Князь (Горчаков. — *Е. Т.*) по рассеянности своей, верно, забыл, что у меня находится саперный батальон». Потом, обратившись ко мне, добавил: «Отдохнувши после дороги, вы можете отправиться обратно к своему князю на Дунай».

Таков был служебный дебют Тотлебена в городе, который именно ему суждено было спасти от скорой капитуляции. Несмотря на этот прием, Тотлебену удалось все-таки остаться в Севастополе. При первом же осмотре он убедился, что с северной (сухопутной) стороны укрепления города находятся в самом безобразном состоянии.

В самые последние дни августа (ст. ст.) один из приближенных князя Меншикова, «заливаясь смехом», вышучивал забавное известие, полученное Меншиковым из Дунайской армии, будто бы союзники сажают свои войска на суда и предполагают плыть к берегам Крыма.

Веселое расположение духа овладело не только Меншиковым и его приближенными, но почти всеми штабными. «Если бы не надоедавший всем своими опасениями подполковник Тотлебен, то о войне и вовсе бы позабыли».

Продолжительное бездействие союзников объяснилось впоследствии бедственным положением войск под Варной от свирепствовавшей эпидемии, пожаром, истребившим значительную часть складов, а также и разными встреченными затруднениями для устройства громадной материальной части предположенной морской экспедиции. Но князь Меншиков смотрел иначе на бездействие союзников. Он был убежден, что они не решатся предпринять что-либо серьезное в позднее время года, и в таком смысле писал военному министру. Только подобным самообольщением

можно объяснить то равнодушие, с которым князь Александр Сергеевич относился в это время к мерам обороны Севастополя. В Петербурге недоумевали, почему Меншиков даже не потрудился устроить правильно организованный штаб, чем объяснялись полный хаос в делопроизводстве и постоянный беспорядок в управлении армией, вверенной ему. Недоумевали, но не гнали его вон из армии, которую он губил, а только писали ему из Петергофа ласковые, ободряющие записочки.

Десант неприятельской армии совершился вполне для нее беспрепятственно, а 7(20) сентября произошла битва на реке Альме. Сражение было нами проиграно, несмотря на храбрость и стойкость войск. Потеряв совсем без всякой пользы 5700 человек, Меншиков увел войско к реке Каче, открыв неприятелю беззащитный Севастополь.

Нахимов был в Севастополе и не участвовал в битве. Он мог только частично облегчить положение некоторым жертвам боя, страдавшим от полного отсутствия медицинской и какой бы то ни было иной помощи.

После битвы при Альме раненые оказались в отчаянном положении. Более двух тысяч из них валялись на полу, на земле, без всякой медицинской помощи и даже без тюфяков. Барятинский рассказал об этом Нахимову: «Нахимов, вдруг как бы вспомнив о чем-то, с радостью бросился на меня и сказал: «Поезжайте сейчас в казармы 41-го экипажа (которым он долго командовал) — скажите, что я приказал выдать сейчас же все тюфяки, имеющиеся там налицо и которые я велел когда-то сшить для своих матросов; их должно быть восемьсот или более, тащите их в казармы армейским раненым».

Нахимов, Корнилов, Тотлебен, узнав о печальных результатах битвы при Альме и о последовавшем за нею

движении главнокомандующего Меншикова прочь от Севастополя, ждали немедленного нападения союзников на беззащитный с северной своей стороны город. Была там выстроенная в свое время «тоненькая стенка в три обтесанных кирпичика», как ее ядовито называли моряки, прибавляя, что если эта стенка была тоненькая, то уж зато стены в собственных домах инженеров, выстроенные на экономию от этой «стенки», были очень толстые.

Укрепления Северной стороны были расположены так неумело и нелепо, что окрестные возвышенности господствовали над некоторыми из них, сводя тем самым их значение к нулю. Всего орудий, предназначенных защищать Северную сторону, было 198, причем сколько-нибудь крупных было очень мало. Вообще распределение артиллерийских средств в Севастополе было сделано нецелесообразно: достаточно сказать, что на Малаховом кургане, центре позиции, ключе к Севастополю, в тот момент, когда Корнилов, Нахимов, Истомин и Тотлебен взяли в свои руки дело спасения города, находилось всего пять орудий: все пять — среднего калибра (18-фунтовые).

Только совсем неожиданная, грубейшая, чреватая неисчислимыми последствиями ошибка союзного командования предупредила неминуемую катастрофу.

Утром в понедельник 10(22) сентября, спустя два дня после Альмы, когда во французской и английской армиях многие были убеждены в неминуемости немедленного победоносного нападения на Северную сторону, сэр Джон Бэргойн, английский генерал, явился к главнокомандующему английской армии лорду Раглану и подал совет воздержаться от нападения на Северную сторону, а двинуться к Южной стороне. Раглан сам не решил ничего, а послал Бэргойна к французскому главнокомандующему, маршалу Сент-Арно, в руки



которого таким образом и перешла в этот момент судьба Севастополя.

Многие французские генералы советовали немедленно напасть на Северную сторону. Но тяжело больной, распростертый на кушетке Сент-Арно (ему оставалось жить еще ровно семь дней), выслушав сэра Джона Бэргойна, сказал: «Сэр Джон прав: обойдя Севастополь и напад на него с юга, мы будем иметь все наши средства в нашем распоряжении при посредстве гаваней, которые находятся в этой части Крыма и которых у нас нет с этой (Северной) стороны».

Жребий был брошен. Английские, французские, турецкие батальоны, эскадроны, батареи потянулись бесконечной лентой от лежавшей перед ними совсем беззащитной Северной стороны к югу.

Сами защитники Севастополя не переставали дивиться этой грубой ошибке французского и английского верховного командования и благодарить судьбу за эту совершенно нежданную, негаданную милость. «Знаете? Первая просьба моя к государю по окончании войны — это отпуск за границу: так вот-с, поеду и назову публично осли и Раглана и Канробера», — так сказал Нахимов, вспоминая в разговоре с генералом Красовским уже спустя несколько месяцев об этих грозных днях, наступивших сейчас же после отступления русских войск от альминских позиций.

Штурм и взятия Севастополя сейчас же после Альмы ожидали буквально с часу на час.

Главкомандующий распорядился оставить в Севастополе совсем слабый гарнизон (8 резервных батальонов и небольшое количество матросов), а сам со всей своей армией вышел из города, где пробыл три дня — с 9(21) до 12(24) сентября, и 13(25) пошел к Бельбеку. Адмирал Нахимов не одобрял этого движения и назвал его «игрой в жмурки».

Итак, отброшенная от Альмы, русская армия отступала к Бельбеку. Князь Меншиков немедленно приказал Корнилову командовать на Северной части города, а Нахимову — на Южной. Положение казалось совсем отчаянным. Севастополь мог быть взят в ближайшие дни. Нахимов заявил главнокомандующему, что он без колебаний умрет, защищая Севастополь, но вовсе не считает себя, адмирала, способным к самостоятельному командованию на сухом пути и с готовностью подчинится кому-либо более подходящему, кого Меншиков назначит командовать на Южной стороне города. Но Меншиков подтвердил свое решение и приказал Нахимову принять назначение.

Нахимов повиновался.

Но как только союзная армия неожиданно для русского командования отошла от Северной стороны и обложила Южную, Нахимов упросил Корнилова взять на себя командование, а сам сделался его помощником.

Собственно, когда отступавшая русская армия была уведена Меншиковым в долину Бельбека, то Севастополь был брошен буквально на произвол судьбы. Когда Меншиков, как сказано, перед своим отъездом из Севастополя призвал Корнилова и объявил, что назначает его командиром войск Северной стороны Севастополя, а Нахимова — командиром Южной, то Корнилов ответил, что если армия уводится прочь, то ведь не может Севастополь держаться горстью моряков. Но Меншиков был непреклонен.

Спасли Севастополь в этот момент от непосредственной гибели, во-первых, грубые ошибки союзного верховного командования, не решившегося на немедленную атаку, а во-вторых, три человека: Корнилов, Тотлебен, Нахимов. Тут не место подробно говорить ни об этих ошибках неприятельских вождей — Сент-Арно, Канробера и лорда Раглана, ни о великом подвиге Тотлебена, которым так восхищался, как

гениальным инженером, даже неприятель, ни о стойкости, уже нечеловеческой энергии и доблести Корнилова — мы тут ставим себе задачей проследить лишь индивидуальную роль Нахимова.

Меншиков, уходя и уводя прочь армию, сделал, в сущности, еще одно дело, которое могло бы подкосить оборону в корень, если бы Корнилов и Нахимов не были Корниловым и Нахимовым, а были бы средними адмиралами или генералами, которые завели бы ссоры и пререкания: ведь оба они были оставлены с равными правами, и старшими над ними Меншиков не назначил, в сущности, никого. Старшим по чину, правда, был Моллер, командующий войсками в Севастополе, но мы увидим сейчас, как Нахимов с ним распорядился.

Тут дело решилось быстро: как только обнаружилось, что неприятель двинулся вовсе не на Северную сторону, а на Южную, Нахимов заявил, что он хоть и старше годами и службой, но подчинится Корнилову. Это сохранило полное единство командования в брошенном на произвол судьбы в самый опасный момент городе. Нужно тут же сказать, что в эти первые дни — от Альмы до 14 сентября, когда он приказал потопить часть русского флота, то есть то, что было ему дороже жизни, Нахимов был в самом мрачном состоянии духа. Это говорят нам все источники. Он глядел вечерами из окон дома, где жил Корнилов, на Мекензиеву гору и видел то бесчисленные огни английских и французских биваков, то медленное движение вражеских масс, все идущих и идущих с Мекензиевой горы в долину Черной реки.

Нахимов уже тогда не верил в возможность спасти Севастополь. Он и позже в это не верил, хотя и пытался скрыть это чувство, чтобы не обескуражить бойцов. Еще пока рядом был его друг Корнилов, которого он открыто ставил выше себя, Нахимов редко-редко и притом в совсем малой и близкой компании позволял проявляться

овладевавшему им порой в эти сентябрьские дни чувству, близкому к отчаянию. Но когда Корнилова не стало, никому уже не пришлось наблюдать Нахимова в таком ужасном состоянии. Он знал, что после кровавого дня, 5 октября, у матросов и солдат, защищающих Севастополь, не осталось никого, кроме него и Тотлебена, — может быть, еще впоследствии Истомина, С. Хрулева, А. Хрущова, Васильчикова, — кому они, матросы и солдаты, сколько-нибудь верили бы среди высшего командного состава, потому что многочисленные герои из рядовых, герои из низших офицеров были известны лишь своим ротам, своим бастионам, своим ложементам, и не в их руках власть над всей обороной, не в их руках жизнь и смерть тысяч, не в их руках участь осажденного города. Доверие именно к начальству — это такая моральная сила, которую ничто решительно на войне заменить не может.

После гибели Корнилова Тотлебен дал окончательно обороне Севастополя материальную оболочку, а Нахимов вдохнул в нее душу — так говорили потом уцелевшие севастопольцы. Тот, кто стал на место павшего Корнилова и должен был его заменить, уже не считал себя вправе поддаваться даже минутной слабости. В эти двадцать семь дней Корнилов и его три товарища показали, как возможно выйти из невозможного положения, а, начиная с 5 октября, Нахимов сделал для всех ясным, что Корнилов оставил по себе наследника.

Работа Корнилова, Тотлебена, Нахимова, Истомина, начиная от ухода Меншикова с армией, была самая кипучая. Неизвестно было, когда спали, когда ели эти люди, Тотлебен возводил свои гениальные сооружения, Корнилов вооружал бастионы, Нахимов ставил моряков на сухопутную службу. Нужно было затопить части флота, чтобы он не достался неприятелю и чтобы загромоздить прибрежное дно бухты.

Корнилов, Нахимов, Тотлебен, Истомин просто перестали в эти дни считаться с ушедшим и уведшим свою армию главнокомандующим. По желанию Нахимова они решили высшую власть по обороне города в эти дни вручить Корнилову.

Положение становилось отчаянным, и Меншиков решительно не знал, как избежать близкой и, казалось, неминуемой катастрофы. «Что делать с флотом?» — спросил Корнилов. «Положите его себе в карман», — отвечал Меншиков. Корнилов настойчиво требовал приказаний насчет флота, и приказание было Меншиковым отдано: «Вход в бухту загородить, корабли просверлить и изготовить их к затоплению, морские орудия снять, а моряков определить на защиту Севастополя».

Что было делать? На совете, который 9 сентября, на другой день после Альмы, Корнилов собрал в Севастополе, он предложил флоту выйти в море и атаковать неприятельские суда. Гибель была почти неизбежна, но, погибая, русский флот все же нанес бы серьезный вред неприятелю «и уж, во всяком случае, избег бы постыдного плена». Он указал при этом на большой видимый беспорядок в диспозиции неприятельских судов.

Этот отважный план одними присутствующими был одобрен, другими не одобрен.

Тотчас после заседания Корнилов поехал к Меншикову и заявил, что выйдет в море и нападет на неприятеля. Меншиков категорически отказал, раздражился, видя, что Корнилов стоит на своем, и снова приказал затопить суда.

С рассвета 11 сентября началось потопление судов. Было затоплено пять кораблей.

14 сентября Нахимов подписал свой знаменитый приказ: «Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало гарнизона: я в необходимости нахожусь

затопить суда вверенной мне эскадры и оставшиеся на них команды с абордажным оружием присоединить к гарнизону. Я уверен в командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет драться как герой; нас соберется до трех тысяч; сборный пункт на Театральной площади».

Потопление оставшихся судов было приостановлено, как только появилась слабая надежда на то, что неприятель по какой-то непонятной причине отказывается от мысли немедленно штурмовать Севастополь.

Когда капитан Лебедев, посланный Меншиковым с Мекензиевой горы в Севастополь, прибыл туда 13(25) сентября, то Корнилов допустил его в заседавший как раз военный совет.

Корнилов так сформулировал вопрос, который он предложил совету: «Что предпринять по случаю брошенного на произвол судьбы князем Меншиковым Севастополя?» Можно легко поверить, что Корнилов в самом деле «умышленно невнимательно» обращался при этом с посланцем Меншикова. Нахимов был мягче и расспрашивал Лебедева об армии, уведенной Меншиковым. Но кончил вполне в нахимовском стиле. Лебедев по окончании вопросов спросил Нахимова, в свою очередь, что же ему доложить светлейшему о действиях в Севастополе. «А вот скажите, что мы собрали совет и что здесь присутствует наш военный начальник, старейший из нас всех в чине, генерал-лейтенант Моллер, которого я охотно променял бы вот на этого мичмана». И Нахимов указал на входившего Костырева. Генерал Моллер, услышав, что речь идет о нем, приподнявшись, обратился к Павлу Степановичу, но, узнав о предмете разговора, опять сел. И не только «опять сел», но заявил, что добровольно подчинится младшему в чине Корнилову. Да и как после подобных комплиментов Нахимова мог бы он поступить иначе?

Корнилов не только убежден был, подобно Тотлебену — да и подобно подавляющему большинству русских командиров, — что союзники могли легко овладеть Севастополем сейчас, после сражения при Альме, но он вплоть до 18(30) сентября считал немедленную гибель города очень вероятной, поскольку Меншиков не прислал подкреплений.

Тотлебен смотрел в эти дни на положение вещей так же мрачно, как Корнилов и Нахимов: «Наше положение в Севастополе было критическое: ежеминутно готовились мы встретить штурм вдесятеро сильнеешего неприятеля и, по крайней мере, умереть с честью, как храбрые воины... Севастополь... с сухопутной стороны не был почти совсем укреплен, так что был совершенно открыт для превосходных сил неприятельской армии. Начертание укреплений и расположение войск поручено мне адмиралом Корниловым. Нам помогает также храбрый адмирал Нахимов, и все идет хорошо... Случались дни, когда мы теряли всякую надежду спасти Севастополь; я обрекал себя уже смерти, сердце у меня разрывалось...»

Но именно с 18 сентября, когда он писал это письмо, положение уже кажется ему лучше, чем было до сих пор: появилась первая надежда, что Меншиков усилит севастопольский гарнизон и пришлет подмогу.

18 сентября Меншиков наконец, приблизив свою армию к Севастополю, побывал в городе, виделся с Корниловым и предупреждал его, чтобы впредь он не беспокоился, если действующему отряду потребуется сделать еще какую-нибудь диверсию затем, чтобы отвлечь внимание неприятеля от Севастополя. Но Корнилов плохо верил в стратегию главнокомандующего и упорствовал на необходимости усилить гарнизон, и князь, «снисходя на односторонний взгляд еще неопытного в военном деле адмирала, уважая лихорадочную его заботливость о сосредоточении себе

под руку всех средств к обороне Севастополя, главное же — сознавая, как важно ободрить столь незаменимого своего сподвижника», согласился. Другими словами, Меншиков в это время не очень уверенно себя чувствовал и не решился спорить с Корниловым.

Тотчас же из команд, снятых с кораблей, стали формироваться батальоны под начальством корабельных командиров для действия на берегу.

Нахимов все эти дни — 12, 13, 14 сентября и дальше — непрерывно перевозил орудия с кораблей на береговые бастионы, формировал и осматривал команды, следил за вооружением батарей Северной стороны.

2 октября Нахимов вывел оставшийся пока русский флот из Южной бухты и расставил суда так умело и счастливо, что до последнего дня своего существования они могли оказывать максимальную возможную помощь обороне Севастополя.

Начиная с 20 сентября артиллерийская перестрелка между Севастополем и неприятелем стала несколько усиливаться. Приготовления с обеих сторон принимали все больший размах. Близилось страшное 5 октября.

Все усиливалась и грандиозно развивалась в самых разнообразных направлениях неутомимая деятельность Нахимова по обороне. Они с Корниловым соперничали, выказывая неслыханную отвагу (этим в Севастополе было трудно удивить, но они оба все-таки удивляли и матросов и солдат), а также проявляли быструю находчивость и распорядительность. Тотлебен уже начал свое дело, и Корнилов и Нахимов мечтали лишь об одном: чтобы штурм последовал как можно позже, когда Тотлебен успеет произвести хоть часть своих работ. Штурм не последовало, но 5 октября 1854 года с восходом солнца загремела страшная «первая» бомбардировка с суши, а спустя несколько часов — и с моря, из самых усовершенствованных орудий морской



артиллерии того времени. Три адмирала — Нахимов, Корнилов, Истомин — с рассвета руководили ответным огнем русских батарей и объезжали бастионы. На пятом бастионе в этот день Корнилов и Нахимов встретились и долго там пробыли вместе под адским огнем неприятеля.

«На 5-м бастионе мы нашли Павла Степановича Нахимова, который распорядился на батареях как на корабле; здесь, как и там, он был в сюртуке с эполетами, отличавшими его от других во время осады... — пишет сопровождавший Корнилова в этот день и час его флаг-офицер Жандр. — Разговаривая с Павлом Степановичем, Корнилов взошел на банкет у исходящего угла бастиона, и оттуда они долго следили за повреждениями, наносимыми врагам нашей артиллерией; ядра свистели около, обдавая нас землей и кровью убитых, бомбы лопались вокруг, поражая прислугу орудий». Затем Корнилов отправился на другие бастионы. Корнилов был смертельно ранен ядром в двенадцатом часу дня на Малаховом кургане. Огонь уже ослабевал, бомбардировка подходила к концу, когда Нахимов узнал роковую весть... Капитан Асланбеков рассказывает, как он вечером, узнав о гибели Корнилова, поехал поклониться его праху и, войдя в зал, увидел Нахимова, который плакал и целовал мертвого товарища.

\* \* \*

Из четырех человек, организовавших защиту Севастополя, ураганная бомбардировка 5(17) октября 1854 года унесла одного. Замены ему, которая извне вступила бы в эту маленькую группу, не было ни тогда, ни впоследствии. Вообще этой былой четверке суждено было отныне уменьшаться, но не сменяться и не пополняться в личном составе. Осталось трое —

Нахимов, Тотлебен, Истомин, и роль фактического начальника, вождя, «хозяина Севастополя» перешла непосредственно к Нахимову. С этого времени он работал и за себя, и за Корнилова.

Но роль Нахимова и этой маленькой группы его товарищей все-таки не будет ясна, если мы не напомним читателю о том, до какой степени они были лишены поддержки со стороны всего центрального аппарата армии и военного министерства.

Достаточно ознакомиться с хранящимися в Военноученом архиве (в Москве) письмами Меншикова к министру Долгорукову, чтобы вполне удостовериться, что Севастополь был на волосок от сдачи не только сейчас, после Альмы, но и в октябре и ноябре 1854 года.

«Если Севастополь падет, по крайней мере, Крым не может быть у нас отнят», — успокаивает Меншиков Долгорукова 11 октября 1854 года. Но военного министра, впрочем, незачем было успокаивать: он и сам по себе не очень беспокоился. Он все только грустил, что севастопольские артиллеристы, отстреливаясь, тратят много пороха. Он, министр, пороха подослать никак не может и даже не надеется вовремя подослать, но зато уповает на помощь всевышнего бога, о каковом своем уповании уведомляет Меншикова. Преждевременно одряхлевший и опустившийся царедворец, которым являлся в эту пору своей жизни князь Василий Долгоруков, и усталый, себялюбивый, ничем решительно душевно не интересующийся скептик и циник Меншиков, совсем готовый сдать Севастополь и вполне спокойно и равнодушно предвидящий в ближайшем будущем этот случай, — вот каких людей мы видим как бы воочию, читая эту переписку. В «постскриптуме» — очевидно, за более интересным материалом не хватило раньше места в письме или просто вылетело из памяти, так как всех «мелочей» не упомнишь, — Долгоруков пишет Меншикову 23 октября из Петербурга: «Если Севастополь еще не взят, как мы надеемся, не найдете ли вы уместным приступить, как только это станет возможным, к комбинации для усиления его защиты?» Эта нелепая пустопорожняя фраза, вполне достойная таких же ответных пустейших

записочек Меншикова, писалась военным министром Российской империи как раз тогда, когда защитники Севастополя уже считали, что самый страшный момент прошел и что можно и должно держаться.

Конечно, при своем уме, тонкости и подозрительности Меншиков знал, что и Корнилов до самой смерти, и Нахимов, и матросы, обороняющие город, относились и относятся к судьбе Севастополя не так, как он и его корреспондент, а совсем по-другому. Поэтому когда из Петербурга подсказывали Меншикову, что ввиду скорой сдачи Севастополя следовало бы приказать уничтожить в городе все, что нельзя вывезти, то Меншиков отказывался это сделать, попросту не решаясь такого рода приказ переслать Нахимову и его матросам.

Меншиков соображал, что одно дело — по-французски переписываться с Долгоруковым о сдаче Севастополя, а другое — отдать на русском языке Нахимову и его матросам, Тотлебену и его саперам и землекопам-рабочим приказ о передаче города французам и англичанам. Он ведь знал, конечно, о тех настроениях, о которых повествовал впоследствии Ухтомский, говоря, что «между моряками прямо обвиняли (начальника штаба) в равнодушии к делу и чуть ли не в измене». И он, ни на что не решаясь, продолжал себе из своего «прекрасного далека», сначала из Бельбека, потом из Северной стороны, которую он из любезности к военному министру Долгорукову, не очень твердо в русском языке, называет «Severnaја», наблюдать за тем, как Нахимов, Тотлебен, Истомин, Хрулев и их матросы и солдаты бьются и погибают на севастопольских редутах.

Меншиков был умнее и если не чище, то безгливее Долгорукова, но, конечно, и военный министр, и все те, жизнь которых «протекала так приятно» в окрестностях Зимнего дворца до 1853 года, были своими, родными,

близкими для Меншикова. А «боцман», «матрос» Нахимов, инженер Тотлебен, худародные Корнилов или Истомин были ему совершенно чужды и определенно неприятны. Общего языка с ними он не только не нашел, но и не искал. Эти чужие ему люди сливались с той серой массой грязных и голодных матросов и солдат, с которой Меншиков уже окончательно ровно ничего общего не имел и не хотел иметь.

Лично честный человек, Меншиков прекрасно знал, какая вакханалия воровства происходит вокруг войны, знал, что солдаты либо недоедают часто, либо отравляются заведомо негодными припасами. Знал и грабителей, даже изредка называл их по фамилии. Но не все ли равно? Грабителей так много, что не стоит и возиться.

Матросы и солдаты всегда интересовали Меншикова так мало, что он просто по своей инициативе почти никогда и не осведомлялся, что они едят и вообще едят ли они.

Деньги, отпускавшиеся миллионами, разворовывались по дороге, и то, что доходило до рот, получалось с огромным опозданием.

Полнейшая, абсолютная безнаказанность была при князе Меншикове гарантирована всем ворами, взяточникам, казнокрадам.

И матросы и солдаты чувствовали упорное и решительное не только нерасположение, но и прямое недоверие к Меншикову, готовы были поверить любому слуху, чернящему главнокомандующего.

«Матросы называли князя Меншикова «анафемой», а войска называли его князем Изменщиковым».

Моряки не хотели всерьез верить, что князь Меншиков — адмирал над всеми адмиралами; армейские военные не понимали, почему он генерал над всеми генералами; ни те, ни другие не могли главным образом взять в толк, почему он главнокомандующий? И

напрасно его хвалили, старались впоследствии приписать его непопулярность чьим-то интригам и уже совсем неосновательно усматривали со стороны Меншикова какие-то «старания» заслужить любовь армии. Ни интриг не было, ни «стараний» не проявлялось.

Нахимов и Корнилов очень хорошо понимали, что по всем своим одиннадцати должностям, по которым Меншиков пользуется доходом и мундиром, он ровно ничего не делает, но что губительнее всего его пребывание именно на посту морского министра и главнокомандующего Черноморского флота.

«Прекрасные, братец, есть ребята между моряками... меня они не любят — что делать: не угодил» — так снисходительно и развязно отзывался этот развлекавшийся то дипломатией, то войной петербургский знатный барин о людях, которым суждено было все же прославить Россию, несмотря на то, что царь наградил их таким верховным командиром. Солдатам он тоже «не угодил».

Совсем не тот дух царил в оставленной армией Севастополе. Вот одно из многочисленных свидетельств очевидцев: «Под вечер я удостоился увидеть еще раз адмирала Корнилова, который принял меня очень любезно, дал мне лошадь и сам провел по главнейшим частям оборонительной линии. Отрадно было видеть тот контраст, какой существовал между настроением защитников Севастополя и унылыми обитателями Бельбекского лагеря. Здесь (в Севастополе) все кипело, все надеялось если не победить, то заслужить в предстоящем решительном бою одобрение и признательность России; там все поникло головой и как бы страшилось приговора отечества и современников».

Меншиков к концу 1854 года совсем махнул рукой на оборону Севастополя. «Севастополь падет в обоих случаях: если неприятель, усилив свои средства, успеет

занять бастион № 4 и также если он продлит осаду, заставляя нас издерживать порох. Пороху у нас хватит только на несколько дней, и, если не привезут свежего, придется вывезти гарнизон» — таковы были перспективы Меншикова в начале ноября 1854 года.

О военном министре, князе Василии Долгорукове, с которым он так ласково переписывался, Меншиков выражался в том смысле, что *«князь Василий Долгоруков имеет тройное отношение к пороху: он пороху не нюхал, пороху не выдумал и пороху не посылает в Севастополь»*. Но дальше этой выходки Меншиков не пошел и больше ничего против Долгорукова не предпринял.

К этому прибавилось и отсутствие подвоза продовольствия, то есть полуголодное существование солдат.

Но в Севастополе под ядрами работали с прежним упорством и гнали от себя всякую мысль о сдаче города.

С первого дня бомбардировки Нахимов и Тотлебен ежедневно бывали на четвертом бастионе, но Тотлебен, занятый постройкой и поправкой укреплений, должен был несколько разредить свои посещения, а Нахимов занялся бастионом специально, и занялся вплотную. Положение было такое: французы направили сейчас же, после первой грандиозной общей бомбардировки 5 октября 1854 года, главные свои усилия на этот ближе всех выдвинутый к ним бастион. Послушаем командира этого бастиона, капитана 1-го ранга Реймерса: «От начала бомбардирования и, можно сказать, до конца его четвертый бастион находился более всех под выстрелами неприятеля, и не проходило дня в продолжение всей моей восьмимесячной службы, который бы оставался без пальбы. В большие же праздники французы на свои места сажали турок и этим не давали нам ни минуты покоя. Случались дни и ночи, в которые на наш бастион падало до двух тысяч бомб и действовало несколько сот орудий...»

Уже после первых дней осады и бомбардировки, собственно, бастион был ямой, где защитники без всякого прикрытия, если не считать жалких брустверов, истреблялись систематически огнем французских батарей. Нахимов в полном смысле слова стал создавать бастион — и создал его. «В первые два месяца на четвертом бастионе не было блиндажей для команды и офицеров, все мы помещались в старых казармах; но когда неприятель об этом разведал, то направил на них выстрелы и срыл их. Вообще внутренность бастиона представляла тогда ужасный беспорядок. Снаряды неприятельские в большом количестве валялись по всему бастиону; земля для исправления брустверов для



большей поспешности бралась, тут же, около орудий, а потому вся кругом была изрыта и представляла неудобства даже для ходьбы».

Нахимов решил, что без блиндажей бастиону конец. «Адмирал Нахимов, приходя ко мне, каждый раз выговаривал: обратить внимание на приведение бастиона в порядок и устройство блиндажей. Но мне казалась эта работа тогда невозможной, так как под сильным огнем и непрерывным разорением брустверов нам едва хватало времени поспевать к утру с исправлением повреждений брустверов», — продолжает Реймерс. И при этих невероятных условиях блиндажи были созданы, и люди получили хоть какое-нибудь прикрытие.

Бастион был занят в значительной мере матросами, для которых величайшей наградой были слова, сказанные Нахимовым после постройки блиндажей и приведения бастиона в порядок: «Теперь я вижу, что для черноморца невозможного ничего нет-с».

Нахимов приносил на бастион Георгиевские кресты, которые и раздавал особенно отличившимся за последние несколько суток. «Нахимов, приходя первое время к нам на бастион, подсмеивался над тем, кто при пролете штуцерной пули невольно приседал: что вы мне кланяетесь?» Нахимовские порядки, заведенные им во флоте, были заведены и на бастионах Севастополя, и это не очень нравилось армейскому командному составу: «... армейские офицеры удивлялись тому, что наши матросики, не снимая шапки, так свободно говорят с нами и что вообще у нас слаба дисциплина. Но на самом деле они впоследствии убедились в противном, видя, как моментально, по первому приказанию, те же матросы бросались исполнять самые опасные работы. Солдаты, поступившие к оружием, делались совершенно другими людьми, видя отважные выходы матросов». Таковы точные и правдивые показания командира

четвертого бастиона Реймерса, сделанные им перед тем, как осколок бомбы вывел и его из строя.

Отношения, заведенные Нахимовым во флоте, сохранялись всецело на севастопольских бастионах, и если можно назвать бытом ежедневное и еженощное пребывание под французскими и английскими бомбами, ядрами, ракетами и штуцерными пулями, то нахимовский быт оставался прежним. Предоставим слово очевидцу: «Особенной популярностью у севастопольцев пользовалось бессмертное имя Павла Степановича Нахимова, так как у моряков не принято было величать своих начальников и офицеров по чинам. Ни ваше благородие, ни превосходительство вовсе не употреблялось в объяснениях, а звали начальство просто по имени и отчеству...

...Как сейчас вижу этот незабвенный тип: верхом на казацкой лошади, с нагайкой в правой руке, всегда при шпаге и адмиральских эполетах на флотском сюртуке, с шапкой, надетой почти на затылок, следует он, бывало, до бастиона верхом, в сопровождении казака. Панталоны без штрипок вечно соьются у него у коленей, так что из-под них выглядывают голенища и белье, ему и горя мало — на подобные мелочи он не обращал внимания. Остановливаясь у подошвы нашего бастионного кургана, Павел Степанович по обыкновению слезал с лошади, оправлял панталоны и шествовал по бастиону пешком. «Павел Степаныч! Павел Степаныч!» — зашумят, бывало, радостно матросы, и все флотское как будто охорашивается, желая показаться молодцеватее своему знаменитому адмиралу, герою Синопа. «Здравия желаем, Павел Степаныч, — отзовется какой-нибудь смельчак из группы матросов, приветствуя своего любимого командира. — «Все ли здоровы?» — «Здоров, Грядка, как видишь», — добродушно ответит Павел Степанович, следуя дальше. «А что, Синоп забыл?» — спрашивает он другого. «Как можно!

Помилуйте, Павел Степаныч! Небось и теперь почесывается турок!» — усмехается матрос. «Молодец!» — заметит Нахимов. Либо, потрепав иного молодца по плечу, сам завязывает разговор, расспрашивая о французах».

Героев было много и среди солдат тоже; солдаты тоже умирали бестрепетно и безропотно, не хуже матросов. Но губительная система, заведенная Павлом, продолженная Александром и Аракчеевым, Николаем и Михаилом, Сухозанетом и Клейнмихелем, Чернышевым и Долгоруковым, развращала и ослабляла русскую сухопутную армию.

Вот что писал один из защитников Севастополя, капитан Ухтомский, в своих черновых заметках, конечно, не надеясь, что они когда-нибудь увидят свет: «Солдаты, превращенные в машины, знали только один фронт; князь А. С. Меншиков в своем дневнике незадолго до высадки неприятеля в Крыму писал: «Увы, какие генералы и какие штаб-офицеры! Ни малейшего не заметно понятия о военных действиях и расположении войск на местности, об употреблении стрелков и артиллерии. Не дай бог настоящего дела в поле». Ухтомский отмечает настойчиво все громадное превосходство моряков, воспитанных школой Лазарева, Нахимова, Корнилова, Истомина, над армейскими частями, сражавшимися рядом с матросами на севастопольских бастионах (хоть солдаты и не уступали морякам в личном бесстрашии). Чем выше был чин военного начальника в армейских войсках, тем менее обыкновенно начальник годился для командования в бою. Фронтное учение и шагистика совсем убили самостоятельность в русской армии. На вылазках, где командовали обер-офицеры, можно было всегда рассчитывать на успех, но чуть вылазкой распоряжается штаб-офицер или полковник — верная неудача; такие же были и генералы... Еще к этому надо добавить, что во

время командования Меншикова, когда можно было многое наладить по укреплению Севастополя, от военного министра Долгорукова не видно было никакого содействия».

И меньше всего можно было ждать помощи от главнокомандующего армии и флота князя Меншикова.

«Кто были помощниками мне? Назовите мне хоть одного генерала, — жаловался князь Меншиков в доверительной беседе с полковником Меньковым. — Князь Петр Дмитриевич (Горчаков, брат преемника Меншикова, князя М. Д. Горчакова)? Старый скряга в кардинальской шапке! Или всегда пьяный Кирьяков и двусмысленной преданности к России Жабокритский, или, наконец, бестолковый Моллер?.. Остальные, мало-мальски к чему-либо пригодные, все помешаны на интриге! Полагаю, что, будучи далеко от солдата, я не сумел заставить его полюбить себя; думаю, что и в этом помогли мне мои помощники».

Меншиков жаловался на своих генералов и сваливал вину за многие свои неудачи на их бездарность и невежество. Ни в чем не виновен и вполне безгрешен только он один, сам Александр Сергеевич.

Возмутительнее всего, что он клеветал на своих солдат, обвиняя их иногда в недостатке стойкости.

К русским матросам и солдатам и к тем людям, которые являлись их настоящими вождями в этой кровавой и яростной борьбе, неприятель был гораздо справедливее. Французский главнокомандующий, сам храбрый и стойкий солдат, маршал Канробер до конца жизни в беседах с близкими с восторгом вспоминал о тех, кого так мало ценил русский главнокомандующий Меншиков: «С какими противниками имели мы дело?» Маршал Канробер, рассказывает его друг, даже сорок лет спустя при этом вопросе поднимался в кресле и, глядя на нас своими огненными глазами, восклицал: «Чтобы понять, что такое были наши противники,

вспомните о шестнадцати тысячах моряков, которые, плача, уничтожали свои суда с целью загородить проход и которые заперлись в казематах бастионов со своими пушками, под командой своих адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина. К концу осады от них осталось восемьсот человек, а остальные, и все три адмирала, погибли у своих пушек...»

Канробер особенно отмечает также и севастопольских рабочих: «Генерал Тотлебен для выполнения своей технической задачи нашел в населении Севастополя, сплошь состоявшем из рабочих или служащих в морском ведомстве и в арсеналах, абсолютную преданность делу. Женщины и дети, как и мужчины, принялись рыть землю днем и ночью, под огнем неприятеля, никогда не уклоняясь. А наряду с этими рабочими и моряками солдат, особенно пехотинец, снова оказался таким, каким мы его узнали в битвах при Эйлау и под Москвой».

Чтобы найти достойное сравнение, Канробер, знаток военной истории, называет именно эти два кровопролитнейших сражения наполеоновской эпопеи, в которых храбрость и стойкость русской пехоты изумили Наполеона I и его маршалов.

Черствый, раздражительный, завистливый и насмешливый Меншиков все-таки должен был в первые месяцы осады считаться с очевидностью: с тем, что после смерти Корнилова Севастополь держится (если не говорить о главном, то есть об упорстве и героизме, проявляемых подавляющим большинством защитников, матросов, солдат и рабочих) на Нахимове, Тотлебене и Истомине.

Среди бездарных начальников, среди звезд генералитета, прославившихся чем угодно, но только не военными заслугами, эти три человека, дружно и согласованно действовавшие, представляли собой могучую силу. Меншиков отлично знал (при его

беспорном уме и огромной опытности он даже не мог не знать), что талантливый, одаренный самостоятельным мышлением человек может при николаевской системе иной раз выйти в генералы, если ему повезет и если он не попадется на глаза и на замечание у царя или у Василия Долгорукова. Но чтобы человек с такими качествами попал на командующий, в самом деле руководящий пост — это было в обыкновенное время абсолютно невозможно. Кому же и было это понимать, как не князю Меншикову? Мало ли он сам сбыл с рук таких неудобных адмиралов и генералов! Ему ли было не знать этот «вырубленный лес», с которым великий поэт Некрасов сравнил двор и окружение Николая после 14 декабря!

Но вот в стороне от большого света, где-то на задворках империи, на Черном море, Михаил Петрович Лазарев создал какие-то свои, несколько подозрительные традиции, воспитал этих Корниловых, Нахимовых, Истоминых, как-то вовсе не подходящих ни по росту, ни по масти к общеустановленному «нормальному» образцу. И вдруг грянула грозная война, и оказалось, к прискорбию князя Меншикова, что в ненормальные времена общеустановленный нормальный образец никуда не годится. Что же делать? Меншиков скрепя сердце решил использовать этот странный, ни на что не похожий, «ненормальный» выводок лазаревских адмиралов, которые, как выразился товарищ Пирогова, профессор хирургии, севастополец Гюбенет, говоря о Нахимове, «не считали достойным хвалить все существующее и скрывать недостатки, а находили пользу в изобличении и в неусыпном стремлении к улучшениям».

И Меншиков уже в декабре 1854 года представил царю доклад о необходимости наградить Нахимова, о котором злобно говорил в своей компании, что ему бы канаты смолить, а не адмиралом быть. Молодой великий

князь Константин Николаевич, находившийся тогда в самой весне своего «либерализма», не только исходатайствовал Нахимову орден Белого Орла, но и писал ему в рескрипте 13 января 1855 года: «Я имею себе в удовольствие выразить вам ныне личные чувства мои и всего Балтийского флота. Мы уважаем вас за ваше доблестное служение, мы гордимся вами и вашей славой, как украшением нашего флота; мы любим вас, как почтенного товарища, который сдружился с морем и который в морях видит друзей своих. История флота скажет о ваших подвигах детям нашим, но она скажет также, что моряки-современники вполне ценили и понимали вас».

Но Нахимова награды и приветствия занимали мало. От того самого дня, когда французское ядро убило на Малаховом кургане Корнилова, окружающие Нахимова стали замечать в нем твердое, безмолвное решение, смысл которого был им понятен. С каждым месяцем им становилось все яснее, что этот человек не может а не хочет пережить Севастополь.

Могли ли его, если так, интересовать восторги Константина Николаевича, или фальшивые любезности не терпящего его Меншикова, или даже царские милости?

Нахимов решительно ни с кем уже не церемонился. Вот сцена, обнаружившая, что ни малейших способностей к придворному обхождению этот моряк не имел и не считал нужным ими обзаводиться. Царь в восхищении от изумительной деятельности и геройской храбрости Нахимова послал в Севастополь своего флигель-адъютанта Альбединского и поручил ему передать «поцелуй и поклон» Нахимову. Спустя неделю после этого Нахимов с окровавленным лицом после обхода батарей возвращался домой, и вдруг ему навстречу новый флигель-адъютант с новым поклоном от императора Николая. «Милостивый государь! —

воскликнул Нахимов. — Вы опять с поклоном-с? Благодарю вас покорно-с! Я и от первого поклона был целый день болен-с!» Опешивший флигель-адъютант едва ли сразу пришел в себя и от дальнейших слов Нахимова, давно раздраженного беспорядком во всей организации тыла, от которого зависела участь Севастополя. «Не надобно нам поклонов-с! Попросите нам плеть-с! Плеть пожалуйте, милостивый государь, у нас порядка нет-с!» — кричал Нахимов. «Вы ранены?» — спросил тут кто-то. «Неправда-с! — отвечал Нахимов, но тут, заметив все-таки на своем лице кровь, прибавил: — Слишком мало-с! Слишком мало-с!»

Больше Николай Павлович ни поцелуев, ни поклонов Нахимову уже не посылал.



## VII

За Альмой — Инкерман, за Инкерманом — Евпатория. Армия Меншикова вне Севастополя терпела поражение за поражением, несмотря на все упорство и храбрость войск.

А в осажденном Севастополе Нахимов, Тотлебен, Истомин и их матросы и солдаты продолжали изумлять врага своей невероятной на первый взгляд и, однако, все крепнущей обороной.

Петербург почти не присылал, несмотря на все мольбы, пороха и сухарей, но снабдил Нахимова новым непосредственным начальством — Остен-Сакеном, а Крымскую армию и Севастополь новым главнокомандующим — князем Михаилом Дмитриевичем Горчаковым, переведенным сюда из Дунайской армии, которой он так неудачно до сих пор командовал.

Некоторые свидетельства (не все) ставят эти два назначения в причинную связь с приездом в Крымскую армию двух великих князей.

Николаю Павловичу показалось почему-то необходимым отправить в Севастополь двух своих младших (и самых бесцветных и малоодаренных) сыновей: Николая и Михаила. Неловким представлялось, что во французской осаждающей армии присутствует двоюродный брат Наполеона III, в английской — родственник королевы герцог Кембриджский, а в русской никого не было из царствующего дома.

Великие князья приезжали дважды и путались без малейшего толка под ногами защитников Севастополя от 23 октября до 3 декабря 1854 года и от 15 января до 21 февраля 1855 года, когда благополучно отбыли снова, уже безвозвратно, в Петербург, к большому облегчению Тотлебена и Нахимова.

Вследствие назначения (28 ноября 1854 года) Остен-Сакена начальником гарнизона адмирал Нахимов оказался его подчиненным, что, конечно, не могло не стеснять свободы действий адмирала. Нечего и говорить, что, несомненно, присутствие великих князей, по сути дела, не могло не отнимать у Нахимова немало времени совершенно непроизводительно.

Но великие князья в Севастополе были неудобством скоропроходящим. А Остен-Сакен и Горчаков остались надолго и благополучно пережили Нахимова, хотя по возрасту были старше. Но оба они несравненно осторожнее, чем Нахимов, вели себя среди свирепствовавшей в Севастополе «травматической эпидемии», как хирурги уже тогда стали называть войну.

В кровавой и неудачной битве 24 октября 1854 года под Инкерманом, предпринятой Меншиковым с целью отбросить союзников от Сапун-горы, Нахимов не участвовал. Он мог только с полным недоумением и возмущением отнестись к тому, что главная роль в предстоящей битве была дана тому самому присланному из Дунайской армии Данненбергу, которого М. Д. Горчаков постарался поскорее сбывать с рук и одарить им Севастополь, после того как Данненберг проиграл на Дунае битву при Ольтенице исключительно вследствие своей растерянности и полной военной бездарности. Любопытно, что и сам Меншиков оценивал генерала Данненберга вполне точно и считал «несчастьем» такое положение, когда бы Данненберг даже временно стал командующим армией.

Генерал Данненберг встретился накануне Инкерманского сражения с Нахимовым и сказал адмиралу: «Извините, что я еще не был у вас с визитом». Нахимов ответил: «Помилуйте, ваше превосходительство, вы лучше бы сделали визит Сапун-горе!»

Но этим дело не окончилось. У нас есть свидетельство, что все-таки Данненберг не понял Нахимова, вероятно, приняв его слова за безобидную шутку. Объехав, как всегда, севастопольские бастионы, Нахимов в канун рокового Инкермана вернулся к себе в каюту пришвартованного к берегу корабля. И вдруг ему докладывают о визитере: генерал Данненберг. Тут уж Нахимов решил говорить яснее: «Ваше превосходительство, говорят, что к завтрашнему дню у вас назначено большое сражение?» Данненберг подтвердил. «Как же это вы накануне сражения теряете время на бесполезные визиты? — сказал тогда адмирал своему гостю. — Неужели вам не предстоит никакого распоряжения, не нужно ничего сообразить?»

Нахимов сейчас же повез своего гостя к Истомину, на обстреливаемый как раз очень жестоко Малахов курган, что, по-видимому, не предусматривалось вовсе программой визита, потому что Данненберг предпочел там не задерживаться и круто сократил посещение.

Русские войска сражались в день Инкермана превосходно, несмотря на безобразные, хаотические, путанные распоряжения начальства; последнее только и спасло союзников от разгрома; по утверждению самих же французских и английских генералов, Данненберг с Меншиковым спасли в этот день союзников. «Мы избежали тогда великой катастрофы», — говорили Мортанпрэ и Вобер-де-Жанлис, вспоминая об Инкермане в начале 1856 года.

После Инкермана всякое доверие к высшему командованию исчезло бы в Севастополе, если бы оно было в наличии раньше.

«Все очень хорошо, все идет порядочно, только пороку не бог весть сколько и князь Меншиков изменник», — пишет саркастически и с раздражением полковник Виктор Васильчиков своему другу. Но и он, скептик и желчный наблюдатель, не может нахвалиться

солдатами и офицерами, и прежде всего героем Нахимовым, которого «матросы, обожавшие своего адмирала, уже успели переименовать и называли за его совсем отчаянную храбрость «Нахименкой бесшабашным», чтобы больше походило на матросскую фамилию. Им хотелось, чтобы он был уже совсем их собственный.

«Нахименко бесшабашный» проделывал такие вещи, что просто заражал своим настроением и офицеров, особенно молодых прапорщиков, и солдат, и матросов. Прапорщик Демидов с отрядом штуцерников поместился в дальнем завале, прямо против англичан. Чтобы придать своим солдатам куражу и доказать им, что англичане штуцерные дурно стреляют, он вышел из завала и прошел мимо всех неприятельских траншей с левого на правый фланг. Затем он сделал себе папироску, стал ее курить, потом пошел назад под прикрытие завала. Но солдаты даже и не нуждались в таких примерах. Не сговариваясь и не размышляя, часто целые партии предпочитали мучительную смерть плену.

Нужно заметить, что Нахимов, сам беспечно подставляя свою голову при всяком удобном случае, категорически воспрещал своим подчиненным какое бы то ни было бесполезное молодечество. У нас есть несколько тому свидетельств.

Наиболее дельными и нужными людьми оказались, как и следовало ожидать, именно те морские и армейские офицеры, которые протестовали против хвастовства и самохвальства. «А знаете, кто у нас из инженеров заслужил всеобщее уважение? Батовский, тот, который всегда кричал против войны и говорил, что шапками не закидаешь неприятеля и что долго с ним повоозишься. Он распорядителен и храбр. Пришлось Нахимову сказать ему в первый день бомбардирования: господин офицер, я вас должен буду отправить на

гауптвахту, мы нуждаемся в инженерных офицерах, зачем же вы под ядрами стоите и сами пушку наводите?

И в качестве помощника начальника Севастопольского гарнизона Остен-Сакена, и затем со 2 марта 1855 года в качестве начальника порта и военного губернатора Нахимов и днем и ночью мелькал на бастионах именно в самых опасных, самых слабых пунктах, распоряжаясь всегда умно, всегда с глубоким знанием дела, отдавая приказы, контролируя лично их исполнение. И в местное свое начальство, и в петербургское он совсем не верил. Переписки он терпеть не мог, а запросов министерства просто боялся. В это время Павла Степановича можно было назвать душой обороны — он постоянно объезжал бастионы, справлялся, кому что надо, кому снаряды, кому артиллерийскую прислугу и прочее. И постоянно надо было торопиться, чтобы за ночь исправить то, что разрушил неприятель. Ночевал где придется, спал не раздеваясь, потому что собственную свою квартиру он отвел под лазарет для раненых, а личные деньги адмирала шли на помощь отъезжающим семействам моряков. Для матросов и солдат было большим нравственным подспорьем и радостью каждое появление Нахимова на их бастионе».

Техническая оснащенность у неприятеля значительно превосходила нашу, что сказывалось на каждом шагу, и с этим ничего поделать было нельзя.

Нахимов доносил Меншикову 16 февраля 1855 года: «В последние дни, после заката солнца, когда в Севастополе наступает совершенная тишина в воздухе, из траншей, раскинутых за бастионом Корнилова, неприятель бросает к нам конгревовы ракеты: вчера он выпустил до шестидесяти и, как казалось, с трех станков... Донося о сем вашей светлости, имею честь присовокупить, что ракеты, бросаемые неприятелем, преимущественно разрывные, с сильным зажигательным

составом, а дальность полета простирается до двух тысяч сажень». Одна из этих ракет, пролетев пять верст, упала в Северную сторону и врылась в землю на три с половиной фута.

По французским данным, эти ракеты били дальше: на 7 километров. А у нас наибольшие дальности мортир сухопутной артиллерии при полных зарядах составляли от 997 до 1085 сажень, то есть немногим более двух верст.

«Нахимов на военных советах настойчиво высказывался о необходимости вести оборону, пока не перебьют всех моряков», в то время как «Горчаков, старик, выживший из ума, чуждый флота, только чиновник, вступив в управление армией и видя большую потерю людей в Севастополе, задался целью на свой страх бросить Севастополь. Отсюда трагизм осажденных», пишет в своих проникнутых горечью черновых заметках участник обороны Ухтомский. Истомин был вне себя от гнева, испытывая постоянные отказы и задержки, когда требовал средств на оборону. Но беспокойные люди вроде Истомина или Нахимова скоро умолкали, так как долго на свете не заживались, в прямую противоположность хотя бы тому же Д. Е. Остен-Сакену, который родился в год начала французской революции — в 1789 году, прослужил на военной службе сряду семьдесят шесть лет, сподобился умереть в 1881 году, девяноста двух лет от роду, и ни разу не был ни ранен, ни даже контужен, так как «смолоду умел беречь себя для отечества» (по счастливой догадке пораженного этим фактом автора одной некрологической заметки об Остен-Сакене).

В этом отношении Остен-Сакенам и Меншиковым вообще везло, а Нахимовым нисколько не везло. Впоследствии, отмечу кстати, льстец и карьерист Комовский, делавший карьеру при Меншикове и очень хорошо знавший, как относился Нахимов к князю и его

клеветам, не мог скрыть своей радости по поводу гибели Нахимова. Комовский, сообщая о смертельной ране Нахимова, делится с Меншиковым одним своим мистико-религиозным открытием: оказывается, само небо аккуратно убирает прочь тех адмиралов, которые непочтительно относятся к князю Александру Сергеевичу. «Странное дело: очереди его (Нахимова) я ждал, хотя поистине считал большой утратой его потерю... Но ожидал потому, что по наблюдению заметил, что все *пессимисты и порицатели вашей светлости как-то не сберегались судьбой*». Вот почему после Истомина Комовский стал поджидать гибели Нахимова. Он мог бы привести еще и Корнилова для полноты доказательств в пользу своего интересного открытия, не говоря уже о десятках тысяч погибших в Севастополе матросов и солдат, тоже порицавших «его светлость».

2 марта 1855 года Нахимов, бывший до сих пор помощником начальника гарнизона, был назначен командиром Севастопольского порта и военным губернатором города Севастополя, а через пять дней его и защищаемый им город постиг тяжелый удар: 7 марта, когда начальник Корниловского бастиона на Малаховом кургане, адмирал Владимир Иванович Истомин шел от Камчатского люнета к себе на Малахов курган, у него ядром оторвало голову.

Смерть Истомина была тяжким ударом для обороны Севастополя, и Нахимов, снова вторя своей тайной мысли, которая, впрочем, для окружавших его уже перестала быть тайной, говорил о могиле, которую «берег для себя», но уступает теперь Истомину. Он не желал пережить Севастополь и не верил, что Севастополь устоит. Вот письмо, которым извещал Нахимов Константина Истомина о гибели его брата:

«Общий наш друг Владимир Иванович убит неприятельским ядром. Вы знали наши дружеские с ним

отношения, и потому я не стану говорить о своих чувствах, о своей глубокой скорби при вести о его смерти. Спешу Вам только передать об общем участии, которое возбудило во всех потеря товарища и начальника, всеми любимого. Оборона Севастополя потеряла в нем одного из своих главных деятелей, воодушевленного постоянно благородною энергиею и геройской решительностью: даже враги наши удивляются грозным сооружениям Корнилова бастиона и всей четвертой дистанции, на которую был избран покойный, как на пост, самый важный и вместе самый слабый.

По единодушному желанию всех нас, бывших его сослуживцев, мы погребли тело его в почетной и священной могиле для черноморских моряков, в том склепе, где лежит прах незабвенного адмирала Михаила Петровича (Лазарева) и первая, вместе высокая жертва защиты Севастополя — покойный Владимир Алексеевич (Корнилов). Я берег это место для себя, но решил уступить ему.

Извещая Вас, любезный друг, об этом горестном для всех нас событии, я надеюсь, что для Вас будет отрадной мыслью знать наше участие и любовь к покойному Владимиру Ивановичу, который жил и умер завидною смертью героя. Три праха в склепе Владимирского собора будут служить святынею для всех настоящих и будущих моряков Черноморского флота. Посылаю Вам кусок георгиевской ленты, бывшей на шее у покойного в день его смерти: самый же крест разбит на мелкие части. Подробный отчет о его деньгах и вещах я не замедлю переслать к Вам».

Четверка, которая в первое же бомбардирование 5 октября 1854 года превратилась в тройку, теперь уменьшилась еще на одну единицу. За Корниловым пал Истомин. И так же, как никто со стороны не заменил Корнилова, не оказалось равноценной замены и



Истомину. Нахимову и Тотлебену только пришлось взять на себя еще одну добавочную нагрузку.

Хрулев, Хрущов, Васильчиков, а главное, самое важное, матросы, солдаты, землекопы — рабочие в своей массе — вот на кого, как и прежде, возлагал свои надежды Нахимов. На таланты же нового главнокомандующего князя Горчакова ни они, ни Тотлебен никаких упований не возлагали.

Горчаков знал, как не терпели солдаты и матросы его предшественника, и ему хотелось быть приветливее, ободрять людей на бастионах и в поле. Но он не знал, как это делается. И как превозмочь одну досадную при этом трудность.

Дело в том, что по-французски князь Горчаков объяснялся ничуть не хуже, например, маршала Пелисье или Наполеона III, но вот как раз именно русский язык ему не вполне давался, хоть брось, несмотря на искреннее и давнишнее желание князя Михаила Дмитриевича одолеть это, правда, трудное, но безусловно полезное для русского главнокомандующего наречие. «Я спросил, на каком языке князь Горчаков говорил свои нежные приветствия войскам, ибо на природном даже не каждый его понимает» — так отзывался старый Ермолов, когда при нем заметили, что Горчаков более приветлив с войсками, чем Меншиков.

Главнокомандующий князь Горчаков почти вовсе не появлялся на бастионах, а когда и бывал, то, проходя быстро, благодарил солдат, но говорил при этом так тихо, что не был расслышан, и солдаты, по-видимому, недоумевали, кто это такой и что ему от них угодно. Да и вообще вел себя в эти неприятные и редчайшие для него секунды больше как любознательный путешественник. «На исходящем углу бастиона Горчаков посмотрел чрез амбразуру и спросил: «Что это за мешки впереди бастионов?» — «Французские окопы». — «Так близко?» — «Около тридцати шагов от траншей за

воронками». По-видимому, этим ответом любопытство князя Горчакова было настолько полно удовлетворено, что он отбыл без дальнейшей потери времени и на этом бастионе больше уже и не удосужился побывать. Но зато вечером прибыл адмирал Нахимов, мы беззаботно прохаживались с ним по батарее под градом пуль и бомб, — последних одних насчитали около двухсот», — вспоминает один из участников Севастопольской обороны.

Этот страшный четвертый бастион, центр второго отделения оборонительной линии города Севастополя, был для Нахимова местом почти ежедневной «прогулки», и обреченные на почти неизбежную гибель солдаты и матросы-артиллеристы сияли, когда видели своего любимца, и не только потому, что «через него все требования удовлетворялись без всякого промедления», как свидетельствует командир четвертого бастиона, но прежде всего потому, что их просто как бы гипнотизировала та невероятная беспечность, полнейшая беззаботность, самое вызывающее презрение к смертельной опасности, которые Нахимов всегда выказывал на глазах у всех. Он не позволял солдатам и матросам показываться из блиндажей, а сам гулял на ничем не прикрытом месте — и это на том бастионе, который находился в нескольких десятках сажен от французских стрелков, бивших ядрами, бомбами, штуцерными пулями по этому укреплению.

27 марта 1855 года Нахимов был произведен в полные адмиралы. В своем приказе по Севастопольскому порту от 12 апреля Нахимов писал: «Матросы! Мне ли говорить вам о ваших подвигах на защиту родного нам Севастополя и флота? Я с юных лет был постоянным свидетелем ваших трудов и готовности умереть по первому приказанию. Мы сдружились давно, я горжусь вами с детства...»

Нахимова любили все, даже те, на кого он часто кричал и топал ногами за лень или за оплошность, нерадение или опоздание. Но даже очень любившие его иногда укоряли адмирала в том, что он не умел в полной мере воспользоваться колоссальным авторитетом, который приобрел. С гневом и презрением наблюдал он за гнуснейшим необъятным воровством интендантов и провиантмейстеров, но был бессилён заставить Меншикова, а потом Горчакова, Семякина, Остен-Сакена, Коцебу круто и беспощадно расправиться хоть с кем-нибудь из этих воров, подтачивающих оборону Севастополя в помощь французским и английским бомбам. Точно так же он делал все возможное и невозможное, чтобы поправить ошибки бездарного начальства, но оказывался не в силах воспрепятствовать этим ошибкам. Он умно и глубоко продуманно организовал систематическую защиту Камчатского люнета и лично, как увидим, чуть не погиб 26 мая 1855 года при падении этого люнета, но он не мог заставить верховное командование отказаться от самой нелепой мысли: например о сооружении некоторых ложементов перед первым редутом.

После кровавой борьбы и тяжких потерь, конечно, эти новые, наиболее близкие неприятелю ложементы, просуществовавшие в законченном виде девять дней, были в ночь на 20 апреля взяты французами. Нахимов был душой обороны, могучей физической силой обороны, которой мог двигать по произволу и которая в его руках могла творить чудеса. Нахимов распоряжался, как никто. «По званию хозяин Севастополя, постоянно на укреплениях, вникая во все подробности их нужд и недостатков, он всегда устранял последние, а своим прямодушным вмешательством в ссоры генералов он настойчиво прекращал их» — так пишет о Нахимове человек, который явно не предназначал свою рукопись к печати, потому что он тут же называет

главнокомандующего Меншикова придворным шутом, а Николая Павловича — «восточным падишахом», который «покоился в сладкой уверенности своего всемогущества».

«То была колоссальная личность, гордость Черноморского флота! — говорит о Нахимове наблюдавший его ежедневно в последние месяцы его жизни полковник Меньков. — Необыкновенное самоотвержение, непонятное презрение к опасности, постоянная деятельность и готовность выше сил сделать все для спасения родного Севастополя и флота были отличительные черты Павла Степановича!.. Упрямый, как большая часть моряков во всех вопросах, где море и суша сходились на одних интересах, случись это хоть на Малаховом кургане, Павел Степанович всегда брал сторону своих. При том обожании, каким его всегда окружали матросы, он знал, чем их наказывать: «Одно его слово, сердитый, недовольный взгляд были выше всех строгостей для морской вольницы». И Меньков тоже настаивает, как и многие другие очевидцы, на том поведении Нахимова, которое особенно стало бросаться в глаза в последние месяцы его жизни:

«Начнут ли где стрелять сильнее обыкновенного, Павел Степанович тотчас настороже, смотришь, на коне и мчится к опасному месту.

Раз встретил его барон Остен-Сакен и начал говорить: «Не бережете вы себя, Павел Степанович, жизнь ваша нужна России!» Павел Степанович внимательно слушал, махал рукой да в ответ ему: «Эх, ваше сиятельство, не то говорите вы! Севастополь беречь следует, а убьют меня или вас — беда невелика-с! Вот беда, как убьют князя Васильчикова или Тотлебена. Вот это беда-с!» Это Нахимов говорил о начальнике штаба гарнизона Викторе Васильчикове, умном, талантливом, храбрейшем генерале, которого

Горчаков послал было к Меншикову после Альмы, но Меншиков его встретил «по своему неприветливому обычаю» (слова Менькова) и выжил из армии, а тот прибыл после Инкермана вновь и уж остался до конца. Но и его должность, как и должность самого Нахимова, была подчиненная: Васильчиков был начальником штаба только гарнизона, а не начальником штаба главнокомандующего, каковым был Коцебу, который заменил на этом посту Семякина.

Нахимову, Тотлебену, как и погибшим до Нахимова Корнилову и Истомину, как и Васильчикову, или С. Хрулеву, или А. Хрущову, никогда не суждено было достигнуть той иерархической вершины, на которой стояли Меншиков, Остен-Сакен, Михаил Горчаков.

Могучее влияние Нахимова на гарнизон в эти последние месяцы его жизни казалось беспредельным. Матросов давно называли «нахимовскими львами», но и солдаты, которые ведь только понаслышке знали о Нахимове, пока не попали в севастопольские бастионы, очень скоро стали на него смотреть так же, как рядом с ними сражавшиеся матросы.

«К концу обороны Севастополя немного моряков уцелело на батареях, но зато весело было смотреть на эти дивные обломки Черноморского флота. Уцелевшие на батареях моряки по преимуществу были комендоры при орудиях... Белая рубашка... Георгиевский крест на груди... Отвага, ловкость и удаль, соединенные с гордым сознанием собственного дела и совершенным презрением к смерти, бесспорно, давали им первое место в ряду славных защитников Севастополя» — так вспоминает о них полковник Меньков, бывший в Севастополе при штабе М. Д. Горчакова с середины марта до конца осады и имевший поручения вести официальный дневник («журнал») военных операций.

Об этом нахимовском поколении моряков, почти полностью погибшем в Севастополе, не могли забыть и

постоянно вспоминали и русские товарищи по обороне, и  
неприятельские военачальники.

## VIII

Наступила тяжкая, на редкость для Крыма суровая зима, с морозами, снегами, с буйными северо-восточными ветрами. Терпел гарнизон в Севастополе, терпела русская армия на Бельбеке, но жестоко страдал и неприятель. Открылись повальные болезни среди осаждающих. Страшная буря 2(14) ноября разметала часть неприятельского флота, погибли некоторые суда.

Снег то таял и образовывал топи и лужи, то снова все замерзало. Холера и кровавый понос опустошали ряды французской, английской, турецкой армий ничуть не меньше, чем русские войска. Среди солдат осаждающей армии стал явственно замечаться упадок духа. Число дезертиров, перебежчиков возрастало.

Тотлебен воспользовался начавшим явно ощущаться ослаблением неприятеля, чтобы не только усилить постоянные оборонительные верки крепости, им же самим в сентябре, октябре, ноябре созданные, но и устроить по указанию Нахимова новые три батареи, которые должны были бы держать под своим огнем Артиллерийскую бухту: Нахимов убедился, что зимние бури размыли и растрепали то заграждение рейда, которое было устроено из потопленных в сентябре русских кораблей, и, следовательно, союзный флот получил возможность прорваться на рейд и, войдя в Артиллерийскую бухту, бомбардировать Севастополь. Тотлебен выполнил требование Нахимова.

«Служба войск на батареях и в траншеях по колено в грязи и в воде, без укрытия от непогоды, была весьма тягостна, — пишет руководитель оборонительных работ Тотлебен и прибавляет: — Притом же в продолжение целой зимы наши войска не имели вовсе теплой одежды».

Но солдаты, матросы и севастопольские рабочие даже и в легкой одежде продолжали, к восторгу Тотлебена, работать суровой зимой с усердием и преданностью делу, несмотря на морозы, снега, дожди, новые морозы и новые оттепели.

Первый редут был заложен в ночь с 9 на 10 февраля, так как в его устройстве участвовали главным образом люди Селенгинского полка, то этот редут, отстоявший от передовой французской укрепленной параллели всего на 400 сажен, стал называться Селенгинским. Французы с большими силами тотчас же обрушились на этот редут, но селенгинцы и волынцы, предводимые Хрущовым, не только отбили зуавов и другие отборные французские части, но и прогнали их почти до французской линии. Своевременно очень дальновидно и умело поставленные Нахимовым корабли «Чесма» и «Владимир» в разгар боя открыли учащенную стрельбу по французским резервам. В ночь с 16 на 17 февраля несколько левее Селенгинского и еще ближе к неприятелю (уже в трехстах всего саженях от французов) был заложен второй редут — Волынский.

Не довольствуясь этим, Тотлебен с неслыханной быстротой устроил еще линию небольших укреплений, ложементов, пред обоими редутами. Укрепившись здесь, Тотлебен обратил все внимание на третью часть общей поставленной им задачи, состоявшей в том, чтобы оградить подступы к Малахову кургану, от целости которого зависело спасение или гибель Севастополя.

С тех пор, в течение второй половины февраля, в течение всего марта, апреля, мая, главные усилия французов и англичан, сначала не сумевших помешать устройству обоих редутов и люнета, а потом оказавшихся бессильными повторными натисками отнять их у русских, были направлены именно на эту цель. Без Малахова кургана им никогда не взять Севастополя, а пока Селенгинский и Волынский редуты



и Камчатский люнет в руках русских, до тех пор не взять союзникам никогда Малахова кургана. Это хорошо понимали и английские и французские военачальники.

Упорнейшая борьба закипела вокруг этих выдвинутых непосредственно против неприятеля трех укреплений. С большим трудом и потерями союзникам удалось в самом конце марта после интенсивнейшей бомбардировки и повторных атак ворваться в ложементы впереди пятого бастиона и редута Шварца, и после того, как русские дважды штыками выгоняли их оттуда, они в ночь с 1 на 2 апреля все-таки разрушили некоторые ложементы окончательно. Но оба редута и Камчатский люнет и в апреле враг не смог одолеть, хотя снарядов у защитников Севастополя становилось мало, пороха не присылали, приходилось в разгаре боев думать об экономии и слабее, чем нужно, отстреливаться. Да и людей становилось мало: и солдаты, и рядовое офицерство, и матросы со своими мичманами и лейтенантами лезли прямо в огонь, не щадя себя.

Нахимов вынужден был в особом приказе напомнить, что нужно быть поскупее в трате этих трех драгоценностей: крови, пороха и снарядов. 2 марта 1855 года, в день назначения своего на должность командира порта и военного губернатора, он издал приказ по гарнизону Севастополя, где напоминал «всем начальникам священную обязанность, на них лежащую, именно предварительно озаботиться, чтобы при открытии огня с неприятельских батарей не было ни одного лишнего человека не только в открытых местах и без дела, но даже прислуга у орудий и число людей для различных работ были ограничены крайней необходимостью. Заботливый офицер, пользуясь обстоятельствами, всегда отыщет средства сделать экономию в людях и тем уменьшить число подвергающихся опасности. Любопытство, свойственное

отваге, одушевляющей доблестный гарнизон Севастополя, в особенности не должно быть допущено частными начальниками... Я надеюсь, что гг. дистанционные и отделенные начальники войск обратят полное внимание на этот предмет и разделят своих офицеров на очереди, приказав свободным находиться под блиндажами и в закрытых местах. При этом прошу внушить им, что жизнь каждого из них принадлежит отечеству и что не удалство, а только истинная храбрость приносит пользу ему и честь. Пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз повторить запрещение частой пальбы. Кроме неверности выстрелов, естественного следствия торопливости, трата пороха и снарядов составляет такой важный предмет, что никакая храбрость, никакая заслуга не должны оправдать офицера, допустившего ее».

Упорная борьба из-за двух редутов и люнета продолжалась. Еще в середине февраля Нахимов, считаясь с тем, что зимние непогоды сильно испортили заграждение из потопленных в сентябре пяти кораблей, затопил новую партию судов: корабли «Двенадцать апостолов», «Ростислав», «Святослав», «Гавриил» и два фрегата — «Мидия» и «Месемврия». Проход неприятеля на рейд стал снова невозможным.

Болезни, холод, русские ядра и пули косили осаждающих. Энергия севастопольского гарнизона, выстроившего в самых невероятных условиях, буквально под дождем ядер и штуцерных пуль, Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет и три месяца отбивавшего все нападения на них, посеяла в осаждающих чувство растерянности, которого еще не было даже в тяжелом морозном январе 1855 года. Но тут на помощь неприятелю, уже начинавшему иногда думать об отходе от крепости, явился дипломатический шпионаж. «В мае 1855 года в Париже отчаивались взять Севастополь, уже готовились остановиться на крайнем

решении снять осаду, когда правительство императора Наполеона III неожиданно, посредством таинственных откровений, узнало, что Россия уже истощила свои средства, что ее армии изнемогают...» — именно в таких словах характеризует сложившуюся ситуацию один из источников.

Эти «таинственные откровения» ничего таинственного для историка теперь уже не представляют: прусский военный атташе в Петербурге граф Мюнстер писал в «частных письмах» своему «другу» генералу фон Герлаху в Берлин, передавая все, о чем в его присутствии непозволительно и безответственно выбалтывалось при русском дворе и в аристократических салонах русской столицы, и все, что он добывал также и всякими иными средствами. А французский посол в Берлине, маркиз де Мустье, купил копии этих «дружеских» писем у выкравшего их сыщика и переслал их в Париж Наполеону III, как раз когда русские два редута и Камчатский люнет проводили того в смущение своей непреоборимостью. «Предвидели, что если неприятелю (то есть русским) удастся прочно укрепиться на некоторых отдельных пунктах, а именно перед Малаховым курганом и Корниловским бастионом, то его огонь сделается неодолимым, его снаряды будут перелетать через гавань и будут достигать до северного берега (бухты). Тогда счастье улыбнулось императору (Наполеону III): в тот час, когда он считал уже все скомпрометированным, он узнал, что он выиграл партию», — читаем мы в том же источнике дальше.

Едва в Париже были получены из Берлина известия о приближающемся истощении русских ресурсов, как в официальном органе французской империи «Монитор» появилась ликующая статья о близости победы, а из Тюильрийского дворца и военного министерства полетели к генералу Пелисье настойчивые требования прежде всего немедленно покончить с войной, и

покончить следующим образом: напасть на русскую армию, стоящую на Бельбеке, разгромить ее, затем окружить Севастополь также и с Северной стороны и принудить город к скорой сдаче. Но Пелисье имел уже свой план, состоявший в том, чтобы не делать ничего похожего на то, что требовал император, а вместо этого как можно быстрее покончить с тремя русскими контрапрошами, взяв их, овладеть Камчатским люнетом и штурмовать затем Малахов курган.

Тотлебен и Нахимов совсем ничего не знали об этой смене настроений в Тюильрийском дворце, о противоречиях и несогласиях между Наполеоном III и Пелисье, но зато очень твердо усвоили мысль, что французы должны покончить с этими тремя русскими контрапрошами, и поэтому готовились к новым тяжким боям.

Нахимов понимал громадное значение Камчатского люнета и именно поэтому мог не сомневаться, что французское верховное командование из всех сил будет стараться с ним покончить. Перед этим люнетом были отборные французские войска, обильно снабженные саперными силами. Нахимов ставил лучших офицеров для наблюдения за всеми попытками французов приблизиться к люнету. И офицеры и солдаты этого русского наблюдательного поста погибли быстро один за другим.

Вот что писал Нахимов 24 марта 1855 года отцу одного из погибших на этом опасном посту: «Доблестная военная жизнь ваша дает мне право говорить с вами откровенно, несмотря на чувствительность предмета. Согласившись на просьбу сына, вы послали его в Севастополь не для наград и отличий, а движимые чувством святого долга, лежащего на каждом русском и в особенности моряке. Вы благословили его на подвиг, к которому призвал его пример и внушения, полученные им с детства от отца своего; вы свято довершили свою

обязанность, он с честью выполнял свою. Почетное назначение — наблюдать за войсками, расположенными в ложементх перед Камчатским люнетом, — было возложено на него, как на офицера, каких нелегко найти в Севастополе, и только вследствие его желания. Каждую ночь осыпaeмый градом пуль, он ни на минуту не забывал важности своего поста и к утру с гордостью мог указать, что бдительность была не даром: с минуты его назначения неприятель, принимаясь вести работы тихою сапою, не продвинулся ни на вершок. Несмотря на высокое самоотвержение свое, ни одна пуля его не задела, а всевышнему богу угодно было, чтобы случайная граната была причиною его смерти, — в один час ночи с 22 на 23 число он убит... В Севастополе, где весть о смерти почти уже не производит впечатления, сын ваш был одним из немногих, на долю которых досталось искреннее соболезнование всех моряков и всех знавших его. Он погребен в Ушаковой балке; провожая его в могилу, я был свидетелем непритворных слез и грусти окружающих. Сообщая эту горестную весть, я прошу верить, что вместе с вами и мы, товарищи его, разделяем ваши чувства; прекрасный офицер, редких душевных достоинств человек, он был украшением и гордостью нашего общества, а смерть его мы будем вспоминать как горькую жертву, необходимую для искупления Севастополя. Оканчивая письмо, я осмеливаюсь просить вас доставить мне случай хотя косвенным образом быть полезным его несчастной супруге и ее семейству».

Судьба люнета была предрешена. Спустя несколько дней наступила развязка.

Вот что говорят русские источники, дающие гораздо больше подробностей, но в общем не противоречащие французским и английским свидетельствам:

«В пять часов дня (26 мая — 7 июня н. ст.) мы заметили массы неприятельских войск, стремившихся на

левый наш фланг; но огонь был так силен, что дым и пыль все помрачали и не было никакой возможности следить за дальнейшими движениями. Вскоре после того по телеграфу дано знать, что неприятель завладел двумя редутами — Волынским и Селенгинским. Там завязалось страшное сражение. Много войск отправлено туда и из города. Ружейная пальба продолжалась всю ночь до утра. В 6 часов пришла весть, что и Камчатский редут тоже взят. Происшествия эти подействовали на всех хуже предсмертных известий, звук голоса у каждого заметно изменился. К счастью, сзади Камчатского редута была непрерывная линия. Не будь ее, Севастополь тогда же мог пасть». Спасли его Нахимов и Хрулев, который, замечу к слову, был сюда переведен тем же Нахимовым, понимавшим лучше всех значение этой линии и ставившим сюда самых лучших командиров, которыми только располагал. Цитируемый автор неточно называет Камчатское укрепление редутом; это был не редут, а люнет, так как бы укреплен лишь с трех сторон, а его «горжа», четвертая сторона, повернутая к постоянным севастопольским веркам, была оставлена открытой.

Этот штурм двух редутов и Камчатского люнета, нужно тут же сказать, был подготовлен начавшимся накануне, 25 мая (6 июня), новым, колоссальных размеров общим бомбардированием Севастополя и всех его укреплений. Отстреливаться к концу дня с Камчатского люнета стало почти невозможно. Временно был приведен к молчанию и лежащий за Камчатским люнетом Малахов курган. На другой день, 26 мая, с рассвета неприятельский огонь возобновился с новой силой — он, впрочем, и ночью ослабел не очень значительно. Подверглись на этот раз с утра уже страшному опустошению и Волынский и Селенгинский редуты, и Малахов курган.

Но вот с трех часов дня вдруг все английские батареи, которые до сих пор с утра 26-го били по Малахову кургану, сразу прекратили обстрел Малахова и повернулись против Камчатского люнета, так страшно пострадавшего накануне и еще не восстановленного, несмотря на все ночные усилия его уцелевших защитников. Тут-то и сказалось губительное, совершенно бессмысленное распоряжение Жабокритского, с такой беспечной легкостью одобренное штабом гарнизона за четыре дня до того, 22 мая, и включенное в диспозицию. Этой диспозицией были «ослаблены до крайней степени» (слова Тотлебена) именно те части, которые должны были защищать оба редута и люнет.

И вдруг перед вечером 26 мая по русской линии пронесся грозный слух, что французы готовят штурм обоих редутов и Камчатского люнета. Измученной уцелевшей горсточке людей, защищавших Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет, в котором, как сказано, еще до двухдневного адского огня было в общей сложности 800 человек, а теперь, к вечеру 26-го, оставалось в лучшем случае человек шестьсот, предстояло выдержать специально против нее направленный штурм. А силы, которые генерал Пелисье отрядил для штурма, были подавляюще огромны.

Положение русских было совсем отчаянное. Когда сигнальщики с наблюдательных постов к вечеру 26 мая заметили сбор и движение во французских траншеях и одновременно получили сведения от перебежчиков, что нужно ожидать немедленного штурма, все устремились за распоряжениями к генералу Жабокритскому, виновнику безобразного ослабления редутов и люнета, к человеку, отдавшему их на гибель. Но, узнав о готовящемся штурме, генерал Жабокритский внезапно объявил, что ему нездоровится, и, бросив все на произвол судьбы, не сделав никаких распоряжений,

уехал от назойливых вопросов, не теряя времени, на другой конец города.

Убегая на Северную сторону, Жабокритский, может быть, успокаивал свою совесть надеждой, что авось редуты и люнет и не погибнут; остались пока вот эти Нахимовы, Хрулевы и Тотлебены, которые всюду суются, у которых еще пока не снесло ядром голову, как у Истомина, и не отбило внутренностей, как у Корнилова, и которые каким-то образом обыкновенно выручают и поправляют дело, сколько бы его ни портить. Но на этот раз все было так основательно испорчено, что никакое геройство Нахимова и его матросов, Хрулева и его солдат не помогло.

В начале седьмого часа вечера 26 мая, когда французы бросились на штурм разом на оба редута и под Камчатский люнет, и штурмующие колонны в составе двух полных бригад после отчаянной схватки выбили прочь несколько сот защитников Селенгинского и Волынского редутов, Хрулев быстро подтянул подкрепления и остановил дальнейшее продвижение французов, нанеся неприятелю тяжкие потери, но и страшно потерпев от ружейного и орудийного огня.

Нахимов, едва только узнав о готовящемся штурме, помчался на место действия и явился на самый опасный из всех угрожаемых пунктов — на Камчатский люнет. Не успел он соскочить с лошади и подойти к батареям, как начался штурм люнета. Нахимов поднялся на вышку и убедился, что неприятель идет штурмовать люнет в огромных силах разом с трех сторон. Матросы встретили штыками и ружейным огнем ворвавшихся в люнет зуавов и французских гвардейцев. Как и все прочие свидетели, Тотлебен приписывает безудержную ярость совсем безнадёжной с самого начала защиты Камчатского люнета присутствию Нахимова: «Матросы, одушевленные присутствием любимого начальника, с отчаянием защищали свои орудия. Непонятно, как в этой



отчаянной свалке, где на каждого русского матроса приходилось человек десять французов, не был убит или взят в плен Нахимов. Его высокая сутулая фигура в сюртуке с золотыми эполетами, которых он и тут, отправляясь на штурм, не пожелал снять, бросалась в глаза прежде всего атакующему неприятелю».

Но вот новая французская часть обошла Камчатский люнет с тыла. Уцелевшая кучка матросов и солдат окружила Нахимова, пробила себе дорогу отступления штыками и остановилась за куртиной, шедшей от Малахова кургана до второго бастиона. Французы решили выбить оттуда Нахимова с его кучкой. Малахов курган в это время почти не отвечал на огонь неприятеля, овладевшего и Селенгинским и Волынским редутами и Камчатским люнетом и уже поведшего обстрел Малахова кургана с самого близкого расстояния. Хрулев, подоспевший с быстро собранными им резервами, спас и Малахов курган и отбил у французов отчаянной штыковой атакой Камчатский люнет. Но новой контратакой французы снова им овладели. Нахимов уже перешел со своим отрядом из куртины на Малахов курган и сейчас же открыл сильный артиллерийский огонь по занятому французами вторично Камчатскому люнету. Вот что читаем в дневнике, веденном командиром люнета Тимирязевым (26 мая): «Шесть часов пополудни... Признаюсь, положение было самое незавидное того, кто должен был защищать редут: 125 человек команды и надежда на помощь божию — вот были данные, на которых я полагал защиту люнета. Но вдруг невидимо господь послал люнету Павла Степановича, который не задумался в эти критические минуты известить тех, которым совет его был необходим. Адмиралу сопровождал адъютант царя лейтенант Финьгаузен. В коротких словах передал адмиралу положение своего люнета и неизбежность штурма. Но все-таки он

приказал показать повреждение в артиллерии. Едва лишь прошли 15-е орудие, как доклад вахтенного офицера мичмана Харламова о наступлении неприятеля заставил меня просить адмирала удалиться и прислать подкрепления. Но, не внемля просьбе моей, адмирал, обнажая кортик, вскочил на банкет. Просьбу я повторил второй раз и уверил его, что бесполезно его пребывание, — все, что можно будет сделать для защиты редута, будет исполнено. Удивило меня то, что адмирал в первый раз послушал убеждений. Не раз случалось мне говорить ему при посещении люнета, когда он, взойдя на банкет, довольно долго стоял открытым до половины груди. Обыкновенно в ответ его слова были: «Сойдите сами, если хотите». Иногда он варьировал: «Я вас не держу».

Нахимов был, таким образом, на Камчатском люнете в грозные часы, когда французы пошли на приступ окончательно разрушенного предшествующими бомбардировками укрепления. Адмирал лично убедился в абсолютной невозможности держаться далее на люнете, и, когда израненный, случайно уцелевший командир люнета лейтенант Тимирязев просил потом о назначении над собой следствия, Нахимов ответил самой лестной хвалой в одном из тех писем, которыми он умел награждать своих лучших помощников:

«Бывши личным свидетелем разрушенного и совершенно беззащитного состояния, в котором находился редут ваш, и, несмотря на это, бодрого и молодецкого духа команды и тех усилий, которые употребили вы к очищению амбразур и приведению в возможность действовать хотя несколькими орудиями, наконец видевши прикрытие (под) значительно усиленным огнем неприятеля, я не только не нахожу нужным назначение какого-либо следствия, но признаю поведение ваше в эти критические минуты в высшей степени благородным. Защищая редут до последней

крайности, заклепавши орудия и взявши с собой даже принадлежности, чем отняли у неприятеля возможность вредить вам при отступлении, и, наконец, оставивши редут последним, когда были два раза ранены, вы выказали настоящий военный характер, вполне заслуживающий награды, и я не замедлю ходатайствовать об этом перед г. главнокомандующим. Адмирал Нахимов».

С Камчатским люнетом пали 26 мая и два редута, созданные с одной и той же целью, — Волынский и Селенгинский.

На другой день Нахимов собрал у себя военный совет и поставил вопрос: делать ли усилия, чтобы отобрать у французов эти редуты, или оставить их в руках неприятеля? Решено было оставить неприятелю. Предвиделся новый отчаянный общий штурм Севастополя.

При боях у Камчатского люнета Нахимов был контужен. Он знал, что потеря трех контрапрошей произвела удручающее впечатление на офицеров, и он ставил им в пример никогда не унывающих матросов и солдат. «Нет-с, у нас тут нет уныния. А что они будут теперь бить наши корабли, пускай бьют-с — не конфетами, не яблочками перебрасываемся. Вот меня сегодня самого чуть не убило осколком — спины не могу разогнуть, да это ничего еще, слава богу, не слег».

Итак, редуты и Камчатский люнет, эти контрапроши, так сильно защищавшие Малахов курган, оказались во власти неприятеля.

Для Нахимова и Тотлебена вывод отсюда был ясен: нужно еще удвоить усилия по обороне, потому что теперь следует ждать со дня на день общего штурма Севастополя. С этого времени положение уже не менялось. Горчаков все выискивает способы, как поудобнее, с наименьшим материальным и моральным ущербом для русских войск, сдать Севастополь, а

Нахимов и его матросы и солдаты не желали об этом и слышать, и, так же как в октябре и ноябре 1854 года Меншиков, так теперь, весной 1855 года, Горчаков просто не осмеливался вслух заговорить о сдаче, а только делился этими своими предположениями с Петербургом.

## IX

Пелисье, очень приободренный успешным штурмом трех русских контрапрошей 7 июня (26 мая), а с другой стороны, теснимый и раздражаемый упорными телеграфными требованиями императора, чтобы он сначала разбил и уничтожил русскую армию, а потом со всех сторон замкнул линию осады вокруг города, считая вместе с тем этот проект, выработанный в Париже, совершенно нелепым и неисполнимым, решил действовать немедленно согласно своему, а не императорскому плану. Он задумал тотчас же, только дав войскам несколько дней на отдых, предпринять не более и не менее как общий штурм русской оборонительной линии и взять Севастополь.

В течение предыдущего дня, 5(17) июня, шла усиленная бомбардировка города и с суши и с моря, а ночью часть парового флота союзников (десять судов) начала усиленно обстреливать Южную сторону. Бомбардирование не прекращалось уже с полуночи ни на один час. И вдруг, совсем неожиданно не только для русских, но и для союзников, в 3 часа ночи начался штурм. Дело в том, что генерал Мейран по ошибке принял одну ракету за условленный сигнал и бросился со своей дивизией вперед.

Русские встретили штурмующие колонны убийственным, очень метким огнем. Французы были отброшены с громадными потерями, и одновременно Пелисье получил точные сведения, что с моря шесть русских судов громят Киленбалку и расположенные там французские резервные полки.

Несмотря на эту тяжкую неудачу в самом начале дела, Пелисье энергично продолжал повторные штурмы. По крайней мере пять штурмов (из них два на Малахов

курган) были произведены союзниками уже в первые часы этого кровавого дня, и все пять были блистательно отбиты русскими. Шестой штурм, снова направленный на Малахов курган, казалось, сулил французам успех: штурмующая колонна уже ворвалась в одну батарею (№ 6, батарея Жерве), переколола часть находившегося там батальона Полтавского полка, вытеснила остаток батальона и бросилась дальше. Но тут подоспел генерал Хрулев. После отчаянного рукопашного боя французы были отчасти перебиты, отчасти отброшены прочь. Из 138 солдат русской роты, которая первая, не ожидая еще подмоги, бросилась на неприятеля, были перебиты 105 человек во главе с Островским. К вечеру неприятель, отбитый на всех пунктах, ушел окончательно в свои траншеи.

Русские защитники Севастополя одержали самую полную победу, какую только могут одержать осажденные над осаждающими, — победу, объясняемую не только героизмом русских войск, но и многочисленными ошибками французского и английского командований. Французы потеряли в этот день около 5 тысяч человек (2 тысячи убитых и около 3 тысяч раненых), англичане — больше 2 тысяч человек (из них около 400 убитых и 1600 раненых). Но и русские потери были тяжелы: около 4720 человек, из них около 780 убитых, 3132 раненых, 815 контуженых.

Севастопольский гарнизон сильно приободрился после этой в самом деле блестящей победы. Однако июнь принес Севастополю не только радость победы, но и два несчастья...

Первое произошло через два дня после отбитого штурма. Уже 6(18) июня, в день штурма, Тотлебен был контужен. Но он бодрился и не хотел лечь в постель.

Спустя два дня, 8(20) июня, осматривая батарею Жерве, он был ранен, и очень тяжело. Тотлебен надолго выбыл из строя, и жизнь его была временами в

опасности, хотя вначале все-таки он силился на одре страданий принимать участие в работе, даже когда его увезли из Севастополя.

Нахимов остался отныне один.

Во время штурма 6(18) июня Нахимов побывал и в самом опасном месте — на Малаховом кургане. Французы ворвались уже на курган, ряд командиров был переколот немедленно, солдаты сбились в кучу. Нахимов и два его адъютанта скомандовали: «В штыки!» — и выбили французов. Для присутствовавших непонятно было, как мог уцелеть Нахимов в этот день. Это произошло уже после хрулевской контратаки, и Нахимов таким образом довершил в этот день дело спасения Малахова кургана, начатое Хрулевым.

Вообще кровавое поражение союзников 6(18) июня 1855 года, когда был отбит с громадными для них потерями штурм 3-го и 4-го отделений русской оборонительной линии, покрыло новой славой имя Нахимова. Малахов курган только потому и мог быть отбит и остался в русских руках, что Нахимов вовремя измыслил и осуществил устройство особого, нового моста, укрепленного на бочках, по которому в решительные часы перед штурмом и перешли спешно отправленные подкрепления из неатакованной непосредственно части на Корабельную сторону (где находится Малахов курган). Нахимов затеял постройку этого моста еще после первого бомбардирования Севастополя, 5 октября, когда в щепки был разнесен большой мост через Южную бухту, покоившийся на судах. Этот новый мост, покоившийся на бочках, оказал неоценимые услуги, и поправлять его было несравненно легче и быстрее, чем прежний.

Подобно тому как в свое время Меншикову пришлось понять, что ему никак не уйти от неприятной обязанности представить Нахимова к Белому Орлу, так и Остен-Сакен и Горчаков пред лицом гарнизона, который

видел, что делает ежедневно и еженощно Нахимов и что сделал он в день штурма 6(18) июня, поняли свой повелительный долг. Но надо отдать должное Остен-Сакену. Он никогда не соревновался с Нахимовым и даже не завидовал Нахимову: слишком уж, прямо до курьеза, несоизмеримо было их моральное положение в осажденной крепости и их военное значение. И чувствуется, что Остен-Сакен и Горчаков сами хотят греться в лучах нахимовской славы, когда мы читаем приказ по войскам, отданный после победоносного боя 6(18) июня: «Доблестная служба помощника моего, командира порта адмирала Нахимова, одушевляющего примером самоотвержения чинов морского ведомства и столь успешно распоряжающегося снабжением обороны Севастополя, известна всей России. Но не могу не упомянуть, что подкрепления, посланные на атакованную часть Севастополя, разделенную Южной бухтою, переходили по устроенному адмиралом Нахимовым пешеходному мосту на бочках, без чего Корабельная сторона, вмещающая в себе Малахов курган — ключ позиции, могла пасть, ибо прежний мост на судах легко был поврежден неприятельскими выстрелами и в одиннадцатидневное бомбардирование помянутое сообщение было прервано».

Ничего нового о Нахимове севастопольскому гарнизону этот приказ не сказал. Вот случайно записанный очевидцами и случайно поэтому дошедший до нас эпизод, прямо относящийся к этому кровавому дню июньской русской победы: «Каждый из храбрых защитников после жаркого дела осведомлялся прежде всего, жив ли Нахимов, и многие из нижних чинов не забывали своего отца-начальника даже и в предсмертных муках. Так, во время штурма 6 июня один из рядовых пехотного графа Дибича Забалканского полка лежал на земле близ Малахова кургана. «Ваше благородие, — кричал тот же раненый в предсмертных



муках, — я не помощи хочу просить, а важное дело есть...» Офицер возвратился к раненому, к которому в то же время подошел моряк. «Скажите, ваше благородие, адмирал Нахимов не убит?» — «Нет». — «Ну, слава богу! Я могу теперь умереть спокойно...» — это были последние слова умирающего».

Встал вопрос о новой награде Нахимову. Известно было, как бедно и скудно живет Нахимов, раздающий весь свой оклад матросам и их семьям, а особенно раненым в госпиталях. Во всяком случае, решено было за день 6 июня наградить его денежно. Александр II дал ему так называемую аренду, то есть очень значительную ежегодную денежную выдачу, независимо от его адмиральского регулярного жалованья.

25 июня царский указ об аренде был вручен Нахимову.

«Да на что мне аренда? Лучше бы они мне бомб прислали!» — с досадой сказал Нахимов, узнав об этой награде.

Он сказал это 25 июня. Бомбы ему были нужны в особенности потому, что расход боеприпасов, произведенный 6 июня, еще не был как следует пополнен, а что генерал Пелисье готовится получить близкий реванш за отбитый штурм, в этом сомнений не было.

Вообще мечтать о том, что он будет делать с только что полученной арендой, Нахимову пришлось недолго, только три дня — от 25 до 28 июня. Но мы точно знаем эти мечты. «Удостоившись по окончании последней бомбардировки Севастополя получить в награду от государя императора значительную аренду, он только и мечтал о том, как бы эти деньги употребить с наибольшей пользой для матросов или на оборону города», — говорят нам источники.

Жить ему оставалось в это время лишь несколько суток. Смерть, которой он бросал вызов за вызовом, уже

стояла за его спиной.

«Берегите Тотлебена, его заменить нечем, а я — что-с! Не беда, как вас или меня убьют, а вот жаль будет, если случится что с Тотлебенем или Васильчиковым!» Это и другое все в том же роде Нахимов повторял настойчиво не только в разговоре с Остен-Сакеном, но всякий раз, как его убеждали не рисковать так безумно, как он это стал делать, в особенности после потери Камчатского люнета и Селенгинского и Волынского редутов. Ведь и на Камчатском люнете в конце концов матросы, не спрашивая, схватили его и вынесли на руках, потому что он медлил, и еще несколько секунд — и он был бы убит зуавами или в лучшем случае изранен и взят в плен.

Один из храбрейших сподвижников Нахимова по защите Севастополя, князь В. И. Васильчиков, давно его пристально наблюдавший, нисколько не обманывался в тайных побуждениях адмирала: «Не подлежит сомнению, что Павел Степанович пережить падение Севастополя не желал. Оставшись один из числа всех сподвижников прежних доблестей флота, он искал смерти и в последнее время стал более, чем когда-либо, выставлять себя на банкетах, на вышках бастioned, привлекая внимание французских и английских стрелков многочисленной своей свитой и блеском эполет...»

Свиту он обыкновенно оставлял за бруствером, а сам выходил на банкет и долго там стоял, глядя на неприятельские батареи, «ожидая свинца», как выразился тот же Васильчиков.

Генерал-лейтенант М. И. Богданович передает слышанное им лично от адмирала П. В. Воеводского и адмирала Ф. С. Керна (бывших при Нахимове еще

капитанами 1-го ранга), и их слова, так же как воспоминания Стеценко, могущественно подтверждают все, что мы знаем из других свидетельств. Нахимов в своих приказах писал, что Севастополь будет освобожден, но в действительности не имел никаких надежд. Для себя же лично он решил вопрос уже давно, и решил твердо: он погибнет вместе с Севастополем.

«Если кто-либо из моряков, утомленный тревожной жизнью на бастионах, заболел и выбившись из сил, просился хоть на время на отдых, Нахимов осыпал его упреками: «Как-с! Вы хотите-с уйти с вашего поста? Вы должны умирать здесь, вы часовой-с. Вам смены нет-с и не будет! Мы все здесь умрем. Помните, что вы черноморский моряк-с и что вы защищаете родной ваш город! Мы неприятелю здесь отдадим одни наши трупы и развалины. Нам отсюда уходить нельзя-с! Я уже выбрал себе могилу, моя могила уже готова-с! Я лягу подле моего начальника Михаила Петровича Лазарева, а Корнилов и Истомин уже там лежат. Они свой долг исполнили, надо и нам его исполнять!» Когда начальник одного из бастионов при посещении его части адмиралом доложил ему, что англичане заложили батарею, которая будет поражать бастион в тыл, Нахимов отвечал: «Ну что ж такое! Не беспокойтесь, мы все здесь останемся!»

Как прежде Меншиков, так теперь Горчаков боялся даже заговорить при Нахимове об оставлении Севастополя.

«Но сам князь Горчаков не утешал себя... розовыми надеждами. По-прежнему озабочивала его одна мысль — как уменьшить по возможности потерю в наших войсках в случае необходимости оставить Севастополь. Признавая такой печальный конец неизбежным, он не переставал обдумывать план исполнения трудного отступления на Северную сторону. По распоряжению его заготавливались втайне материалы для постройки

гигантского плавучего моста через всю ширину большой бухты, на протяжении 430 сажен. Вскоре потом приступлено было и к самой постройке моста под руководством начальника инженеров генерал-майора Буцмейстера, к величайшему негодованию моряков и других истых защитников Севастополя, которые не допускали ни в каком случае возможности оставить эту святыню в руках врагов», — писал впоследствии один из офицеров.

Узнав о намерении главнокомандующего устроить мост на рейде, Павел Степанович, опасаясь, чтобы это не поселило в гарнизоне мысли об оставлении Севастополя, сказал И. П. Комаровскому: «Видали вы подлость? Готовят мост через бухту! Ни живым, ни мертвым отсюда я не выйду». И он сдержал свое слово.

С этим согласуется одна его заветная мечта: остаться с кучкой матросов-единомышленников где-нибудь в не взятой неприятелем укрепленной точке и, даже если город будет сдан, продолжать сражаться, пока их всех не перебьют.

«По своему характеру враг полумер, он при жизни часто говаривал, что, если весь Севастополь будет взят, он со своими матросами продержится на Малаховом кургане еще целый месяц», — свидетельствует очевидец.

Многие «странности» Нахимова в последние месяцы жизни объяснились лишь потом, когда стали вспоминать и сопоставлять факты. Никто, кроме Нахимова, не носил эполет в Севастополе: французы и англичане били прежде всего командный состав. И никто долго не мог понять его упорства в вопросе о смертельно опасных золотых адмиральских эполетах Нахимова, который так небрежно относился всегда к костюму и украшениям, так глубочайше равнодушен был к внешнему блеску и отличиям.

Поведение Нахимова давно уже, особенно после падения Камчатского люнета и двух редутов, вообще обращало на себя внимание окружающих, и они не знали, как объяснить некоторые его поступки. Насколько Нахимов был прямо враждебен всякому залихватскому, показному молодечеству, это хорошо знали все еще до того, как он особым приказом потребовал от офицеров, чтобы они не рисковали собой и своими людьми без прямой необходимости. Поэтому либо просто удивлялись, не пробуя пускаться в объяснения, либо говорили о фатализме. «При этом он (Нахимов) был в высшей степени фаталист, — пишет один из наблюдавших его севастопольцев. — Посещая наше отделение, он всякий раз непременно ходил на банкет в различных местах, чтобы взглянуть на неприятельские батареи, но никогда в таких случаях не ходил по траншеям, а всегда по площадкам, где пули скрещивались непрерывно. Однажды, когда он хотел пройти с левого фланга в мой блиндаж, Микрюков сказал ему: «Здесь убьют, пойдите через траншеи». Он отвечал: «Кому суждено...» — «А вы фаталист?» — заметил я. Он промолчал и пошел все-таки по открытой площадке, то есть прямо под прицельные французские пули, для которых неспешно шагавшая высокая фигура с блестящими эполетами была превосходной мишенью».

28 июня Нахимов верхом поехал с двумя адъютантами смотреть третий и четвертый бастионы, по дороге отдавая распоряжения обычного бытового характера: командиру третьего бастиона, куда как раз ехал Нахимов, лейтенанту Викорету, только что оторвало ногу, нужно было назначить другого и т. д. Одного из адъютантов адмирал отправил с распоряжениями. «Оставшись вдвоем, — рассказал лейтенант Колтовский, его сопровождавший, лейтенанту Белавенцу, — мы поехали сперва на 3-е отделение, начиная с батареи Никонова, потом зашли в

блиндаж к Панфилову, напились у него лимонаду и отправились с ним же на третий бастион». Осмотрев его и еще остальную часть 3-го отделения «под самым страшным огнем», Нахимов поехал шагом на 4-е отделение.

Бомбы, ядра, пули летели градом вслед Нахимову, который был «чрезвычайно весел» против обыкновения и все говорил адъютанту, не желавшему отъехать от него: «Как приятно ехать такими молодцами, как мы с вами! Так нужно, друг мой, ведь на все воля бога! Что бы мы тут ни делали, за что бы ни прятались, чем бы ни укрывались — мы этим показали бы только слабость характера. Чистый душой и благородный человек будет всегда ожидать смерти спокойно и весело, а трус боится смерти, как трус», — сказав это, Нахимов вдруг задумался.

Но вот оба всадника оказались уже на Малаховом кургане и на том именно бастионе, где пал 5 октября Корнилов и который с тех пор назывался Корниловским. Нахимов тут соскочил с коня, матросы и солдаты бастиона сейчас же окружили его.

«Здорово, наши молодцы. Ну, друзья, я смотрел нашу батарею, она теперь далеко не та, какой была прежде, она теперь хорошо укреплена! Ну, так неприятель не должен и думать, что здесь можно каким бы то ни было способом вторично прорваться. Смотрите же, друзья, докажете французу, что вы такие же молодцы, какими я вас знаю, а за новые работы и за то, что вы хорошо деретесь, спасибо!» На матросов, по наблюдению окружавших, навеки запомнивших все, что случилось в роковой день, речь и уже самое появление их общего любимца произвели обычное, бодрящее, радостное впечатление. Поговорив с матросами, Нахимов отдал приказание начальнику батареи и пошел по направлению к банкету у вершины бастиона. Его догнали офицеры и всячески стали задерживать, зная,

как он в последнее время ведет себя на банкетах. Начальник 4-го отделения прямо заявил Нахимову, что «все исправно» и что ему нечего беспокоиться, хотя Нахимов ни его и никого вообще ни о чем не спрашивал, а шагал все вперед и вперед.

Не зная прямо, что же делать, капитан Керн сказал, что на бастионе сейчас идет церковная служба, так вот не угодно ли пройти туда. «Я вас не держу-с!» — отрезал Нахимов.

Дошли до банкета, Нахимов взял подзорную трубу у сигнальщика и шагнул на банкет. Его высокая сутулая фигура в золотых адмиральских эполетах показалась на банкете одинокой, совсем близкой, бросающейся в глаза мишенью прямо перед французской батареей. Керн и адъютант сделали еще последнюю попытку предупредить несчастье и стали убеждать Нахимова хоть пониже нагнуться или зайти за мешки, чтобы смотреть оттуда. Нахимов, не отвечая, все смотрел в трубу в сторону французов. Просвистела пуля, уже явно прицельная, и ударилась около самого локтя Нахимова в мешок с землей. «Они сегодня довольно метко стреляют», — сказал Нахимов, и в этот момент грянул новый выстрел. Адмирал без единого стога пал на землю как подкошенный.

Штуцерная пуля ударила в лицо, пробила череп и вышла у затылка.

Он уже не приходил в сознание. Его перенесли на квартиру. Прошли день, ночь, снова наступил день. Лучшие наличные медицинские силы собрались у постели. Он изредка открывал глаза, но смотрел неподвижно и молчал. Наступила последняя ночь, потом утро 30 июня 1855 года. Толпа молчаливо стояла около дома. Издали грохотала бомбардировка.

Вот показание одного из допущенных к одру умирающего:



«Войдя в комнату, где лежал адмирал, я нашел у него докторов, тех же, что оставил ночью, и прусского лейб-медика, приехавшего посмотреть на действие своего лекарства. Усов и барон Крюденер снимали портрет: больной дышал и по временам открывал глаза. Но около 11 часов дыхание сделалось вдруг сильнее: в комнате воцарилось молчание. Доктора подошли к кровати. «Вот наступает смерть», — громко и внятно сказал Соколов, вероятно, не зная, что около меня сидел его племянник П. В. Воеводский. Последние минуты Павла Степановича оканчивались. Больной потянулся в первый раз, и дыхание сделалось реже... После нескольких вздохов снова вытянулся и медленно вздохнул... Умиравший сделал еще конвульсивное движение, еще вздохнул три раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха. Но прошло несколько тяжких мгновений: все взялись за часы, и когда Соколов громко проговорил: «Скончался», было 11 часов 7 минут... Герой Наварина, Синопа и Севастополя, этот рыцарь без страха и укоризны, окончил свое славное поприще».

Матросы толпились вокруг гроба целые сутки, целуя руки мертвеца, сменяя друг друга, уходя снова на бастионы, и возвращались к гробу, как только их опять отпускали. Вот письмо одной из сестер милосердия, живо восстанавливающее пред нами переживавшийся момент:

«...Во второй комнате стоял его гроб золотой парчи, кругом много подушек с орденами, в головах три адмиральских флага сгруппированы, а сам он был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы... По загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. Да и с тех пор я не видела ни одного моряка, который бы не сказал, что с радостью лег бы за него».

Похороны Нахимова навсегда запомнились очевидцам: «Никогда я не буду в силах передать тебе этого глубокого, грустного впечатления... Море с грозным и многочисленным флотом наших врагов... Горы с нашими бастионами, где Нахимов бывал беспрестанно, ободряя еще более примером, чем словом... И горы с их батареями, с которых так беспощадно они громят Севастополь и с которых они и теперь могли стрелять прямо в процессию: но они были так любезны, что во все это время не было ни одного выстрела. Представь же себе этот огромный вид, и над всем этим, а особенно над морем, мрачные, тяжелые тучи, только кой-где вверху блистало светлое облако. Заунывная музыка, грустный перезвон колоколов, печально-торжественное пение... Так хоронили моряки своего синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника».

Роковое для Севастопольской обороны значение гибели Нахимова поняли все. «28 июня — печальный день: убит П. С. Нахимов. Число геройских защитников Севастополя редело, да и не было таких влиятельных, как покойный Нахимов, а между тем Горчаков настойчиво торопил подготовить отступление от Севастополя, и потому рвение защитников Севастополя слабело» — читаем в черновых заметках Ухтомского.

Мучившийся сам от своей тяжелой раны, Тотлебен уже 29 июня узнал о смертельной ране Нахимова, о том, что надежды нет. «Вчера вечером Нахимов опасно ранен в голову на Малаховом кургане, — пишет он жене. — Это печальное событие глубоко меня потрясло. Нахимова я любил, как своего отца. Этот человек делал невероятно много, его все любили, все высоко ценили. Пользуясь его влиянием во флоте, мы осуществили многое, что казалось невозможным. Он был вроде патриотов классической древности, он безгранично любил Россию и всегда был готов всем пожертвовать для чести своего

отечества, как некоторые возвышеннейшие патриоты из древних греков и древних римлян. И при этом какое нежно чувствующее сердце! Как заботился он обо всех страдающих! Он всех посещал, всем помогал!..»

«Хозяин Севастополя» исчез, и хотя в осажденном городе, ежедневно и еженощно осыпаемом разрывными и зажигательными бомбами, успели за девять месяцев, протекших от начала осады до гибели Нахимова, более чем достаточно привыкнуть к смерти, но к этой смерти никак не могли привыкнуть и не могли примириться с ней.

Потрясена была и вся Россия.

«Нахимов получил тяжкую рану! Нахимов скончался! Боже мой, какое несчастье!» — эти роковые слова не сходили с уст московских жителей в продолжение трех последних дней. Везде только и был разговор, что о Нахимове. Глубокая, сердечная горесть слышалась в непрерывных сетованиях. Старые и молодые, военные и невоенные, мужчины и женщины показывали одинаковое участие», — писал московский историк Погодин после получения фатального известия.

«Был же уголок в русском царстве, где собрались такие люди, — говорил Т. Н. Грановский, узнав о гибели Нахимова. — Лег и он. Что же? Такая смерть хороша; он умер в пору. Перед концом своего поприща вызвать общее сочувствие к себе и заключить его такой смертью... Чего же жалеть более, да и чего бы еще дождался Нахимов? Его недоставало возле могил Корнилова и Истомина. Тяжела потеря таких людей, но страшнее всего, чтобы вместе с ними не погибло в русском флоте предание о нравах и духе таких моряков, каких умел собрать вокруг себя Лазарев».

Если первым, явственным ударом погребального колокола по Севастополю была потеря Камчатского люнета и двух соседних редутов, то вторым было тяжелое ранение Тотлебена, а третьим, бесспорно, была

гибель Нахимова. Смерть адмирала явилась в полном смысле слова началом конца Севастополя. В России это поняли, по-видимому, все следившие за титанической борьбой, а больше всего принимавшие в ней прямое участие.

Твердыня, за которую Нахимов отдал жизнь, не только стоила врагам не предвиденных ими ужасающих жертв, но своим, почти год длившимся отчаянным сопротивлением, которого решительно никто не ожидал ни в Европе, ни у нас, совсем изменила все бывшее умонастроение неприятельской коалиции, заставила Наполеона III немедленно после войны искать дружбы с Россией, принудила Англию отказаться от очень многих требований и претензий, фактически свела к ничтожному минимуму русские потери при заключении мира и высоко вознесла моральный престиж русского народа.

Это историческое значение Севастополя, с несомненностью, стало определяться уже тогда, когда Нахимов, покрытый кровью и славой, лег в могилу.

*1944 год*

**В. СТРУМИНСКИЙ  
КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ  
УШИНСКИЙ**

## ВЕЛИКИЙ ПЕДАГОГ

*Сделать как можно больше пользы  
моему Отечеству — вот единственная  
цель моей жизни, и к ней-то я должен  
направлять все свои способности.*

*Из юношеского дневника  
Ушинского*

Трудно назвать другого педагога дореволюционной России, который бы пользовался таким авторитетом, такой любовью детей, родителей и учителей, как Константин Дмитриевич Ушинский. Его известность была не меньше, чем известность Коменского и Песталоцци в европейских странах. Это был поистине народный русский педагог в том смысле, в каком мы говорим о Пушкине как о народном русском поэте, о Глинке как о народном русском композиторе, о Суворове как о народном русском полководце.

Педагогическая деятельность Ушинского развернулась в середине XIX века. Нелегко было тогда жить и работать передовым ученым и общественным деятелям. Царское правительство относилось с особенной враждебностью и подозрительностью к тем, кто боролся за просвещение народа.

А вся деятельность К. Д. Ушинского как раз этому и была посвящена. Он пламенно развивал мысли о том, что образование в России должно быть построено на принципах широкой демократии и по последнему слову науки: он, не смущаясь, говорил, что правительство должно служить народу, прислушиваясь к его растущим потребностям и запросам. Для зарождавшейся народной школы он создал гениально простые и интересные учебники, а для учителей — ряд замечательных

руководств. Именно со времени Ушинского педагогика в России твердой ногой вступила на научную дорогу: учитель начал овладевать азбукой педагогической работы, которая стала простой и понятной, а дети впервые почувствовали вместо вызывавшей отвращение и в пословицу вошедшей горечи ученья его увлекательную сладость.

На протяжении пятидесяти лет до революции целые поколения русских детей и сотни тысяч учителей воспитывались и учились на книжках, созданных Ушинским. В этом заключался его огромный вклад в дело русской народной культуры.

И именно потому, что он самоотверженно работал над созданием этого вклада, царское правительство всячески тормозило его работу при жизни, а русская общественность высоко оценила его как великого русского педагога, родоначальника педагогической науки, отца русской народной школы, учителя русских учителей, друга русского дитяти.

Великая Октябрьская социалистическая революция уничтожила в России власть помещиков и капиталистов. На место старой школы пришла новая, советская, школа. И еще дороже стал нам великий русский педагог Ушинский, еще важнее для нас его замечательное идейное наследство.

В январе 1941 года происходило Всероссийское совещание руководящих работников народного образования. На этом совещании 30 января 1941 года выступил с речью Михаил Иванович Калинин. Он говорил о важных вопросах школьного обучения, внес много ярких и ценных предложений. Свою речь он закончил так:

«Вот и все мои практические соображения... Но, говоря по совести, они не являются моими, оригинальными в строгом смысле этого слова. Все это я вычитал у старых русских педагогов, большею частью —

у Ушинского. А ведь он писал 80 лет тому назад. Но, товарищи, вещи-то полезные, я смотрю! Мы живем 80 лет спустя, у нас уже социалистический строй. Но я вижу, что те идеи, которые развивал в свое время Ушинский и которые я здесь выдвинул в качестве практических предложений, это — настоящие педагогические идеи. Мало того: я считаю, что они только в нашем социалистическом обществе и могут быть полностью осуществлены»[\[11\]](#).



## ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ К. Д. УШИНСКОГО

*Будем трудиться над постройкой  
чудного здания, которому внуки наши  
дадут свое имя, истинных творцов никто и  
никогда не узнает.*

*Из юношеского дневника  
Ушинского*

Константин Дмитриевич Ушинский родился в 1824 году в семье мелкопоместного дворянина, имевшего возле Новгород-Северска, бывшей Черниговской губернии, небольшой хутор с тридцатью крестьянами. Этих крестьян отец Ушинского отпустил на волю и в год рождения сына Константина служил в Тульской казенной палате. Через несколько лет отец Ушинского оставил службу и поселился на своем хуторе. Ушинский учился в новгород-северской гимназии, а по окончании ее поступил на юридический факультет Московского университета.

Это было в самом начале 40-х годов XIX века. Тогда в России полновластно господствовал и торжествовал жестокий николаевский режим. Но, по меткому слову Герцена, николаевское время было «удивительной эпохой внешнего рабства и внутреннего освобождения». Снаружи была полная придавленность, но внутри уже все бурлило, все стремилось сбросить невыносимый гнет. Экономически Россия давно уже выросла из рамок крепостнических отношений, между тем массы крестьян были закрепощены; ежегодно происходили десятки крестьянских волнений — их усмиряли военной силой.

С исключительным напряжением работала в 40-е годы передовая русская мысль. Московский университет, средоточие русской интеллигенции, находился в периоде своего расцвета. Здесь были лучшие в России профессора (в частности, историю читал знаменитый Грановский). Непосредственный научный руководитель студента Ушинского, преподаватель юридических наук профессор Редкин помог ему широко ознакомиться с современной научной и философской литературой.

Ушинский пристально и внимательно следит за политической жизнью и политической борьбой у себя на родине и в Европе; он пытается разобраться в этой борьбе, чтобы найти свое место и определить свою жизненную роль. И в том, как ставит и решает для себя эти вопросы молодой Ушинский, мы узнаем большое влияние великого современника его — Виссариона Григорьевича Белинского, который оставался для Ушинского до конца жизни его самым любимым писателем.

В последнем году пребывания в университете (в 1844 году) Ушинский вел дневник, каждая строка которого говорит об особом напряжении его внутренней жизни. Он не надеется, что гнетущий николаевский режим рухнет сразу. Но он убежден, что освобождение придет. Как бы далеко оно еще ни было, оно придет наверняка, и для подготовки его надо работать, надо всю жизнь свою посвятить этому. 13 ноября 1844 года он записывает: «Приготовлять умы! рассеивать идеи!., вот наше назначение... Отбросим эгоизм, будем трудиться для потомства... Будем трудиться над постройкой чудного здания, которому внуки наши дадут свое имя, истинных творцов которого никто и никогда не узнает. В поте лица, в пыли презрения, под знойными лучами пекущего солнца, рискуя жизнью, бросать семена в землю, зная, что никогда не увидишь жатвы, и все-таки

работать до конца жизни, — страшное бытие. Отдать все потомкам, которые забудут и имена наши... знать все это и все-таки отдать им и жизнь свою, — велика любовь к истине, ко благу, к идее! велико назначение!»

Юношески восторженные слова, но серьезен и велик смысл их: обречь себя на жертву для блага народа.

Ушинский совершенно отчетливо сознает, что если момент решительного действия настанет только впоследствии, то эпоха внутреннего освобождения, эпоха духовной революции уже наступила. Он характеризует эту революцию как революцию ума, как победу его над жизнью инстинкта и слепого чувства. Он пишет 25 ноября: «Близка перемена: она начинается, она уже началась!.. Кончилась ночь! Вы спите, когда все вокруг вас уже движется! Проснитесь, заря занимается!.. Вы задыхаетесь в темноте, между тем как ум открывает вам двери в чудную область... Вы напрасно порываетесь разорвать оковы вашего бессилия, а ум дает вам свободу, говоря: «Следуй за мной!» Ушинский приглашает своих воображаемых слушателей: «Пойдем теперь на поле битвы, заглянем во все сферы, где совершается эта победа ума: в жизнь общественную, в жизнь домашнюю, в жизнь индивидуальную, в религию, в поэзию, в художества, в науку. Везде мы найдем эту революцию в разных формах и везде увидим торжества плебея — ума...»

Так в год окончания университета определился для Ушинского его будущий путь — путь просветителя-демократа. Теперь он мобилизует все свои силы для выполнения своей жизненной задачи. Он пишет в дневнике расписание своих занятий по дням и часам; составляет перечни книг, которые намерен прочитать; отмечает уже прочитанные книги; устанавливает для себя правила поведения, строго следит за их выполнением. Вставать в 5 часов, ложиться спать в 10 часов; почти каждый час дня расписан, у каждого

определенное назначение; всякое отступление сейчас же отмечается в дневнике, и принимаются соответствующие меры на будущее время. 16 ноября 1844 года Ушинский пишет: «О! волю надо укреплять! Пусть в моем внутреннем государстве все повинуется ей беспрекословно, — все, кроме ума, этого вечного закона, неизменного. Он один должен быть свободен от всякого принуждения, повелевать всем, не повиноваться никому, кроме самого себя, то есть быть совершенно свободным».

Научные занятия по специальности склоняли Ушинского к работе историка-обществоведа. И в дневнике 18 ноября того же года он записывает: «Меня теперь совершенно занимает план, который, если я его приму, должен определить цель всей моей жизни: именно — написать историю так, как я ее понимаю. Давно эта мысль под различными формами вертелась в моей голове... Конечно, этот труд достаточен, чтобы наполнить много жизней, но угадал ли я свое направление? В нем ли я найду успокоение? Не лень ли гонит меня от поприща фактической деятельности? Не был ли бы я для нее способнее? Не сделал ли бы я для России больше здесь, нежели написав историю? Доставит ли она что-нибудь незрелому народу? Вот вопросы, которые должен я разрешить...»

Совершенно ясно, что вкус к истории должен был образоваться у Ушинского под влиянием его учителей — Грановского и Редкина, а также той обильной научной литературы по философии, по истории (в особенности истории права) и политической экономии, которую он тщательно изучил на студенческой скамье. История была для Ушинского той наукой, которая вскрывает основные пружины и закономерности народной жизни. А он поставил основной задачей своей быть полезным своему отечеству. Но практически вопрос, который хотел разрешить для себя юноша Ушинский (в какой области

работа его будет полезнее?), был разрешен тем назначением, которое он получил по окончании университета.

## **КАРЬЕРА УЧЕНОГО-КАМЕРАЛИСТА И ЕЕ НЕОЖИДАННОЕ КРУШЕНИЕ**

*Пойдем теперь на поле битвы,  
заглянем во все сферы, где совершается  
победа ума.*

*Из юношеского дневника  
Ушинского*

Ушинский окончил Московский университет с золотой медалью в 1845 году, имея от роду 21 год. Его научный руководитель профессор Редкин дал ему блестящую аттестацию. И уже через год, 2 августа, Ушинский утвержден исполняющим обязанности профессора так называемых камеральных наук в Ярославском лицее. «Камеральные науки» — это старинное наименование целого комплекса наук о государственном хозяйстве, несколько позже расчленившегося на ряд самостоятельных дисциплин: политическую экономию, государственное право, историю права и т. п.

Русское правительство в 40-х годах проявило большой интерес к разработке камеральных наук. Тогда Ярославский лицей был реорганизован в камеральный. Ушинскому была предоставлена в этом лицее та же кафедра, какую в университете занимал его учитель Редкин.

Легко представить себе, с каким рвением отдался Ушинский своей научной и преподавательской работе. Ведь она должна была вплотную подвести его к осуществлению юношеской мечты: написать историю русского народа, как он ее понимал.

Сохранившиеся наброски его лекций, а также произнесенная им в торжественном заседании лицея и выпущенная отдельным изданием «Речь о камеральном образовании» (издана в Москве в 1848 году) говорят о том, что молодой ученый выступил во всеоружии тогдашней науки, с полной уверенностью в своих силах и с тем благородным энтузиазмом любви к истине, который характеризует подлинного ученого.

Область знаний, которую предстояло разрабатывать Ушинскому (государственное хозяйство и государственное право России в его прошлом и настоящем), конечно, очень широка. Но тем важнее было правильно поставить основные вопросы в пределах этой области. Ушинский справлялся с этой задачей с большим для своего времени совершенством.

Он считал, в частности, что науку нельзя выводить из одних голых философских предпосылок: она должна быть построена на основе большого фактического материала. Ушинский знал, что современное состояние любого народа — продукт закономерного исторического развития. Но он не соглашался с теми, кто полагал, что законы человеческого общества осуществляются в истории стихийно, без участия сознательной человеческой воли: «Нет, мы должны осознать их и претворить их в нашу разумность, в наши законы».

Проанализировав огромное количество популярных в немецкой и русской камералистике трудов по вопросам политической экономии, Ушинский охарактеризовал их как безнадежно устарелые, не отражающие современного развития хозяйственно-экономической жизни.

Вслед за Адамом Смитом, которого Ленин характеризовал как «великого идеолога передовой буржуазии» (Соч., т. 11, с. 315), Ушинский считал, что наиболее характерной чертой современного хозяйственно-экономического развития является

«свободное соединение и разделение труда и соединение и разделение этим трудом самого общества. В этом обществе чем ближе люди по своим занятиям, тем они дальше, и чем дальше, тем они ближе. Интересы двух фабрикантов одних и тех же материй, живущих в одном городе, противоположны, а интересы русского фабриканта с интересами того индийского производителя, который доставляет ему краску, — одни и те же. Этот фабрикант, желая, чтобы фабрика его соперника подорвалась, желает в то же время, чтобы дела индийского производителя шли как можно лучше, и забывает часто, что они пойдут хуже, если фабрика его соперника подорвется».

В противовес ограниченной и отсталой камеральной науке Ушинский основную задачу камералистики видел в изучении передовой организации хозяйства. Это понимание предмета политической экономии составляло смелый и большой шаг вперед.

Другой, не менее смелый шаг вперед сделал Ушинский, когда поставил себе задачей связать теоретические положения науки с практической жизнью. Наука должна быть действенной, и ее истины должны претворяться в жизнь. К этой действенности он и призывал студентов: «На вас более чем на ком-нибудь, на всех вас будет лежать обязанность сохранить в жизни стройность и истину этой науки. Только от юности можно ожидать выполнения современных требований, лежащего в будущем».

Но именно того, к чему призывал молодежь Ушинский, и боялось царское правительство. Организуя камеральные факультеты и лицей, оно имело в виду подготовку исполнительных чиновников, а вовсе не научных исследователей и тем менее людей, проводящих в жизнь выводы науки.

Студенты же под руководством Ушинского увлеклись подлинно научной работой и уже в 1847 году



выполнили (на старшем курсе) два замечательных исследования, удостоенных советом лицея золотой медали.

И в том же 1847 году Ушинский подал в совет лицея заявление. Указывая на отсутствие в библиотеке лицея источников и пособий по читаемым им курсам, он просил выписать книги по представленному им списку. Попечитель граф Строганов значительную часть этих книг (всю передовую литературу) выписывать запретил.

В это время на Западе уже назревали революционные события. Николаевское правительство, нервно следившее за этими событиями, все подозрительнее относилось к чтению таких курсов, как государственное право. Программа преподавания беспрестанно суживалась. На директоров была возложена обязанность строго следить за содержанием читаемых курсов, а от преподавателей затребованы подробные конспекты лекций. Надо было указывать и все те цитаты, которые преподаватель хочет использовать на своей лекции. «Живое педагогическое дело нельзя связывать такими формальностями», — говорил на заседании совета лицея Ушинский и прибавил, что «на это не пойдет ни один честный преподаватель».

Это произвело впечатление неслыханной дерзости и вольномыслия.

Товарищеские отношения Ушинского к студентам рассматривались как подрывание студенческой дисциплины и уважения к администрации лицея.

Производивший ревизию лицея попечитель дал отзыв об Ушинском как о профессоре, имеющем «большие дарования и отличные познания, но с большим самолюбием». Он отметил, что «Ушинский имеет большое влияние на студентов», и объявил ошибкой назначение его на должность профессора в молодых летах: «ему следовало бы сначала несколько лет

поработать в гимназии», где он «приучился бы к строгому исполнению приказаний начальства...».

И в качестве меры, которая могла бы привести внутреннюю жизнь лицея к успокоению, попечитель рекомендовал «для примера удалить из лицея одного из профессоров, того, который будет главной причиной «раздора». В конечном итоге был сделан вывод о необходимости удалить из лицея Ушинского и его товарища Львовского. Оба по заведенному порядку подали заявления об увольнении в отпуск по болезни, причем Ушинский просил об увольнении в Петербург или Москву для совещания с тамошними медиками». Через неделю уже был назначен заместитель Ушинского.

Так закончилась его научная и преподавательская карьера.

## ЧЕРНОРАБОЧИЙ ЖУРНАЛИСТ

*Небольшой толчок судьбы разбил все мои предположения, весь тот мир, который так долго во мне строился... Куда ты толкаешь меня, о нищета проклятая?..*

*Из юношеского дневника  
Ушинского*

Так как от своего отца Ушинский давно уже не получал материальной помощи и еще в университете жил частными уроками, то к зиме 1849 года он оказался в Петербурге без всяких средств к жизни, но с твердым намерением найти себе работу, которая соответствовала бы его призванию. Это оказалось задачей в высшей степени трудной. Бывшего профессора, очутившегося без работы, везде встречали подозрительно. Даже места уездного учителя Ушинский не мог найти.

Он готов прийти в отчаяние, но напрягает все силы, чтобы организовать прежде всего, несмотря ни на что, свою научную работу, в которой видит задачу своей жизни. Теперь Ушинский снова принимается за дневник. 19 декабря 1849 года он записывает: «Снова — самое строгое наблюдение над собой, над своим характером и способностями... Небольшой толчок судьбы разбил все мои предположения, весь тот мир, который так долго во мне строился. И если я не вооружусь твердой волей, то погибну посреди этих обломков. Нужно уметь принудить себя заниматься и тогда, когда нет во мне энергии, убедившись опытом, что это падение души только временно и что небольшое усилие души над собой всегда вознаграждается рождающейся в ней энергией. О, зачем я один? Мой разум и мое сердце просят товарища. Тяжело бороться одному против усыпления,

заливающего со всех сторон». Но он борется. Он не дает ни отчаянию, ни равнодушию овладеть собой. «Неужели я опустел окончательно?.. Нет, да не будет так... За дело! за дело! И чтобы не разбивать сил своих, я решительно займусь только одной статьей для географического общества... Сделать как можно более пользы моему отечеству — вот единственная цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности...»

С начала 1852 года он входит в состав сотрудников журнала «Современник». Известно, что со второй половины 50-х годов журнал этот благодаря участию в нем представителей русской революционной демократии, Чернышевского и Добролюбова, стал передовым демократическим органом. Но в начале 50-х годов это было еще далеко не так. И работа в журнале не удовлетворяет Ушинского. Это была по преимуществу мелкая, черная журналистская поденщина. Ушинский переводил (он в совершенстве владел тремя иностранными языками), писал обзоры иностранных журналов. А ему хотелось более ответственной и самостоятельной работы.

Через два года он предлагает свои услуги редактору «Библиотеки для чтения» А. Старчевскому. Однако же и здесь условия были не лучше. Ушинский был перегружен все той же черной работой переводчика и обозревателя, требовавшей бессонных ночей и дававшей ничтожное вознаграждение, между тем как его жизненные потребности в связи с женитьбой уже значительно возросли.

К середине 50-х годов общеполитическая обстановка в России резко изменилась. Крымская война вскрыла перед всем миром плачевные последствия уродливого николаевского режима. Со смертью Николая I давно нараставшее напряжение прорвалось наружу. Правительству пришлось вступить на путь либеральных

реформ. Общественная атмосфера стала много легче. Благодаря этому и кризис в жизни Ушинского приблизился к своему разрешению. Для него стало возможно найти ту серьезную, творчески воспитательную работу, о которой он мечтал. Бывший директор Ярославского лицея, тоже уволенный вскоре после ухода Ушинского, дает ему рекомендацию. Ушинский поступает в Гатчинский сиротский институт преподавателем русского языка, затем занимает в институте должность инспектора классов, то есть руководителя всей его учебной и воспитательной работы.

## **В ГАТЧИНСКОМ СИРОТСКОМ ИНСТИТУТЕ**

*Я не знаю, что я сделаю, что со мною  
будет, но я решился посвятить себя с  
этого дня исключительно педагогическим  
вопросам.*

*Из беседы Ушинского с А.  
Старчевским*

Гатчинский сиротский институт принадлежал к числу тех весьма разнохарактерных учебных заведений благотворительного характера, которые находились под специальным наблюдением так называемого «ведомства учреждений императрицы Марии». Ко времени поступления Ушинского он насчитывал уже 50 лет своего существования и несколько раз реформировался. Цветущим временем Гатчинского института было начало 30-х годов, когда институт сформировался неожиданно для его руководителей как демократическая школа, куда принимались мальчики-сироты без различия происхождения и получали элементарную подготовку для поступления в среднюю школу или для практической деятельности. Именно тогда знаменитый педагог Гатчинского института Е. О. Гугель организовал при институте подготовительную школу по типу элементарных школ Песталоцци, написал и издал ряд руководств для элементарного обучения.

После новой реорганизации в 1834 году дорогая Гугелю идея элементарного образования отодвигается на задний план, центр тяжести переносится на средние классы. В институте усиливается и берет верх бюрократическое руководство. Оно тормозит

осуществление всех мероприятий Гугеля, отмахивается от его предложений. Он настаивает, пробует бороться. Его постепенно оттесняют от дела. В глухой атмосфере травли, насмешки и вражды, видя, как искажается и гибнет то, чем он жил, впечатлительный Гугель заболевает нервным расстройством. «Бедняк-мечтатель, — пишет Ушинский, — окончил свою жизнь в сумасшедшем доме, бредя детьми, школой и педагогическими идеями». Болезнь Гугеля институтское начальство объяснило его чрезмерным увлечением теорией педагогики и, запечатав замечательную педагогическую библиотеку Гугеля, отправило ее, как опасное наследство, в подвал института. Там она и оставалась в течение пятнадцати лет, до поступления Ушинского, который распечатал ее. Изумительное собрание книг по классической европейской педагогике открылось перед ним.

Ушинский стал в институте идейным преемником Гугеля.

С первых же дней своей работы Ушинский был поражен царившим в институте бюрократизмом, формалистической постановкой воспитательных задач и пренебрежением к живой душе ребенка. Основные педагогические функции — воспитание, обучение и управление — механически были разделены между различными лицами, совершенно не связанными между собой. Благодаря этому самые существенные вопросы воспитания, как писал Ушинский, «часто приносятся в жертву административной стройности, для которой дороже всего блеск, внешний порядок и полировка». При установившемся механическом разделении функций никто не считал себя ответственным за результаты воспитания, каждый сваливал вину на других: учитель обвинял воспитателя в том, что ученики не учат уроков; воспитатели говорили, что, напротив, ученики внимательно сидят за книгами, а виноваты учителя,

которые плохо объясняют уроки; иногда те и другие объединялись и вместе винили администрацию в том, что она недостаточно строго применяет наказания. Все воспитание в таких заведениях выражается, по словам Ушинского, «только в ограничениях, стеснениях, запрещениях и внешней дисциплине. Но вместе с тем вся детская жизнь в таком заведении принимает какой-то форменный, осторожный характер, конечно, не имеющий ничего общего с делом нравственного воспитания. Жизнь ребенка становится постоянным церемониалом, который весь расписан заранее». Но живут и по-своему развиваются дети «где-нибудь тайком от воспитателя, в каком-нибудь темном уголке, куда не проникает его всенивелирующий взгляд, в тихом шепоте с товарищем... Форменная жизнь в заведении идет своим порядком, а настоящее, действительное воспитание блуждает тысячами других».

«Этот гибельный порядок, — писал Ушинский, — можно выразить несколькими словами: канцелярия и экономия наверху, администрация в середине, учение под ногами, а воспитание за дверьми заведения. Пока не вывернем налицо этого кафтана, вывернутого наизнанку, до тех пор ничего путного не будет. В общественном воспитании учение и воспитание должны стоять там, где им прилично, на первом плане, администрация — на втором, а канцелярия — на последнем».

Понятно, что Ушинский стал настаивать, чтобы центром и основой школы стал педагогический персонал. Учитель должен помнить, что с преподаванием нераздельна и воспитательская работа. В свою очередь, и воспитатель должен вести учительскую работу; без этого он потеряет главнейшее и действительное средство воспитательного влияния: ведь учение есть могущественный орган воспитания. И



администратор не должен только администрировать, он должен быть вместе с тем и воспитателем и учителем. Ушинский указывал на воспитательную практику англичан, которые, «стремясь прежде всего воспитывать человека, подчиняют все в школе понятию воспитания и не разделяют должности администратора, учителя и воспитателя». Основным педагогическим требованием, которое именно с этого момента было выдвинуто Ушинским, явилось требование непосредственного влияния личности педагога на ребенка. «Дитя воспитывается, развертывается умственно и нравственно только под прямым влиянием человеческой личности, и никакими формами, никакой дисциплиной, никакими уставами и расписаниями времени занятий невозможно искусственно заменить влияние человеческой личности. Это плодотворный луч солнца для молодой души...»

Продолжая работать в журнале «Библиотека для чтения», Ушинский получил однажды от редактора очередное задание ознакомиться с только что полученными книжками английского журнала. В журнале оказались статьи об американском воспитании. В них рисовалась та широкая демократическая постановка, которую дали народному образованию американцы. Это навело Ушинского на мысль, что такие же широкие перспективы должны раскрыться перед народным образованием и в России. Народное образование — это не частная проблема отдельных учреждений вроде Гатчинского института, это одна из больших проблем той же народной жизни, которую с хозяйственной и юридической точки зрения он начал изучать в Ярославском лицее. «Педагогическое поприще», на которое вступил Ушинский, получило в его глазах огромный смысл. Оно заменило ему то поприще ученого — историка и юриста, которое он вынужден был оставить.

«Я не мог спать несколько ночей, — говорил Ушинский об этом Старчевскому. — Статьи произвели страшный переворот в моей голове, в моих убеждениях, в понятиях. Они подняли в моем уме целый ряд вопросов по воспитанию и образованию, навели меня на многие, совершенно новые мысли. Я не знаю, что я сделаю, что со мной будет, но я решился посвятить себя с этого дня исключительно педагогическим вопросам».

И Старчевский, рассказывая об этом, несколько иронически добавляет: «Он так на меня подействовал, что мне самому хотелось бросить все и идти в учителя, пожалуй, поступить в Гатчинский институт...»

Как раз около этого времени Ушинский писал в одной из первых своих педагогических статей: «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя... посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за истину и благо. Он чувствует себя живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознает, что его дело, скромное по наружности, одно из величайших дел истории, что на этом деле зиждутся царства и им живут целые поколения. Он видит, что вопросы относительно его деятельности, рождающиеся в его мыслях, занимают тысячи благороднейших умов, постигших глубоко всю важность воспитания».

# ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

*Боже мой! Сколько нужно школ, школ  
и школ для всего этого народа,  
возрожденного к гражданской жизни!*

*Ушинский*

В то время в России школ для народа фактически не было, а школы для привилегированных классов были устроены плохо, не педагогически. Бюрократически-чиновничий подход к делу народного образования убивал всякую общественную инициативу.

Все это ясно видел Ушинский. Он решил прежде всего тщательно изучить постановку народного образования в других странах — Англии, Германии, Франции, США. Изучение это оказалось настоящим исследованием и потребовало огромного труда. Едва ли в то время кто-либо другой мог выполнить подобное исследование с такой глубиной, как это сделал Ушинский.

Народность — вот основная черта воспитания, установленная Ушинским в результате его исследования. Защищая принцип народности в русской школе, Ушинский имел в виду предупредить механическое перенесение в Россию систем европейской педагогики, с одной стороны, подчеркнуть жизненную необходимость привлечения общественных народных сил к делу воспитания — с другой. То и другое важно в одинаковой степени.

Что получится, если мы попробуем механически перенести к нам чужие педагогические системы и идеи?

Мы перенесем «только их мертвую форму, безжизненный труп, а не их живое и оживляющее содержание». Общечеловеческие принципы воспитания должны быть применены к специфическим условиям русской народной жизни. «Необходимо сделать в русской школе главными предметами русский язык, русскую географию, русскую историю, возле которых группировались бы все остальные; словом, обратить нашу школу к народности. Пропуски, сделанные первоначальным воспитанием, пополняются потом нелегко... Мы получаем отрывочные, неполные сведения и часто знаем мелочи, не зная главного».

Результаты пренебрежения народностью в воспитании были ясны Ушинскому. Он пишет, что у нас образованный человек «весьма плохо знает свое отечество сравнительно даже с малообразованным швейцарцем, французом, немцем, англичанином. Француз перенесет вам Москву на берег Балтийского моря, но свою родину, ее историю, ее великих писателей он непременно знает; русский опишет вам в подробности Лондон, Париж и даже Калькутту и призадумается, если спросить у него, какие города стоят на Оке. До тех же пор, покуда мы не знаем своей родины и пока это знание не распространится в массе народа, мы не будем в состоянии воспользоваться и теми средствами, которые предоставляют нам природа и население нашей страны, и будем бедны, потому что невежественны».

Воспитание в России должно быть народным и в том смысле, что сам народ, а не господствующие классы и не бюрократия должен играть главную роль в воспитании подрастающих поколений. В Англии, замечает Ушинский, воспитание народа широко развернуто, но это не изменяет его аристократического характера: «Это не более, как милостыня, бросаема богатом бедняку, благоразумная мера предупредительной полиции и

финансовый расчет общества, которому известно, что содержание преступника в тюрьме, куда бедняк чаще всего попадает по невежеству, обходится дороже его воспитания».

И, подчеркнув, что создание благотворительных школ для бедных не есть еще народное воспитание и что в основе подлинно народного воспитания должно лежать прежде всего доверие к народу, уважение к нему, Ушинский пишет замечательные строки: «Если есть что-нибудь у нас наименее случайно, то это именно народ и его направление... Не забудем, что если мы многому хотим учить простой народ, то есть многое, чему мы сами от него научились. Не забудем, что этот народ создал тот глубокий язык, глубины которого мы до сих пор еще не могли измерить; что этот простой народ создал ту поэзию, которая спасла нас от забавного детского лепета, на котором мы подражали иностранцам; что этот простой народ, наконец, создал и эту великую державу, под сенью которой мы живем. Кто хорошо знаком с историей России, тот ни на минуту не задумается вручить народное образование самому же народу».

Это не значит, конечно, что народ должен быть предоставлен самому себе и развиваться в отрыве от европейской культуры. Но это значит прежде всего, что общественно-политическая обстановка должна измениться так, чтобы народ имел возможность сам принять участие в воспитании своих подрастающих поколений. «Общественное воспитание только тогда оказывается действительным, когда вопросы его становятся общественными вопросами для всех и семейными вопросами для каждого. Система общественного воспитания, вышедшая не из общественного убеждения, как бы хитро она ни была обдумана, окажется бессильной и не будет действовать

ни на личный характер человека, ни на характер общества».

Смелость, поразительная новизна и глубина воззрений Ушинского привлекли к ним внимание всей нашей общественности.

Из царского дворца Ушинский получил предложение высказаться о воспитании наследника престола. До нас дошли письма, написанные Ушинским по этому поводу. В этих письмах, адресованных прямо во дворец, Ушинский с огромной гражданской смелостью заявлял, что политика просвещения, проводившаяся царским правительством, не была основана на признании народности основной исторической жизни государства. Он требует, чтобы наследнику преподавались политические науки, которые бы выяснили ему «всю невозможность и чудовищность деспотизма». Верховная власть монарха вовсе не означает того, что он «может делать, что ему угодно... Закон не есть выражение его произвола, но выражение исторической необходимости общества...». Эта историческая необходимость, напоминает Ушинский, привела к тому, что в жизни русского народа происходит большой сдвиг; она выдвигает настойчивые требования различных улучшений и преобразований. «Эти требования будут все возрастать. Заставить их умолкнуть на время, конечно, можно, но это значит гноить государство и народ... Весьма ошибочно было бы рассчитывать на спокойствие от такого задавливания требований народа... Более чем когда-либо необходимо обратиться к самому народу, узнать не только его материальные, но и духовные потребности... и, удовлетворяя этим потребностям, прокладывать народу историческую дорогу вперед».

Нельзя не признать утопически-наивной эту либеральную проповедь, направленную по адресу царской семьи и будущего самодержца. Ушинскому

скоро пришлось горько разочароваться в своих либеральных надеждах.

Но, исходя из своей идеи народности, Ушинский развил целую систему замечательных педагогических мер, направленных к общему культурному подъему народных масс.

## **ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ**

*Нет теперь вопросов современнее и важнее, как вопросы о том, чем должны быть русские народные школы? Как и где их устроить? Что и как в них преподавать? Где взять для них учителей?..*

*Ушинский*

Во второй половине 50-х годов было ясно, что какая-то реформа в деле народного образования назревает. Но какая? Этот вопрос серьезно волновал Ушинского. Если реформу будет направлять бюрократия, хотя бы и либеральная, каких результатов можно ждать от этой реформы? Бюрократическим путем возможно в лучшем случае настроить множество школ. Но это будут не те школы, которые нужны народу. Подлинно народные школы должны вырастать из общественной заинтересованности и творчества в деле воспитания. А предпосылка такого творчества — создание общественного мнения по вопросам воспитания. «Ясное и определенное общественное мнение о воспитании, сознающее цель воспитания, его требования и средства, есть именно та почва, в которой может укорениться самостоятельное развитие народного воспитания, — один из важнейших исторических органов общего народного развития... Действительную воспитательную силу имеет только то воспитание, которое будет основывать свои правила на общественном мнении и вместе с ним жить и развиваться».

Прежде всего нужна педагогическая пресса. В конце 50-х годов начали выходить два педагогических



журнала. Ушинского не вполне удовлетворяют они. Он задумал с 1861 года издавать свой собственный журнал «Убеждение».

Но в ответ на заявление его об этом министерство народного просвещения предложило ему принять на себя редактирование министерского журнала. Ушинский согласился. Журнал тогда еще не имел педагогического облика. Но, вступив в должность редактора, Ушинский добился превращения журнала министерства народного просвещения в специально педагогический журнал. Ушинский получил наконец возможность конкретно развить свои идеи о том, чем должна быть русская народная школа.

Прежде всего он настойчиво повторяет: в России «прямо приступили к толкам о школьных реформах, не осознав вполне той идеи, из которой должны вытекать все эти реформы», не говоря уже о том, что «мы решительно не имеем ни народных учителей, ни народных учебников, ни народных книг для чтения». Была поистине всесторонняя неподготовленность к школьной реформе. Что нужно прежде всего? Ушинский не устает повторять, что необходимо органическое усвоение и переработка опыта европейской педагогики. «Одиночная опытность педагога, хотя бы ей было 40 или 50 лет, ничто перед опытом нескольких столетий, в котором сосредоточились результаты педагогической деятельности бесчисленного множества педагогов, между которыми было много замечательных талантов и необыкновенных личностей, отдавших все свои силы делу воспитания».

«Ради бога не думайте, — восклицает Ушинский в одном из своих писем, — что великие просветители человечества жили для России даром и что нам следует все начинать снова!»

Но если правительство и переносило к нам те или другие европейские учреждения и идеи, то это было

только механическим подражанием. А Ушинский настаивает на органическом усвоении и переработке европейского передового опыта применительно к потребностям русской народной жизни.

Точкой отправления для организации начальной народной школы в России должны быть, по мнению Ушинского, «конечно, ученье и школы Песталоцци и Фелленберга». Именно эти педагоги выдвинули идею, что задача начальной школы, этого фундамента в системе образования, заключается не в том, чтобы поскорее набить голову ребенка определенной суммой знаний, и не в том, чтобы механически сообщить ему навыки чтения и письма, которыми он, может быть, не сумеет воспользоваться. Нет, основная задача начальной школы — школьными занятиями «развить способности детей, раскрыть в них разумный взгляд на окружающую их природу и общественные отношения и сделать их способными к самостоятельной разумной жизни и деятельности». Эта идея была великим открытием Песталоцци, открытием, которое «принесло и приносит человечеству более пользы, чем открытие Америки. Всей многострадальной жизни этого великого до безумия энтузиаста воспитания едва стало на то, чтобы ввести эту идею в число немногих живых и деятельных идей,двигающих человечество».

Ушинский неустанно возвращается к этому: «Должно постоянно помнить, что следует передать ученику не только те или другие познания, но и развить в нем желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания. Эта способность должна остаться с учеником и тогда, когда учитель его оставит, и дать ученику средство извлекать полезные знания не только из книг, но и из предметов, его окружающих, из жизненных событий, из истории его собственной души; обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю

жизнь, что, конечно, составляет одну из главнейших задач всякого школьного обучения... Главная задача в том, чтобы пробудить умственные способности учеников к самостоятельности и сообщить им привычку к ней, указывая, где следует, дорогу, но не таская их на помочах. Дитя выучивается ходить гораздо труднее и медленнее, если слишком заботливые родители беспрестанно стараются облегчить ему труд своим вмешательством; следует только дать ему место и возбудить в нем желание ходить. Таким образом, представляя ученикам тот или другой предмет, учитель предоставляет им самим наблюдать предмет, высказывать свои наблюдения, представлять, вспоминать, воображать то, что они наблюдали, и выводить наконец из своих наблюдений правильное умозаключение. Но такой развивающий метод, открытие которого навсегда оставит за Песталоцци имя первого народного учителя, не должен увлекать наставника слишком далеко; увлекать до того, чтобы он забывал самое содержание и, преследуя форму мысли, опускал из виду самую мысль»»

Понятно, какой ответственной делается задача начального учителя. Чтобы научить детей самих приобретать знания о природе и жизни, чтобы воспитать в них жажду серьезного труда — умственного и физического, — привычку и любовь к труду, сам учитель должен обладать незаурядными качествами. У него должны быть большие знания, он должен превосходно владеть техникой педагогического труда.

Ушинский много думал и писал о том, как нужно готовить для русской школы такого учителя, от которого будет зависеть успех народного воспитания. И чем больше размышлял он по этому вопросу, тем больше убеждался, что именно начальный учитель должен обладать исключительно большими знаниями и техникой педагогического мастерства. «Чем меньше

возраст учеников, над образованием которых трудится воспитатель, тем больше от него потребуются педагогических знаний, и это требование не возрастает, а уменьшается по мере возраста ученика. У педагогики очень широкое основание и очень узенькая верхушка: дидактика первоначального преподавания может наполнить томы».

Что конкретно требуется от учителя начальной школы? Совершенно ясно прежде всего, что его мнения и умения должны быть широкими и разнообразными, почти энциклопедическими. «Он должен иметь познания не только в грамматике, арифметике, географии и истории, но и в естественных науках, медицине, сельском хозяйстве; кроме того, уметь хорошо писать, рисовать, чертить, читать ясно и выразительно и, если возможно, даже петь. Только тогда он будет в состоянии сообщать ученикам свои сведения, необходимые и полезные для них в жизни... Станным может показаться, если мы скажем, что у нас весьма трудно найти преподавателя для малолетних классов, который бы умел читать так ясно, громко и выразительно, отчетливо и впечатлительно, как этого требует слабое еще развитие внимания в детях; а учитель народной школы или малолетних классов должен часто прибегать не только к письму, но даже к рисованию, если хочет запечатлеть верно и прочно первые и потому самые важные образы в душе дитяти».

Однако же «не всякий, кто знает предмет (трудно ли знать его!), способен быть учителем». Ведь задача учителя не просто изложить предмет, а пробудить умеренные способности детей, привлечь их активное внимание, и притом всех детей, обучающихся в данном классе. «Сколько обдуманности в словах и задачах, сколько напряженного внимания, сколько привычки требуется со стороны учителя, чтобы занять на весь урок 20 или 40 еще не окрепших, рассеянных детских

голов... Умение учителя занять в свой урок всех учеников есть критерий учительского достоинства».

Ясно, что учителю необходима не только широкая общая подготовка, но и специальная педагогическая. О педагогической подготовке учителей начальной школы Ушинский думал много и написал специальный проект учительской семинарии, предполагая реорганизовать в учительскую семинарию Гатчинский институт (что, конечно, не осуществилось). Ушинский внимательно присматривался к организации учительских семинарий в Швейцарии и опыт этой организации пытался перенести в Россию.

Вот важнейший момент, по мнению Ушинского, в педагогической подготовке будущего учителя: он должен не только накапливать широкие общие знания и умения, но и одновременно педагогически перерабатывать их в определенный учебный план и соответствующий метод работы с учениками. Центральная задача в педагогической подготовке учителей состоит поэтому «в полном усвоении ими учебного плана народной школы. Весь учебный материал народной школы должен быть основательно выработан в семинарии и непременно по тем учебным планам, которые введены в народные школы... Легко понять всю важность этой особенной задачи учительских семинарий. Совершенно ясное понимание материала народной школы и полное им обладание, которое должен иметь хороший учитель, составляют самый важный и вовсе не легкий предмет учебных занятий в семинарии. Чем яснее предмет в голове учителя, тем яснее отразится он и в головах учеников; но, во всяком случае, менее ясно, чем у учителя. Если же степень ясности невелика и в голове учителя, то в голове ученика будет совершенный мрак. Вот почему с людьми, готовящимися в учителя, надобно основательно переработать весь учебный материал, который они

будут передавать своим ученикам, хотя бы этот материал и был уже прежде усвоен в школе будущими учителями».

Россия велика. Тысячи учителей самоотверженно работают на ее необъятных просторах, в школах, затерянных в глухих провинциях, разбросанных по селам. Как скорее перевоспитать всю эту учительскую массу, дать ей возможность вырасти?

Ушинский придает важное значение широкому распространению прогрессивных педагогических идей с помощью педагогической литературы и росту самостоятельности и инициативы среди самих учителей. «Трудно себе представить, какой переворот в идеях и в душе человека, заключенного где-нибудь в глуши уездного города, может сделать попавшаяся в его руки хорошая книга. В педагогике учить много нечего, а главное состоит в том, чтобы направить мысль человека на дело воспитания и помочь ему сделать первые шаги в этой области: если душа человека восприимчива и голова его работает, а опыты у него тут же, под руками, то дело пойдет само собою.

## **РЕФОРМА СМОЛЬНОГО ИНСТИТУТА И «НОВЫЙ ТОЛЧОК СУДЬБЫ»**

*Я желал бы, чтобы все мои служебные действия были подвергнуты подробному и открытому исследованию... На это по закону имеет право всякий обвиняемый, а мне не показано даже бумаги, в которой меня обвиняют.*

*Из оправдательного письма  
Ушинского*

В конце 1859 года Ушинский был переведен в Смольный институт: ему была поставлена задача реорганизовать институт «в соответствии с современными требованиями». Институт был создан еще при Екатерине II, при ближайшем участии известного деятеля того времени И. И. Бецкого. Тогда увлекались идеей о возможности в закрытом заведении воспитать «новую породу отцов и матерей» и таким образом положить «твердые основы общественного порядка».

Не говоря уже о несостоятельности самого принципа закрытых воспитательных заведений, вся работа в институте была организована поверхностно. Отрывая воспитание от обучения, руководители института воспитательную работу выдвинули на первый план, отведя обучению второе место. Главными предметами в институте оказались в связи с этим закон божий, иностранные языки, музыка, танцы и великосветские манеры. Учебный план института был построен так, что прохождение программы трех классов растягивалось на девять лет. Преподаватели не всегда были достаточно квалифицированными и часто совсем не имели

представления ни о дидактических приемах обучения, ни о специальных методах преподавания отдельных дисциплин. Собственно, воспитательная работа сводилась к бдительному и неусыпному надзору классных дам, следивших за нравственностью и поведением воспитанниц и неизменно присутствовавших на уроках. На дом воспитанницы в течение девяти лет не отпускались, встречи их с родными разрешались только в присутствии воспитательниц, письма к родным и от родных предварительно прочитывались. Давно уже выяснилась плачевность результатов всей этой системы. Но необходим был смелый педагог-реформатор, чтобы сломить косные, десятилетиями закреплявшиеся традиции института. Таким реформатором и явился Ушинский.

Ушинский в течение первых трех месяцев своей работы создал новый, детально обоснованный план организации учебной части института. После обсуждения в разных инстанциях план был принят, он должен был быть проведен в жизнь с начала 1860 года. Десятилетний срок обучения был заменен семилетним, причем каждый год учащиеся переходили из класса в класс. Окончившие семь классов могли по желанию обучаться еще в течение двух лет в 8-м дополнительном классе для подготовки к педагогической работе. Учебные планы и программы были переделаны в соответствии с требованиями научной педагогики: впоследствии эти планы послужили основой для учебных планов женских гимназий.

В первую очередь было устранено то нелепое положение, что с первого класса начиналось изучение иностранных языков и не изучался русский язык. Теперь на русский язык было отведено шесть часов в неделю; уроки не сводились к простому разучиванию грамматических правил, но педагог должен был



сообщать учащимся ясные и правильные понятия об окружающих предметах, без чего невозможно правильное развитие устной и письменной речи.

Было увеличено количество уроков по естествознанию. Преподаватель географии не должен был ограничиваться только номенклатурой гор, рек и городов; ему следовало знакомить учащихся с землей, как поприщем человеческой деятельности, с теми влияниями, которые внешняя природа оказывает на развитие человека, и теми изменениями, какие произвел на земле человеческий гений. При изучении литературы ставилась задача знакомить учащихся (вместо прежней схоластической пиитики и риторики) прежде всего с действительной, живой литературой — с образцами всякого рода литературных произведений. Так должны были складываться у учащихся понятия о родах и видах литературных произведений.

В младших классах было введено наглядное преподавание, в старших — организованы кабинеты и лаборатории для занятий. Ко всем преподавателям предъявлялось требование о пробуждении и поднятии активности и самостоятельности учащихся.

Реформируя институт, Ушинский убедился, что придется обновлять педагогический персонал. Он сумел привлечь лучшие преподавательские силы Петербурга. В институте начали работать Модзалевский, Миллер, Косинский, Водовозов, Семенов и другие. Смольный институт быстро вошел в славу и стал считаться образцовым заведением, куда приходили знакомиться с постановкой учебного дела.

В своих воспоминаниях о Смольном институте того времени («На заре жизни») известная писательница Е. Н. Водовозова пишет: «Я воспитывалась в Смольном тогда, когда в него не проникала ни одна человеческая мысль, когда в него не долетал ни один стон, вызываемый человеческими страданиями; при мне в его стенах в

качестве инспектора появился Ушинский, что и дало мне возможность представить, как этот величайший русский педагог вместе с введенными им новыми учителями начал подрывать гнилые устои института и водворять в нем новые порядки, всколыхнувшие весь строй стоячего институтского болота, перевернувшие вверх дном все установившиеся в нем понятия о воспитании и образовании».

Ушинскому пришлось резко столкнуться с многими застарелыми предрассудками о жизни заведения.

Ушинский считал, что классные дамы не должны вскрывать и прочитывать писем, получаемых ученицами из дому; что совершенно нецелесообразно заставлять учениц в угоду этикету сидеть во время уроков, несмотря на холод, с обнаженными плечами; что ученицы имеют право и обязанность задавать преподавателям вопросы относительно содержания уроков и т. п. «Если классная дама требует, — писал Ушинский, вспоминая свой опыт в Смольном, — чтобы маленькие дети сидели неподвижно, как куклы, если они не смеют открыть рта, чтобы заговорить с учителем, и если голос учителя бубнит одиноко, как дождь в стекло, то и одного такого часа достаточно, чтобы измучить дитя, и измучить совершенно бесполезно».

Всякое вмешательство педагогически несведущих классных дам в учебную жизнь Ушинский резко обрывал, не щадя ничьего самолюбия.

Весь «женский персонал» института был возмущен неслыханным вмешательством «шального инспектора» в то, что до него «вовсе не касается», — в права воспитательниц, упрочивавшиеся десятилетиями. Была оскорблена и начальница: в один из очередных приездов императрицы Ушинский сам стал докладывать ей о ходе реорганизации института, вместо того чтобы предоставить эту честь согласно установившемуся ритуалу начальнице.

Трудно сказать, чем кончилось бы готовившееся решительное столкновение между Ушинским и всем консервативным, что было в институте. Назревавший конфликт был до этого столкновения разрешен анонимным доносом на Ушинского, обвинявшим его в атеизме и политической неблагонадежности. Донос сделал законоучитель Гречулевич, поддержанный начальницей. За ними стояла вся реакционная часть института, с которой неумолимо воевал Ушинский.

Когда доносу был дан ход, Ушинскому не сообщили точно, в чем обвиняют, так что, оправдываясь, он должен был предположительно исходить из тех разногласий, которые за последнее время у него были с администрацией и отдельными лицами. Уверенный в своей правоте, Ушинский просил о назначении формального следствия по поводу его служебной деятельности. Самый факт доноса произвел на него тяжелое впечатление. Просидев несколько ночей над оправдательным письмом, Ушинский поседел и стал харкать кровью. Мучивший его и раньше болезненный процесс (хроническое воспаление легких) теперь обострился.

Просьба о назначении формального следствия удовлетворена не была. Это означало, что дальнейшая работа Ушинского в институте признана неподходящей. Вместе с Ушинским из института вынуждены были уйти и все приглашенные им преподаватели.

О вопиющем факте травли и изгнания замечательного педагога без всякого разбора дела Герцен писал в «Колоколе».

# ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ШВЕЙЦАРСКИХ НАРОДНЫХ ШКОЛ

*...Будем трудиться для потомства...  
пробудим требования, укажем разумную  
цель, откроем средства, расшевелим  
энергию, — дела появятся сами.*

*Из юношеского дневника  
Ушинского*

Ушинский уехал за границу.

Оторванный от родины и от практического дела, он быстро разочаровался в своих либерально-утопических надеждах на верховную власть.

От нее ждать нечего. Нечего ждать от всемогущей правящей бюрократии.

Единственной надеждой Ушинского остался русский народный учитель. Он сам должен и может овладеть рациональными приемами преподавания и двинуть русскую школу вперед!

Через голову чиновничества и правительства Ушинский думает обратиться теперь к самому учительству и работать непосредственно для него.

За границей Ушинский задумал три большие работы: 1) изучить опыт швейцарской передовой школы и показать его русским учителям; 2) написать учебную книгу для начальной школы по методу научной педагогики; такая книга важна одновременно и для русского ребенка и русского учителя; 3) специально для русского учителя написать научно обоснованный учебник педагогики.

Приступая к выполнению этих важнейших задач своей жизни, Ушинский по существу дела чувствовал

себя так же безотрадно и бесперспективно, как в юношеские годы, когда он писал в дневнике: «Бросать семена в землю, зная, что никогда не увидишь жатвы, и все-таки работать до конца жизни — страшное бытие».

Теперь он почти буквально повторил (23 ноября 1862 года) ту юношескую запись: «Грустно сеять на поле, где завтра же могут вырвать, что сегодня посеяно. Долго ли нам еще суждено толочь воду?»

Но по мере того как он входил в работу, он все же сознавал, что делает дело, единственно возможное в его положении.

Прежде всего он принялся за обработку для русских учителей писем о своей поездке по Швейцарии с целью изучения народных школ. Семь писем Ушинского, напечатанных в журнале министерства народного просвещения, представляют собой замечательное произведение, в котором Ушинский на основе анализа швейцарского педагогического опыта показывает, как должно быть правильно организовано дело народного образования в России. Мы находим в этих письмах беспощадную критику бюрократического подхода к школьному делу и вместе с тем замечательный подбор лучших образцов педагогической работы, сделанный специально для русского учителя. Вот несколько примеров.

Отметив, что в малолетней школе Фрелиха в Берне учительница начинает свои занятия с детьми на их своеобразном бернско-немецком наречии, Ушинский пишет: «Что с детьми начинают заниматься на том самом наречии, на котором они говорят дома, это, без сомнения, не только весьма разумно, но не менее гуманно». Это дает повод Ушинскому вспомнить, что украинских детей в школах России заставляли обязательно говорить только на непонятном для них великорусском языке. И он пишет о школе, пренебрегающей живым народным языком: «Такая

школа, во-первых, гораздо ниже народа: что же значит она с своей сотней плохо заученных слов перед той бесконечно глубокой, живой и полной речью, которую выработал и выстрадал себе народ в продолжение тысячелетия; во-вторых, такая школа бессильна, потому что она не строит развития дитяти на единственно плодотворной душевной почве — на народной речи и на отразившемся в ней народном чувстве; в-третьих, наконец, такая школа бесполезна: ребенок скоро позабывает несколько десятков великорусских слов, которым выучился в школе, а вместе с тем позабывает и те понятия, которые были к ним привязаны. Народный язык и народная жизнь снова овладевают его душой и заливают и изглаживают всякое впечатление школы, как нечто совершенно им чуждое. Что же сделала школа? Хуже, чем ничего! Она на несколько лет задержала естественное развитие дитяти».

Говоря о получасовых уроках в той же малолетней школе Фрелиха, Ушинский опять делает выводы для русского читателя. «Что же делать, если на каждом шагу я встречаю в моем педагогическом путешествии весьма полезные уроки и весьма печальное напоминание. Основной закон детской природы можно выразить так: дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не деятельностью, а ее однообразием и односторонностью. Заставьте ребенка сидеть — он очень скоро устанет, лежать — то же самое; идти он долго не может, не может долго ни говорить, ни петь, ни читать и менее всего думать: но он резвится и движется целый день, переменяет и перемешивает все эти деятельности и не устает ни на минуту; а крепкого детского сна достаточно, чтобы возобновить детские силы на будущий день. Педагог должен прежде всего учиться из природы и из замеченного явления детской жизни выводить правила для школы».

А одно из таких правил как раз то, что «детское внимание надобно воспитывать понемногу и нет ничего хуже, как надорвать его. Дитя, которое по физической невозможности внимательно следить долгое время за одним и тем же предметом приучится мало-помалу уже вовсе не следить за уроком и делать только внимательную мину, — такое дитя учить уже очень трудно. Если же урок весь состоит из толкования учителя, не призывающего детей к участию, — а у нас именно такие уроки и встречаются всего чаще, — то я считаю час времени *pes plus ultra*<sup>[12]</sup> внимания не дитяти, а взрослого человека. Попробуйте, господа наставники, прослушать кого-нибудь целый час и потом передать, что вы слышали. Но если наставника не слушают, то зачем же он говорит?»

Ушинский рассказывает об учебном плане начальной школы в Берне и о способе его выполнения. «Главных, основных идей в курсе немного; к ним беспрестанно возвращаются и с ними связывают вновь усвоенные, причем дитя приучается само к плодотворному развитию главной идеи. При таком преподавании голова учащегося не набивается, как мешок, фактами, плохо усвоенными, и идеями, плохо переваренными; но те и другие как бы вырастают органически из немногих зерен, глубоко посаженных в душу. Правда, этот органический рост души идет сначала очень медленно: но чем далее, тем быстрее, и чем прочнее заложен фундамент знаний и идей в душе ученика, тем большее и прочнейшее здание можно потом возвести на этом фундаменте. Но если такое учение можно сравнить с ростом сильного дерева, которое, с каждым годом приобретая новые ветви, вместе с тем утолщает и укрепляет свой корень, то ученье, которое прошли мы в наших гимназиях, можно уподобить пьяному вознице с дурно увязанной кладью: он все гонит вперед, не оглядываясь назад, и привозит домой пустую телегу,

хвастаясь только тем, что сделал большую дорогу». Как справедливы эти замечания Ушинского!

В особое восхищение привело Ушинского педагогическое мастерство учительницы первого класса в Бернской начальной школе. «Этот класс весь так и ходит по мановению длинных пальцев высокой, сухой особы пожилых лет. Это великая мастерица своего дела: она играет на своем классе своими длинными, истинно педагогическими перстами как на послушном, хорошо настроенном инструменте. Я не знаю, любят ли или боятся ее больше дети: притопнет она ногою — класс притихнет; но стоит только ей позабыть где-нибудь на скамье свою костлявую руку, как дети поймают эту руку и жмут ее крепко и долго. Величайшее достоинство этой наставницы состоит именно в том, что она позволяет своему классу свободно бурлить и волноваться; но удерживает его всякий раз именно в тех пределах, которые нужны для успеха учения. Найти середину между распушенностью класса и его мертвой неподвижностью очень нелегко; но для того, чтобы удерживать постоянно класс в этой спасительной середине, нужен врожденный педагогический талант и много навыка». Два дня сряду Ушинский неотрывно наслаждался преподаванием этой учительницы, передав русским учителям многие из ее приемов в своих письмах.

Особенно много внимания уделил Ушинский вопросу о подготовке педагогов — вопросу, который в России был одним из самых больных и животрепещущих. В Швейцарии же было как раз благодаря своевременно принятым правильным мерам по подготовке педагогов много хорошо подготовленных народных учителей. Ушинский отмечал в своих письмах все, что заслуживало в этом отношении внимания русских учителей.

Заканчивая свои «Письма», он с тоскою восклицает: «Когда же мы увидим такие же характерные русские



воспитательные заведения и во главе их такие же типические русские личности в высоко развитой, облагороженной форме, когда подобные личности будут развивать в воспитателях благороднейшие черты истинно русского характера, а воспитатели будут вызывать этот характер в молодых поколениях русского народа!»

Письма Ушинского о его педагогической поездке, несмотря на свою 80-летнюю давность, до сих пор еще не устарели. Многие из пожеланий Ушинского сохраняют и для нашей современности всю свою силу, всю свою актуальность.

## «РОДНОЕ СЛОВО»

*Вдруг послышалась в школе живая  
речь, раздался резкий, веселый детский  
смех.*

*Миропольский*

Для всякой школы хороший учебник имеет решающее значение. А для школы начальной — фундамента всей системы образования — значение учебника совершенно исключительно. Хороший учебник — это совокупность тех ясных и четких основных понятий, которые должны составить основу всего последующего умственного развития ученика начальной школы.

Для учителя хороший учебник — это развернутый план школьной работы, та канва, по которой он может уверенно варьировать индивидуальные педагогические узоры, отвечающие особенностям личности каждого ребенка.

Хороший учебник — это основа работы школы.

Если не углубляться в седую древность, которая тоже внесла в это дело свой большой вклад, то условно можно считать, что история учебной книги начинается с Коменского и Песталоцци, с момента разработки основных проблем начальной школы вообще, и длится до настоящего времени. Коменский дал для начального обучения гениальную книгу «Мир в картинах». Песталоцци создал замечательную «Книгу для матерей» и ряд систематических упражнений в созерцании чисел и форм, после него тщательно разработанных швейцарскими и немецкими педагогами: Жирар и ряд других педагогов много работали над подбором упражнений мысли и речи ребенка. Вильмсен написал

книгу «Друг детей». Бурст — «Первую школьную книгу». В России над книгами для чтения работали вслед за европейскими педагогами-классиками — Гугель, Одоевский, Лев Толстой. История составления книги для детского чтения еще не изучена научно, и выводы из нее не сделаны. Но несомненно, что каждый автор вносил сюда что-то свое и как-то дополнял других.

Ушинский объявил создание учебной книги для начального обучения неотложной задачей русской школы.

Еще в 1861 году Ушинский закончил составление книги для чтения в младших классах Смольного института, тогда же вышедшей в свет под заглавием «Детский мир». Эта замечательная книга давала большой и систематизированный материал по естествознанию, географии и истории. Потребность в такой книге для младших классов средней школы была настолько велика, что уже в первом году потребовалось три издания, и затем издания повторялись каждый год, несмотря на то, что с первых же дней было выставлено против книги обвинение в том, что она разрушает религиозные верования детей.

В начальной школе книга «Детский мир» могла найти себе употребление только в старших классах. Для младших классов начальной школы Ушинский издал в 1864 году другую книжку для чтения — знаменитое «Родное слово». Это был поистине гениальный опыт создания русской книги для начальной школы на основе достижений мировой педагогики.

«Родное слово» — это книга, совершенно понятная для ребенка, полностью соразмеренная с его силами. Оно составляло в этом отношении полную противоположность книгам, которые издавались и распространялись по школам министерством народного просвещения (вроде книги Филонова и Радонежского; в тех книгах материалом для чтения служили

церковнославянские молитвы, проповеди, отрывки из правительственных наказов, манифестов, научных статей по географии, истории, естествознанию, написанных не понятным для детей языком).

Не значит ли понятность и доступность ребенку «Родного слова», что автор его не стремится поднять уровень развития своего маленького читателя? Нет, конечно, не значит.

«Родное слово», написанное для ребенка, в то же время совершенно серьезная книга, ставящая себе задачей развить логическую мысль и речь ребенка, научить его разбираться в окружающем мире, положить основы его мировоззрению и подготовить к настоящему изучению наук. Не всякий раскрывший «Родное слово» — с множеством картинок, стихотворений, сказок, прибауток, — обратит внимание на этот серьезный элемент гениальной книги Ушинского, тем более что подан он, этот элемент, чрезвычайно умело с дидактической стороны. Один из дореволюционных педагогов, восхищенный простотой предложенных Ушинским серьезных упражнений логической мысли ребенка, писал о книжках «Родного слова»: «Какую обдуманную и в своем роде сложную машину представляют эти тетрадошки с рядами слов, пословиц, рассказов, стихов и картинок!.. В «Родном слове» есть упражнения, которые незаменимы именно как такие, которые сами по себе, даже вопреки самым неумелым шагам начинающего учителя, должны принести громадную пользу. Укажем, например, на те упражнения, которыми начинается каждый номер первой книжки «Родного слова»: ряды слов, которые должны быть расположены учеником по родам выражаемых ими понятий... Имеющий сколько-нибудь здравого смысла учитель не может вести дурно такое упражнение; упражнение задумано так здраво и просто, что выручит какого хотите неумелого учителя».

Но учебная книга Ушинского не только дает первые серьезные упражнения логической мысли и речи ребенка (побуждая его расчленять, классифицировать предметы окружающей среды). «Родное слово» prepares ребенка с помощью этих упражнений к изучению естествознания; рядом других простейших упражнений, развивающих и уточняющих пространственные представления детей, оно prepares к основательному изучению географии; ряд упражнений, ведущих к развитию представлений о времени, дает подготовку к изучению истории; систематические упражнения в речи и ее анализе дают подготовку к изучению научной грамматики. Материал «Родного слова» — это основа для успешного прохождения научных дисциплин в старших классах.

Но и это еще не все. «Родное слово» Ушинского — не только доступная для детей, не только серьезная научная книга — это в полном смысле слова народная книга. Множество произведений русской народной литературы в ней использовано впервые для школьного употребления. Книга приобщала ребенка не только к научному и художественному языку, но в первую очередь к тому богатству языка, которым владеет народ. Эту задачу книге для чтения в первый раз поставил Ушинский, и важность ее правильно оценили педагоги уже в дореволюционное время. Один из них писал: «Школа, которая сумеет обогатить своих учеников сокровищами даже исключительно только крестьянского слова, была бы уже образовательницей их, рассадницей просвещения, ибо сумма понятий, составляющих язык народа, выше понятий и речений каждого отдельного лица».

Достоинства «Родного слова» как учебной книги были так велики, так осязательно ясны для учителей и детей, что с первого же своего появления (1864 год) оно завоевало себе место на книжном рынке и вошло в

школьный обиход, несмотря на неоднократные попытки со стороны министерства задержать распространение этой книги, затормозить и даже совсем запретить ее под предлогом, что она разрушает религиозные верования детей. На протяжении 50 лет до Октябрьской революции книга выдержала 146 изданий и распространилась по школам в миллионах экземпляров. Дети начальной русской школы за эти 50 лет воспитывались преимущественно на книге Ушинского.

Книга эта пробуждала любовь к учению, она делала самый процесс обучения радостным для них. Один из старых педагогов вспоминает: «В школу заглянула новая жизнь: в простом, ясном, всегда понятном детям художественном слове выступили те знакомые явления природы и жизни, которые вызывали блеск в детских глазах, иногда улыбку и порой детский смех. Дети вдруг слышали что-то такое, что заговорило с ними через книгу родным и понятным языком».

Тщательное изучение учебных книг Ушинского, лучшего достижения дореволюционной педагогики, поможет и советскому педагогу разрешить задачу создания на высоком общепедагогическом уровне учебной книги для начальной советской школы.

## ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

*Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде всего узнать его тоже во всех отношениях... Не только у нас, но и везде педагогика находится еще в полном младенчестве.*

*Ушинский*

Заветной мечтой Ушинского была такая разработка педагогической науки, которая помогла бы педагогу сделаться полным хозяином своего дела. С педагогической рецептурой, которой так охотно подменяют педагогическую науку, Ушинский мирился только скрепя сердце, как с временной необходимостью. «Главное дело вовсе не в изучении правил, а в изучении тех научных основ, из которых эти правила вытекают... Мы не говорим педагогам: поступайте так или иначе; но мы говорим им:

изучайте законы тех явлений, которыми вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь с этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы хотите их приложить».

Те явления, с которыми имеет дело воспитатель, чрезвычайно сложны и обширны. Они охватывают, в сущности, всю психофизическую и социальную жизнь человека. Но особое место в их ряду занимают, конечно, явления психической жизни человека, и научное изучение их составляет ближайшую задачу педагогов. «Педагоги, — по словам Ушинского, — это единственный класс людей, для практической деятельности которых изучение духовной стороны человека является так же необходимым, как для медика изучение телесной».

Педагог уже тем самым, что он педагог, что он ведет учебную и воспитательную работу, показывает, что он «изучает своего воспитанника, его способности, наклонности, достоинства и недостатки, подмечает развитие ума, руководит им, хочет давать направление воле, упражнять рассудок, раскрывать разум, борется с ленью, с упорством, искореняет дурные природные наклонности, формирует вкус, внушает любовь к истине — словом, ежеминутно вращается в области психических явлений».

И вот, исходя из таких соображений, Ушинский задумал капитальный труд под заглавием «Человек как предмет воспитания», в котором хотел показать, что такое человеческая психика, над воспитанием которой работает педагог, каким законам подчиняется ее развитие. Педагогические правила, составляющие азбуку педагогической работы, явились бы только кратким выводом из этого труда. Таким образом была бы разработана одна из главных частей сложной педагогической науки. Выполнять такую капитальную работу Ушинский мечтал уже с первых дней своей педагогической деятельности, но только под конец своей жизни он смог приступить к ней.

Между тем во времена Ушинского психология только еще начинала высвобождаться из пеленок метафизически-религиозного и идеалистического мирозерцания.

Только для того, чтобы правильно поставить основные вопросы задуманного Ушинским исследования, нужна была незаурядная смелость и глубина мысли.

В психологии, как и в других областях науки, шла борьба между отживающим идеализмом и вступающим в свои права материализмом. Ушинский безоговорочно высказался за методологию материализма как в психологии, так и в педагогике. В 1866 году он писал: «Ошибку гегелевской философии исправил



современная материалистическая философия, и в этом, по нашему мнению, состоит ее величайшая заслуга в истории науки. Она привела и продолжает приводить в настоящее время множество новых доказательств, что все наши идеи, казавшиеся совершенно отвлеченными и прирожденными человеческому духу, выведены нами из фактов, сообщенных нам внешней природой, составлены нами из впечатлений или образованы из привычек, обуславливаемых устройством человеческого организма. Современный материализм в лучших своих представителях доказал вполне истину, высказанную Локком несколько преждевременно и без точных доказательств, что во всем, что мы думаем, можно открыть следы опыта... Много положительного внесла и продолжает вносить эта философия в науку и мышление; искусство воспитания в особенности чрезвычайно много обязано именно материалистическому направлению изысканий, преобладающему в последнее время... Человеческая мысль почувствовала потребность связать отрывочные фразы и тирады материалистические в одну материалистическую философию. Однако же в этом случае идеализм был счастливее материализма, который, кажется, ожидает еще своего Гегеля».

Он не знал, что «своего Гегеля» (как говорил Ушинский) материализм дождался: Карл Маркс именно в это время заканчивал работу над первым томом «Капитала», великого труда своей жизни.

Предпринятую Ушинским разработку основ педагогической науки необходимо рассматривать как грандиозный опыт пересмотра идеалистической психологии с точки зрения материализма. Только материалистически построенная психология могла дать твердую научную опору для воспитания. Впервые поставив перед собой задачу разработки научной психологии как основы педагогики, Ушинский,

разумеется, не мог проделать ее совершенно исчерпывающе и без ошибок, не отдавая дани старому идеализму. Однако же в целом труд Ушинского задуман так глубоко и разработан с таким мастерским проникновением в детали нового построения психологической науки, что, несмотря на свою устарелость, он и доньше не имеет себе равного в педагогической науке.

К сожалению, широко задуманный труд остался незаконченным. Ушинский успел издать два первых больших тома. В них он дал детальный анализ элементарных психических явлений, правильно материалистически вскрыл их закономерность и таким образом установил элементарные научные предпосылки для учебной и воспитательной работы. Но предстояло завершить эту работу самым важным по содержанию третьим томом, в котором подлежали анализу и изучению уже не элементарные, а сложные конкретные явления человеческой психики, чаще всего трактовавшиеся в идеалистически извращенном духе. Весь труд разрастался до двух тысяч страниц. Ушинский предполагал, закончив его, потом вновь переработать, сократить и опять издать с одновременным переводом на английский язык.

Ушинский работал лихорадочно: он отчетливо сознавал, что тут завершение дела всей его жизни, что это его лебединая песня, его завет педагогической науке. «Великое искусство воспитания едва только начинается. Мы стоим еще в преддверии этого искусства и не вошли в самый храм его. Много ли насчитываем мы великих мыслителей и ученых, посвятивших свой гений делу воспитания? Кажется, люди думали обо всем, кроме воспитания... Потомки наши будут с удивлением вспоминать, как мы долго пренебрегали делом воспитания и как много мы страдали от этой небрежности... Но уже теперь видно, что наука

созревает до той степени, когда взор человека невольно будет обращен на воспитательное искусство».

Ушинский мечтал о том расцвете дела воспитания и о том могуществе воспитательного воздействия, которые наступят вместе с развитием педагогической науки.

В страстной силе, с которой говорил об этом Ушинский, и призывал это грядущее могущество, и отыскивал к нему пути, видя эти пути в развитии педагогической науки и научного воспитания, — вот в чем неумирающее значение его труда. И труд его, оборванный смертью, доселе остается недостижимым образцом, в котором практик и теоретик педагогики найдут еще много животворных стимулов для своей педагогической работы.

## БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ УШИНСКОГО

*Поприще, с которого я уже готовлюсь  
сойти измятый, искромсанный.*

*Из письма Ушинского к Корфу*

Возвратившись в 1867 году из своей заграничной поездки в Россию, Ушинский целиком отдался обработке и изданию задуманных им книг для учителей и детей начальной школы. Окончание «Родного слова», которое в полном своем виде должно было заключить в себе около восьми-десяти книжек, переработка его для земской школы, переиздание ранее изданных книг и вместе с тем окончание третьего тома «Педагогической антропологии» — вот что поглощало все время и силы Ушинского, уже надломленные болезнью.

Тяжелы были эти последние годы жизни Ушинского. Несмотря на самую напряженную работу, он сознавал, что от практики того дела, которому посвятил себя, он оторван. Власть имущие не только не приглашали его ни для какой активной работы, но и запрещали к употреблению в школах его детские книги. Ставший во главе министерства просвещения известный реакционер Д. Толстой тщательно собирал у себя материалы о предшествовавшей деятельности Ушинского и затребовал из Смольного института документы об обстоятельствах его ухода. Очевидно, документы эти нужны были, чтобы «в корне пресечь» всякую возможность предоставления Ушинскому той или иной работы по министерству.

Документы эти, так и оставшиеся доселе неизвестными историкам педагогики, затерялись где-то в архиве Толстого...

Настроение у Ушинского было подавленное, на душе его было тяжело. «Читая каждую вашу статью, — пишет он известному деятелю земских школ Н. А. Корфу 23 февраля 1870 года, — чувствуешь, что вы говорите о деле, в котором сами вращаетесь и которому отдались бескорыстно и прямодушно». Он выражает при этом свое горячее пожелание, чтобы Корфу удалось принести возможно больше пользы народному образованию: «Не только более того, что я принес, но даже более, чем я мог бы принести под другим небом, при других людях и при другой обстановке».

Конечно, и болезнь отражалась на этом мрачном состоянии духа Ушинского, но, в свою очередь, и оно усиливало, отягощало болезнь, особенно в связи с изнурительной, лихорадочной литературной работой. Неожиданно свалившееся на голову Ушинского тяжелое семейное несчастье — гибель в результате несчастного случая его любимого старшего сына — окончательно сломало физические и духовные силы великого русского педагога.

Он уехал лечиться в Крым. В Симферополе весной 1870 года его горячо приветствовали собравшиеся на съезд народные учителя.

Он был до глубины души тронут, узнав во время своей поездки, что по его «Родному слову» учатся русскому языку даже взрослые.

При отъезде из Крыма он простудился и 21 декабря 1870 года скончался в Одессе.

Лечивший Ушинского врач Шкляревский, профессор Киевского университета, составил медицинское свидетельство в том, что Ушинский страдал «хроническим воспалением легких», что эта болезнь требовала «вместе с хорошими климатическими условиями почти абсолютного воздержания от всякой напряженной деятельности» и что «именно усиленные ученые литературные работы Ушинского, которыми

ознаменовались последние годы его жизни... с медицинской точки зрения были для него пагубны, потому что истощили его слабые физические силы и были существенной причиной его преждевременной кончины...».

\* \* \*

Ушинский ушел в могилу безвременно. Его дивный гений мог бы еще многое сделать для педагогической науки, а следовательно, и для русской культуры.

Но и то, что он сделал, составляет огромную ценность. Деятельность Ушинского явилась водоразделом между старой, феодальной, и зарождавшейся новой, демократической, педагогикой. Ее отцом у нас в России и явился Ушинский.

Он заложил прочные основы подлинно научной, на началах демократии построенной педагогической теории. Он поставил теоретически и практически разработал проблему начального обучения народа. Учителю рождающейся новой школы он показал, как нужно учить и развивать ребенка, а ребенку впервые дал почувствовать радость учения.

Ежегодно сотнями тысяч расходились по русским школам учебные книжки Ушинского. Они прививали детям естественнонаучное мировоззрение и гуманную мораль, помогали свободно и всесторонне расти душевным силам детей, учили грамотному письму и чтению, давали культурные навыки, готовили к серьезной работе в старших классах школы и в жизни.

Мечту своей ранней юности — принести возможно больше пользы отечеству — Ушинский осуществил блестяще. А справедливый суд общественного мнения уже в дореволюционной России признал Ушинского народным русским педагогом и сделал его имя

популярнейшим в ряду других великих имен русского народа. Но настоящая популярность Ушинского началась только тогда, когда Россия стала Советской. Сотни тысяч учителей нашей подлинно демократической начальной школы критически овладевают наследством Ушинского, делают его в наши дни орудием новой великой культуры, культуры социализма.

*1943 год*

# **Л. ГУМИЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ ЖУКОВСКИЙ**

Лет пятьдесят тому назад люди, близко стоящие к московскому городскому хозяйству, столкнулись с загадочным и непонятным явлением: то и дело без всякой видимой причины лопались прочные магистральные трубы водопроводной сети. Бедствие принимало такие размеры, что иные домовладельцы уже собирались прикрыть водопровод и вернуться к старому способу: возить воду бочками и таскать ведрами из Москвы-реки и дворовых колодцев.

После некоторых размышлений управление городским хозяйством создало комиссию для изучения странного явления и разрешения загадки. В комиссию решено было ввести профессора механики Московского высшего технического училища Николая Егоровича Жуковского.

В приглашении этом не было ничего удивительного. Когда водопровод проектировался и строился, к Жуковскому не раз обращались за советами, и всегда он отвечал на самые сложные вопросы очень точно, иногда целыми докладами и статьями. Так, например, он поставил колебание уровня подпочвенных вод в связь с давлением барометра и создал классический труд о движении подпочвенных вод. Он даже продемонстрировал на докладе движение струек воды в песках. Этим профессор Жуковский помог строителям верно выбрать место для водопроводной станции и совершенно неожиданно оказал большую услугу конгрессу врачей, заседавшему в Вене: конгресс изучал вопрос о развитии эпидемий в связи с колебанием



уровня подпочвенных вод. Труд московского ученого сыграл видную роль в занятиях и решениях съезда.

Теперь для изучения причин бедствия, постигшего московский водопровод, Жуковский отправился на Алексеевскую водокачку под Москвой. И скоро он сообщил комиссии, что одной из главных причин аварий магистральных труб является, по его мнению, развитие сильного ударного действия воды в трубах, когда их быстро открывают или закрывают. Все происходящее в теснинах чугунных труб Жуковский представлял себе совершенно ясно и, пожалуй, даже угадывал основные черты закона, управлявшего водной стихией. Однако, чтобы выразить этот закон с помощью формул и чисел, доступных пониманию всех, необходимо было тщательно обследовать опытным путем явление гидравлического удара.

По указаниям Николая Егоровича на водокачке соорудили сеть водопроводных труб разных диаметров. Сеть заставляли работать при самых разнообразных условиях. Электрические звонки, хронометры, пишущие аппараты сторожили каждый опыт, каждое движение воды, каждое колебание труб. Опытная сеть была построена с большим остроумием и поразительной предусмотрительностью.

И вот оказалось, что действительно все явления гидравлического удара, как и предполагал Жуковский, объясняются возникновением и развитием в трубах ударной волны. Инженеры, строившие водопровод, не обратили внимания на то, что когда задвижка или кран быстро закрываются, то остановка движения воды сама волной передается в трубах. Образовавшаяся волна передается так скоро, что кажется, будто в недлинных трубах давление повышается сразу во всей трубе, и только в очень длинных трубах становится заметно, что это волна с определенной скоростью движения.

Жуковский установил затем, что опасное возрастание силы гидравлического удара начинается при переходе ударной волны с труб большого диаметра на трубы малого диаметра и в конце концов, при особо неблагоприятных условиях, вызывает разрыв трубы.

Причины аварии установлены, исследователю оставалось предложить меры к их предотвращению. Простейшим было медленное закрывание и открывание кранов. Как только такие краны, с приспособлением для медленного закрывания, были введены, так тотчас и прекратились аварии, донимавшие московский водопровод.

Вы думаете, что этим дело и кончилось: водопроводные аварии, медленно закручивающиеся краны?.. Для Жуковского тут был не конец, а только начало. Отсюда начиналась истинная наука, а Жуковский был великий ученый. Он заглянул гораздо глубже в сущность стихии. И вот однажды, вернувшись из мира своих опытов и вычислений в практический мир, он принес с собой нечто, прямо похожее на колдовство. Он нашел способ определять место аварии, не выходя из водокачки и не дожидаясь, когда вода в месте разрушения трубы выступит на мостовой. Как же это возможно? А для этого нужно только создать искусственный гидравлический удар на водокачке и затем взглянуть на «ударную диаграмму» Жуковского — и место утечки воды определится точно.

Когда старых, опытных рабочих-водопроводчиков прислали впервые на спокойную улицу с сухой и чистой мостовой и сказали им: «Ройте, тут лопнула труба!» — они приняли это за блажь или за неуместную шутку. Сняв верхний покров мостовой, люди недоуменно приступили к работе и, посмеиваясь, швыряли землю. Но ждать пришлось недолго. За песчаным слоем последовала глина, напитанная до отказа водою, и вслед тем захлупала жидкая грязь: место разрыва

трубы было определено по диаграмме совершенно правильно.

Так была решена профессором Жуковским задача о величине гидравлического удара и о скорости его волны. То было первое полное и точное решение этой задачи в науке.

Когда Жуковский делал 26 сентября 1897 года доклад об этом решении в Политехническом обществе, деловой вечер обратился в триумф теоретической науки и ее блестящего представителя. Слушателям было ясно, что они присутствовали на докладе мирового значения. И действительно, работа Жуковского «О гидравлическом ударе в водопроводных трубах», переведенная почти на все языки, стала теоретической основой для совершенствования всех гидравлических машин. Гидротехники получили возможность производить точные расчеты не в одном водопроводном деле. Прежде всего были созданы правильные конструкции гидравлических таранов (водоподъемных машин), работавших доселе очень плохо, так как наука не имела оснований для расчета длины трубы, подводящей воду и обеспечивающей наивыгоднейшее использование в таране гидравлического удара.

Теперь гидравлический таран, остроумнейшее изобретение человека, как бы начал жить заново. Без всяких дополнительных сооружений, без насосов, плотин и моторов тараны сейчас в наших колхозах подают из ручьев в ложбинах и овражках воду высоко вверх — в конюшни, коровники, для всех нужд колхозного хозяйства.

За долгую свою жизнь Жуковский решил несколько сотен задач, подобных той, о которой мы только что рассказали. Все они были из числа труднейших. Все они касались вопросов, которые ставили перед наукой и техникой практические работники самых разнообразных областей жизни.

Так, Жуковский занимался и вопросом о прочности велосипедного колеса, и вопросом о наивыгоднейшем угле наклона крыла самолета, и вопросом о рациональной форме корабля. С исчерпывающей полнотой и даже с показом механических моделей ответил он и на вопрос, почему кошки при падении всегда падают на лапы, и на вопрос о коэффициенте полезного действия человеческого организма, и на вопрос, почему из фабричных труб дым выходит клубами, и на тысячу других вопросов, больших и маленьких. Он делал доклады и о парении птиц, и о движении вихрей, и о сопротивлении воздуха при больших скоростях, и о движении вагонов по рельсам, и о снежных заносах, и о ветряных мельницах, и о качке кораблей. Но самым главным среди всего, что сделал Жуковский, были его исследования авиации и способы расчета самолетов — и это в те времена, когда строители первых самолетов твердили, что «самолет не машина, его рассчитывать нельзя», и больше всего надеялись на опыт, практику и свою интуицию! Директор аэронавтической школы в Лозанне Рикардо Броцци, например, писал:

«Аэродинамика, бесспорно, есть наука вполне эмпирическая<sup>[13]</sup>. Все заслуживающие доверия законы являются и должны быть указаниями действительного опыта. Нет ничего более опасного, как применять здесь математический аппарат!»

Эти наивные строчки были напечатаны в труде Броцци в том самом 1916 году, когда на французском языке появилась работа Жуковского «Теоретические основы воздухоплавания», решительно опровергающая утверждения директора аэронавтической школы. Но Жуковский слишком широко шагал впереди своего времени.

Брошенный клочок бумаги падает, козыряя, и ложится совсем не там и не так, как можно было бы

ожидать. Орел и ястреб парят в воздухе, не двигая крыльями, но не падают. Все явления, происходящие под влиянием сил, возникающих при движении тела в воздухе, долгое время оставались непонятными и необъяснимыми. В тайну законов, управляющих ими, казалось невозможным проникнуть.

То же можно сказать и о явлениях, связанных с движением жидкостей, вызванным воздействием каких-нибудь сил.

До недавнего времени точных законов аэродинамики и гидродинамики, определяющих поведение воздуха и жидкостей в связи с действующими на них силами, человечество не знало. Поэтому в течение тысячелетий, несмотря на множество безумных и наивных попыток, человек не поднялся в воздух, как птица, но сделал это тогда, когда удалось разрешить основные вопросы аэродинамики.

В разрешении водных и воздушных загадок Жуковскому принадлежит одно из первых мест в науке наряду с Бернулли, Гельмгольцем, Эйлером, Кирхгофом и Томсоном. Этот человек словно похищал у стихий природы одну тайну за другой и ставил их на службу человечеству.

Потому-то так подробно и рассказана история решения задачи о гидравлическом ударе, что она вполне определяет особый, неповторимый характер научных работ Жуковского. Все они были именно научным разрешением вопросов, выдвигаемых практикой, но суть у Жуковского оказывалась каждый раз в том, что творческие заключения его, вызванные частным случаем, можно было широко применять и в ряде других случаев. Его открытия не скользили только по поверхности явлений, но вскрывали глубокие, основные законы, управляющие ими.

Ученики, инженеры и техники всех специальностей называли Жуковского «сверхинженером». Его помощи

просили в наитруднейших случаях.

А «сверхинженер» Жуковский, в свою очередь, страстно любил решать головоломные задачи, выдвигаемые практикой. Пусть над ними бесплодно бились специалисты, ища разрешения опытным путем, — «сверхинженер» решал по-своему — теоретически — и с тем большим успехом, что владел завидным даром выделять важнейшие стороны вопроса и находить простейший метод решения.

Явление, к которому он подходил как исследователь, представлял в точных, почти осязаемых геометрических образах и формах. Часто он вычерчивал на бумаге эти геометрические формы, чтобы придать им отчетливость и наглядность.

— Математическая истина, — говорил он, — только тогда должна считаться вполне обработанной, когда она может быть объяснена каждому из публики, желающему ее усвоить. Я думаю, что если возможно приближение к этому идеалу, то только со стороны геометрического толкования или моделирования... Геометр всегда будет являться художником, создающим окончательный образ построенного здания.

Когда он брался за популярное изложение своих работ, он обходился без формул и все же умел сделать свою мысль совершенно ясной.

Великий русский физиолог Павлов утверждал, что люди вообще бывают или преимущественно художниками, или преимущественно мыслителями. Преимущественно художники создают искусство, преимущественно мыслители — науку. Между художниками и мыслителями, на неуловимой грани художественного и отвлеченного мышления, и стоит «геометр» — человек пространственного, геометрического мышления, создающий технику. И инженер в какой-то мере объединяет в себе и художника и мыслителя.

Всю свою жизнь Жуковский шел в своем творчестве от живого созерцания через геометрическое представление к отвлеченному мышлению и отсюда к практическим результатам.

Да, он, несомненно, обладал крупным поэтическим дарованием, талантом мышления в образах. Но мышление это было особого рода. Оно не задерживалось на внешней живописности вещей — оно стремилось открыть основное в их формах, искало общих законов, ими управляющих, и власти над вещами.

Он рассказывал, что решения многих крупнейших и красивейших в математическом смысле задач приходили к нему не за письменным столом в московском кабинете, а в глуши Владимирской губернии, на лугу, в поле, в лесу, под ясным голубым небом. Всю свою долгую жизнь неизменно, каждое лето он приезжал сюда и здесь решал отвлеченнейшие задачи вроде задачи о механической модели маятника Гесса, не удававшейся ему так долго в Москве. Тут и решил ее, когда он, этот странный ученый и необыкновенный поэт, позолоченный светом заходящего солнца, опершись на свое охотничье ружье, сидел на пеньке в холодеющем лесу, безмолвно созерцая мир: сквозь видимое непостоянство живых форм и красок Жуковский ясно видел геометрическую их закономерность.

Но творческая биография профессора Жуковского начинается не с маятника Гесса и не с аварий водопроводных труб.

Она начинается гораздо раньше.

Жуковский родился 17 января 1847 года. Он был сыном инженера, одного из строителей Нижегородской железной дороги. Мальчик рос в старом дворянском доме, но совсем небогатом. Тут все делалось еще на французский лад, важнее всего считалось, чтобы у детей были хорошие манеры, хороший тон. Случайно, однако, учителем старшего брата оказался не только

хорошо воспитанный, но и прекрасно образованный человек, к тому же пылкий фантазер — студент А. Х. Репман. Он нашел прилежного слушателя в меньшем члене большого семейства и привил ему любовь к чтению фантастических романов и повестей о путешествиях и необычных приключениях.

И вот этот мир, населенный морскими волками и пиратами, мир, где не церемонились поклонами и снимали скальпы с живых людей проворнее, чем за обедом мать, Анна Николаевна, снимала крышку с суповой миски, — этот мир оказал на мальчика большое влияние.

Мальчик был теперь не только вымуштрован, не только отлично умел войти и выйти, поклониться и ответить как надо — нет, живой ум его, преисполненный любопытства, рвался к знанию и опыту, к проникновению в жизнь природы.

Он поступил в 4-ю московскую гимназию.

Математику в этой гимназии преподавали авторы распространеннейших в России учебников — Малинин и Буренин. В первых трех классах Жуковский был самым плохим математиком из-за своей рассеянности. Малинин никогда не называл его иначе как «певчей птицей» — не то за его тонкий, высокий голос, не то за неумение считать, не то за весь его вид «маменькина сына», из которого не выйдет все равно ничего путного.

Жуковский не любил цифр и расчетов в их голом, отвлеченном виде и у Малинина учился плохо. Но у Буренина, преподававшего геометрию, он вдруг оказался лучшим учеником. Очевидно, по самому складу своего ума ребенок мог отчетливее всего видеть мир и понимать отношения в нем геометрически, когда понимание было предельно ясным, зримым. Правда, Анна Николаевна осталась в убеждении, что неожиданными успехами сын ее обязав благословению митрополита Филарета, к которому она подвела



мальчика, но дело, конечно, заключалось в том, что детский ум попал в свойственную ему стихию.

Окончив курс гимназии, Жуковский поступил на математический факультет Московского университета, хотя предпочел бы один из тогдашних политехникумов. Но в университете читали лекции Давидов, Слудский, Цингер — известные ученые, и юноша примирился со своей судьбой, тем более что уже с первого года пребывания в университете Жуковский участвовал вместе со своими учителями в занятиях математического кружка, из которого потом выросло Московское математическое общество.

Студент Жуковский жил в комнатке, названной товарищами «шкафчиком», и когда причесывался, гребенкой задевал потолок. Он бегал по городу, давая уроки разным лоботрясам, издавал литографским способом лекции, им самим аккуратно записанные и имевшие в его редакции большой успех. Уже в этой работе сказывалось характеризующее Жуковского все то же постоянное стремление к ясности, к геометрической обнаженности, которые он вносил во все, чего касался, и отсутствие которых причиняло ему почти физическое страдание.

В 1868 году университетский курс был закончен. Жуковского по-прежнему тянуло в политехникум. Он тяготел к практической деятельности и мечтал стать инженером, как его друг Щукин, известный впоследствии строитель паровозов. Друзья вместе поступили в Петербургский институт путей сообщения, но тут профессора занимались не выяснением руководящих научных идей, а простым изложением фактического материала, потребного для повседневной практики, учили студентов считать и чертить. А Жуковский как раз к этому не имел ни особенных способностей, ни охоты. В результате через год он провалился на экзамене по геодезии и решил, что

инженера из него не выйдет. Тогда он оставил институт и неприятный ему чиновничий Петербург и вернулся в Москву.

Из-за болезненного состояния он должен был провести целый год у отца в Орехове, а с осени 1870 года стал учителем физики в одной из московских женских гимназий. Вскоре ему поручили преподавание математики в Московском высшем техническом училище, которого он не покидал уже до конца жизни. Оторванному от университета молодому ученому нелегко далась магистерская диссертация «Кинематика жидкого тела», но защитил он ее блестяще: эта работа вошла первым его вкладом в гидродинамику.

\* \* \*

Жуковский начал заниматься своей темой еще в Орехове, главным образом, чтобы самому себе составить ясное представление об этом деле. Но, составив такое представление, он увидел, что оно стоит диссертационной работы, и не ошибся.

До него никто не занимался кинематикой, то есть наглядно-геометрической стороной движения частиц жидкости. Что происходит в движущейся жидкости, знали только в общих чертах. Но представить себе, может быть, даже вычертить конкретный путь движения какой-нибудь частицы, на которую действует бесчисленное множество сил, — эта задача казалась невозможной. Теперь она стала менее невозможной.

Совет училища командировал юного магистра за границу. Он слушал знаменитых Гельмгольца, Кирхгофа в Берлине, работал у Дарбу и Реваля в Сорбонне, сблизился в Париже с Андреевым, Яблочковым, Ливенцевым — виднейшими русскими учеными того времени.

Жуковский вернулся в Москву с твердо установившимися взглядами и на науку, и на самого себя.

Советом высшего технического училища он был избран профессором по кафедре механики. Сочинение «О прочности движения» принесло ему ученую степень доктора прикладной механики. В 1888 году Жуковский занял кафедру прикладной механики в университете. Он становится деятельнейшим членом всех научных обществ в Москве, где он уже устроился на жительство с матерью, братьями и сестрами.

Отныне история жизни его становится историей научных работ, историей решения задач, смущавших инженеров-практиков. Наивный биограф, который захотел бы следить только за внешней канвой этой жизни, мог бы разве привести несколько писем к родным из новой поездки за границу да перечислить два-три переезда на новую квартиру.

Педагогическая деятельность Жуковского совсем не была похожа на выполнение обязанностей, дававших материальную возможность заниматься научными исследованиями. Нет, то была составная часть научных занятий. И недаром в самой своей исследовательской работе Николай Егорович никогда не отделял своей части от части своих учеников и даже не видел существенной разницы между ними.

— Я занимался этим вопросом, — говорил он молодым ученым, спрашивавшим его мнения о той или иной задаче, — но у меня ничего не вышло. Попробуйте вы, может быть, у вас выйдет!

Он испытывал глубочайшее удовлетворение, прививая своим слушателям любовь к науке. Он изобретал удивительные модели и приборы, чтобы дать наглядное представление о самых отвлеченных задачах. Иногда он приносил в аудиторию клочок живой природы вроде маленькой птички, которую демонстрировал

студентам университета, чтобы они могли разобраться в условиях взлета.

Птичка находилась в открытой стеклянной банке и должна была воочию показать, что без сколько-нибудь обширной площадки для взлета подняться в воздух нельзя.

Николай Егорович, доказывая непреложность теории, снял с банки крышку и предоставил птичке выбираться наружу. Некоторое время птичка действительно не могла вылететь. Но, не найдя нужной для взлета площадки, птичка стала делать спирали по стенке банки и, ко всеобщему восхищению, вылетела.

Профессор рассмеялся:

— Эксперимент дал результат неожиданный, но поучительный. Я забыл о спирали!

Жуковский, очевидно, понимал или чувствовал, каким грубым препятствием для движения творческой мысли является привычное мышление, как трудно даже изощренному уму прервать течение привычных представлений и дать место иным, неожиданным и новым. Оттого-то он и принимал постоянно к живой природе с ее поучительным непостоянством, с ее огромным запасом еще не раскрытых тайн, не найденных возможностей.

Над зеленым лугом летали стрелы его арбалета с винтом, когда он занимался измерением и вычислением времени полета. По проселочным дорогам взад и вперед мелькал его велосипед с большими крыльями, когда он изучал сопротивление воздуха. Живая природа открывала тайны аэродинамики этому пророку авиации, предсказавшему мертвую петлю за двадцать лет до того, как ее впервые совершил Нестеров, и за десять лет до появления первого аэроплана.

В ореховском саду под яблонями ставил Жуковский большой эмалированный таз с пробитыми дырочками, исследуя форму вытекающей струи, и на песчаных

дорожках чертил первые формулы, когда, исполненный вдохновенного проникновения, думал:

«Все дело тут в тех вихрях, которые срываются с краев отверстия: первоначально они имеют форму отверстия, а затем, стягиваясь, деформируются и деформируют струю... Прибавляя к действию вихрей силу инерции движущихся частиц жидкости, можно получить все изменения струи. Вопрос этот вполне ясен...»

Тайны стихий прояснились исследователю, когда он непосредственно их созерцал. И ореховский пруд, окрашенный мельчайшими зелеными водорослями, мечтал Жуковский обратить в лабораторный прибор для гидродинамических опытов по обтекаемости.

Не внешняя живописность природы, а внутренняя сущность ее явлений была предметом наблюдений Жуковского. Он обладал даром широкого смелого обобщения, как все русские ученые, обладал великим умением видеть главное. Орел видит дальше, но человеческий глаз видит больше, а гений находит главное.

В причудливой струе, выбивающейся из отверстия эмалированного таза, гений угадывает закономерность Ниагарского водопада. Стрелы игрушечного арбалета предрекают ему мертвую петлю самолета. В картонной аэродинамической трубе Московского университета Жуковский испытывал свойства воздушных течений, угадывал законы ураганов и капризы снежных заносов. Жуковский посадил ветер, как пойманного кролика, в деревянную клетку аэродинамической трубы и заставил его обнаружить здесь до конца все свои повадки и хитрости. Жуковский воспроизвел стихию воли в цементированном канале под железной крышей лаборатории, сфотографировал каждое их движение и увидел в кажущемся непостоянстве математическую закономерность.

Геометр и математик с глазами художника, Жуковский проникал в интимную сущность природы, как Пушкин в сокровенную жизнь души человеческой. Стихи Николая Егоровича — а он их писал — были так же плохи, как хозяйственные расчеты Пушкина, но в научных своих сочинениях Жуковский был ясен и точен, как Пушкин в лирике.

Самый огромный ум нуждается для творческого движения мысли в помощи извне, хотя в большинстве случаев им даже и не замечаемой. Природа оказывала Жуковскому такую помощь, как и многим другим великим ученым. Вот почему профессор механики в душе оставался до конца своей жизни сельским жителем, охотником, спортсменом. Он любил соревноваться с братьями, потом с племянниками в искусстве переплывать ореховский пруд, то держа в руках ружье, то ставя на голову подсвечник с горящей свечой. Неутомимый бродяга по полям и лесам, он чувствовал себя тут, как в просторной и светлой лаборатории.

«В лесу за вкусным завтраком у костра начинались обыкновенно разговоры на темы механики, физики, авиации, — рассказывает А. А. Микулин, наш знаменитый авиаконструктор, ученик и племянник Жуковского. — Иногда здесь же, на земле распластывали убитую птицу и начинали изучать конструкцию ее крыльев. Особенное внимание Николай Егорович обращал на геометрическую пропорцию естественных форм природы... Обсуждали мы с ним и такие, например, вопросы: почему убитая птица не падает на землю камнем, а непременно кувыркается на лету?»

За письменным столом в московской своей квартире Жуковский с геометрической выразительностью и математической точностью формулировал законы, управляющие движением воды и воздуха. С помощью

чертежей, формул и чисел он вводил людей, умеющих читать их, в огромную лабораторию живой природы.

О времени напоминал только бой стенных часов. Казалось, что они звенят ежеминутно, напоминая о прошедшем часе. И вот однажды Николай Егорович снимает их со стены и освобождает механизм от боевой пружины. Непривычное движение в кабинете тревожит девушку с длинными белокурыми косами и глазами, как у отца. Она бережно открывает дверь и вопросительно смотрит. Николай Егорович вешает часы на место и с торжеством показывает дочери пружину:

— А ну, пусть-ка теперь позвонят!

Девушка улыбается и плотно притворяет за собой дверь.

Николай Егорович не сразу возвращается к работе. Несколько минут, а может быть и час — теперь ничто не тревожит его размышлений, — он сидит неподвижно в своем кресле. Наедине с собой он кажется еще более величавым и загадочным, чем на людях. Эта суровая мужественность, проникнутая огромной внутренней напряженностью, страстной целеустремленностью, заставляет вспомнить об изваяниях Микеланджело. Широкое, простое, седобородое лицо с поднятыми и изогнутыми бровями. Крупная фигура, в которой чувствовалась незаурядная физическая сила и выносливость... Охота, купание, многочасовые прогулки, ранние утра и неприхотливость в быту сохранили Жуковскому силу и статность до последних дней.

Высокий, тонкий голос, как у Тургенева, совсем не шел к сложению и внешности Николая Егоровича. Казалось бы, это должно было мешать ему как лектору, особенно когда он, бывало, повернется к доске, на которой что-то пишет мелким почерком, закрывая к тому же мощной фигурой написанное. Но никто из студентов не улыбался: лекции Жуковского не были только

чтением — это были часы творческого труда, и профессор покорял слушателей.

А ведь случалось, что, увлекшись идеей, он вдруг погружался у доски в свой мир фигур и значков, забыв об остальном. Тогда в аудитории наступала мертвая тишина. На доске возникали цифры и чертежи. Высокий, крупный человек с большой бородой, глубокими глазами и странно изогнутыми, как бывает при удивлении, бровями казался олицетворением мысли, и никто не смел нарушать напряжения зримо протекавшего творчества...

Даже рассеянность Жуковского, поистине анекдотическая, внушала к нему уважение: источником ее была величайшая сосредоточенность. Профессор механики не смешил своих слушателей в техническом училище, когда, вернувшись с урока физики из женской гимназии, вдруг вызывал отвечать «госпожу Македонскую». Никто не смеялся и тогда, когда, проговорив целый вечер с молодежью у себя в гостиной или кабинете, гостеприимный хозяин вдруг поднимался, ища свою шляпу, и начинал прощаться бормоча:

— Однако я засиделся у вас, господа. Надо идти, пора...

Извозчики, постоянно дежурившие у подъезда двухэтажного домика в Мыльниковом переулке, совершенно серьезно говорили о своем ученом ездоке:

— Уж такой добрый, такой добрый барин. Привезешь его — заплатит. А иной раз, если не успеешь отъехать, еще и с горничной вышлет. Такая добрейшая душа!

Жуковский был мнителен и собственной рассеянности боялся пуще всего на свете. Он боялся огорчить кого-нибудь своей рассеянностью. И это побуждало окружающих к особенной предусмотрительности. Многие из бывших слушателей Воздушной академии, носящей теперь его имя, помнят, как тщательно соблюдалась очередь специальных



дежурных, на обязанности которых лежало провожать профессора до дому, не показывая при этом вида, что сзади его охраняют от уличных случайностей благоговейные ученики.

Не надо судить по бережному отношению окружающих, что этот богатырь нуждался в чужой поддержке среди житейских забот. Человек огромной энергии и трудоспособности, могучего сложения и поэтической жизнерадостности, Жуковский никак не напоминал беспомощного ребенка. Только всю свою энергию и трудоспособность, всего себя он отдавал делу своей жизни. Окружающих его поражало, например, равнодушие Николая Егоровича к вопросам материальной «выгоды», он не запатентовал ни одного своего изобретения. Однако все это ведь только в глазах окружающих казалось беспомощностью. То, что им казалось ценностью, имело в глазах Жуковского ничтожное значение, и его безразличие, больше того — пренебрежение к этим вещам, было естественной самообороной творческого ума от помех его постоянной, самой важной для него работе.

Конечно, не было недостатка в людях, которые из самых лучших побуждений всячески старались побороть в Николае Егоровиче этот его инстинкт самосохранения — «ради его же пользы». Но инстинкт гения непреодолим. Жуковский и не спорил — погруженный в свои мысли, он просто не вслушивался в доводы доброхотов, а иногда по рассеянности даже считал, что его собеседник держится того же самого мнения, как и он сам.

Однажды Николай Егорович занимался вопросом о вращении веретена на кольцевых ватерах. После теоретического решения он предложил, как всегда, и практическую конструкцию веретена. Друзья предупреждали его, что по русским законам изобретатель лишается права на патент, если заявке на

изобретение будет предшествовать публичный доклад о нем.

Жуковский не отменил доклада.

Сто лет теоретики и экспериментаторы стремились к созданию наивыгоднейшей формы гребного корабельного винта. Уже была изобретена паровая турбина и строились быстроходные суда. Найти лучшую форму такого винта становилось теперь неотложнейшей задачей. Машиностроительный гений англичанина Парсонса, изобретателя паровой турбины, бился над практическим решением. Европейские ученые теоретизировали. Жуковский, взявшись за то же дело, создал свою знаменитую «Вихревую теорию гребного винта» и положил конец спорам.

Ученики и товарищи, знавшие всю остроту положения, настаивали на немедленном печатании работы. Жуковский на спешку не соглашался.

— Вы потеряете научное первенство, Николай Егорович! — убеждали его.

— Неважно, — отвечал Жуковский спокойно.

Важно было наиболее глубоким и правильным образом решить задачу — все остальное, вроде погони за «первенством», мешало, отвлекая внимание и ум.

\* \* \*

В. И. Ленин назвал Жуковского «отцом русской авиации». Научно-технический комитет Главного управления воздушного флота возлагал венок на гроб Жуковского, как «творца научной авиации». Действительно, из всех работ великого русского ученого и «сверхинженера» наибольшее значение приобрели его исследования и теоретические настроения в области аэродинамики — науки о силах, возникающих при движении по воздуху различных тел.

Днем рождения авиации считается обычно 17 декабря 1903 года, когда взлетел первый самолет братьев Райт. До этого мало кто и слышал о больших подготовительных работах, которые велись для того, чтобы осуществить вековечную мечту человечества. А такие работы велись задолго до первого аэроплана братьев Райт во многих странах и многими людьми.

И при этом история русской авиации совсем не была лишь примечанием к соответствующей главе в истории мировой науки и техники. Наоборот, русская авиация шла своим собственным уверенным путем: аэроплан братьев Райт — только внешний эпизод, который мог быть, а мог и не быть, без особенного значения для победоносного завоевания воздушного океана.

Именно Россия выдвинула прежде других стран творцов научной авиации в лице Жуковского, Циолковского и старейшего исследователя в этой области Джевецкого. С. К. Джевецкий еще в 1884 году сделал в Русском техническом обществе замечательный доклад по теории полета птиц: «Аэропланы в природе».

За два года до того, именно в 1882 году, другой энтузиаст летного дела, А. Ф. Можайский, построил у себя на даче под Петербургом первый русский аэроплан. Эта машина была принципиально правильно построена и не взлетела только из-за отсутствия легкого двигателя. Когда такой двигатель появился, разрешилась и проблема передвижения по воздуху в аппаратах тяжелее воздуха. Можайский же располагал только паровым двигателем, который он всячески стремился облегчить. Очень вероятно, что он и заставил бы свою машину взлететь за двадцать лет до братьев Райт, если бы смерть не помешала ему завершить дело<sup>[14]</sup>.

Но настоящим творцом и научной и практической авиации стал именно Жуковский. Среди других работ, как мы уже видели, проблеме авиации великий ученый уделял немало внимания. К концу же долгой и страстной

жизни его авиация была уже главным делом Жуковского.

Жуковский и в раннюю пору своей ученой деятельности не сомневался в том, что человек может летать.

— Ведь птицы летают, — говорил он.

Еще в 1892 году, за семнадцать лет до того, как поднялся в воздух самолет братьев Райт, русский «сверхинженер» в скромной статье «О парении птиц» объяснял, каким образом могут птицы парить в воздухе с распростертыми крыльями, и теоретически доказал, что можно построить аппараты для искусственного парения, что они будут устойчивы и даже смогут совершать мертвые петли и фигуры высшего пилотажа.

В те годы теоретически и практически занимался решением этой задачи Отто Лилиенталь. После многих безуспешных попыток своих предшественников он поднялся наконец на своем планере.

Это было в 1895 году. Жуковский увидел полеты изобретателя, познакомился с Лилиенталем и с полуслова понял те практические затруднения, с которыми встретился в воздухе летающий человек. Благодарный за внимание и за многие теоретические откровения русского ученого, Лилиенталь подарил Николаю Егоровичу один из своих аппаратов. С этим подарком Жуковский возвратился в Москву.

В 1897 году появляется статья Жуковского «О наивыгоднейшем угле наклона аэропланов», а затем, после многочисленных опытов и наблюдений в аэродинамических трубах и в лабораториях, он формулирует закон, названный его именем, определяющий подъемную силу краткой формулой. В создании теории крыла и гребного винта формула эта сыграла решающую роль.

Фундамент научного исследования, проектирования и расчетов самолета был заложен. Больше чем кто-либо

Жуковский явился творцом научной авиации. Но он стал и «отцом русской авиации», создав школу русских аэродинамиков, как теоретиков, так и практиков. Многие из его учеников вошли в состав воздухоплавательного кружка, который он, пионер летного дела, организовал при техническом училище.

Участники кружка, опираясь на советы Жуковского, начали испытывать собственные конструкции планеров. Вскоре с косогора Лефортовского парка поднялись первые русские планеристы.

Жуковский добился аэродинамической лаборатории и для кружка. Во время войны 1914-1918 годов этот кружок превратился по инициативе своего руководителя в расчетно-испытательное бюро для проверки аэродинамических свойств самолетов, к строительству которых едва-едва начала приступать Россия.

Еще до войны при том же техническом училище Жуковский организовал курсы авиации. Отсюда вышли первые русские летчики. Здесь Жуковский начал первым в мире читать свой курс лекций о теоретических основах воздухоплавания. В 1918 году курсы были преобразованы в Московский институт инженеров воздушного флота, ставший затем Академией воздушного флота имени Жуковского.

Первый построенный студентами кружка самолет был обязан своим рождением также Жуковскому.

Но и до сего времени вряд ли найдется у нас хоть одна конструкция, в создании которой не принял бы участия творческий гений Жуковского: он оставил после себя не только учеников, научную школу, но и труды, без которых не обходится ни один конструктор.

Для наших строителей могучих машин приобрели сейчас значение также многие из тех работ великого ученого, которые сам он не связывал с авиацией. Таковы его работы по гидродинамике. Жуковский исследовал законы, управляющие поведением тел в жидкой среде,

чтобы заставить эти законы служить человеку, творцу техники. Но при огромных скоростях нынешних самолетов и воздух ведет себя, как жидкость. Так формулы гидродинамических исследований Жуковского тоже участвуют в творческом процессе создания боевых машин.

И мы можем сказать, что на каждой из них в дни Отечественной войны с германским фашизмом присутствует гений отца русской авиации.

После Октябрьской революции Николай Егорович сумел сделать немногие оставшиеся ему годы жизни годами самого плодотворного, самого напряженного творчества. Щедро и радостно бросал он семена в благодатную почву, и сеятель был достоин своей земли: мы знаем теперь мировое значение и мощь нашей авиации.

Один из учеников Жуковского в прощальной речи над его могилой признавался, что некоторое время после революции он избегал встречи со своим учителем: боялся увидеть старого ученого не понявшим происшедшего, отвернувшимся от жизни и от науки. Опасения были напрасны. Этот ученик был поражен, по его собственным словам, при встрече с учителем ясностью, чистотой его суждений и решений.

Революция вела к тем же, что и наука, идеалам высшего гуманизма. Науке, истинным представителем которой оставался Жуковский, было по пути с революцией. И больше того: именно теперь могла расцвести его наука.

Без шумных деклараций, органически вообще чуждых этому человеку великой скромности, Жуковский поставил на службу новому государственному строю все свои знания, опыт, силы и ум. Семидесятилетний старик, он не только не укрывался своим возрастом от невзгод первых лет революции и гражданской войны — он не утаил от революционного народа ни одного дня, ни

одного часа. В годы нищеты и разрухи, все тот же величавый и сосредоточенный в себе, ранним утром, пешком, по занесенным снегом улицам шел он в училище, потом через весь город в университет — и часто для того, чтобы прочесть лекцию трем-четырем студентам.

Неустройства быта проходили мимо него. Жуковский не замечал их, как раньше не замечал комфорта, которым его окружала семья.

Мысль В. И. Ленина о необходимости создания научно-исследовательских институтов нашла в нем вдохновенного исполнителя. Вместе с одним из своих учеников он первым пришел в Научно-технический комитет Высшего совета народного хозяйства и представил ему проект Института аэродинамики и гидродинамики.

Это был знаменитый ныне ЦАГИ. Он был создан в декабре 1918 года декретом, подписанным Лениным, и первоначальная работа по организации института протекала в отведенной для этого столовой квартиры Николая Егоровича.

Первую ассигновку Народного комиссариата финансов новому институту подписывали на кухонной плите в единственно теплой комнате комиссариата.

Институт, начавший работать в техническом училище, отапливал свою лабораторию маленькой кафельной печью. На плиту изобретательные сотрудники ставили бак с водой, чтобы больше было тепла. Пар нес сырость. Николай Егорович посоветовал поверх воды налить машинного масла. Расчет оказался правильным, как всегда: вода не испарялась, тепло держалось долго.

Могучий организм Николая Егоровича сопротивлялся всем невзгодам быта. Великий ученый работал без устали. Так он привык работать всю свою долгую жизнь. Библиографический список его ста шестидесяти трудов

подтверждает это. Для того чтобы лишить сил и жизни этого потомка русских богатырей, понадобилось воспаление легких весной 1920 года, паралич, последовавший за известием о смерти дочери, затем брюшной тиф в декабре и новый апоплексический удар весной следующего года.

Когда во время этой борьбы со смертью Жуковского навел на один из его учеников, учитель сказал ему:

— Мне бы хотелось еще прочесть специальный курс по гироскопам<sup>[15]</sup>. Ведь никто не знает их так хорошо, как я!

Декретом Совета народных комиссаров в ознаменование пятидесятилетия научной деятельности Жуковского и «огромных его заслуг как отца русской авиации» Николай Егорович был освобожден от обязательного чтения лекций с предоставлением ему права объявлять курсы более важного научного содержания.

И вот старый профессор мечтал о таком курсе в благодарность за высшую оценку его заслуг, за предоставление ему благоприятнейших условий работы.

Он не мог писать сам и до последних дней диктовал одному студенту записки по курсу, который намеревался читать.

17 марта 1921 года Жуковский умер.

Смерть раскрывает нас окружающим до конца.

Теперь, когда фронтоны нашей Воздушной академии и Центрального аэрогидродинамического института украшены именем Жуковского, каждый новый успех советской авиации свидетельствует о торжестве научных идей великого русского ученого и патриота.

*1943 год*



**В. САФОНОВ  
КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ  
ТИМИРЯЗЕВ**



Человек неторопливо всходил на высокую кафедру. Резными украшениями из потемневшего дуба она напоминала епископское место в готических соборах средневековья и вряд ли была моложе их. Человек был среднего роста, худощавый, с крутым мощным лбом и острой бородкой, которая придавала ему некоторое сходство с бессмертным ламанчским рыцарем.

Взойдя, он помедлил немного и оглядел зал. Стрельчатые окна, прорезанные в стенах гигантской толщины, низкий потолок и тяжелые массивные двери, сквозь которые не проникало ни одного звука извне, придавали залу печать какой-то торжественной старины.

Необычайная аудитория занимала грузные скамьи, вытертые до лоска многими человеческими поколениями. Стоявший на кафедре узнал Фрэнсиса Дарвина, чье имя, конечно, упоминалось бы среди первых имен биологов мира, если бы не было у Фрэнсиса отца Чарлза, который заставил многих назвать только что миновавший XIX век «веком Дарвина». Неподалеку от Фрэнсиса Дарвина сидели 86-летний Гукер, «патриарх ботаников» и Листер. Тысячи людей ежедневно во всех больницах и госпиталях земного шара должны благодарить Листера за спасение своей жизни. Листеровский способ обеззараживания, листеровские антисептические повязки! Сейчас это азбука хирурга. Ему, Листеру, медицина обязана одним из самых глубоких и благодетельных переворотов — победой над губительными послеоперационными заражениями, которым прежде больше половины оперированных платили страшную дань.

Кто еще был в этом зале? Гальтон, упрямо превращавший зыбкую область исследований изменчивости живых существ в отдел математики, точнейшей из наук. Крукс, один из творцов современной теории строения материи, открывший новый элемент — таллий. Рамзей, который поведал человечеству о существовании благородных газов — аргона, гелия и других, не признающих химических соединений. Вильям Томсон (лорд Кельвин), обогативший физические институты мира десятками новых изощреннейших приборов, а физику — сенсационным принципом, настолько важным, что открытие его сравнивали с открытием сохранения энергии...

Это были люди, чьи имена знали школьники во всем мире. И они собрались сюда послушать человека на кафедре! Что он им скажет? О каком исключительной важности открытий поведаст тем, кто сами были вершинами всех отраслей самого гордого естествознания недавно начавшегося XX века?

Человек на кафедре начал говорить ровно, не спеша, почти не заглядывая в разложенные бумаги, отточенными, чеканными фразами, так, как он говорил всегда. Речь его оказалась такой же необычной, как этот зал и эта аудитория.

«Когда Гулливер в первый раз осматривал академию в Лагадо, ему прежде всего бросился в глаза человек сухопарого вида (на этих словах говоривший сделал чуть заметный нажим и улыбнулся, как бы проверяя сходство облика этого человека со своим собственным обликом) — человек сухопарого вида, сидевший, уставив глаза на огурец, запаянный в стеклянном сосуде.

На вопрос Гулливера дикий человек пояснил ему, что вот уже восемь лет, как он погружен в созерцание этого предмета в надежде разрешить задачу улавливания солнечных лучей и их дальнейшего применения.

Для первого знакомства я должен откровенно признаться, что перед вами именно такой чудак. Более тридцати пяти лет провел я, уставившись если не на зеленый огурец, закупоренный в стеклянную посудину, то на нечто вполне равнозначащее — на зеленый лист в стеклянной трубке, ломая себе голову над разрешением вопроса о запасании впрок солнечных лучей. Если я решаюсь выступить перед этим знаменитым обществом с кратким отчетом о скромном результате моего многолетнего труда, то лишь в надежде, что предмет этот имеет хотя и очень отдаленное, но тем не менее несомненное отношение к этому вопросу, который доктор Крун, просвещенный и щедрый основатель этой лекции, считал наиболее уместной для нее темой. В течение длинного ряда лет содержанием для этих лекций служил вопрос о мышечном движении, позднее зашла речь о движениях животных и растений и, наконец, о происхождении жизненных движений вообще.

Быть может, мне позволено будет сделать еще шаг в этом направлении, в сущности последний возможный шаг, и повести речь об энергии, затрачиваемой во всех этих движениях, об ее отдаленнейшем источнике, о солнечном луче, слагающемся в запас в зеленом листе».

И вот теперь выяснилось, что сравнение со свифтовским человечком было только шуткой, одной из тех, которые так любил говоривший. Он рассказал сидевшим в зале, чьей профессией было открывание тайн природы, о величайшей из этих тайн — о превращении неживого в живое, которое ежеминутно происходит в «самом таинственном веществе мира», в веществе зеленого листка растения. Он рассказал о том, что путь к разгадке этой тайны найден.

То была «крунианская лекция», которая ежегодно посвящалась Лондонским королевским обществом самому выдающемуся открытию в области

естествознания, — по завещанию доктора Круна, современника Галилея.

30 апреля 1903 года эту лекцию выпало на долю прочесть Клименту Аркадьевичу Тимирязеву, первому русскому ученому, взошедшему на кафедру Ньютона и Фарадея.

Необычайна жизненная судьба Тимирязева и роль, сыгранная им в истории науки. Да и науки ли только? Так трудно уложить, запереть Тимирязева в какие бы то ни было заранее придуманные рамки. Вот, кажется: нашел такие рамки, определил, что такое Тимирязев. Ан нет, видишь, что он уже «перехлестнул» через них. И то, что он сделал вне рамок, вовсе не случайное для него дело, но такое же важное и основное, как и то, которое мы думали «определить».

Он был ботаником, одним из величайших ботаников всех времен. Но в школах и в вузах до сих пор изучают учение Дарвина по его книге. И мы видим, что в зоологии, например, этот человек чувствовал себя так же свободно, как и среди зеленого мира растений. Так, значит, биолог вообще? Но вот, оказывается, физики пишут ему (по поводу придуманных им приборов и способов точнейшего анализа мельчайших объемов газа и по поводу исправления им физических ошибок в исследованиях одного из крупнейших физиков): «Мы вас считаем своим и учимся у вас». «Следя за вашими опытами, мы невольно вспоминали работы великих созидателей физики».

Но не торопитесь улавливать неумную, стремительную широту этого человека каким-нибудь новым определением, вроде естествоиспытатель вообще.

Вот он пишет о живописи Тернера, вот он выступает со страстными политическими статьями, вот он поддерживает бунтующих студентов. «Да это бунтарь! Это настоящий революционер!» — с бешенством говорят о нем титулованные «блюстители порядка» и

реакционеры всех мастей и с бешеной яростью травят Тимирязева, как бунтаря.

В черной ночи реакции при Александре III и после кровавого разгрома революции 1905 года не раз поднимает Тимирязев свой чистый, ясный, бесстрашный голос. Он говорит о правах и о свете разума, он клеймит подлецов, помогающих русскому царизму душировать русский народ, он говорит и пишет о демократии. Лучшая часть интеллигенции считает его, профессора ботаники Тимирязева, своей совестью. Горький называет его «своим дорогим учителем» и пишет ему «как человек, очень многим обязанный в своем духовном развитии Вашим мыслям, Вашим трудам». Когда умирает Мечников, Горький призывает Тимирязева:

«Именно Вы, и только Вы, можете с долженствующей простотой и силой рассказать русской публике о том, как много потеряла она в лице этого человека, о ценности его оптимизма, о глубоком понимании ценности жизни и борьбе его за жизнь... Так хочется, чтобы Ваше слово как можно чаще раздавалось в современном хаосе понятий!» (Это написано в тягостном и предгрозовом 1916 году.)

Как праздник, как радость, как осуществление самых заветных своих надежд принял 75-летний Тимирязев Октябрьскую революцию. У него не было ни дня, ни часа колебаний. Он нес во всей чистоте ее великую культуру человечества, но «груз старого мира» не отягощал его плеч. Он послал вождю революции свою последнюю книгу «Наука и демократия». И Владимир Ильич ответил ему:

***«Москва, 27.IV.1920 г.***

**Дорогой Клементий Аркадьевич!**

Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу руку и от всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья!

*Ваш В. Ульянов (Ленин)».*

Сама тимирязевская наука, чем была она? Она не была беззубой, бесстрастной, кабинетной. Он сделал ее, в глубочайших и самых тонких ее ответвлениях, грозным боевым оружием. Борьба за свет, за разум, за служение народу — вот чем была вся тимирязевская наука. Исследователь самых сложных и самых загадочных явлений природы, он хотел, чтобы наука «сошла со своего пьедестала и заговорила языком народа». Он мечтал о «странствующих кафедрах», которые несут знания прямо в массы. Он читал массовые, народные лекции, когда это было в диковинку. Доктор десятка прославленнейших академий мира (только «императорская академия наук» не открыла перед ним своих дверей), он считал, что подлинное, гигантское развитие науке еще предстоит в том будущем, когда десятки тысяч людей из народа примут в ней участие. Всю жизнь он тщательно, любовно выискивал этих «людей из народа», этих «самоучек» (в то время они и не могли никем быть, кроме как самоучками), этих предтеч будущей могучей науки. Он не побоялся объявить простых садовников предшественниками Дарвина. До самой смерти своей он с пристальным вниманием следил за деятельностью американского самоучки Лютера Бербанка, «обновителя земли», создателя новых растений.

По горькой иронии судьбы Тимирязев не знал, что не за океаном, а у нас в России живет обновитель, более



великий, чем Бербанк. Но не один Тимирязев, никто из русских ученых не слышал тогда о Мичурине. Чиновничий заговор молчания окружал в царской России его работу.

А Тимирязев как раз был тем, кто вынес академическую науку на поля своей страны: с его именем связаны самые первые шаги русской агрономии.

Вот кем был Тимирязев!

Но и сейчас мы еще не «определили» его.

Секрет Тимирязева заключается в том, что во всей необычайной разносторонности своей он был человеком единого дела, единой цели. Жизнь и деятельность его были отлиты из одного куска. Он носил в себе словно некую магнитную стрелку, которая, что бы он ни делал, всегда указывала на самое главное и подчиняла всякую деятельность его этому самому главному в его жизни.

В этом, может быть, и состоит отличие гения от простого таланта. И сам он говорил об этом: «Гений — это идея молодости, развитая зрелым возрастом».

Он родился в Ленинграде (тогдашнем Петербурге) 22 мая 1843 года, в царствование Николая I.

«Я родился, — вспоминает сам Тимирязев, — буквально в двух шагах от той скалы, на которую взлетает «гигант на бронзовом коне», в самом начале той Галерной улицы, которую менее чем за два десятка лет перед тем залил кровью победитель 14 декабря своей картечью, косившей дрогнувшие ряды восставших войск и народа». И Тимирязев поясняет: «Обыкновенно принято считать, что 14 декабря было чисто военным бунтом, в котором народ стоял в стороне, но мой отец, бывший очевидцем, рассказывал, как из-за окружавшего строившийся Исаакиевский собор забора народ бросал камнями в царские войска. А от моей матери, в то время молодой девушки, жившей у родственников в далекой от центра Коломне, я слышал рассказ, как во время их обеда влетевший, как ураган, лакей, поставив поспешно блюдо на стол, крикнул: «Ну, далее распорядитесь сами, весь народ бежит на Исаакиевскую площадь, Николай бунтует, да мы ему не позволим». А какое настроение тлело под крышами, правда очень немногих, петербургских домов, можно судить из следующего семейного предания. В 1848 году к отцу один собеседник приставал с вопросом: «Какую карьеру готовите вы своим четырем сыновьям?» Отец отшучивался, но, когда тот не отставал, ответил: «Какую карьеру? А вот какую. Сошью я пять синих блуз, как у французских рабочих, куплю пять ружей и пойдем с другими — на Зимний дворец».

Семья была дворянской, но обедневшей. У Климента было четверо братьев. Отец содержал семью с трудом. Вероятно, по родственным связям он мог бы устроиться

лучше, но то был человек твердых и притом республиканских принципов. Что это значило в николаевскую эпоху — вряд ли нужно специально говорить. Эти принципы жизненной прямоты, презрения ко всякому искательству и низости, служения народу были с ранних лет привиты детям.

«К Робеспьеру меня влекли, — пишет Тимирязев, — слышанные еще в детстве слова отца, убежденного республиканца эпохи Николая I, — «честный это был человек, чистый, святой человек», — причем из его слов можно было понять, какое совершенно иное направление приняла бы великая революция (он всегда гордился тем, что родился в 1789 году), если бы победа осталась не на стороне гнусных термидорианцев и их достойных преемников, героев директории и наполеоновской республики».

Смелость и честность мысли — вот то бесценное, что маленький Климент получил от отца и сохранил на всю жизнь. И еще превосходное, немного английское по обычаям передовых семей того времени воспитание, отличное знание иностранных языков.

За несколько месяцев до смерти дрожащей уже рукой он набросал посвящение «Науки и демократии».

«Дорогой памяти отца моего Аркадия Семеновича Тимирязева и моей матери Аделаиды Климентьевны Тимирязевой.

С первых проблесков моего сознания, в ту темную пору, когда, по словам поэта: «под кровлею отеческой не западало ни одно жизни чистой, человеческой плодотворное зерно», вы внушали мне, словом и примером, безграничную любовь к истине и кипучую ненависть ко всякой, особенно общественной неправде. Вам посвящаю я эти страницы, связанные общим стремлением к *научной истине* и к *этической, общественно-этической, правде*».

Повести своих детей в жизнь по «золотому мосту» старики Тимирязевы не могли. Климент учился сам, зарабатывал себе на жизнь уроками и переводами.

«С пятнадцатилетнего возраста моя левая рука не израсходовала ни одного гроша, который не заработала бы правая. Зарабатывание средств существования, как всегда бывает при таких условиях, стояло на первом плане, а занятие наукой было делом страсти, в часы досуга, свободные от занятий, вызванных нуждой. Зато я мог утешать себя мыслью, что делаю это на собственный страх, а не сижу на горбу темных тружеников, как дети помещиков и купеческие сынки. Только со временем сама наука, взятая мною с бою, стала для меня источником удовлетворения не только умственных, но и материальных потребностей жизни — сначала своих, а потом и семьи. Но тогда я уже имел нравственное право сознавать, что мой научный труд представлял собою общественную ценность, по крайней мере такую же, как и тот, которым я зарабатывал свое пропитание раньше».

В 1864 году, когда Клименту Аркадьевичу было 18 лет, он поступил в Петербургский университет, сперва на камеральный факультет, а затем на естественное отделение физико-математического. Два события произошли вскоре после поступления Тимирязева в университет. Одно из них определило на всю жизнь путь Тимирязева-ученого, другое — путь Тимирязева-гражданина.

Однажды на лекцию в 11-ю аудиторию пришел старый чудаковатый профессор Степан Семенович Куторга с толстой книгой под мышкой. Повернувшись к доске, он изобразил длинное, несколько неуклюжее название этой книги:

«Происхождение видов посредством естественного отбора или переживание благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» Чарлза Дарвина.

«Книга новая, но хорошая», — помнится, прибавил Степан Семенович и вслед за тем со свойственным ему мастерством в ясных, сжатых чертах изложил содержание этой удивительной книги, показавшей нам органический мир в совершенно ином свете».

Всего год с небольшим назад эта великая книга была издана в Лондоне. Она вызвала целый переворот в уме юноши Тимирязева. Он прочел ее запоем (английским он владел как русским).

Но надвигалось второе событие. В ответ на попытку ввести в университетах полицейский порядок разразилась одна из первых студенческих забастовок, и Тимирязев безоговорочно встал в ряды забастовщиков.

Вот как он вспоминает об этом:

«В наше время мы любили университет, как теперь, может быть, не любят... Для меня лично наука была все. К этому чувству не примешивалось никаких соображений о карьере... Но вот налетела буря в образе недоброй памяти министра Путятина с его пресловутыми матрикулами<sup>[16]</sup>. Приходилось или подчиниться новому полицейскому строю, или отказаться от университета, отказаться, может быть, навсегда от науки, — и тысячи из нас не поколебались в выборе. Дело было, конечно, не в каких-то матрикулах, а в убеждении, что мы в своей скромной доле делаем общее дело, даем отпор первому дуновению реакции, — в убеждении, что сдаваться перед этой реакцией позорно.

Но нелегко было на душе. Помнится, когда настал день лекции Д. И. Менделеева — я особенно увлекался этими лекциями, — вдруг стало так жутко, что подвернись в ту минуту какой-нибудь Мефистофель с матрикулой, пожалуй, подмахнул бы ее и не чернилами, а кровью.

Особенно выводила из себя мысль, что вот товарищ, аккуратный остзейский барончик, теперь сидит и

слушает Менделеева. А почему? Потому только, что, помимо химии, он не понимает, не чувствует того, что чувствую, что понимаю я. И утешался я только мыслью, что и науку-то он, верно, не понимает по-настоящему, и не пойдет она ему впрок, что и оправдалось. Любопытная подробность: мы продолжали любить и уважать своих — не только профессоров, но и учителей: А. Н. Бекетова, Н. Н. Соколова, оставшихся на бреши разгромленного университета, *а они уважали нас, отсутствовавших, более, чем тех, что продолжали посещать опустевшие аудитории.*

И вот теперь, на седьмом десятке, когда можешь относиться к своему далекому прошлому как беспристрастный зритель, я благодарю судьбу или, вернее, окружавшую меня среду, что поступил так, как поступил. Наука не ушла от меня — она никогда не уходит от тех, кто ее бескорыстно и непритворно любит; а что случилось бы с моим нравственным характером, если бы я не устоял перед первым испытанием, если бы первая нравственная борьба окончилась компромиссом! Ведь мог же и я утешать себя, что слушая лекции химии, я «служу своему народу». Впрочем, нет, я этого не мог — эта отвратительная фарисейски-самонадеянная фраза тогда еще не была пущена в ход».

Забастовщика Тимирязева исключили из университета. Но он продолжал учиться уже не студентом, а вольнослушателем. И за его выпускную работу ему присудили золотую медаль.

Шли шестидесятые годы прошлого столетия. В своей статье «Пробуждение естествознания в третьей четверти XIX века» Тимирязев говорит об этих годах как о «дуновении весны, которое пронеслось из края в край страны, пробуждая от умственного окования и спячки, сковывавших Россию более четверти столетия».

Тогда «Что делать?» Чернышевского передавалась из рук в руки. Что делать? Служить народу! Бороться с

врагами его! — отвечала знаменитая книга. Страстные проповеди Добролюбова и Чернышевского будили молодые сердца. Набатный «Колокол» Герцена гудел в Лондоне, и через все полицейские кордоны доносился его мощный звук. Из конца в конец России повторяли стихи Некрасова — «печальника горя народного».

А в науке эти годы совпали с началом великой «эпохи Дарвина».

Вот тогда полностью определился путь Тимирязева.

Журнал «Отечественные записки» был общественной трибуной того времени. В этом журнале юноша-студент пишет о Гарибальди, о голоде в Ланкашире, а в 1864 году печатает свой первый очерк теории Дарвина, зародыш той знаменитой, поистине бессмертной книги, по которой вот уже более полувека учатся многие поколения студентов.

Отдельно статьи о Дарвине из «Отечественных записок» были изданы уже в следующем, 1864 году. Отец Климента, Аркадий Семенович, был еще жив. Он взял книгу на ночь (он часто читал ночи напролет) и на другой день утром сказал сыну: «Очень интересно, только что это вы все про голубей да про растения пишете, а о человеке ни слова? Не смеете? Моисей своей книгой Бытия запретил, боитесь!»

Но уже скоро Дарвин посмел сказать и о человеке: вышло его знаменитое «Происхождение человека». А Тимирязев во всю остальную свою жизнь, о чем бы он ни говорил и ни писал — о теории ли Дарвина, об истории ли науки, о делах ли и событиях на своей родине или за границей, о тайне ли зеленого листа, — всегда это было о человеке, о том, как должен жить человек, о его непобедимом разуме, и ко всему, что сделал и написал Тимирязев, могли бы быть отнесены слова Горького: «Человек — это звучит гордо».

## IV

«Осенью 1867 года проездом из Симбирска, где я производил опыты по плану Д. И. Менделеева, я заехал к П. А. Ильенкову в недавно открытую Петровскую академию. Я застал П. А. Ильенкова в его кабинет-библиотеке за письменным столом; перед ним лежал толстый свеженький немецкий том с еще заложённым в него разрезальным ножом, это был первый том «Капитала» Маркса. Так как он вышел в конце 1867 года, то, очевидно, это был один из первых экземпляров, попавших в русские руки. Павел Антонович тут же с восхищением и свойственным ему умением прочел мне чуть ли не целую лекцию о том, что уже успел прочесть; с предшествовавшей деятельностью Маркса он был знаком, так как провел 1848 год за границей, преимущественно в Париже, а с деятельностью пионеров русского капитализма — сахароваров — был лично знаком и мог иллюстрировать эту деятельность и лично знакомыми ему примерами. Таким образом, через несколько недель после появления «Капитала» профессор химии недавно открытой Петровской академии уже был одним из первых распространителей идей Маркса в России».

Так рассказывает Тимирязев о двух новых важных событиях своей молодости: он стал ближайшим сотрудником Менделеева в первых в России экономических опытах, заведывая одним из трех опытных полей (симбирским), и уже в 24-летнем возрасте познакомился с великим учением Маркса — самым грозным протестом против зла и неправды жизни, с самым мощным призывом и предсказанием нового общественного строя, в котором хозяином будет трудовой человек.



Вольнослушателю Тимирязеву, получившему золотую медаль, предстояла заграничная командировка. Профессор А. Н. Бекетов сказал ему:

— По-настоящему я должен дать вам инструкцию, но предпочитаю, чтобы вы сами себе ее написали.

И Тимирязев написал:

«Так как из работ г. Тимирязева видно, что он занимается физиологией питания и в особенности питанием листьев и влиянием света на эти отправления, то можно советовать ему продолжать свои занятия в однажды избранном направлении. При этом нельзя не выставить на вид г. Тимирязеву, что физиология, как наука молодая, еще не установившаяся, не обладает ни твердыми теоретическими основаниями, ни выработанными методами, так как собственно физиологической школы в настоящее время не существует. Настоящая физиологическая школа должна возникнуть на прочных основаниях физики и химии...

Подобно тому, как физиология животных обязана своим началом медицинским школам, так и физиология растений будет в значительной мере обязана своим развитием агрономическим школам, и в настоящее время сельскохозяйственные академии, опытные станции, кафедры агрономической химии едва ли не важнейшие центры, в которых развивается физиология растений, в особенности физиология питания...»

Это был поразительный по ясности и смелости план полного преобразования одной из важнейших областей науки о жизни, дерзкое утверждение, что академическая наука будет преобразована практической, земледельческой наукой. Это был, кроме того, план научной работы, твердо и точно предписанный Тимирязевым самому себе на всю жизнь, — случай, почти беспримерный в истории науки.

Он поехал сначала в Гейдельберг. Там он работал у крупнейших немецких физиков — Бунзена, Гельмгольца,

Кирхгофа — в двухэтажном здании университетских физических лабораторий, которое с немецкой высокопарностью именовалось «дворцом природы». Здесь были точно отмерены часы для работы, для сна, для неизменной кружки пива. И даже для восхищения природой предназначалось специальное место — Рорбахское шоссе с сентиментальным пейзажем развалин средневекового замка за Неккаром, шоссе, которое называлось «дорогой философов», потому что многие поколения немецких ученых совершали именно тут, и больше нигде, свои вечерние прогулки.

Но Тимирязев спешил в Париж, где Буссенго создавал агрономическую науку, Бертло проникал в тайны строения сложнейших веществ, вырабатываемых в живом теле, и Клод Бернар, великий физиолог, сын крестьянина, демонстрируя на своих лекциях сходство жизненных процессов у животного и растения, восклицал: «Душа? Хотел бы я, чтобы мне ее показали!»

Это был Париж кануна франко-прусской войны, кануна Парижской коммуны. Общественные, политические новости живо обсуждались в лабораториях. Удивительным показалось это после чинных петербургских лабораторий. Не походило это тоже и на гейдельбергский «дворец природы», где все было разграфлено по линейке, выстроено по ранжиру и самый воздух, казалось, был высушен так, как растения в гербарии.

— У нас долбят, — сказал однажды Тимирязев великому химику, — что тот, кто посвятил себя науке, умер для общественной жизни.

Он вспомнил остзейского барончика на лекциях Менделеева.

Бертло расхохотался:

— Ученый не должен заниматься политикой! Это афоризм царедворца.

Два года провел Тимирязев за границей. Вернувшись на родину, он защитил магистерскую, затем докторскую диссертации — все на ту же тему о создании живого из неживого при помощи солнечного света в зеленом растении.

Он был избран профессором Петровской академии; в Московском университете он создал первую в России кафедру анатомии и физиологии растений.

Среди студентов академии росли революционные настроения. Нескольких исключили по политическим мотивам. Трех арестовали. В их числе был Владимир Галактионович Короленко, будущий замечательный писатель. Сам министр, князь Ливен, председательствовал на совете, разбиравшем дело. И только один голос раздался в защиту студентов — голос Тимирязева.

Так писал об этом позднее Короленко Тимирязеву;

«Мы, Ваши питомцы, любили и уважали Вас в то время, когда Вы с нами спорили, и тогда, когда учили нас ценить разум как святыню. И тогда, наконец, когда Вы пришли к нам, троим арестованным Вашим студентам, а после до нас доносился из комнаты, где заседал совет с Ливеном, Ваш звонкий, независимый и честный голос. Мы не знали, что Вы тогда говорили, но знали, что то лучшее, к чему нас влекло тогда неопределенно и смутно, звучит и в Вашей душе в иной, более зрелой форме».

В самом начале девяностых годов студенты Московского университета в годовщину смерти Чернышевского решили не слушать лекций. Они предупредили профессора Тимирязева, и он не пошел в университет. В этот день студенты отслужили в церкви панихиду о рабе божьем Николае.

Когда следующая очередная лекция Климента Аркадьевича уже началась, в аудиторию вошел декан, известный математик Н. В. Бугаев. Он был бледен, и

руки его, в которых он держал какую-то бумагу, заметно дрожали. Приподнявшись на цыпочки, он зашептал на ухо Тимирязеву. Оказалось, что надо было объявить выговор, и притом перед студентами, профессору Тимирязеву за пропуск предыдущей лекции, за явное участие в студенческой демонстрации, бунте и мятеже, и профессор Бугаев не знал, как это ему сделать. Климент Аркадьевич, улыбаясь, взял из рук Бугаева бумагу и сам себе прочел выговор. Буря возмущения разразилась в аудитории. Но, остановив знаком руки крики студентов, Тимирязев сказал:

— У нас с вами более серьезные вопросы на очереди.

И как ни в чем не бывало продолжал прерванную лекцию.

Имя Тимирязева гремело. В Петровскую академию к нему приезжали ботаники, агрономы, работники редких тогда сельскохозяйственных опытных станций — настоящее паломничество.

Наука Тимирязева служила народу. В России, через два года на третий поражаемой недородом, в России, где миллионы земледельцев-крестьян были вынуждены в страшные голодные годы питаться лебедой, Тимирязев самой святой задачей науки объявил: добиться, чтобы два колоса вырастали там, где рос один.

Для этого требовалось много условий, одно из которых, важнейшее, не зависело от ученого. Нужно было сделать отсталую страну передовой, смести помещичий, царский строй. Но другое, тоже необходимое условие зависело от ученого, и общество ждало и требовало, чтобы наука выполнила это условие. Ученый должен познать самые глубокие, самые тайные процессы жизни растения, чтобы разгадать их, стать их хозяином, направить по-своему — и изменить растение.

Дарвин доказал, что такое изменение возможно. Мало того — изменения живых существ необходимо происходили в истории жизни на земле и в истории прирученных человеком животных и культурных растений. Теория Дарвина давала общие законы превращения живого мира. Тимирязеву было ясно, что всякая и теоретическая и практическая работа в биологии — наука о жизни — может идти теперь только под знаком Дарвина.

И как же неукротимо защищал он всю жизнь учение Дарвина, пропагандировал его, двигал вперед! Деятельность Тимирязева-дарвиниста поистине беспримерна. Всю силу, всю страсть свою, всю свою

беззаветную преданность науке, безукоризненную честность мысли и непоколебимую веру в торжество правого дела отдал он защите и развитию идей Дарвина в науке, обороне их от всяческих врагов. И по признанию самих врагов, величайшим дарвинистом мира («а дарвинистов в науке столько, сколько истинных натуралистов», замечал Тимирязев), величайшим не просто продолжателем, но строителем учения Дарвина после смерти его творца был именно Тимирязев.

Сам же он вспоминал как об особенном счастье своей жизни, что ему удалось встретиться с Дарвином и говорить с ним. Случилось это тогда, когда Тимирязев был еще молодым ученым, а Дарвин — стариком. Он жил в маленьком провинциальном английском селении Даун. Дарвин был слаб, постоянно болел, и семья оберегала его от назойливых посетителей, которые со всех стран стекались в Даун. Но к Тимирязеву Дарвин вышел.

«Передо мной, — вспоминал Тимирязев, — стоял величавый старик с большой белой бородой и спокойным, ласковым взглядом глубоко впалых глаз».

Дарвин повел русского ученого в теплицу. Странные растения взбирались там по натянутым бечевкам; листья, покрытые слизистыми волосками, на глазах сами, как кулаки, сжимались, когда в них осторожно клали кусок мяса или мелких насекомых. То были насекомоядные растения, предмет одного из последних изысканий Дарвина, странные растения, питающиеся живыми существами и переваривающие их так, как переваривает пищу желудок животного (опять единство жизненных явлений в животном и растительном мирах), растения, настолько удивительные, что до исследования Дарвина многие ботаники отрицали само их существование.

Тогда, в Дауне, встретились тот, кто открыл общий закон развития жизни на земле, и тот, кто хотел

разгадать, каким образом вообще возникает живое вещество.

Вокруг нас — воздух, вода, камни, песок, почвы — твердая оболочка земного шара с ее минералами. Физики и химики изучают их; составлены точнейшие списки простейших химических веществ — элементов, из которых состоит весь неживой мир.

Но из этих же элементов состоят и тела всех живых существ. Никаких новых, особых «жизненных» элементов там нет. Как же превращают живые организмы в свое тело вещества неживого мира? Как оживляется внутри живых организмов материя? Ни одному химику пока не удается добиться такого превращения в своих ретортах. А в живых существах оно происходит постоянно — иначе не было бы и самой жизни.

Хищные животные поедают травоядных. Травоядные питаются растениями. Но и такие растения, как, например, грибы, живут за счет перегноя, то есть за счет органических веществ, уже раньше образованных какой-то другой жизнью.

Все это жизнь-нахлебница, которая сама по себе не могла бы существовать.

Только внутри зеленых растений живое вещество образуется непосредственно из веществ минеральной среды. Тут как бы исходный пункт всякой жизни. В этой самой удивительной лаборатории, общей кормилице — в зеленом листе, — скрыта величайшая тайна живого мира.

И ее-то всю свою жизнь разгадывал Тимирязев.

Путь, который лежал перед наукой, проникающей в тайны зеленого листа, еще не пройден до конца. Но самую значительную часть этого пути прошел Тимирязев.

Он твердо доказал, что в распоряжении растения нет никаких особых, сверхъестественных сил: работа

зеленого листа полностью подчинена, как и все в природе, закону сохранения энергии.

Тимирязев изобретал прибор за прибором для точнейшего исследования таинственного явления. Скоро он мог уже анализировать состав миллионных долей кубического сантиметра газа, выделенного растением, — поистине микроскопические газовые пузырьки.

Марселен Бертло однажды сказал ему:

— Каждый раз, что вы приезжаете к нам<sup>[17]</sup> вы привозите новый метод газового анализа, в тысячу раз более чувствительный.

Но эти тончайшие исследования сами по себе он никогда не считал бы достигшими своей цели, пока результаты, добытые наукой, не стали бы общим достоянием. Служение науке в глазах Тимирязева было неразрывно со служением миллионам людей. Он повторял: «Наука должна сойти со своего пьедестала и заговорить языком народа». И в 1875/76 году он читает целый курс публичных лекций — вещь неслыханная в те времена! — в Московском политехническом музее. И из этих лекций вырастает вторая популярная книга Тимирязева — «Жизнь растения», которой была суждена такая же исключительная судьба, как и книге о дарвинизме. О ней, об этой новой книге, рецензент знаменитого английского естественнонаучного журнала «Природа» писал, что она на голову с плечами выше всех других подобных книг. Дукинфильд Скотт, ботаник с мировой известностью, говорил:

— Это самая интересная книга, которую я когда-либо читал.

Шестьдесят пять лет протекло с того времени, как она возникла, но все новые и новые издания ее появляются на свет, на новые языки переводится она, словно неувядаемая сила заключена в слове Тимирязева.



Он хочет показать, что нет такого научного вопроса, о котором не нужно и не интересно было бы знать обществу. Он читает ряд лекций о «задачах современного естествознания». Огромную аудиторию собирают его публичные чтения, объединенные потом в книгу «Земледелие и физиология растений».

Чтобы сделать зримыми для всех процессы, протекающие в живом растении, он конструирует замечательный «вегетационный домик» со стеклянными стенками, где растения растут в стеклянных сосудах, питаясь химически выверенными, растворенными смесями солей.

Но все тернистей и тернистей становится путь Тимирязева. Во вражеском лагере — во всем этом гигантском тысячеликом болоте реакции, против которого восстал Тимирязев, — тоже понимают, что тимирязевская наука — это не бесстрастная, бессильная, беззубая академическая наука, но боевое оружие. Опровергнуть его взгляды пытались сотни раз. Столпы официальной науки и ее титулованные покровители выступали против Тимирязева и его идей в газетах и журналах, в толстеннейших книгах. Но кончилось это конфузом, позором для опровергателей и новым торжеством Тимирязева. Тогда были приняты все меры к тому, чтобы выбить из рук Тимирязева его научное оружие.

В министерских канцеляриях, в черносотенных листках на него строчат доносы, его травят.

Студенчество Петровской академии объявили неблагонадежным. Академию закрыли, потом вместо нее открыли институт. Тимирязева в институт больше не приглашали. Он был еще профессором в Московском университете. Когда исполнилось тридцать лет его научной деятельности, его торжественно поздравили и объявили:

— Теперь вы выслужили положенное число лет, в вам пора на покой.

Он остался только внештатным профессором.

Приближался революционный 1905 год. Бастовали рабочие, бастовали студенты. Перетрусившим профессорам предлагали подписывать обращение к студенчеству.

— Вы их учителя, удержите их от волнений.

Внештатный профессор Тимирязев ответил:

— Я этого не подпишу.

Тогда его попытались удалить от дел — авось смирится. Но великий ученый не смирился.

В это время у него была уже мировая слава.

В 1903 году он получил приглашение от Лондонского королевского общества прочесть крунианскую лекцию.

Вернувшись на родину, он напечатал в 1905 году в «Русских ведомостях» статью, по поводу которой ему сказали:

— Ого, батенька, да вы намекаете на республику!

Он выходит в отставку в 1914 году вместе с 125 научными работниками в знак протеста против разгрома, которому подверг Московский университет министр Кассо, в том самом году, когда Лондонское королевское общество избирает русского ученого Тимирязева своим членом.

Удар и временный паралич сваливают его, но он еще может писать и диктовать. И он пишет десятки статей, в том числе и для энциклопедии Граната. Здесь Тимирязев рассматривает самые решающие, узловые вопросы науки, человеческого знания вообще, истории борьбы за знание, большие, спорные вопросы современной научной мысли. Энциклопедист, он подытоживает свою необъятную эрудицию.

Без всяких оговорок и колебаний Тимирязев принял Октябрьскую революцию. Он был в числе первых ученых, сразу перешедших на сторону восставшего народа.

Рабочие избрали его членом Московского Совета. Он пишет замечательное письмо Московскому Совету, напечатанное на многих языках:

**«ТОВАРИЩИ!»**

Избранный товарищами, работающими в вагонных мастерских Московско-Курской железной дороги, я прежде всего спешу выразить свою глубокую признательность и в то же время высказать сожаление, что мои годы и болезнь не позволяют мне присутствовать на сегодняшнем заседании.

А вслед за тем передо мной встает вопрос: а чем же я могу оправдать оказанное мне лестное доверие, что я могу принести на служение нашему общему делу?

После изумительных, самоотверженных успехов наших товарищей в рядах Красной Армии, спасших стоявшую на краю гибели нашу Советскую Республику и вынудивших тем удивление и уважение наших врагов, — очередь за Красной Армией труда. Все мы — стар и млад, труженики мышц и труженики мысли — должны сомкнуться в эту общую армию труда, чтобы добиться дальнейших плодов этих побед. Война с внешним врагом, война с саботажем внутренним, самая свобода — все это только средства: цель — процветание и счастье народа, а они создаются только производительным трудом. Работать, работать, работать! Вот призывный клич, который должен раздаваться с утра и до вечера и с края до края многострадальной страны, имеющий законное право гордиться тем, что она уже совершила, но

еще не получившей заслуженной награды за все свои жертвы, за все свои подвиги. Нет в эту минуту труда мелкого, неважного, а и подавно нет труда постыдного. Есть один труд: необходимый и осмысленный. Но труд старика может иметь и особый смысл. Вольный, необязательный, не входящий в общенародную смету, — этот труд старика может подогрывать энтузиазм молодого, может пристыдить ленивого. У меня всего одна рука здоровая, но и она могла бы вертеть рукоятку привода; у меня всего одна нога здоровая, но и это не помешало бы мне ходить на топчаке.

Есть страны, считающие себя свободными, где такой труд вменяется в позорное наказание преступникам, но, повторяю, в нашей свободной стране в переживаемый момент не может быть труда постыдного, позорного.

Моя голова стара, но она не отказывается от работы. Может быть, моя долголетняя научная опытность могла бы найти применение в школьных делах или в области земледелия. Наконец, еще одно соображение: когда-то мое убежденное слово находило отклик в ряде поколений учащихся; быть может, и теперь оно при случае поддержит колеблющихся, заставит призадуматься убегающих от общего дела.

Итак, товарищи, все за общую работу не покладая рук, и да процветет наша Советская Республика, созданная самоотверженным подвигом рабочих и крестьян и только что у нас на глазах спасенная нашей славной Красной Армией!

*Климент Аркадьевич Тимирязев,*

*член Московского Совета Рабочих,  
Крестьянских и*

*Красноармейских депутатов.*

*6 марта 1920 г.».*

Да, труд и долголетняя научная опытность этого старика не могли не найти применения в свободной Республике Советов.

Он был избран членом Социалистической академии: в Наркомпросе он вошел в Государственный ученый совет. Он стал председателем ассоциации натуралистов рабочих-самоучек.

20 апреля 1920 года, после участия в заседании коллегии сельскохозяйственного отдела Моссовета, Климент Аркадьевич весь вечер, до одиннадцати часов, работал за письменным столом над предисловием к последнему сборнику своих научных трудов — «Солнце, жизнь и хлорофилл». Ложась спать, он почувствовал себя больным. Это было крупозное воспаление легкого. Сдало сердце. Предисловие к книге «Солнце, жизнь и хлорофилл», скромно названной им итогом его «полувековых попыток ввести строгость мысли, блестящую экспериментацию физики в изучение самого важного физиологического явления», осталось незаконченным.

Утром 27 апреля воспаление перешло на другое легкое.

В этот день пришло письмо от Владимира Ильича Ленина, приведенное нами во II главе этой книги.

То была последняя великая радость Тимирязева.

Его сердце перестало биться в полночь с 27 на 28 апреля 1920 года.

За день до смерти он сказал врачу-коммунисту Б. С. Вейсброду, лечившему его:

«Я всегда старался служить человечеству и рад, что в эти серьезные для меня минуты вижу вас, представителя той партии, которая действительно служит человечеству. Большевики, проводящие ленинизм, — я верю и убежден, — работают для счастья народа и приведут его к счастью. Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали. Передайте всем товарищам мой искренний привет и пожелание дальнейшей успешной работы для счастья человечества».

Так сумел умереть этот человек.

## VI

Эта жизнь была пламенным трудовым подвигом. В изумлении останавливаешься перед неисчерпаемой огромностью того, что сделал Тимирязев.

Неукротимый борец, ученый-гражданин, педагог, воспитавший несколько поколений замечательных исследователей, экспериментатор, пролагавший новые пути в лабораторной практике, «патриарх русской агрономии», неутомимый переводчик, включивший в русскую литературу сотни печатных листов образцовых созданий мировой общественной и научной мысли, замечательный популяризатор, самый блестящий в русской (а быть может, не только в русской) научной литературе, автор свыше 100 специальных работ, свыше 150 статей, нескольких десятков книг, публичный лектор, впервые в России выступивший перед «вольной аудиторией» со связными курсами целых дисциплин, действительный и почетный член четырех десятков академий, университетов, научных обществ всего мира...

Работа до краев наполняла эту жизнь.

Но те, кто лично знал Тимирязева, сохранили нам образ не педанта, углубленного в свои микроскопы, в свои книги, позволяющего себе прогулки только из дома в аудиторию, на опытные поля да в «сады мысли», но человека, открытого всем живым радостям мира. Он страстно любил природу, путешествия, далекие переходные экскурсии; с ним был неразлучен фотоаппарат, и объектив его направляла чаще всего не рука ботаника, но рука влюбленного в солнце, в реки и моря, в высокое небо, цветущую землю и великие сокровища, созданные на ней человеческой культурой.

Работая, он напевал.

Но действительно была в нем и подтянутость, привитая еще воспитанием в родительском доме и сохранившаяся на всю жизнь, как ненависть ко всяческой внутренней и внешней распушенности и неряшливости, как уважение к труду и умение работать.

Страстное горение этой жизни не прекращалось ни на день, и кличка «неистовый Климент», кем-то данная еще в восьмидесятых или девяностых годах, так же пристала к Тимирязеву, как «неистовый Виссарион» пристало к Белинскому.

Но это было внутреннее кипение, которому строжайшая дисциплина воли не позволяла прорваться наружу. Джентльменски корректным, говорившим ровно, неспешно («90 слов в минуту», сосчитал один из его учеников), с дикцией далеко не идеальной, но энергичными, чеканными фразами, передающими мысль с исключительной ясностью, «так что стенограммы его речей могли бы неуправленными идти прямо в печать», — таким запомнили Тимирязева знавшие его.

В Тимирязеве не было ровно ничего от «ученого чудака». Он не страдал ни рассеянностью, ни забывчивостью. Наоборот, во всем, до мелочей, он был пунктуально точен.

Общительный, живой, с тонкими подвижными чертами лица и ясным взглядом умных глаз, он и в самом облике своем обладал каким-то особенным изяществом. В споре он никогда не кричал и никогда не говорил грубостей. Но он умел так уничтожить противника, что тому до конца дней своих было уж не забыть «разноса», учиненного ему Тимирязевым.

Однажды осенью 1919 года меньшевик Суханов вздумал выступить перед профессором Тимирязевым с критикой большевиков. «В ответ на это он получил, — вспоминает сын Климента Аркадьевича А. К. Тимирязев, — такую страстную отповедь, что, как говорят, горшком выкатился из кабинета и уже больше



никогда не появлялся. Но в этой отповеди, по существу уничтожающей противника, не было ни одного ругательного слова».

После Октябрьской революции Тимирязев не мог равнодушно слышать никакого упоминания о саботаже.

Самые жесткие меры по отношению к саботажникам он оправдывал и готов был предложить сам. И ему ли, чья наука и вся жизнь были служением народу, ему ли было мириться с презренным нежеланием работать для народа?

Быть может, никто во всей истории мировой науки не умел с такой отчетливостью, как именно Тимирязев, показать гражданственность науки, убедить, что наука не есть дело одних ученых и что интересы ее сплетаются с самыми важными интересами общества.

Он сказал: «Борьба со всеми проявлениями реакции — вот самая общая, самая насущная задача естествознания».

Он перевел большой отрывок из «Грамматики науки» Пирсона ради содержащегося там утверждения, что точная современная наука — лучшая школа гражданственности.

Французский писатель Флобер говаривал, что он хотел бы укрыться от житейской суеты в башне из слоновой кости. Таковую башню Тимирязев ни за что не счел бы подходящим местом для великих открытий.

Он мечтал о типе гармоничного человека (и всей своей жизнью пытался воплотить его). Он вспоминает о Юнге, основателе оптики, который взял за правило, что человек должен уметь делать все, что делает другой человек.

«Творчество поэта, диалектика-философа, искусство исследователя — вот материалы, из которых слагается великий ученый», — ни у кого, кроме Тимирязева, мы не найдем такого, поистине поразительного определения.

Его собственный опыт показал, что развитие науки не безмятежная идиллия. Это жестокая борьба. Он видел, что многое на деле происходило не так, как пишут в учебниках, многое неосновательно забыто, и он создает ряд замечательных этюдов по истории науки, десятки страниц, которые и по сейчас не превзойдены. Он создает жанр боевой публицистической биографии — каждому независимо от специальности стоит прочесть, что он написал о Лебедеве, Вырубове, Бертло, Пастере и о более старых — Сенебье, Пристли, Лавуазье, Роберте Майере.

Однако для него задача заключалась не только в том, чтобы устанавливать научные истины, но и в том, чтобы сделать их общим достоянием.

«С первых же шагов своей умственной деятельности я поставил себе две параллельные задачи: работать для науки и писать для народа, то есть популярно».

Впервые и, быть может, единственный раз в истории науки была формулирована равноценность задач ученого и популяризатора.

Он владел огненным словом. Он не снисходил к «профанам» и не выполнял «скучной обязанности».

В 1884 году он написал замечательные строки:

«Делая все общество участником своих интересов, призывая его делить с ней радости и горе, наука приобретает в нем союзника, надежную опору дальнейшего развития».

Перечитывая мастерские образцы тимирязевской популяризации, поражаешься, как умел этот человек писать о самых, казалось бы, сухих и скучных вещах, как умел показать, что они касаются всех и должны быть интересны всем. Он избегал псевдоученого жаргона. Он не боялся (как и в своих научных работах) процитировать Шекспира, Некрасова. Общедоступности он достигал высочайшим культурным уровнем своей популяризаторской работы.

Науку он изображал не как некий недостижимый храм, в котором облеченные чудесным всезнанием жрецы совершают таинственные обряды, приоткрыв только краешек завесы для непосвященных. Нет, Тимирязев не устает повторять: наука — это мастерская, учись работать, тебе найдется место в ней!

Он умел заражать радостью научного творчества, поэзией науки. Он учил понимать и потому любить науку.

Мало кто так писал о людях и их деле, как писал Тимирязев. Его ученик вспоминает, что люди избирали специальностью биологию, прочтя Тимирязева. И это веская похвала для пропагандиста науки.

Тимирязев не уставал подчеркивать: кто ясно думает, тот ясно пишет. И много раз напоминал, какое значение придавали великие натуралисты старых времен языку своих произведений.

В нем самом было многое от таких великих натуралистов прошлого — от людей, которых называли энциклопедистами, «живыми университетами», потому что они владели всей областью своей науки, а не узеньким коридорчиком в ней.

Говорят: это было возможно во времена Аристотеля, какого-нибудь средневекового Гесснера, даже, скажем, Александра Гумбольдта.

Тимирязев доказал, что это возможно в наше время и что это тип научной работы, который не только не препятствует глубокому овладению какой-либо специальной областью в науке, но, наоборот, позволяет увидеть и открыть другим самые широкие горизонты и в этой области, и во всей науке.

Три качества он считал безусловно необходимыми для большого ученого: *творческое воображение*, которое соответствует воображению художника; *трудолюбие*, сочетаемое с самой суровой самокритикой, *отбором*. Он утверждал, что отбор — это важнейшая

составная часть научной работы, всякой выработки ценностей вообще. Это он иллюстрировал ссылками на Дарвина, Фарадея, Ньютона, Руссо, Флобера, Толстого и художника Мейссонье.

«Великие мыслители достигали высоких результатов не потому только, что верно думали, но и потому, что много думали и многое из передуманного уничтожали без следа».

В другой раз он сказал так: «Великие художники, конечно, тоже искали новых путей, но они сообщали миру только свои находки, а свои «искания» хранили в своих мастерских или без жалости их уничтожали».

## VII

Патриархом русской агрономии называли его, русским Геккелем и даже русским Дарвином. Англичане писали о нем как о первом ботанике мира, и тиражи «Жизни растения» соперничали в Англии с тиражами Диккенса.

Но удивительная вещь! Вот мы раскрываем пухлую книжищу на много сотен страниц. Это даже не Пантеон, это — поименный список всех людей, когда-либо оставивших некий след в истории науки. С какой дотошностью, с какой любовью к архивной пыли составлен этот историко-научный формуляр, и кого в нем нет! Пустопорожние доценты, отпечатавшие сообщение в несколько строк в «прибавлениях» к какому-либо академическому «вестнику»: императоры и короли, велевшие замостить дорогу или поощрившие винокурение; средневековые доктора в шапочках сирийских магов, столетия почивавшие в мире и всеобщем забвении. Одного только имени не знает универсальный «хандбук» по истории естествознания и техники ученойшего Дармштедтера: имени Тимирязева. Не было не то что великого исследователя тайн живой природы — не было вообще никакого Тимирязева.

Случайностью не объяснить этой рассеянности немецкого историка науки.

Была своя закономерность в разительном отличии отношения к Тимирязеву официальной науки Германии от отношения к русскому ученому английской и французской науки, всей передовой науки мира. Наука бряцающего оружием пруссачества, крохоборческая, близорукая, шовинистическая, давно забывшая о великанах, некогда создавших славу немецкому естествознанию, — эта наука знала, кто был ее

непримиримым противником и разоблачителем ее ничтожества. Именно в немецких университетах расплодились те «полчища специалистов, различных «-истов» и «-логов», пигмеев, величавших мечтателем и фантазером всякого, пытавшегося окинуть взором более широкий горизонт», как говорил о них Тимирязев.

В немецких университетах работали непримиримые враги научного дела Тимирязева — ботаники Сакс, Пфеффер, Франса, которые в самой науке своей ханжески и раболепно пресмыкались перед непостижимой, сверхъестественной «жизненной силой», как и вся их наука пресмыкалась перед прусской казармой, «тайными советниками» и генеральским сапогом.

И, заклеивши их, с гневным презрением отвернулся от них Тимирязев — от них и от расистской проказы, которую уже тогда занесли на университетские кафедры Германии достойные предшественники нынешних фашистских мракобесов.

Почти три четверти века прошло со времени смерти Тимирязева.

Время — неподкупный судья.

Те, кто спорил с Тимирязевым и не мог оспорить, те, кто со спесивой важностью воображал, что умалит его своим озлобленным молчанием, — где они теперь, эти пигмеи? Кто знает, кто помнит о них?

Но, как горные вершины, которые, чем дальше отойдешь от них, тем отчетливее вырисовываются во всей своей истинной громадности, так все величественнее, все огромное вырастает перед нами фигура Тимирязева — ученого-гражданина, ученого-бойца, великого натуралиста.

В очень многих своих научных воззрениях он опередил свое время. В книгах его есть страницы, смысл

которых полностью раскрылся только сегодняшней науке. А есть и такие страницы, которые, несомненно, укажут путь в науке завтрашнего дня.

Живой голос Тимирязева доносится до нас сквозь даль четверти века. Он чище, отчетливее нам слышен, чем слышали его даже современники. Он помогает решать, распутывать споры, касающиеся наших нынешних научных дел и событий.

Самая могучая наука о живой природе, наука, создающая новых животных и новые растения, наука, которая древнюю власть земли заменила в нашем Советском государстве властью над землей, — это тимирязевская наука, подхваченная сейчас десятками прямых учеников великого ученого и тысячами учеников заочных — университетских профессоров, селекционеров, агрономов, колхозников-опытников.

В предвоенные годы по решению правительства Советского Союза было издано собрание сочинений Тимирязева. Последние тома выходили тогда, когда на Западе уже запылал военный пожар, зажженный разбойничьим гитлеровским империализмом.

И мы по-новому перечитали страницы, написанные Тимирязевым четверть века назад, во время войны 1914–1918 годов. «Я — русский человек», — писал он тогда. Он разоблачал чудовищную пропаганду расовой ненависти. Какие гневные слова он находил, чтобы бичевать «тех, чья специальность — спускать с цепи демона войны»! Ложь, «ложь во всех видах» — вот ядовитое оружие поджигателей войны. Обрекая на муку, на смерть миллионы, они и свой собственный народ «с завязанными глазами» толкают в пропасть.

И «перед леденящим ужасом совершающегося» старый рыцарь истины Тимирязев восклицает:

— Долой ложь!

В июне 1917 года, когда народы половины Европы стонали под гогенцоллерновским сапогом, — в том

самом июне, когда большевики повели за собой в Петрограде четырехсоттысячную демонстрацию народных масс и красные знамена вселили страх в сердца министров правительства Керенского, 75-летний ученый пишет статью «Красное знамя». «Воспряньте, народы, — призывает он в ней, — и подсчитайте своих утеснителей, а подсчитав — вырвите из их рук нагло отнятые у вас священнейшие права ваши: право на жизнь, на труд, на свет и прежде всего на свободу, и тогда водворится на земле истина и разум, производительный труд и честный обмен их плодами».

Никакой рассказ о Тимирязеве не заменит его собственного живого слова.

Не только ботаники, не только биологи, не только научные работники должны читать Тимирязева — нет, вся наша молодежь, кто бы это ни был: учителя, студенты, инженеры, полеводы, стахановцы в тылу, бойцы на фронтах Великой Отечественной войны с германским фашизмом.

Потому что мало таких молодых по духу книг, как книги Тимирязева, мало книг, которые так бы вдохновляли к творчеству, к смелым дерзаниям, к великим открытиям, как всегда, во всем учили бы любить истину и бороться за нее, как книги Тимирязева.

*1943 год*



## **А. СИДОРОВ ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН**

В тихом переулке Замоскворечья стоит невысокий дом. Строитель придал ему вид древнего полусказочного терема. Раньше небольшой, дом этот в годы революции разросся, широко раскинул крылья-пристройки. Над входом надпись. Она называет имя всемирно известной сокровищницы искусства: Третьяковской галереи.

Эта галерея самая посещаемая, самая народная, самая массовая из всех художественных галерей на земле. Русское национальное искусство тут показано и развернуто так, как нигде. И как бы в центре его, великолепным средоточием красоты и правды, равно понятное и близкое всем посетителям: школьникам, красноармейцам, учащимся художественных вузов — кому угодно, сияет могучее творчество художника, чье имя давно признано самым популярным среди всех имен нашего живописного искусства, — творчество Репина.

Тургенев назвал Льва Толстого «великим писателем земли Русской». А Репина можно бы назвать «великим художником земли Русской».

Спросите посетителей Третьяковской галереи, какая картина из всего музея произвела самое большое впечатление, глубже врезалась в память, сильнее всего взволновала сердце. И подавляющее большинство в ответ назовет картину Репина «Иван Грозный и его сын».

Перед зрителем большая, богатая, но мрачная древняя комната. Ковры. Тусклый цвет. Опрокинутое мягкое сиденье... Стариной веет на нас ото всех тяжелых тканей, пышного «узорочья» затененных углов.

Но старина эта существует в картине не сама по себе, а как составная часть драмы, которая разворачивается в середине картины. Эта драма захватывает, подавляет нас.

Драма эта на самом деле случилась в истории. В припадке гнева, в пылу ссоры Иван Грозный ударил и смертельно ранил своего сына. И на картине изображен тот момент, когда сын упал, и ярость, гнев мгновенно сменились у отца предельным горем, ужасом, непереносимой скорбью.

Не просто семейная драма на полотне Репина. Перед нами не только отец: это — царь. Художник, воскрешая Историю, заставляет зрителя как бы стать очевидцем этой драмы далекой нашей старины, воочию увидеть Ивана Грозного, царя и человека.

Эту картину пытался «запретить» министр Александра III, мракобес Победоносцев, считавший недопустимым так изображать царя.

Сотни страниц написаны о картине Репина, сделано множество попыток объяснить ее. Но все объяснения неизменно терпели неудачу, потому что к картине подходили с какой-нибудь одной стороны, видели в «Иване» или, подобно Победоносцеву, только царя, разоблачаемого художником, или только человека, или только театрално-трагическую сцену, в которой безразлично, кто действующие лица. Но при таком одностороннем подходе нельзя понять великого произведения искусства. В картине Репина все важно, все слито: и царь, и отец, и человек одновременно. В картине, и скажем сразу, не в ней одной, а во всех лучших созданиях Репина, сливается в одно целое внешняя и внутренняя стороны, краски и линии с изображаемыми человеческими переживаниями, то есть то, что условно называется формой, и то, что называется содержанием.

История русской живописи знает много высокодаровитых художников. Но ни одного не было, в картинах которого глубина мыслей и чувств сочеталась бы с таким живописным мастерством, как у Репина. Репин — самый глубокий, самый волнующий среди всех мастеров русской живописи недавнего прошлого, и в истории нашего искусства он занял место совершенно особенное.

Знать его жизнь и основные этапы творчества необходимо каждому.

\* \* \*

Он родился на Украине, в Чугуеве, неподалеку от Харькова, в 1844 году, 24 июля. Отец его, Ефим, был военный поселенин из казаков. Долгое время он служил в царской армии, семья без него нуждалась. Мать Ильи шила, выполняла всякую тяжелую работу, чтобы прокормить детей. Репин впоследствии вспоминал, что в детстве ломоть черного хлеба с солью казался ему лакомством. Но вместе со своей сестрою, рано умершей Устей, он в детстве же нашел для себя радость в рисовании. Родственник, мальчик Тронька, впервые подарил Илье акварельные краски, и художник рассказывает, каким большим счастьем для него было смотреть, как раскрашивает Тронька черные картинки детской азбуки, а затем и самому рисовать красные розы. Важно отметить, что с ранних лет Репина тянуло к цвету, к краскам. Он был одним из самых прирожденных живописцев, какие только известны в истории искусства.

В годы Крымской войны Репин поступил в чугуевскую школу топографов. «Больше всего мне нравилось, — вспоминал он впоследствии, — что на многих тарелках лежали большие плитки свежих

красок, — казалось, они совсем мягкие и так сами и плывут на кисть». Школа должна была готовить чертежников военно-топографических карт. В 1857 году ее закрыли. Репин поступил в обучение к живописцу Бунакову, который расписывал церкви.

Бунаков, по существу первый учитель Репина в области искусства, не был иконописцем. Иконописание — старинное ремесло. Оно опиралось на многие навыки, сохранявшиеся в нашем народе, и нередко переходило из рода в род. Иконописцы издревле писали на досках особыми (яичными) красками, имели свою древнюю технику живописи, с натуры не рисовали, во всем придерживались старины. В работах мастеров Палеха и Мстеры уже в наши дни достигло своего расцвета то народное живописное мастерство, которое лежало в основе иконописи.

Бумаков же писал образа на картине или прямо на стенах церквей, следуя в своем деле не старинной русской иконе, а новой, ему современной религиозной живописи, поскольку он знал о ней по книгам и по гравюрам.

Репин вспоминает, как он сам мальчиком зарабатывал деньги расписыванием пасхальных яиц, на которых он изображал религиозные картинки, взятые из какого-нибудь журнала. Это искусство, пришедшее к Репину из вторых рук, было не очень хорошим. И важнее для развития будущего великого художника было то, что он как-то на собственный страх рискнул изобразить красками знакомую девочку, которая так соскучилась сидеть неподвижно перед мальчиком-живописцем, что заснула.

К девятнадцати годам Репин скопил небольшую сумму денег и решительно переломил свою жизнь — поехал в Петербург учиться искусству.

Так он впервые увидел железную дорогу и большие города.

Время, когда юноша небольшого роста, худощавый, подвижный, застенчивый и увлекающийся, добрался до северной столицы, было бурливым, полным движения и сил. Россия просыпалась. Шли шестидесятые годы. В составе передовой части русского общества, которая выдвинула великих просветителей — Чернышевского, Добролюбова, Писарева, не на последнем месте были художники. В старые стены чинной Академии художеств пришли в шестидесятые годы новые люди — разночинцы, вольнослушатели, которых сюда привело не стремление к легким успехам на путях великосветской, эффектной и лживой красоты, а любовь к настоящему искусству.

Все русское искусство тех лет — 60-х годов XIX века и позднее — стоит под знаком искания правды. Это суровое, честное и глубоко искреннее искусство.

Репин приехал в северную столицу 1 ноября 1863 года. А 9 ноября того же года в стенах академии произошел настоящий взрыв. Кончающие курс талантливейшие представители русской художественной молодежи просили, чтобы им было позволено писать выпускную (дипломную) картину на тему по свободному выбору из русской жизни. А им в ответ на их просьбы совет академии прямо в издевку назначил тему: «Пир древнескандинавского бога Одина в Валгалле». И, махнув рукой на обещанные медали, на премии и поощрения, заграничные поездки и стипендии, молодые художники единодушно подали прошения об увольнении их из академии вообще. «Единственным днем, прожитым честно до конца» называл потом этот день ухода передовых молодых художников из академии тот из них, который был идейным вождем всей этой группы, — Иван Николаевич Крамской.

Молодой чугуевец приехал в Петербург, имея в кармане семнадцать рублей. Он знал, что ему, может быть, предстоят годы нужды, лишений, голода, и был

готов к этому. Это не останавливало его. Он начинает заниматься искусством в рисовальной школе, которую называли «Школа на бирже».

В январе 1864 года Репин поступает в академию, сначала вольнослушателем. Через год он переходит уже в «натурный класс».

Репин освоил в академии и рисунок, и знание художественного наследия, и всю техническую сторону любимой им живописи. Занимался он там с пользой также и скульптурой, что впоследствии дало ему умение вылепливать красками на полотне изображаемые им лица и фигуры, как живые.

Но значительная доля пользы обучения в академии того времени уничтожалась косными методами преподавания и господствующими в ней косными методами представления об искусстве.

Самый авторитетный из всех профессоров академии, Бруни, рекомендовал Репину стать классическим поэтом, а чтобы добиться в картине удачного расположения фигур, он предлагал вырезать фигуры из бумаги и передвигать их по предварительному наброску до тех пор, пока не будет найдено красивое сочетание этих вырезанных фигурок. По поводу одного из эскизов Репина Бруни, например, упрекнул его в том, что у него написаны живые, обыкновенные кусты.

По-иному, подлинно воспитывали Репина его встречи и беседы с Крамским, его старейшим другом и учителем, с которым он познакомился еще в рисовальной школе. От Крамского Репин слышал о правде природы, о необходимости в искусстве глубоко продуманного смысла, о том, что искусство должно служить людям, быть всецело связанным с жизнью, быть идейным и серьезным. Крамской был умным и глубоким человеком, разглядевшим в Репине и то, что последний по живописному дарованию стоит выше его самого, Крамского.

Редко можно встретить художника, у которого были бы так едины все устремления живописи и жизни, как у Репина. Его ранние картины, выполненные им в Чугуеве, для нас почти полностью потеряны, но две-три, сохранившиеся от того времени, как, например, портрет «Тети Груши» — А. С. Бочаровой, относящийся к 1859 году, свидетельствуют о том, что и мальчиком Репин был реалистом, вдумчиво вглядывавшимся в натуру.

Великая искренность, правдивость и любовь к делу, которое было для него настоящим служением народу; горячее сердце и готовность всем увлекаться; живая непосредственность — вот что было характерно для молодого Репина. Да, в сущности, все это осталось в нем и до конца его долгой жизни: нечто от большого ребенка, всегда трогательно искреннее и постоянно непосредственно живое. В этом был источник и огромной силы его, и свойственных ему слабостей.

В академии его учили компоновать, то есть писать картины по воображению, на основе предварительного тщательного изучения поз и фигур натурщиков, специально поставленных перед студентами в мастерской. Но собственные симпатии влекли Репина к писанию картин на темы жизни, хотя бы самой простой, но увиденной собственными глазами.

Исключительно интересно следить, как в творчестве даже молодого Репина стремление к правде и человечности изображения побеждает заказанные академией темы.

Одна из ранних картин Репина посвящена, например, студентам за подготовкой к экзамену. Эта небольшая живая картинка написана с определенных лиц — с братьев Шевцевых, на сестре которых Репин впоследствии женился.

Для получения медалей, то есть для квалификации, которая должна была дать Репину права и положение в тогдашней чиновничьей России, ему приходилось писать картины на религиозные темы. Таковы «Иов», написанный в 1869 году, за которого он получил малую золотую медаль, затем его выпускная дипломная работа «Воскрешение дочери Иаира», написанная в 1871 году и принесшая художнику заграничную стипендию.

Обе картины академичны, написаны так, чтобы нравиться строгим профессорам, требовавшим от произведений своих учеников в первую очередь освоения всех традиций, благородства цвета и расположения фигур. Но было в картинах и то, что не входило в программу старой школы, что шло вразрез с тематикой, уводившей художника от современной жизни, а именно — живость, человечность. Солнце, реальное и живое, золотит вершины гор над стариком Иовом, чья нищета, болезнь и несчастье противопоставлены лицемерию и сытости его друзей. Неяркий, но трепетный свет свечей живет дочь Иаира, умершую девочку, изображая которую Репин вспоминал свою сестру Устю, подругу детства.

В 1871 году Репин получает первый большой заказ. Хозяин московской гостиницы «Славянский базар» поручает ему написать славянских композиторов, вымышленный групповой портрет, на котором были бы изображены знаменитейшие музыканты России, Польши, Чехии, жившие в разное время. Репин с трудом справился с нелегкой задачей. «Сколько крови перепортили вы мне вашими понуканиями, — писал Репин своему заказчику. — Работа из-под палки возможна ли художнику? Испортить свою репутацию неудачным подмалевком из-за ваших тысячи пятисот рублей я не намерен, я лучше уничтожу картину и возвращу вам деньги». Картину он все же написал (она



находится сейчас в фойе Большого зала Московской консерватории).

Но подлинную репутацию ему составили не заказные «Композиторы», а другая его большая картина того же времени, замысел которой родился в нем самом непосредственно и сильно. Это «Бурлаки», одна из замечательнейших картин всей русской живописи. Репин работал над ней с 1870 по 1873 год. Поразительно, что в это же время над тою же темой «бурлаков» в литературе работал и Некрасов. Но с его знаменитыми строками «Выдь на Волгу — чей стон раздается над великою русской рекой?» Репин познакомился только по окончании картины.

Художник в особой книге воспоминаний, написанной горячо и просто, рассказывает о том, как родился в нем замысел картины. Однажды на берегу Невы среди праздничной толпы гуляющих Репин увидел людей, волокущих тяжелое судно. Были они в отрепьях, во всем чудовищно непохожие на окружающих их благополучных, нарядных дачников. Но ведь были они люди, и такие же русские люди, как и те! Вот что прежде всего поразило Репина в зрелище впервые встретившихся ему бурлаков.

Вместе с замечательным рано умершим молодым живописцем Ф. Васильевым Репин едет на Волгу, чтобы познакомиться там с бытом, с типами настоящих волжских бурлаков, перетаскивающих огромные баржи с хлебом по великой русской реке.

Его картина, ставшая одной из подлинно исторических вех в развитии всего русского искусства, родилась не сразу. Репин работал над нею с исключительной тщательностью, делал нескончаемое количество предварительных набросков, менял в картине порою все от начала до конца.

И вот что мы видим в окончательном варианте «Бурлаков» — на той картине, которая составляет

гордость всего богатейшего живописного собрания Русского музея в Ленинграде.

Яркий день. Жара. Песок на берегу огромной спокойной реки кажется раскаленным. Люди, запряженные как лошади, тянут лямку. Упираясь грудью в лямку, медленно, тяжким шагом идут они наискосок перед зрителем. И у каждого из этих людей свое лицо, своя индивидуальность, своя доля тяжести.

В одном из вариантов «Бурлаков» Репин написал пасмурное, хмурое небо, как хмура и пасмурна жизнь бурлака. Но в окончательной большой картине потрясающее впечатление усилено контрастом между темною группой бурлаков и сияющим жаром солнечного дня. Такое солнце, такой жар были в русской живописи написаны впервые. После «Бурлаков» Репин сразу оказался в числе самых любимых русских художников.

Репину не пришлось бороться за признание. С самого начала он сумел войти в главное русло передовой русской демократической общественности. Если в лице И. Н. Крамского приобрел он, к огромному счастью для всего нашего искусства, умного и внимательного учителя, то в лице В. В. Стасова встретился Репину критик и советчик, такой же любящий и требовательный, часто даже до придирчивости. Их помощь открыла ему широкие просторы успешного и плодотворного труда. Каждое произведение Репина теперь встречалось с огромным интересом, обсуждалось горячо в кругах художников и друзей искусства. Репин стал как бы средоточием всего молодого русского художественного реализма, всего нового и свежего, что в нашей живописи рождалось и расцветало одновременно с подъемом нашей великой национальной реалистической литературы и музыки.

В 1873 году Репин с молодой женой и маленькой дочкой отправляется за границу. После поездки по Италии он переезжает в центр художественной жизни всей Европы — в Париж. Три года проводит Репин за границей. Путешествие по Европе было для него школой, а не развлечением. Письма Репина из-за границы полны прежде всего отзывами об искусстве, о музеях, о галереях, о выставках. Эти отзывы очень интересны. Репин был человек ярких пристрастий и живой пытливости. Он никогда не скрывал от себя и от своих корреспондентов своего мнения. Если ему что-либо не нравилось, он говорил о том открыто и смело. Например, Репин всю свою жизнь не любил искусства Рафаэля, как раз того мастера Высокого Возрождения, которого выставляли за образец своим ученикам академии всех стран. И мы можем понять, почему Репин не принял Рафаэля: ведь в искусстве Рафаэля наиболее отчетливо воплотилась идеалистическая струя в живописи прошлого. Репин же реалист всегда, во всем, везде.

Биографы Репина с особой кропотливостью пытались выяснить, как относился Репин к импрессионизму, к тому движению в живописи Западной Европы, которое начиналось как раз в это время. Импрессионисты боролись за внимание к свету и воздуху, к окружающей предметы и фигуры среде. Вместо того чтобы внимательно выписывать детали, художники-импрессионисты намеренно писали картины беглыми мазками, расплывчато. Их живопись получалась светлой, яркой, сочной. По существу, все молодые художники нового времени всех стран так или иначе отдали дань импрессионизму. И только русским мастерам выпало на долю впоследствии поставить на очередь вопрос о том, что эту новую светлую и воздушную живописную манеру можно и нужно, сочетать с тем, чего не было на Западе

у импрессионистов: с глубиной и чисто человеческой содержательностью.

А Репин в своих «Бурлаках» показал, что задачи передачи света и воздуха были ему близки и без какой-либо специальной науки у его западных сверстников. Европа давала Репину скорее общую культурную шлифовку, расширяла его кругозор, обогащала его знания, нежели учила его какой-либо технике мастерства.

В Париже в 1873–1876 годах Репин много работает. Он пишет между другими две большие картины — «Парижское кафе» и рядом с ней «Садко», картину на тему наших народных былин, изображающую сказочного гусляра старого Новгорода на дне морском. В таинственном зеленом подводном царстве перед ним проходят красавицы одна другой лучше, а он смотрит на последнюю в этом шествии, на русскую девушку, которая ему милее всех и среди красот водяного царства. Замысел картины вполне очевиден и избран Репиным сознательно. Его тянуло на родину, к родной земле.

Но сам он картину «Садко» считал неудачной. Не фантазия и сказка, хотя бы и полные значения, были его сферой, а живая окружающая его действительность, и притом не западная, где он чувствовал себя временным гостем, а русская.

В русском искусстве в те годы тоже происходили знаменательные сдвиги. Небольшая кучка художников ушла в 1863 году из академии, а от этой кучки пошло, выросло и быстро стало популярным широкое движение передвижных выставок. Передвижники впервые поставили перед собой задачу показать подлинно реалистическое искусство народу, впервые обратились к массовому демократическому зрителю. Передвижники не ограничивались выставками в столицах, как это делалось раньше. Они стали возить картины по стране и

выставлять их в разных русских городах, чтобы показывать народу самые лучшие, самые правдивые произведения искусства. Репин начиная с 1873 года ревностный участник выставок передвижников. С воспитавшей его академией его отношения быстро стали если не прямо враждебными, то холодно натянутыми. С тем большей любовью и радостью приветствовали возвращение Репина на родину все молодые художники, вся передовая наша общественность.

Вернувшись из-за границы, Репин отправился к себе на родину, в Чугуев. Он пишет там картины, запечатлевающие образы и темы, внушенные русской действительностью. Он создает правдивые полотна, показывающие тяжелую крестьянскую долю. Его «Протодьякон», тучный и властный, был встречен с негодованием реакционерами всех мастей. Создатель «Бурлаков», казачий сын Репин, в своем мощном искусстве не созерцал действительность царской России, а боролся с ней.

В том же году Репин написал и первый свой этюд картины на тему народовольческого движения. Репин, в сущности, единственный русский живописец, который вплотную приблизился в своем искусстве к отображению хождения в народ, деятельности первых наших революционеров.

По грязной дороге два жандарма с шашками наголо ведут куда-то арестованного... У Репина не могло быть надежды показать в эпоху реакции на публичной выставке такую картину, или свой «Арест пропагандиста», или «Сходку нигилистов». Но эти картины и этюды к ним убеждают нас, как глубоко и серьезно затронули Репина передовые идеи великих русских революционных демократов-просветителей. С этими идеями из числа ставших широко известными

репинских картин связана, в частности, картина «Не ждали» (написанная позднее).

\* \* \*

Из Чугуева Репин переехал в Москву. Здесь он прожил с 1877 по 1882 год, летом совершая большие поездки по России, подбирая материалы для все новых и новых картин. В Москве у Репина были друзья-художники во главе с умным и культурным Поленовым, собиратели — и среди них Мамонтов, и прежде всего замечательный русский деятель Павел Михайлович Третьяков. Имя Третьякова бессмертно: им сейчас обозначено государственное наше собрание национального искусства. Третьяков был купцом, но больше всего пламенно и беззаветно он любил русское искусство, и, начавши планомерно и тщательно собирать лучшие произведения русской реалистической молодой школы, он старался не руководствоваться своими личными вкусами и пристрастиями. С самого начала он открыл свою галерею для зрителя.

В Третьякове Репин нашел искреннего и чуткого друга. Все лучшие произведения Репина после «Бурлаков» попали в Третьяковскую галерею.

В Москве Репин работал много и упорно. Первые замечательные портреты свои он создает здесь, откликаясь отчасти на пожелания Третьякова, мечтавшего о том, чтобы его галерея стала музеем не только живописи, но и всей нашей культуры. Репин, бесспорно, один из лучших портретистов своего времени. Никто не умел так, как он, схватить внешнее сходство человека. Но в свои лучшие годы Репин делает портреты каждый раз исключительно интересными и со стороны чисто живописной. Он пишет их яркими, сочными красками, с изумительным чутьем и вкусом

избирает фон, придает изображаемому им лицу всегда особенно живой поворот, непосредственность.

Замечательный его предшественник и учитель Крамской оставил еще больше портретов деятелей русской литературы и общественности. Но в портретах Крамского часты срывы: сходство оказывается поверхностным, а характеристика однотонной, подчеркивающей какую-либо одну черту в облике. В портретах же Репина человек перед нами подлинно оживает. «Писемский» Репина не только писатель, умно наблюдающий жизнь, но и человек желчный и усталый. Репинский «Мусоргский» — сколько в нем сказано! Тут и широта русской натуры, и Мусоргский-человек с личными особенностями и недостатками, и вместе с тем отблеск гениального творчества великого композитора. Портрет известного хирурга Пирогова весь в темных красках, но лицо Пирогова написано светло и особенно ярко, а красное пятно жилета посередине темной живописи производит на зрителя впечатление, будто в затененную комнату принесли зажженную свечу.

Всех портретов работы Репина пересчитать невозможно. Но к выбору своих моделей он неизменно относился строго и принципиально. Третьяков как-то просил Репина сделать портрет известного в те годы реакционного журналиста Каткова. Репин ответил резким отказом.

\* \* \*

Московский период важен был для Репина еще в одном отношении. Именно здесь он впервые подошел к исторической теме.

В 1878–1879 годах он создает свою первую картину из прошлого «Царевна Софья в заточении в Новодевичьем монастыре в день казни стрельцов». Это

замечательная картина. Правда, при своем появлении она не понравилась многим критикам: почему-то решили, что историческая живопись не дело Репина. Считали, что историческая живопись должна обязательно изображать какое-нибудь известное событие прошлых лет. А в «Царевне Софье» Репина перед нами встает не историческое событие, а человек. Этот человек — сама Софья, сильная, властная, несломленная, но плененная. Гнев, сдержанная ярость, непоколебленная гордость, ощущение поражения, но не сдачи — вот содержание «Софьи». Вся картина — трагический монолог огромной силы. Крамской понял это и приветствовал картину Репина.

В «Софье» Репина, как в зерне, заключены будущие крупнейшие достижения другого великого живописца — Сурикова: и «Стрельцы» его, и «Меншиков», и «Боярыня Морозова», памятные всем посетителям Третьяковской галереи.

\* \* \*

К московскому же пятилетию жизни Репина относятся и предварительные работы по его замечательной картине «Крестный ход в Курской губернии». Если б нужно было показать советскому школьнику только одну-единственную картину для того, чтобы он понял сущность царской России, царского строя, то выбрать пришлось бы именно репинский «Крестный ход». На первый взгляд это простое изображение обычной религиозной церемонии. Но никто никогда не давал еще такого смыслового богатства в изображении обыденного зрелища, как сделал это Репин. Он написал толпу так, как до него не удавалось никому. Это толпа живых людей, и у каждого своя, угадываемая зрителем судьба. Исключительно



многообразны выведенные Репиным типы русского крестьянства. С выразительной правдивостью, превосходящей все достижения в этом отношении как русских, так и западных художников, дал Репин пейзаж — этот жар пыльного летнего дня, эту дорогу, по которой бредет толпа. Но «Крестный ход» — это не только живописное достижение, это разоблачительный документ потрясающей силы. Глядя на картину, мы видим, какой общественный строй и класс господствовали в России в конце XIX века и как страшно было это господство.

Показан был «Крестный ход» на Передвижной выставке в 1883 году, когда Репин уже переселился в Петербург и успел вместе со Стасовым снова побывать за границей.

Это были самые светлые, самые плодотворные годы жизни Репина.

Еще в Москве написал он и другие две заслуживающие упоминания картины, взяв их темы из народного быта. Это, во-первых, «Проводы новобранца» (1879 г.) — картина, недооцененная критикой. Семья прощается с сыном, взятым в солдаты, а сквозь дырявую крышу льется чудесный солнечный свет.

И вторая картина (1881 г.) — веселые украинские «Вечерницы», пляска молодежи в нарядно прибранной, праздничной хате — картина бодрая и живая, как самый талант Репина.

Но скоро Репин создал вещи еще более значительные. Он возвращается к теме народовольческого движения и пишет (1882 г.) «Отказ от исповеди революционера перед казнью». Эта картина должна была быть (он ее не окончил) самой сильной из всех картин этого ряда. Но, конечно, увидеть свет эта картина не могла.

Знаменитая «Не ждали» переносит место действия в семейно-бытовую обстановку. Сила внутреннего

контраста между чистеньким мирным бытом провинциальной интеллигенции и трагическим обликом неожиданно вернувшегося в свою семью политического каторжника усугублена всеми средствами живописи. На фоне свежих, спокойных, обыкновенных красок, характеризующих обстановку в картине, фигура ссыльного в крестьянском армяке, мрачно-тесная, образует резкое пятно, врывается в тишину обыденности как громкий зов из иного мира, из мира трудной, героической борьбы, страданий и подвига... Эта картина — одна из значительнейших в творчестве Репина.

Но к тому времени уже каждая картина Репина на выставке — событие. Его имя становится лозунгом. Критика Стасова горячо и талантливо пропагандирует его искусство; бессильно злобствует враждебная консервативная печать. Третьяков готов за любые деньги покупать любую работу Репина для своей галереи, ставшей уже национальной по значительности. И в 1885 году искусство, возможно, и вся жизнь Репина поднимаются на свою высшую точку. В этом году после длительной напряженной работы был окончен и выставлен его «Иван Грозный» — картина, с которой мы начали эту книжку. Эта картина остается лучшим и самым ярким средоточием всего того, что создал Репин.

В. Д. Бонч-Бруевич говорит в своих воспоминаниях: «Еще нигде не описаны те переживания революционеров, те клятвы, которые давали мы там, в Третьяковской галерее, при созерцании таких картин, как «Иван Грозный и его сын Иван», как та картина, на которой гордый и убежденный народоволец отказывается перед смертной казнью принять благословение священника».

И по экспрессии, и по выразительности замысла и осуществления, и по непосредственной силе цвета, и по качеству живописи «Иван Грозный» — его лучшая

картина. Репин показывает, как подлинно могут (и должны!) сливаться воедино форма и содержание, внешняя и внутренняя стороны всякого искусства.

Во все эти годы, в годы создания «Ивана», «Не ждали», «Крестного хода», «Царевны Софьи», народныхольческих, пусть неоконченных, картин, Репин — подлинно великий русский художник, демократически настроенный, чувствующий во всем связь свою с народом, с передовой нашей литературой, критикой, общественностью. Не случайно его друг Стасов оказывал поддержку перешедшим на нелегальное положение революционерам, а сам Репин во время своей второй заграничной поездки так же не случайно сделал красочный набросок митинга рабочих у стены коммунаров в Париже.

Картины Репина созданы и предназначены для широких кругов русского зрителя. Они понятны и близки ему. И этот поразительный, живой, непосредственный контакт художника со зрителем — великое счастье и неповторимая заслуга Репина.

\* \* \*

Лучшая из картин Репина после «Ивана Грозного» — «Запорожцы», оконченная в 1891 году, начата была задолго до того, еще в Москве в 1878 году. Это прекрасная галерея народных типов старой русской вольницы, сильных, бесшабашных, уверенных в себе богатырских людей. Репин изобразил их в тот момент, когда они сообща сочиняют веселую отповедь турецкому султану, подыскивая выражения, одно другого остроумнее и крепче. После потрясающих и содержательно глубоких драм художник создает как бы комедию, и притом подлинно эпического размаха. Никто в мировой истории живописи не дал такой чудесной

галереи смеха, как Репин в этой картине. И все же... все же в этой чудесной, всем известной картине как будто чего-то недостает, если сравнивать ее с предыдущими достижениями Репина. Любуясь хохочущими во все горло казаками, мы все же не совсем знаем, что же их развеселило, и поэтому не можем сами безоговорочно засмеяться вместе с ними.

И получается так, словно что-то в чудесном единении между замыслом художника и переживаниями зрителя нарушено.

Это еще больше чувствуется при встрече с некоторыми другими большими картинами Репина этого времени. В 1886 году Репин пишет картину, заказанную ему императорским двором, изображающую Александра III, говорящего речь волостным старшинам. Это официальная, скучная и никоим образом не волнующая картина, и написана она без какого-либо увлечения или даже интереса.

Но на выставках и в эти годы продолжают выделяться изумительные портреты его работы. Однако после содержательного и глубоко продуманного «Толстого» (1887 г.) Репин в 1889 году выставляет портрет молодой светской дамы, баронессы Иккуль, очень похожий, но весь интерес которого в необычности красочных сочетаний костюма: черная юбка, яркая кофточка на белом фоне.

И если присоединить сюда портрет адвоката Спасовича (1891 г.) — фотографически точный, но отнюдь не глубокий, портрет графини Головиной (1896 г.) — блестяще-красивый, но светски-холодный, то трудно отделаться от впечатления, что в эти годы Репин находится на каком-то странном распутье...

Чем вызвано это?

Обласканный славой, признанный наконец и академией, художник иногда теперь уступал уговорам принять тот или иной лестный официальный заказ,

создать картину не для народа, не для миллионов, которые он всегда имел в виду раньше. И уступки художника каждый раз мстили за себя.

И эти срывы Репина особенно ясно показывают, как важна даже для величайшего художника неразрывная связь со своим народом: вся сила художника в этой связи, нарушается она — изменяет и сила.

\* \* \*

Репин прожил долгую жизнь. До самой смерти его могучий талант позволял ему создавать прекрасные художественные произведения (гигантский «Государственный совет» из Ленинградского музея, порепински изумительные портреты, среди них новые портреты Толстого, портрет академика И. П. Павлова, написанный в 1924 году, и др.).

В самые последние годы он задумывал написать портреты государственных деятелей новой, Советской России.

Миллионы людей в нашей стране и во всем мире знают лучшие картины Репина. Об этих картинах можно в самом деле сказать, что они стали народными. Из всех русских художников Репин, без сомнения, самый популярный.

Когда произошла драма с «Иваном Грозным», разрезанным ножом душевнобольного, это стало предлогом для широких демонстраций в честь престарелого художника. Репин жил в это время на даче в Финляндии, неподалеку от Ленинграда, в Куоккала. Потом он переехал туда окончательно, незадолго до Октября. Там он и остался до своей смерти — 29 сентября 1930 года.

Но в Финляндии, среди чужих и враждебных нашей Родине людей, Репин продолжал себя чувствовать

русским, близким к своей Родине, вставшей на новые пути. В 1924 году Страна Советов отметила восьмидесятилетие художника устройством выставок его произведений и посвященными Репину изданиями и докладами. В 1925 году к Репину ездила делегация советских художников, дружелюбно встреченная престарелым мастером. Жаль, что Репин не вернулся к ним, что глубокий старик не нашел в себе сил, чтобы покинуть Куоккала, которая, когда он переехал туда, была русской, а потом стала финской, что умер в чужой для него обстановке, а не среди народа, которому он служил своим великим искусством. Но все же не чужие, а внуки и правнуки художника, русские, советские люди, приехавшие к нему из СССР, окружали его постель в смертный час...

\* \* \*

Он был небольшого роста, с лохматой головой, вспыльчивый, горячий, но добрый и скромный. Знавшие его подчеркивают в Репине эту последнюю черту. Художник, слава которого была подлинно мировой, был всегда готов превознести произведения младших и принизить собственные. Неуверенность в своих силах даже вредила Репину, заставляла его переписывать и переделывать свои картины, и это иногда приводило к тому, что многие его замыслы, вроде «Пушкина на берегу Невы», остались незавершенными. Но творчество свое, искусство он любил такую горячую, искреннюю любовью, которая редко встречается в мировой истории. В старости у него стала сохнуть правая рука — Репин научился писать левой. Ему стало трудно держать палитру с красками, он подвешивал ее на тесемке на грудь и работал, работал до конца, самоотверженно,

зная, что его дар принадлежит не ему лично, а русскому народу.

*1943 год*

**С. ДУРЫЛИН  
МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ  
ЩЕПКИН**



«Он был великий артист, артист по призванию и по труду. Он создал *правду* на русской сцене» — как писал о Щепкине А. И. Герцен, подводя итог его 75-летней театральной деятельности, и тут же прибавлял: его 75-летняя жизнь «была школой гуманности».

А эта жизнь великого художника русского театра прошла в тяжелых условиях крепостной, царско-дворянской России.

В течение тридцати трех лет, с самого рождения, оставался он «крещеною собственностью» помещика. Щепкин испытал на себе всю тяжесть крепостной неволи, под которой стонало русское крестьянство.

Своей личностью, жизнью и творчеством Щепкин показал, какие необъятные, прекрасные силы таланта, ума и воли таились в русском народе, страдавшем, но не склонившемся под игом крепостничества. Творческий гений русского народа горел в Щепкине с исключительной яркостью. Вот почему так любили и высоко ценили Щепкина те, кто сам воплощал в себе лучшие дарования и устремления русского народа. Перечислить друзей Щепкина и глубоких ценителей его творческого дела — это значит назвать едва ли не всех лучших русских писателей и мыслителей 1820–1860 годов. Великий критик В. Г. Белинский еще в ранней юности своей утверждал: «Лучший здесь, в Москве, комический актер — Щепкин». А. И. Герцен по поводу смерти Щепкина свидетельствовал в 1863 году: «Щепкин и Мочалов<sup>[18]</sup>, без сомнения, два лучших артиста из всех виденных мною в продолжение тридцати пяти лет и на протяжении всей Европы». Этого же мнения держался И. С. Тургенев, специально для Щепкина написавший свои пьесы «Холостяк»,

«Нахлебник», «Бывает редкое соединение таланта с ясным умом и горячею любовью к искусству — и это счастливое соединение представляет нам Щепкин» — так писал о нем по поводу его 50-летнего юбилея С. Т. Аксаков, Н. В. Гоголь считал Щепкина настолько вне сравнения со всеми другими актерами его времени, что, выведя Щепкина (в лице «первого комического актера») в «Развязке Ревизора», написал ему настоящий апофеоз: Щепкин там увенчивается лавровым венком.

Грибоедов, Грановский, историк Соловьев, великий украинский поэт Шевченко также были глубокими почитателями могучего дарования Щепкина.

Но, быть может, всех замечательнее отношение к Щепкину Пушкина.

Как вышедший из крестьянства Ломоносов, основатель Московского университета, на взгляд Пушкина, «сам был первым нашим университетом», так и Щепкин сам был первым нашим театром. Но Пушкин признавал дело, совершенное Щепкиным, исключительно важным не только для театра, но и для всей русской культуры.

Пушкин потребовал от Щепкина стать летописцем его собственных трудов и дней, подвиг жизни и творчества Щепкина представлялся Пушкину достойным бессмертия в памяти народной.

А в ту эпоху в России писали свои мемуары (записки) вельможи и дипломаты. Ни один русский актер не смел бы и помыслить о писании записок.

Но Пушкин сам взял в руки перо и начал:

### **«ЗАПИСКИ АКТЕРА ЩЕПКИНА»**

Я родился в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенке...»

Великий поэт передал перо Щепкину, и тот продолжал:

«...в 1788 году, ноября 6 числа. Отец мой Семен Григорьевич был крепостной человек графа Волькенштейна».

Он был камердинером у графа, а мать Щепкина — Марья Тимофеевна — сенной девушкой у графини. И Щепкин, будучи уже известным актером, все еще числился «дворовым человеком» этих графов из черноземной усадьбы. Живой, веселый мальчик порою служил забавою для господ и удостаивался их «ласки». Но будущий артист чуть не погиб в самом раннем детстве только оттого, что был сыном крепостной служанки.

«Однажды, — пишет Щепкин, — когда мне было не более восьми недель, мать моя, которая, оправившись от родов, должна была неотлучно находиться при графине, прибежала в комнату, чтобы меня выкупать, и только начала мыть — пришел посол от графини, чтобы как можно скорее шла к ее сиятельству. Будучи всегда точной исполнительницей воли господ, она, не размышляя о последствиях, оставила меня в теплой воде...» Только через три часа мать смогла вернуться к брошенному ребенку. К счастью, он не захлебнулся, а мирно спал в довольно уже холодной воде.

«Я был самый острый и умный ребенок», — просто говорит о себе Щепкин, и это подтверждается историей его детства и отрочества. Ему не исполнилось еще пяти лет, как он уже научился азбуке у полуграмотного ключника и скоро в чтении часослова превзошел своего учителя. Следующий учитель Щепкина, сельский поп Дмитрий, немногим более грамотный, чем ключник, «нещадно выпорол» мальчика розгами за то, что тот «от

излишнего познания церковного чтения разорвал первый лист псалтыря».

Щепкину не было еще семи лет, а он уже был отличным грамотеем.

Семи лет Щепкин пережил вечер, в который, как утверждал он впоследствии, «решилась вся будущая судьба» его. Мальчик попал в домашний театр графа Волькенштейна на представление оперы С. К. Вязмитинова «Новое семейство». Исполнителями были крепостные актеры, певчие и музыканты.

Впечатление получилось потрясающее. С необычайной силой мальчика потянуло на сцену.

Когда, через немного лет, Щепкин, уже ученик городского училища в Судже, раздобыл комедию А. П. Сумарокова «Вздорщица», он принес ее в класс и заразил всех — учителя и учеников — желанием разыграть ее в училище. Театр был делом неслыханным в захолустном городке. Но энтузиазм Щепкина был так велик, что спектакль состоялся. «Когда я услышал, что слугу Размарина буду играть я, — пишет Щепкин в своих «Записках», — я обеспамятел от радости, кажется, даже заплакал».

«Женские роли были назначены учащимся девицам, но почтенные родители, сановники и супруги их, восстали против этого. «Как, дескать, можно, чтобы наша дочь была комедианткой!» — и учителю пришлось бы плохо... Старуху и служанку играли мальчики, а любовницу — сестра моя: ее можно было заставить играть».

Сестра Щепкина была из «подлого сословия», а не из «благородного»; ей было не зазорно быть «комедианткой».

Так, с первого своего шага на сцену, крепостной мальчик Щепкин ознакомился с горьким положением актера в русском театре. Профессия актера в старой России считалась одной из самых предосудительных:

звание же актрисы приравнялось к положению «гулящей женщины». Люди из «благородного сословия» (то есть из дворян), идя на сцену, должны были менять свои фамилии, чтобы не порочить дворянского имени появлением его на афишах. Офицеры и сколько-нибудь крупные чиновники, женившиеся на актрисах, обязаны были оставлять службу.

С первого же шага на сцену Щепкин узнал и то, отчего так впоследствии страдал как художник: вмешательство властей в жизнь театра. Приглашенный на школьный спектакль городничий подозрительно спросил учителя: «Не будет ли в этом представлении чего неприличного?»

Но успех оказался так велик, что спектакль повторили и в доме городничего, который после спектакля, «целуя каждого, приговаривал: «Хорошо, плутишка!» — «Меня же, — подчеркивает Щепкин, — для отличия от прочих, согласно моему званию, погладил по голове, потрепал по щеке и позволил поцеловать свою ручку, что было знаком величайшей милости, да прибавил еще: «Ай да Щепкин! Молодец! Бойчее всех говорил. Хорошо, братец, очень хорошо! Добрый слуга будешь барину!»

За свое выступление в роли слуги Размарина Щепкин получил свой первый гонорар: кусок пряника и 25 копеек деньгами.

В 1891 году Щепкина, рвавшегося к настоящему образованию, перевели в третий класс губернского училища в Курске. Когда через год это училище было преобразовано в гимназию с прибавлением особого французского класса, Щепкину, первому ученику по успехам, пришлось узнать, что доля образования оставлена для крепостных самая умеренная: «К моему несчастью, крепостным людям не позволялось быть в этом классе. Это меня так оскорбило, что я не стал

ходить ни в немецкий, ни в латинский». Французский язык был языком привилегированного общества и двора.

Щепкин стал постоянным посетителем городского театра. Его содержала театральная семья Барсовых-Городенских. «Старший из этих сыновей был уже на воле, — рассказывает Щепкин, — а меньшие еще крепостные, и меня удивляло одно: они тоже были господские, а с ними и их господа, и весь город обходились не так, как с крепостными, да и они сами вели себя как-то иначе, так что я даже завидовал им и все это приписывал не чему иному, как именно тому, что они актеры...»

Театр влек к себе юного Щепкина счастьем творчества, и через театр же надеялся он получить радость освобождения от крепостной неволи.

По окончании Курского училища Щепкин, изредка выступавший на крепостном театре графа Волькенштейна, за расторопность был пожалован в барские официанты: его отсылали и в другие дворянские дома для услуг на обедах и балах. Щепкин имел право сказать в конце жизни, что он знает Россию от «дворца до лакейской». Юноша упорно стучался в двери театра: был суфлером, переписчиком ролей и в 1805 году наконец выступил на сцене актером. Выручая актрису П. Г. Лыкову, он сыграл в ее бенефисе в переводной драме Мерсье «Зоя» роль почтаря Андрея, случайно оставшуюся без исполнителя. За три часа перед спектаклем выучил Щепкин роль. Он чувствовал, что его сжигает «внутренний огонь, страшный огонь», от которого он «едва не задыхался» и в то же время трепетал от радости.

«Как я играл, принимала ли меня публика хорошо или нет — этого я совершенно не помню. Знаю только, что по окончании роли я ушел под сцену и плакал, как дитя».

Когда Щепкин обратился к актерам с вопросом, не совсем ли дурно он играл, ему пришлось услышать, что играл он «хорошо», «очень хорошо» и своей игрой вызвал рукоплескания.

Это был настоящий успех. Его «признал» даже собственник Щепкина: граф Волькенштейн благосклонно велел подать новый триковый жилет и подарил его Щепкину со словами: «Вот тебе на память нынешнего дня».

Память этого ноябрьского дня 1805 года навеки жива в истории русского театра; с этого дня Щепкин начал свой подвиг во имя русского искусства.

«После удачного дебюта, — рассказывает с его слов С. Т. Аксаков, — Щепкину начали давать многие небольшие роли, и, разумеется, самые разнохарактерные. Захворал ли, загулял ли кто-нибудь из актеров — Щепкин в несколько часов выучивал его роль, и, конечно, играл всегда лучше того, чье занимал место. Одним словом: им затыкали все прорехи малочисленной труппы и скудного репертуара. Оркестр прозвал его «контрабасною подставкой», и вся труппа со смехом повторяла это «остроумное» прозвище».

Щепкина не смущали эти насмешки, он не боялся непомерного труда. Театр стал делом его жизни. Ему он радостно отдавал все силы. Были пьесы, в которых Щепкин переиграл все роли, не исключая ролей самых молодых девушек. Одной из таких пьес был «Недоросль» Фонвизина, где Щепкину случалось играть — и превосходно играть — даже Еремеевну.

Щепкин стал впоследствии непревзойденным учителем актеров именно потому, что он, как никто другой, мог ввести каждого актера в мастерство воплощения любой роли, любого амплуа. Заботясь о постановке новой своей комедии, Гоголь просил Щепкина: «Прежде чем давать ее разучать актерам, войдите в значение всякой роли так, как бы вам пришлось все эти роли сыграть самому, и когда войдут они вам в голову все, соберите актеров и прочитайте им раза три, четыре или даже пять». Иными словами, Гоголь просил Щепкина выучить все роли в новой своей пьесе и пять раз сыграть их все перед актерами — тогда только получал он уверенность в совершенном исполнении пьесы.

Щепкин говаривал: «Нет маленьких ролей — есть маленькие актеры». Сам он в маленькую роль вкладывал не меньше добросовестного труда и творческой работы, нежели в большую, выигрышную, и оттого в его



исполнении даже роли в несколько слов производили сильное, незабываемое впечатление.

Немногочисленная публика, состоявшая из помещиков, чиновников и купцов, посещала в те времена театры, и, чтобы привлечь эту горсточку зрителей, театру приходилось каждый вечер ставить новую пьесу. Повторения спектаклей были редки. Пьеса, повторенная три-четыре раза, была исключением. При таких условиях, когда на спектакль уделялись две-три, а часто и одна репетиция, не могло быть речи о стройности спектакля. Актеры играли под суфлера и вместо авторского текста передавали роль «своими словами». Так делали все, но только не Щепкин. Какой бы цены это ему ни стоило — отказ от удовольствий, отдыха, сна, — он являлся на спектакль с твердо выученной ролью и с прекрасным знанием всей пьесы: в трудный момент он мог выручить товарища, подсказав ему забытое место. Такие же пьесы, как «Горе от ума» и «Ревизор», Щепкин знал наизусть от первого до последнего слова.

Смолоду Щепкин повел такой образ жизни: как бы поздно ни кончился спектакль, он не ложился спать, не повторив роли к следующей наутро репетиции или к вечернему спектаклю. Утром — а вставал он не позже шести-семи часов — он, если было возможно, уходил на уединенную прогулку и там сосредоточием всего своего внимания старался войти в «жизнечувствие» того человеческого образа, который он должен был воплощать на репетиции или на спектакле, будь это французский дворянин Гарпагон («Скупой» Мольера) или крепостная нянька Еремеевна («Недоросль»). Он искал наиболее правдивого выражения их походки, манеры, речи; он делал все, чтобы перенять в себя их жизненный пульс.

На это нужно было иметь огромный талант — у Щепкина он был; но на это нужно было иметь и любовь к

непрестанному вдохновляющему труду, которым Щепкин бесконечно приумножал свой природный талант. Поведя однажды в письме к талантливой артистке А. И. Шуберт речь о таком труде, приводящем актера к художественной правде, Щепкин не без доброй грусти писал: «Вы можете сказать, что это совершенно невозможно; нет, это только трудно! Вы скажете, зачем хлопотать о каком-то совершенстве, когда есть средство гораздо легче нравиться публике? Тогда уж можно сказать: зачем же искусство? Итак, моя добрая, изучайте его с точки зрения науки, а не подделки».

Это убеждение, что искусства нет там, где нет вдохновенного труда, Щепкин вынес из опыта всей жизни и творчества.

Семнадцать лет играл Щепкин в Курске, Харькове, Полтаве, Туле, заглядывая с труппой товарищей в небольшие города, разъезжая по ярмаркам, и хоть сам имел всюду всевозрастающий успех, этот успех не удовлетворял его. Состояние театра он находил печальным.

«В чем состояло, по тогдашним понятиям, превосходство игры? — спрашивает Щепкин в своих «Записках». — Его видели в том, когда никто не говорил своим голосом, когда игра состояла в крайне изуродованной декламации, слова произносились как можно громче, и почти каждое слово сопровождалось жестами. Особенно в ролях любовника декламировали так страстно, что вспомнить смешно: слова «любовь», «страсть», «измена» — выкрикивались так громко, как только доставало силы в человеке; но игра физиономии не помогала актеру: она оставалась в том же натянутом, неестественном положении, в каком являлась на сцену. Когда актер оканчивал какой-нибудь сильный монолог, после которого должен был уходить, то принято было в то время за правило поднимать правую руку и таким образом удаляться со сцены... Не могу пересказать всех нелепостей, какие тогда существовали на сцене... Например, актер на сцене, говоря с другим лицом и чувствуя, что ему предстоит сказать блестящую фразу, бросал того, с кем говорил, выступая вперед на авансцену, и обращался уже не к действующему лицу, а дарил публику этой фразой; а публика со своей стороны за такой сюрприз аплодировала неистово. Вот чем был театр в провинции сорок лет назад, и вот чем можно было удовлетворить публику!»

Природный гений с врожденным влечением к художественной правде и большой, живой и наблюдательный ум не позволили Щепкину удовлетвориться этим искусством громких фраз и эффектной лжи.

Достаточно было одного толчка, чтобы у Щепкина, еще 22-летнего юноши, раскрылись глаза на тот путь, который ему предстояло утвердить в русском театре.

Однажды в Курске довелось Щепкину увидеть игру любителя П. В. Мещерского в комедии Сумарокова «Приданое обманом». Сначала игра Мещерского Щепкину вовсе не понравилась: «Что это за игра? руками действовать не умеет, а говорит... смешно сказать! — говорит просто, ну так, как все говорят. Да что же это за игра?» Но чем больше всматривался умный, наблюдательный юноша в эту «игру», тем больше она захватывала его. «Несмотря на простоту его игры (что я считал неумением играть), в продолжение всей роли, где только шло дело о деньгах, вам видно было, что это касалось самого больного места души его, и в этот миг вы забывали всех актеров...»

«...Пьеса кончилась. Все были в восторге, все хохотали, а я заливался слезами, что всегда было со мною от сильных потрясений... И как мне было досадно на самого себя: как я не догадался прежде, что то-то и хорошо, что естественно и просто!»

Щепкин без колебаний попытался перейти сразу к этой естественности и простоте в игре. Но оказалось, что простоты достичь на сцене гораздо труднее, чем эффектов. Щепкина преследовали неудачи, но мысль о «естественной игре» уже одушевляла его на труд. Ища простоты в игре, он понял: для того чтоб быть естественным, прежде должно говорить своими звуками и чувствовать по-своему.

Это было целое открытие, которому суждено было перестроить все искусство русского актера. Много лет

спустя Щепкин учил актеров: нужно *сделаться* тем человеком, в образе которого хочешь выйти на сцену, а не *подделаться* под него. *Быть, а не казаться!*..

Щепкин «запомнил ту роль и тот спектакль, когда «сказал несколько слов просто, и так просто, что если бы не по пьесе, а в жизни пришлось говорить эту фразу, то сказал бы ее точно так же».

Это было в роли Сганареля в комедии Мольера «Школа мужей». С тех пор Мольер стал любимым драматургом Щепкина, а роли в его пьесах — одними из лучших его ролей.

Но как для всех великих реалистов — поэтов, драматургов, художников, композиторов, — лучшей учительницей правды и неразрывной с нею простоты была для Щепкина жизнь. Щепкин умел брать у нее суровые и мудрые уроки. Он, «дворовый человек», знал эту жизнь вдоль и поперек. Как ему было не научиться простой и выразительной речи, если народный язык, русский и украинский, был кровно близок ему во всем своем живом богатстве? Как ему было не найти правдивых и ярких красок для гоголевского Городничего, когда он уже с детства был знаком с суджанским городничим, милостиво наградившим его куском пряника, поднесенного «в презент» городничему каким-то из тамошних купцов Абдулиных? И как ему было не обрести нужного тона для московского барина Фамусова из грибоедовской комедии «Горе от ума», когда он с младенчества зорко вглядывался в жизнь русского барства, от курской крепостной усадьбы до гостиной московского генерал-губернатора?

Русскую жизнь Щепкин знал так, как мог ее знать только человек, вышедший из глубины народа, — знал не только с ее показного, официального фасада, но и с ее «изнанки».

Когда сановный историк и превосходительный археолог А. Д. Чертков, беседуя с уже пожилым

Щепкиным, заявил, что в «доброе, старое время» все было лучше, Щепкин с живым и смелым протестом возразил ему: «Согласиться с вами в мои годы будет бессовестно... Генерал, я не моложе вас, а русскую жизнь едва ли знаю не лучше вас; вы ее знаете от дворца и ваших гостиных, а я ее знаю от дворца до лакейской. Да и самый род моего искусства заставлял меня поглубже вникать во все слои общества... В наше время было много дурного, и многое было во сто раз гаже».

Эту «гадость» крепостного строя жизни Щепкин чутко ощущал на себе и на всех окружающих.

Он видел и знал, какое множество талантов из крепостной среды — поэтов, художников, музыкантов, актеров — погибло жертвами помещичьего произвола и собственного отчаяния: от перспективы навек остаться «крещеной собственностью» ноздревых и собакевичей талантливые представители крепостной интеллигенции кончали самоубийством — мгновенным, от пули или веревки, или медленным, от вина или разгула<sup>[19]</sup>. Щепкин избежал того и другого; его спасла пламенная любовь к искусству, твердая вера в свое призвание и непоколебимая верность труду. Но, строгий к себе, он видел и на себе, как на других, горький отпечаток крепостной неволи даже тогда, когда уже давно был лично свободен от нее.

Артистка Шуберт рассказывает со слов Щепкина:

«Был Михаил Семенович где-то на водах. Встретился там с двумя генералами. М. С. пил воды, после прогулки сел отдохнуть. Генералы подходят к нему — он, конечно, встал, — спрашивают:

— Скажите, М. С., отчего французский актер, хотя бы второклассный, ловок и свободен на сцене, тогда как наши и первоклассные-то связаны, а вторые уж бог знает что?

— Это оттого, что я перед вами встал.

— Что это значит?

— Я, старик, устал, а не смею с вами сидя разговаривать. А французский старик не постеснялся бы. Снимите крепостное иго, и мы станем развязны и свободны».

Дожить до времени, когда крепостное иго спадет с русского народа, было заветною мечтою Щепкина, сбросить путы этого ига с себя было предметом его непрерывных усилий.

Чем ярче проявлялось исключительное дарование Щепкина, чем сильнее рос его успех в театре, тем больше возрастала рыночная цена этой «крещеной собственности» графини Волькенштейн: Щепкину приходилось платить за себя и за свою семью крупный оброк помещице.

Щепкин женился еще в 1812 году. Его жена, Елена Дмитриевна, верный и единственный спутник всей его жизни, была родом турчанка. В 1791 году, при взятии Анапы, русские солдаты подобрали плачущую девочку и пригрели ее. «Турчаночка» воспитывалась у некой княгини Салоговой и всех привлекала живым умом и добрым сердцем. Встретившись с «дворовым человеком» Щепкиным, девушка, бывшая вольной, горячо его полюбила. Когда дело дошло до свадьбы, княгиня — по словам самой Е. Д. Щепкиной — «говорила мне очень много, что, вышедши за господского человека, ты все должна будешь делать, что заставят, ну, например, его сделают пастухом, — и твоя участь, понимаешь, как будет. Я ей тут же сказала: княгиня, не сокрушайтесь, я себя на все приготовила. Только бы жить с любимым человеком, я все буду выполнять с терпением».

Турчанка вышла за Щепкина и превратилась в крепостную графов Волькенштейнов. Она сдержала свое слово: она была опорой и поддержкой любимому человеку на всем его жизненном и творческом пути.

С ростом семьи Щепкину приходилось призадуматься о ее будущем. Надо было вырвать себя и семью из крепостных цепей.

«В прежние времена, — рассказывает А. С. Щепкин, брат великого актера, — благородному человеку, владельцу нескольких сот душ, ровно ничего не значило накинуть на какого-нибудь бедняка аркан и заарканить его к себе в кабалу... Точно таким образом заарканили и деда Щепкина — Григория: он был сын священника, имел прекрасный голос. Но один из благородных и уважаемых особ, услышав его поющим на клиросе во время обедни приятным мелодическим голосом, не усомнился нисколько накинуть на этого десятилетнего мальчика аркан и закрепить его потом. А сын этого несчастного, отец Щепкина, за желание свое освободиться из крепостного состояния, испытал такие страшные гонения и преследования, что даже трудно поверить, как он мог перенести все эти невзгоды».

С трудом удалось Щепкину вырваться из крепостного аркана.

В 1818 году Щепкин играл в Полтаве. Он имел там огромный успех и в русских комедиях («Недоросль», «Ябеда», «Полубарские затеи»), и в народных украинских комедиях («Наталка-Полтавка», «Москаль-чаривник»), и в комедиях классических («Школа мужей» и «Скупой» Мольера, «Школа злословия» Шеридана). Помещики съезжались из своих медвежьих углов, чтобы взглянуть на необычайного актера, поражающего правдой и увлекавшего своей веселостью.

Но в самый разгар театрального сезона, в самый расцвет успеха Щепкина его владелица, графиня А. Волькенштейн, потребовала своего крепостного к себе: великий артист понадобился ей для каких-то землемерных работ.

На Щепкине держался весь театр: его отъезд повлек бы за собой закрытие театра в Полтаве. В дело



вмешался малороссийский генерал-губернатор князь Н. Г. Репнин, большой театрал. Он обратился к владелице Щепкина с письмом, где не возражал против ее требования (право на крепостную собственность было «священно»), но лишь просил графиню не лишать надолго полтавскую публику актера, который, «отличаясь всегда чрезвычайным талантом в представлении назначенных ему ролей, доставляет тем приятное удовольствие всей полтавской публике». Графиня с высоты своего владельческого величия отвечала, что оставляет своего крепостного на время в Полтаве ради того, «что Щепкин своими малыми талантами доставляет удовольствие полтавской публике», а главное, из-за того, чтобы «услужить» его сиятельству генерал-губернатору.

Немного спустя графиня решила продать Щепкина. Ее брат писал ему: «Миша Щепкин! (Артисту было в это время уже 30 лет.) Так как ты, видно, не хочешь быть слугою и, видно, не расположен быть благодарным за все то, что твой отец приобрел, бывши у графа, за воспитание, данное тебе, то графиня желает всем вам дать вольную, т. е. вашей фамилии — отцу твоему со всем семейством — за 8 тысяч, ибо семейство ваше весьма значительно».

Князь Репнин попробовал поторговаться с графинею, заломившей неслыханную цену: предложил ей половину запрошенной суммы, прибавив к этому аргумент другого рода: «Талант его (Щепкина) заслуживает одобренья: предоставления ему всех способов образованья и усовершенствовать оный, к чему совершенно преграждается возможность, если он не будет свободным». Аргумент не подействовал: графиня не спустила ни копейки.

Денег на выкуп у Щепкина не было. Был устроен спектакль «в награду таланта актера Щепкина для основания его участи». Был произведен по подписному

листу сбор на выкуп актера Щепкина. Горячее всех отозвался на это дело С. Г. Волконский, будущий декабрист: он объезжал с подписным листом купцов. Но подписавшихся оказалось больше, чем уплативших подписанную сумму. Деньги проходили через канцелярию генерал-губернатора, подписавшего 200 рублей, и значительная сумма прилипла там к рукам чиновников. Всего набралось около половины суммы, требуемой владелицей Щепкина. Недостающую половину внес князь Репнин.

Но тут, на самом пороге к освобождению, Щепкина ожидал тяжкий и неожиданный удар.

«Разъяснилось, — вспоминает его брат, — что дело об освобождении семейства Щепкина из крепостного состояния превратилось в продажу его князю Репнину, или, лучше сказать, сделано было освобождение из одной тюрьмы, чтобы заключить в другую».

К ужасу Щепкина, ему вместо отпускной показали купчую; вышло, что на свои и на чужие деньги Репнин «заарканил» Щепкина к себе в крепостные.

Щепкин предложил князю принять от него вексель на доплаченные им четыре тысячи с уплатою по тысяче в год. Князь ответил отказом, сославшись, что актер некредитоспособен. Если б не-пришел к Щепкину на помощь украинский историк Д. И. Бантыш-Каменский, поручившийся князю за Щепкина, ему с семейством пришлось бы еще долго оставаться «собственностью» малороссийского генерал-губернатора. Только в 1821 году актер Щепкин наконец перестал быть вещью, которую можно продавать и покупать. Ему было в это время уже 33 года.

На всю жизнь Щепкин сохранил глубокую ненависть к крепостному праву и отвращение к крепостникам.

Когда Герцен хотел показать, как можно ненавидеть крепостничество (Герцен писал о П. А. Мартьянове, присужденном Александром II на пять лет каторги и на

вечную ссылку), он сказал: «Мартьянов ненавидел крепостное право и крепостников, ненавидел, как Михаил Семенович Щепкин, как Шевченко».

Это была ненависть людей, испытавших на себе тяжкую долю быть «крещеною собственностью» и жаждавших того дня, когда от этой доли избавится русский народ.

Именно рассказы Щепкина о крепостничестве ярко отразились в произведениях Гоголя, Герцена, В. Сологуба.

В 1853 году Герцен выпустил свой первый политический листок «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству!» с призывом к помещикам освободить крестьян. Тогда старик Щепкин сурово пенял своему любимцу: «Ты знаешь Россию, все ее политическое устройство и вдруг взываешь к тому классу на святое дело, который не хочет этого и не может, потому что это связано с его жизненными интересами».

Щепкин глубоко чтит в декабристах врагов крепостничества и друзей народного освобождения.

«Иногда сидит, задумавшись, Щепкин и тихо начнет произносить:

Во глубине сибирских руд  
Храните гордое терпенье, —

и не иначе как со слезами кончит:

Как в ваши каторжные норы  
Доходит мой свободный глас».

Так, по рассказу одного старого театрала, Щепкин в тесном дружеском кругу читал запрещенное послание Пушкина.

И Щепкину пришлось прочитать это «послание к декабристам» как раз одному из тех, кому оно было написано. Это был С. Г. Волконский, который в 1818 году был главным участником выкупа Щепкина из неволи...

Как ни тяжела была для Щепкина крепостная полоса его жизни, все же он вышел из нее победителем: свободным человеком и превосходным мастером.

Его огромному таланту пришлось преодолеть не только классовые и житейские преграды, стоявшие на пути тогдашнего провинциального актера, но и те препятствия, которые поставила ему природа. Щепкин был роста ниже среднего, с ранней склонностью к полноте, даже к тучности; он подсмеивался сам над собою, называя себя «квадратной фигурой». Небольшой рост и полнота отстраняли его от множества ролей. Голос Щепкина, по свидетельству С. Т. Аксакова, был «жидким, трехнотным». Излишняя страстность вела к торопливости в речи, к скороговорке. В речи Щепкина слышался украинский говор, что было неуместно в русских и переводных пьесах.

Щепкин первый — раньше публики и критиков — знал за собою эти недостатки и упорно боролся с ними. Невозможно было изменить свой рост, но возможно было так входить в роль, так вводить зрителя в образ, что зритель забывал обо всем на свете, кроме правды чувств и силы переживаний того лица, которое изображал актер. И когда в конце жизни Щепкин играл «Скупого рыцаря», зритель не видел «квадратной фигуры», а видел перед собою старого рыцаря, изможденного скупостью. Нельзя было изменить свой голос, но можно было путем тщательнейших усилий разработать его до совершенства — и самый шепот Щепкина был слышен даже во всем большом Петровском<sup>[20]</sup> театре. Украинский оттенок из речи Щепкина исчез, и его Фамусов говорил мягкой, московской речью, образцовой по чистоте. В 1842 году Гоголь писал Щепкину: «Теперь

вы стали в несколько раз выше того Щепкина, которого я видел прежде. У вас теперь есть то высокое спокойствие, которого прежде не было. Вы теперь можете царствовать в вашей роли, тогда как прежде вы все еще как-то метались».

Гоголю вторил Герцен: «Его (Щепкина) произведения были без малейшей фразы, без аффектации, без шаржа... одаренный необыкновенной чуткостью и тонким пониманием всех оттенков роли Щепкин страшно работал и ничего не оставлял на произвол минутного вдохновения».

Щепкин преодолел трудом те препятствия, которые люди и природа поставили перед ним на пути к искусству.

Эта окончательная творческая победа одержана была Щепкиным уже во вторую половину его жизни, но главные препятствия были преодолены им еще в крепостную пору.

## IV

Слух о необыкновенном актере, покорившем провинцию своим искусством правды и простоты, достиг Москвы, и в 1822 году чиновный драматург Ф. Ф. Кокошкин, управлявший московскими театрами, послал своего подчиненного, драматурга М. Н. Загоскина, в Тулу посмотреть Щепкина. Загоскин дал краткий восторженный отзыв: «Актер — чудо-юдо».

20 сентября 1822 года Щепкин дебютировал в Москве в комедии Загоскина «Господин Богатонов, или Провинциал в столице». «Московская публика, — пишет С. Т. Аксаков, — обрадовалась прекрасному таланту и приняла Щепкина с живейшим восторгом в полном значении этого слова». Восторг этот был так велик, что Щепкина взяли на казенную сцену с молниеносной быстротой. 20-го он выступал, а 21-го «отпущенный вечно на волю дворовый человек Михайло Щепкин» был принят «в службу к Императорскому московскому театру».

Служба эта продолжалась свыше сорока лет: по день смерти Щепкина — 11 августа 1863 года. Это была нелицемерная, преданная служба русскому народу, его искусству, его культуре.

«Театр для актера — храм. Это его святилище. Твоя жизнь, твоя честь — все принадлежит бесповоротно сцене, которой ты отдал себя. Твоя судьба зависит от этих подмостков. Отнесись с уважением к этому храму и заставь уважать его других. Священнодействуй — или убирайся вон».

Таков суровый завет Щепкина актеру. Но прежде всего это был его завет самому себе, который он исполнил до конца.

Тот «храм», в котором сорок лет «священнодействовал» сам Щепкин, был московский Малый театр. И как же мало казенный театр щепкинских времен походил на храм! Уж какой там храм, если даже такой актер, как Щепкин, величайший артист своего времени, был там настолько не обеспечен самым необходимым для «священнодействия», а попросту говоря, для спектаклей, что должен был на свои деньги выписывать из Петербурга парики для себя и добывать их для товарищей!

Еще менее заботился казенный театр о материальном благополучии своего первого актера (не говоря уже об остальных актерах). В найденном мною письме Щепкина к Сосницкому 1825 года читаем:

«Дирекция (при возобновлении контракта. — *С. Д.*) предлагает мне 4 тысячи и тысячу на квартиру, а я прошу 4 и две на квартиру и тысячу на гардероб, то есть ровно семь тысяч<sup>[21]</sup>, и уверен прямо на этом требовании...»

Подобный нажим дирекции на Щепкина не раз повторялся при перезаключении контракта.

Щепкин горячо принимал к сердцу то бесправие и нужду, в которых казенная дирекция держала актеров Малого театра. Когда один из вельмож, поклонников Щепкина, попросил его написать что-нибудь в альбом, Щепкин написал из «Ревизора»: «Казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар».

В другой раз — в конце 50-х годов — Щепкин, защищая интересы товарищей-актеров, пошел на прямое выступление против начальства. Вот рассказ об этом А. И. Герцена:

«Дирекция московских театров задерживала какие-то экономические деньги, которые следовали в награду артистам. Артисты избрали Щепкина своим ходатаем в Петербурге. Директором тогда был известный Гедеонов. Гедеонов начал с того, что отказал наотрез в выдаче

денег за прошлое время, говоря, что книги были контролированы и возвращаться на сделанные распоряжения было невозможно.

Разговор стал упорнее со стороны Щепкина и, как разумеется, дерзче со стороны директора.

— Я должен буду беспокоить министра, — заметил артист.

— Хорошо, что вы сказали: я ему доложу о деле, и вам будет отказ.

— В таком случае я подам просьбу государю.

— Что вы это? С такими дразгами соваться к его императорскому величеству? Я, как начальник, запрещаю вам.

— Ваше превосходительство, — сказал, откланиваясь, Щепкин, — деньги эти принадлежат — в этом и вы согласны — бедным артистам; они мне поручили ходатайствовать об их получении; вы мне отказали и обещаете отказ министра. Я хочу просить государя — вы мне запрещаете, как начальник... Мне остается одно средство: я передам все дело в «Колокол»<sup>[22]</sup>.

— Вы с ума сошли!! — закричал Гедеонов. — Вы понимаете ли, что вы говорите?! Я вас велю арестовать. Послушайте, я вас извиняю только тем, что вы сгоряча это сказали. Из эдаких пустяков делать кутерьму, как вам не стыдно? Приходите завтра в контору, я посмотрю.

На другой день сумма была назначена артистам, и Щепкин поехал домой».

Таковы были внешние и материальные условия, в которых приходилось Щепкину работать в казенном театре.

Не лучше были условия внутренние.

Щепкин уставал от непомерной работы, участвуя в сотнях пьес, не имевших ни малейшей художественной ценности, — даже в феериях и операх. В свою записную книжку Гоголь внес такую запись:



«О Щепкине. Вмешали в грязь, заставляют играть мелкие, ничтожные роли, над которыми нечего делать. Заставляют то делать мастера, что делают ученики. Это все равно, что архитектора, который возносит гениально соображенное здание, заставляют быть каменщиком и делать кирпичи».

Щепкин негодовал на то, что Шекспир, Мольер, Фонвизин, Гоголь являются лишь случайными гостями на театре, что драматические сочинения Пушкина запрещены для сцены и что царит в театре «репертуар преотвратительный — не над чем отдохнуть душою, а вследствие этого память тупеет, воображение стынет, звуков недостает, язык не ворочается».

И тем не менее даже такой театр был в глазах Щепкина «храмом». «Мои все радости сосредоточены в одной сцене, — признался Щепкин Гоголю. — Знаю, что это почти сумасшествие, но что же делать?»

Своим беззаветным служением искусству, своим творческим подвигом Щепкин превращал казенные подмости в место, где в высочайшем могуществе проявлялась прекрасная сила театрального искусства, покорявшая себе лучших людей века — Пушкина и Гоголя, Белинского и Герцена.

Все события, свет и тени жизни Щепкина были подчинены одному верховному, единственному и всепоглощающему интересу Щепкина — театру.

Дышать — значило для Щепкина дышать воздухом театра; ходить — значило ходить по театральным подмосткам; нравственно расти и умственно обогащаться — значило расти и обогащаться через театр.

«По званию комического актера, — говорил Щепкин, — мне часто достается представлять людей низких, криводушных, с гаденькими страстями; изучая их характер, стараясь передать их комические стороны, я сам отделался от многих недостатков, и в том, что я

сделался лучше, нравственнее, я обязан не чему иному, как театру».

Нельзя полнее представить себе слияние актера с человеком, связь профессии с биографией, чем это было в жизни Щепкина.

Талант, по мнению Щепкина, не есть право «почивать на лаврах», но обязанность непрестанно, не покладая рук работать; искусство есть не мимолетная счастливая случайность вдохновения, а изыскательный труд — вот те советы, какие Щепкин оставил своим преемникам и всем русским актерам и которым сам он не изменял никогда.

Помощник режиссера Малого театра Соловьев вспоминает:

«Я прослужил с ним с лишком тридцать лет, и во все это время он ни разу не опоздал на репетицию и аккуратно, за четверть часа до начала спектакля, являлся на сцену совсем одетый. Никогда он не скучал репетициями, напротив, часто сам просил об их назначении, а когда некоторые актеры изъясляли на это свое неудовольствие, то он всегда говорил им так:

«Друзья мои, репетиция, лишняя для вас, никогда не лишняя для искусства...»

«На первую репетицию новой пьесы он всегда являлся первым с твердою ролью, а я его застал порядком стариком; молодым-то артистам и сделается совестно: смотришь, на следующую репетицию все приехали без тетрадок».

«На репетицию едем, бывало, в казенной карете, — вспоминает его ученица, артистка Малого театра Шуберт. — Он так просто, естественно начнет говорить, думаешь, что это он мне говорит, а оказывается, роль читает наизусть, да так твердо, слова не пропустит».

Артист А. А. Нильский вспоминает про участие Щепкина в мелодраме «Жизнь игрока»:

«Щепкин за целый час до увертюры, уже совсем одетый и загримированный для роли, расхаживал взад и вперед, от кулисы к кулисе, и что-то озабоченно бормотал про себя. Щепкин быстро подбегает к одной декорации и громко, дрожащим голосом восклицает с жестикуляцией: «Сын неблагодарный, сын бесчеловечный!» Это начало монолога из роли. А затем опять стал продолжать шептание. Мне сказали потом: «Таким образом он проходит каждую роль, хотя бы переигранную им сотни раз».

«В день «золотого юбилея» Щепкина его дом кипел до поздней ночи весельем, и вдруг, — вспоминает очевидец, — является между танцующими Щепкин в колпаке и шлафроке, ступает едва движущимися ногами, держа в руке тетрадь с ролью, которую завтра должен был играть».

Щепкин любил повторять, что искусство должно быть добросовестно исполняемо, на что Д. Т. Ленский, тогдашний переводчик и актер, однажды возразил ему:

«Михайло Семенович, добросовестность скорее нужна сапожникам, чтобы они не шили сапоги из гнилого товара, художникам необходимо другое: талант!»

«Действительно, необходимо и другое, — повторил Щепкин, — но часто случается, что у художника ни того, ни другого не бывает!»

Понятие о мудрой добросовестности Щепкина может дать следующий случай. Репетировали как-то «Ревизора». Щепкин, тогда уже глубокий старик, сидел в курилке и ждал своего выхода. Молодой помощник режиссера Черневский решил не беспокоить отдыхающего Щепкина и прокричал за него реплику Городничего, произносимую за сценой. Старый артист подозвал к себе Черневского и строго спросил его:

— Разве ты сегодня играешь Городничего?

Смущенный юноша ответил:

— Помилуйте, Михаил Семенович, я не хотел беспокоить вас по пустякам.

— Запомни, — горячо сказал Щепкин, — во-первых, у Гоголя нет пустяков, а во-вторых, я здесь именно затем, чтобы беспокоиться.

А в письме к Барятинскому (апрель 1857 года) Щепкин жалуется: «Мы не доросли еще до добросовестности труда, и потому за нами нужен присмотр, а то мы как раз съедем на русское «авось», а оно в искусстве, кроме вреда, ничего не принесет».

Сам он никогда не полагался на «авось».

Барятинский верно подметил особенности творчества Щепкина: «Для него изучить роль не значит один раз приготовиться для нее, а потом повторять себя в ней. Для него каждое новое представление есть новое изучение».

Герцен отмечал необыкновенную свежесть, даже «наивность», то есть непосредственность исполнения Щепкина: играет он роль, может быть, в сотый раз, а казалось, играет впервые. Щепкин вечно обновлял в себе те чувства и мысли, которые вкладывал в творимый им образ. Творческий процесс у Щепкина занимал не часы, дни и недели, как у других, а всю его жизнь; он был непрерывен, как дыхание.

С. Т. Аксаков рассказывает:

«В эпоху блистательного торжества, когда театр, наполненный восхищенными зрителями, дрожал от восторженных рукоплесканий, был в театре один человек, постоянно недовольный Щепкиным: этот человек был сам Щепкин. Никогда не был собою доволен взыскательный художник, ничем не подкупный судья».

Два стиха из обожаемого им Пушкина Щепкин повторял непрестанно:

Служенье муз не терпит суеты —  
Прекрасное должно быть величаво.

И таким и было «служенье» Щепкина: вот отчего и созданное им «прекрасное» в своем величии просветляло сердца, углубляло умы и пережило своего творца на долгие десятилетия.

Щепкин — отец русского сценического реализма.

В чем же заключены неумирающие черты прославленного щепкинского реализма? В чем, по крайней мере, главная его черта?

Она была в том, что Щепкин равно отрицал и высокие ходули внешнего декламационного пафоса, и низины натуралистического копирования жизни, не умеющего проникнуть до ее сердцевины.

Реализм Щепкина — живой, действенный реализм. Щепкин требовал от актера не просто скопировать образ, как он его наблюдает, а раскрыть его. Например, Шуйскому Щепкин советовал, создавая живое лицо, «не упускать из виду общество его *прошедшей* жизни» и сам всегда играл так, что через *настоящее* его героя, раскрытое с удивительной, исчерпывающей полнотой, зритель ясно видел его *прошедшее* и зорко предощущал его *будущее*.

Сквозь жуткую оболочку жестокого скряги, дрожащего над своими сундуками («Скупой рыцарь»), у Щепкина проступали черты воина, рыцаря, человека, кем был старый барон до того, как ужасная страсть завладела им безраздельно. Зритель начинал *видеть* это прошлое барона и тем сильнее поражался его настоящему: быть цепной собакой у сундука с золотом. И наоборот, слушая, как Городничий — Щепкин — с бешенством грозил самому себе: «Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека!» — зритель убеждался, что вновь приезжего ревизора Городничий встретит совсем иначе: со всей дерзкой зоркостью старого плута, со всей хитростью опытного

дельца — оплетет и обманет его так, как «трех губернаторов обманул».

Итак, раскрытие образа — точнее, раскрытие живой сущности человека. Нет ни смешного, ни трагического, ни лирического, ни элегического самого по себе, учил Щепкин: есть *жизнь*, и искать в образе нужно не элементы, не составные части (смешное, величественное, трогательное и пр.), а *целое*; искать нужно *жизненное* во всех его проявлениях и сплетениях.

Много лет с огромным успехом играя Гарпагона («Скупой» Мольера), Щепкин заново переделал всю роль: он решил, «что он до сих пор не так играл ее, что он упустил важную сторону в скупости Гарпагона: он не представил его человеком высшего состояния». Щепкин сто лет назад ощутил справедливость нашего современного требования к актеру, чтобы в жизненном дыхании изображаемого лица чувствовалось веяние его эпохи, дыхание его класса, Щепкин перестал играть «скупого вообще», а сыграл дворянина эпохи Людовика XIV, охваченного скупостью.

«Изучая роль, — вспоминал сын великого артиста А. М. Щепкин, — М. С. усваивал больше внутренние движения души человека. В голосе его не было подражания внешним привычкам, голосу и ухваткам различных сословий, он никогда никого не копировал. У него был талант схватить *сущность лица* и передать это по-своему. В его умном взгляде вы читали *мысли изображаемого* им человека, а тон речи и движения подходили к характеру роли. При художественном понимании *внутреннего человека* М. С. нетрудно было создать роли и не из русского быта».

Щепкин писал артистке Шуберт: «Не удовлетворяйтесь одной наружной отделкой. Как вы искусно ни отделаете, а будет все веять холодом... нет! в душу роли проникайте, в самые тайники сердца человеческого».

Немного слов, но какая огромная правда заключена в них!

Вспомним некоторые из образов, созданных Щепкиным. Постараемся глазами его современников увидеть на минуту его Фамусова и Городничего.

Грибоедов читал со Щепкиным роль Фамусова и выразил ему свои заветные желания, как играть эту роль, если запрещенное «Горе от ума» попадет на сцену. Щепкин не скрывал, что «Горе от ума» было и для него самого, и для всего Малого театра превосходной, но трудной школой сценического реализма. Щепкин показывал в Фамусове отнюдь не вельможу и не барина из «знатных» и «кровных». По служебному положению Фамусов вовсе не из первых лиц в Москве; от этого и полковник Скалозуб для него — особа. Но этот полубарин полон барского чванства и крепостнической важности. «Важным, сосредоточенным, — вспоминает очевидец, — был Щепкин — Фамусов и с чиновником Молчалиным, и со своими крепостными лакеями... Полная сдержанность при обращении с дочерью и с гостями; любезен Павел Афанасьевич с одним Скалозубом (нельзя же, желанный жених!) да пасует еще перед Хлестовой. В обращении Фамусова к сыну его покойного друга Андрея Ильича — к Чацкому — тон Щепкина был не только ироничен, но презрителен. Постоянно слышалась ненависть к противнику и взглядов, а всех понятий почтеннейшего Павла Афанасьевича».

Характер Фамусова окончательно раскрывался Щепкиным в финальной сцене «Горе от ума».

По рассказу Л. И. Поливанова, «Щепкин — Фамусов сходил с последних ступеней лестницы и шел спешно по полутемным сеням вперед, не замечая стоящих на авансцене Чацкого и Софьи; приблизительно около половины глубины сцены внезапно замечал вправо от

себя Чацкого и с иронией, довольно добродушной, продолжал:

Ба! знакомые все лица!»

Первоначально Фамусов замечал только Лизу с Чацким и даже рад был ночной встрече с этими «знакомыми лицами»: разве не забавно поймать вольнодумца на свидании, на интрижке с крепостной горничной? Но вот, обернувшись влево, Фамусов замечает третье «знакомое лицо» — свою дочь Софью. «Лицо его мгновенно изменялось: он содрогался и, потрясая обеими сжатыми на высоте подбородка руками, в ужасе вскрикивал звучным голосом:

Дочь, Софья Павловна! срамница!  
Бесстыдница! где! с кем!..»

Он полон негодования, но на что? На то, что накрыл дочь на ночном свидании? Вовсе нет. Щепкин делал решительное, резкое ударение на слове «с кем»... и выдерживал после этого длительную паузу. «С кем!..» — в этом все дело: если б Фамусов застал дочь на свидании со Скалозубом, с человеком видного положения и тугого кошелька, он, может быть, только погрозил бы пальцем; но застать Софью на свидании с тем, кто объявлен безбожником и карбонарием, — это, с точки зрения Фамусова, верх стыда и позора!

В этом «с кем!..» и раскрывался образ Фамусова. Зрителю по одному этому восклицанию становилась ясной цена истинной морали Фамусова и всего его общества.

От охватившего его негодования на «бунтовщика» Чацкого «вся фигура Щепкина подергивалась: судорожно сжимая свой фуляр<sup>[23]</sup> в руке, широко шагая и при этом покачиваясь, с разными ироническими



полупоклонами, с злою иронией в голосе, но, сдерживая себя, как человек благовоспитанный, обращался он к Чацкому. В распеканиях прислуги он не переходил пределов важного барина, который не приближается к *рабу* и мечет громы издали. Приближается он только к *рабыне*, к которой привык приближаться и в минуты спокойные, — и надо было видеть, как самое схватывание Лизы за руку было мягко у этого барина».

В Фамусове Щепкин с предельной верностью воплотил тип крепостника.

В «Ревизоре» он с еще большей яркостью создал тип чиновника-самоуправца.

«Влазь, так сказать, в кожу действующего лица», — советовал Щепкин своему ученику Шумскому и сам «влез в кожу» Городничего до того, что перенял его дыхание, перелил в свои жилы его кровь.

Когда Щепкин появился впервые в «Ревизоре», один из критиков заявил: «Кажется, что Гоголь с него списывал своего Городничего, а не он выполнял роль, написанную Гоголем», — до такой степени полно, жизненно и правдиво было создание Щепкина.

Современники Щепкина вспоминают о его Городничем, как будто о действительно существовавшем лице, которое они хорошо знали, со всеми особенностями его житейской походки. «Щепкин дал Городничего — плотоядного, пролазу и шельму, с грубоватой внешностью провинциального мелкого чиновника, умеющего отлично гнуть в бараний рог низших себя и пресмыкаться перед высшими».

У одного из летописцев русского театра читаем: «Сколько я ни видал городничих, такого, каким был Щепкин, я не видел. Если один являл собою самодура или деспота аракчеевской школы, другой — простодушного старика, наполовину выжившего из ума, третий — человека себе на уме, мечтающего о служебной карьере, то Щепкин одновременно был и тем,

и другим, и третьим, и вместе неизменно верным тому типу, который воплощен был в нем Гоголем. Он был совсем иным в первой сцене с чиновниками, чем в последних сценах с Хлестаковым, с купцами, с женой и дочерью, в которых он опять разнообразил себя, а между тем во всех сценах это был тот самый Городничий, который олицетворял в себе творческую идею автора». Щепкинский Городничий был живой градоправитель какой-нибудь Чухолмы или Елатьмы, случайно зашедший на подмостки Малого театра, и в то же время он был похож на всех городничих Российской империи, вплоть до городничего из городничих — самого Николая I.

Рассказывая Щепкину о злобных толках, вызванных «Ревизором», Гоголь писал: «Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины — и против тебя восстает не один человек, а целые сословия».

Гоголь говорил это почти с отчаянием; Щепкин же, наоборот, с радостью подхватил слова Гоголя: «Со стороны же публики, чем более будут на вас *злиться*, тем более я буду радоваться, ибо это будет значить, что она разделяет мое мнение о комедии и вы достигли своей цели».

Щепкин радуется тому, что сатирический удар Гоголя попал в цель: во всех сквозник-дмухановских, всех малых и больших насильников империи Российской.

Вместе с Белинским и Герценом Щепкину — создателю Фамусова и Городничего — горячо рукоплескала вся молодая демократическая Россия, как основателю театра общественной комедии.

Это оружие пламенной сатиры сохранило после Щепкина свою карающую остроту в руках Прова Садовского, Шумского, Ленского, Михаила и Ольги Садовских, Давыдова, Станиславского. Это же нержавеющее щепкинское оружие смеха остается

острым и метко бьет также и в наши дни в руках Рыжовой, Корчагиной-Александровской, Москвина, Тарханова и других актеров, когда они создают образы врагов нашего народа, его новой жизни и смелой мысли.

Много замечательных образов создал Щепкин в русской комедии. Из знаменитых его ролей назовем роли Подколесина и Кочкарева в «Женитьбе» Гоголя, Утешительного в гоголевских «Игроках», Муромского в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина, Большова в «Свои люди — сочтемся» Островского, Мошкина в «Холостяке» и Ступендьева в «Провинциалке» Тургенева.

Но Щепкин создал не менее замечательные образы в драме и трагедии.

И. С. Тургенев написал для Щепкина роль Кузовкина в «Нахлебнике». Этот старик нахлебник в богатом помещичьем доме, вкусивший всю горечь чужого хлеба, посоленного тяжкими слезами непрерывной обиды и горького страдания, был последним созданием старика Щепкина. Больше десяти лет мечтал он сыграть эту роль в пьесе, запрещенной цензурой, и когда наконец, незадолго до смерти, ему это удалось, зрители увидели потрясающий образ, в котором гениальный актер запечатлел всю свою ненависть к крепостному строю жизни, все свое горячее сочувствие к его жертвам, весь великий гнев и всю великую любовь своего большого сердца.

Щепкин был страстным почитателем Пушкина. Он любил читать его стихи с эстрады. В противоположность большинству читателей, критиков и актеров, находивших, что драматические произведения Пушкина писаны не для театра, Щепкин страстно мечтал перенести их на сцену. Он решил сам сыграть «Скупого рыцаря» в Москве в свой бенефис в 1853 году.

Это было очень смелое решение. Щепкин, всеми признанный комический актер, брался за самую

трудную, трагическую роль! Даже друзья Щепкина были в тревоге: как «небольшая квадратная фигура» предстанет в образе Скупого рыцаря, который высок и худ? Хватит ли у 55-летнего старика сил для трагической роли? Но все эти сомнения рассеял великий артист.

До «Скупого рыцаря» Щепкин сыграл на сцене семь различных вариантов образа «скупца» — комических («Скупой» Мольера), трагических («Шейлок»), драматических (старик Гранде в инсценировке «Евгения Гранде» Бальзака), романтических («Алхимик» А. Дюма), мелодраматических, водевильных. Пушкинский барон был восьмым, и он ни в чем не походил ни на одного из прежних.

Щепкин захватил зрителей силой своей правды.

«Все ощущения, все переходы и оттенки в душе страшного скряги, — по свидетельству современника, — были уловлены и переданы им... С первых же слов барона, с какими он спускался в подвал, Щепкин дал почувствовать, что барона влечет туда не просто страсть, а страсть, дающая высшее наслаждение. Скупой Щепкина действительно шел в подвал на любовное свидание. Ничего отвлеченного, ничего риторического: это была живая, вполне ощутимая любовь, и тем страшней для слушателей становились любовник-скряга и его любовница — золотая казна. Речи скупого о его власти над всем и всеми в устах Щепкина звучали с непоколебимой силой и уверенностью, и тем жестче и злее была ирония, с которою скупец произносил слова:

Да! если бы все слезы, кровь и пот,  
Пролитые за все, что здесь хранится,  
Из недр земных все выступили вдруг,  
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б

В моих подвалах верных...

Обычно эти слова актеры произносят с трагическим содроганием, с ужасом пред этим карающим потоком. У Щепкина не было никакого ужаса. Наоборот, последние слова Щепкин кончал со сдержанным, но злобным, едким смехом. *«Если бы...»* В том-то все и дело, что никакое «если бы» не сбудется: слезы, кровь и пот пролиты — и делу конец, а кто думает, что они что-нибудь значат на весах мировой справедливости, тот, по железному убеждению скупого, заведомый глупец. Холодной жестокостью леденил здесь Щепкин своих слушателей.

Но вот, любуясь сундуками, он произносит: «Приятно и страшно вместе». И чем сильнее упоение скупца своей властью, тем мучительнее вспыхивает в нем ревность к тому, кто унаследует его тщательно охраняемую «золотую любовницу», — вспыхивает острая ревность к сыну-наследнику.

Именно здесь был у Щепкина центр драматического действия: «Он расточит!» В этот протяжный вопль сливались и безумная ревность, и великое отчаяние, и жалостливая беспомощность. На секунду, как бы очнувшись после ревнивого вопля, скупец с холодной, ужасающей рассудочностью произносил: «А по какому праву?» И этим вопросом вмешивал слушателя-зрителя в свою алчную тяжбу с сыном. Как на страшный решающий аргумент в свою пользу, указывал скупец на непомерные, ростовщические проценты, которые «заимодавец грубый» — совесть — берет с него за его богатство. Зрители видели: да, она была у щепкинского скупого. Но даже ее, даже угрызения совести он обращал на защиту своей чудовищной страсти. Последние слова монолога — мечты о загробном, бессмертном дежурстве в подвале, у сундуков —

Щепкин произносил с жуткою мечтательностью человека, знающего заранее горькую неосуществимость своей мечты.

А в завершающей сцене драмы в старом скряге на мгновение пробуждался рыцарь, и он с подлинным достоинством бросал перчатку дерзкому обидчику-сыну и тут же, хватаясь за сердце, падал ниц с предсмертным криком: «Ключи! Ключи мои!»

Это был страшный, живой, сложный образ, подлинно пушкинский образ Скупого рыцаря, воплощенный на сцене Щепкиным.

В вечер 9 января 1853 года — девяносто лет тому назад — Щепкин совершил большое дело: он умертвил навсегда искусственную декламацию, наигрыш и мнимый пафос в трагедии, доказав неопровержимо, что реализм есть такой же верховный закон трагедии, как и комедии.

Есть еще одна группа ролей Щепкина — ролей, исключительно им любимых, о которых Белинский писал:

«Это роли по преимуществу простых людей, которые требуют не одного комического, но и глубоко патетического элемента в таланте артиста. Торжество его таланта в том, что он умеет заставлять зрителей рыдать и трепетать от страданий какого-нибудь матроса, как Мочалов заставлял их рыдать и трепетать от страданий принца Гамлета или полководца Отелло».

Из драматического водевиля «Матрос», переведенного с французского, Щепкин сделал подлинную народную трагедию.

Старый матрос возвращается на родину из долголетнего вражеского плена. В синей матросской куртке, в красном жилете со светлыми пуговицами, с клеенчатой шляпой и походной сумкой, Щепкин-матрос одним своим появлением вызывал бурю рукоплесканий.

Отчизна дорогая,  
Тебя я вижу вновь,  
Все та же жизнь простая.  
Те ж ласки и любовь... —

эти слова Симона исторгали слезы. Очевидец спектакля делится своим восторгом: «Вы видите в нем моряка, который любит свое отечество, славу и людей, близких его сердцу. Как чудно он умел выразить гордость о возвращении на родину и вместе тайную грусть, что, может быть, его жена и дочь уже не существуют!»

Все кругом изменилось, —

с глубокой тоской шепчет старый моряк.

Безумец! Ты забыл, что время,  
Как шквал, рвет жизни паруса...

Старый матрос убеждается, что его считают умершим. На кладбище воздвигнут ему памятник, как герою, павшему со славою в битве при Трафальгаре. Он узнает, что его жена замужем. Сраженный этой вестью, Симон не произносит ни слова, но в его почти безумном от отчаяния взоре блестят слезы.

«В эту страшную минуту Щепкин не сказал ничего, но прекрасное лицо его выразило все, что он чувствовал, и театр в благоговении не смел даже аплодировать — так велика была обаятельная сила таланта Щепкина».

Не желая разрушать чужого счастья, старый матрос незаметно исчезает, чтобы кончить неизвестную труженическую жизнь там —



В морях, морях,  
Где буря и страх,  
Гроза в небесах...

После одного из представлений «Матроса» зрители, потрясенные виденным, потребовали от великого артиста раскрытия тайны его власти над ними. И он в дружеской беседе раскрыл эту тайну. Она — в различии между «актерством» и «художеством». Участник этой беседы передает: «В деле искусства сценического Щепкин отличает актерство (искусство в низшем смысле) от художества (искусство собственно). Актерство достается даже просто известною сценическою опытностью. Но художество как творчество является в полном олицетворении живой, *действительной личности*.

Актер копирует человека в его действиях и чувствованиях.

Художник-артист становится (Щепкин не устает это повторять) *самим этим* человеком, делая его личное бытие своим бытием.

Щепкин — впервые на русской сцене — показал нового человека, которому ранее там не было места: человека из народа. Великий художник-демократ, он в своем «Матросе», в своем изобретателе Жакарте («Жакартов станок»), в некоторых других ролях первый показал доблесть и честь, ум и талант, простоту и величие человека из трудовых масс.

И реализм Щепкина становится в этих ролях *демократическим реализмом*.

Вслушаемся в речи, которые исходили из уст Щепкина в роли Жакарта, изобретателя ткацкого станка.

Жакарт содрогается от ужаса при виде кошмарных условий человеческого труда в лионских мастерских:

«Работники не живут... они страдают... Чтобы это понять, надо видеть их вблизи. Эти несчастные набиты сотнями в тесных мастерских, без воздуха, на привязи, почти на цепи, зависят все один от другого и часто принуждены быть праздными. И бедные женщины работают так же, как мужчины. Даже маленькие дети — бледные, худые, изможденные — и те истощаются от лишних усилий. Как подумаешь об этом, сердце обливается кровью».

Никто никогда в русском театре до Щепкина не произносил подобных речей — взволнованных, горячих, одушевленных любовью к рабочему человеку.

Щепкин создавал в лице Жакарта образ радетеля о благе рабочих, защитника их труда, и с особой, вдохновенной силой звучал в устах Жакарта — Щепкина гимн труду и трудящимся:

Честь и слава их трудам,  
Слава каждой капле пота,  
Честь мозолистым рукам,  
Да спорится их работа!

В устах Щепкина это было пламенное исповедание веры в великое будущее тех, к кому только и могут относиться эти слова, — в будущее трудящихся людей. «Гимн труду» Щепкин любил читать и с эстрады.

И этот гимн труду скоро перешел в уста народа, как и щепкинские песни старого матроса.

Московский генерал-губернатор Закревский послал секретное донесение шефу жандармов Долгорукову:

«Щепкин Михаил Семенович, актер... Желает переворотов и готов на все».

Так горячий почитатель декабристов, актер-демократ Щепкин был поставлен в ряд с теми, кого крепостники и насильники справедливо считали своими

непримиримыми врагами. И в этих продиктованных ненавистью и страхом строках губернаторского донесения для нас заключается самая почетная оценка деятельности великого русского народного актера.

## VI

Щепкин был актер-мыслитель: в его Фамусовых и городничих раскрывалось то, как он оценивал общественные явления, что он думал о человеке. Вот почему Щепкин непрерывно стремился *«в просвещении стать с веком наравне»*.

Мы знаем о нем как о собеседнике Пушкина и Гоголя, как о друге Герцена и Белинского.

В 1827 году М. П. Погодин, профессор истории, записал у себя в дневнике:

«Завтракали у меня представители русской образованности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский, Веневитинов».

Щепкин был связан крепкой дружбой с лучшими представителями русского искусства, науки и освободительной мысли; он благодарно вспоминал:

«Правда, я не сидел на скамьях студентов, но с гордостью скажу, что я много обязан Московскому университету в лице его преподавателей. Одни научили меня мыслить, другие — глубоко понимать искусство».

«...Пушкин, который меня любил, приезжая в Москву, почти всегда останавливался у Нащокина, и я... редкий день не бывал у них».

Пушкин принял близкое участие в главном событии творческой жизни Щепкина, ставшем событием и в жизни всего русского театра, — в первой постановке «Ревизора» на сцене Малого театра в Москве.

Незадолго до смерти Пушкин по просьбе Щепкина упорно хлопотал перед шефом жандармов Бенкендорфом о разрешении для бенефиса Щепкина запрещенной комедии Г. Квитки-Основьяненко «Дворянские выборы». Глава жандармов не внял

просьбам «неблагонадежного» поэта в пользу актера, который сам был на подозрении у жандармов.

Неразрывными узами дружбы и творчества Щепкин был соединен с Гоголем.

Щепкин играл Городничего, Подколесина, Кочкарева, Утешительного («Игроки»), Бурдюкова («Тяжба»), читал Плюшкина, генерала Бетрищева, Петуха («Мертвые души»). В образах Гоголя великий артист, томившийся по живой правде, нашел лучший материал для своего реалистического творчества. На торжественном обеде, данном литераторами и актерами в 1853 году по случаю отъезда Щепкина в путешествие за границу, он, произнеся имена Грибоедова и Гоголя, «наших двух великих комических писателей», с благодарностью заявил: «Им я обязан более всех; они меня, силою своего могучего таланта, так сказать, поставили на видную ступень в искусстве».

Но тут же пришлось Щепкину услышать от Погодина: «Гоголь сам обязан был много Щепкину. Не говорю об их близкой короткой связи, не говорю об их частых беседах, исключительно посвященных драматическому искусству, и русской жизни, не говорю о веселых, живых и уютных рассказах Щепкина, которые часто встречаются в сочинениях Гоголя, — но тот смех, который Щепкин возбуждал в Гоголе, еще молодом человеке, выступавшем на поприще, не был ли задатком того смеха, каким после наделил нас Гоголь с таким избытком? Выводя на сцену многих действующих лиц, Гоголь не имел ли в виду Щепкина? Могу подтвердить это и примером: Щепкин имел такое влияние на Гоголя, какое в младшем поколении Садовский своею простотою, своею натурою и даже своею особою имел на Островского».

Это влияние было глубоко плодотворным для Гоголя. Щепкин не только своей гениальной игрой, но и своей

мыслью и словом помогал Гоголю уяснить общественное значение его творчества.

Когда Гоголь в середине 40-х годов попытался в своей пьесе «Развязка Ревизора» дать мистико-аллегорическое истолкование образам в «Ревизоре», он натолкнулся на резкое сопротивление Щепкина.

«Прочтя ваше окончание «Ревизора», — писал он Гоголю, — я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев «Ревизора», как живых людей, я так видел много знакомого, так родного, я так свыкся с Городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще — это было бы действие бессовестное. Чем вы их замените? Оставьте мне их, как они есть... Не давайте мне никаких намеков, что это же не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди... Нет, я их вам не дам! Не дам, пока существую. После меня переделайте хоть в козлов; а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог».

Гоголь не мог не почувствовать глубокой правды в этом гневе Щепкина — и отказался от мысли ставить «Ревизора» с мистико-аллегорической «Развязкой». Щепкин навсегда утвердил на русской сцене «Ревизора» как грозную комедию прямого и сурового суда над жизнью.

В Тургеневе Щепкин видел как бы одного из преемников Гоголя, великого русского писателя, с особой радостью играл в тургеневских пьесах и в течение тринадцати лет боролся за право сыграть посвященного ему, но запрещенного цензурой «Нахлебника», пока не добился своего. Когда же Тургенев был арестован за свою статью по поводу смерти Гоголя и выслан в орловскую деревню, Щепкин, не боясь неприятностей со стороны начальства, посетил Тургенева в Спасском.

Щепкин рано оценил критический талант В. Г. Белинского, и великий критик оказался в числе наиболее близких к нему людей. Щепкин был трогательно внимателен к личной жизни Белинского, испытывавшего постоянную нужду. Видя, что Белинского снедает недуг (чахотка), Щепкин в 1846 году, отправляясь на гастроли на юг, взял его с собою в надежде, что теплый климат поможет Белинскому; во время поездки Щепкин ухаживал за ним, как нянька.

Близок был Щепкин и с другим вождем нарождающейся демократии — с А. И. Герценом. Из рассказов Щепкина перед Герценом вставал образ родного народа — в его трудах и днях, скорбях и радостях. Называя эти рассказы Щепкина «превосходными», Герцен утверждал: «Во всех этих рассказах пробивается какая-то *sui generis*<sup>[24]</sup> струя демократии и иронии». Как уже сказано, один из этих рассказов Щепкина породил повесть Герцена «Сорока-воровка» — один из самых ярких протестов против крепостного права в русской литературе. В конце 50-х годов московский генерал-губернатор Закревский, причислив Щепкина «к элементам, которые могут послужить неблагонамеренным людям, чтобы произвести переворот в государстве», доносил: «Актер Щепкин на одном из своих вечеров подал мысль, чтобы авторы писали пьесы, заимствуя сюжеты из сочинений Герцена».

А. Герцен с начала 50-х годов считался государственным преступником. Находясь в эмиграции, он жил в Лондоне, по собственным словам, как «в многолюдной пустыне». Никто из старых друзей не осмеливался навестить его, опасаясь гнева и кары со стороны Николая I. И с особым чувством любви и гордости Герцен свидетельствует: «Первый русский, ехавший в Лондон, не боявшийся протянуть мне руку, был Михаил Семенович Щепкин».

Таким же верным другом оставался Щепкин и для другого изгнанника — Т. Г. Шевченко.

Между великим украинским поэтом и великим русским актером было родство по происхождению из народа, по любви к народу и по творческой близости к искусству народа. Еще в 1844 году Шевченко, восторгавшийся русскими и украинскими образами Щепкина, посвятил ему стихотворение «Чигирин». В 1847 году Шевченко был арестован, отдан в солдаты и сослан на пустынный берег Каспия с запрещением писать и рисовать. Лишь через десять лет Шевченко довелось избавиться из этой каторжной ссылки, и 12 января 1857 года он писал Щепкину из Нижнего Новгорода:

«Друже мій давний, друже мій єдиний! Із далекої киргизької пустини, із тяжкої неволи вітав я тебе, мій голубе сизий, ширими сердечними поклонами. Не знаю тільки, чи доходили вони до тебе, до твого широкого, великого серця!.. Тепер я в Нижнім-Новгороді, на волі, — на такий волі, як собака на прив'язи».

Получив эту весть от Шевченко, Щепкин, 70-летний старик, сел в кибитку (дело было в декабре) и помчался за 400 верст в Нижний на свидание к другу. «Праздникам праздник и торжество есть из торжеств! — пишет Шевченко в дневнике. — В три часа ночи приехал Михайло Семенович Щепкин». Несколько дней дружья провели вместе в сердечных беседах, а вечерами Шевченко отправлялся в театр, где Щепкин сыграл для него Городничего, роль Москаля-чаривника, роль матроса и Любима Торцова («Бедность — не порок» Островского).

Когда Щепкин уехал, Шевченко записал в дневнике: «Шесть дней, шесть дней полной, радостно



торжественной жизни! И чем я заплачу тебе, мой старый, мой единый друже? Какая живая, свежая поэтическая натура! Великий артист и великий человек, и с гордостью я говорю: самый нежный, самый искренний друг мой!»

И в Щепкине действительно «великий артист» соединялся с «великим человеком», верным в дружбе, неколебимым в своей преданности народу, пламенным в своей любви к родине.

\* \* \*

В середине 40-х годов строгий к актерам Гоголь писал Щепкину: «Вы напрасно говорите в письме, что старитесь. Ваш талант не такого рода, чтобы стариться... Напротив, зрелые лета ваши только что отняли часть того жару, которого у вас было слишком много, который ослеплял ваши очи и мешал взглянуть вам ясно на нашу роль. Теперь вы стали в несколько раз выше того Щепкина, которого я видел прежде».

В конце 50-х годов Шевченко, сам не зная того, повторил этот отзыв Гоголя, говоря про Щепкина: «Он... подарил нижегородцам три спектакля, привел их в трепетный восторг, а меня — меня вознес не на седьмое, а семидесятое небо».

У Щепкина слабели с годами физические силы, но не талант и не искусство. Он умер 11 августа 1863 года — на службе родному искусству, совершая свою гастрольную поездку по югу. Он умер с именем Гоголя на устах. Почти сутки лежал он в забытии, но вдруг потребовал: «Скорей, скорей одеваться!» — «Куда вы, Михаил Семенович? — с недоумением спрашивал его слуга. — Что вы, бог с вами, лягте!» — «Как куда? Скорей к Гоголю». — «К какому Гоголю?» — «Как к какому? Николаю Васильевичу». — «Да что вы, родной,

господь с вами, успокойтесь, лягте. Гоголь давно умер». — «Умер? — спросил Михаил Семенович. — Умер... да, вот что...» Низко опустил голову, покачал ею, отвернулся лицом к стене и навеки заснул.

Принято говорить, что актер умирает навсегда, сходя со сцены.

Это не относится к Щепкину.

Созданные им образы — и прежде всего Фамусов и Городничий — продолжали жить в памяти всех, кто их видел. Они продолжают жить в творчестве тех актеров, которые приняли и принимают по наследству от Щепкина эти и другие роли: играть «по Щепкину» — значило и значит играть эти роли «по Грибоедову» и «по Гоголю»; значило и значит играть их с жизненной правдой и высоким искусством, отданным на служение родине.

Несколько поколений русских актеров были прямыми учениками Щепкина, и нет ни одного сколько-нибудь значительного русского актера в прошлом и настоящем, который бы не изучал его записки, письма и воспоминания о нем, который не учился бы у Щепкина трудному искусству актера, ибо, говоря словами Герцена, Щепкин «создал *правду* на русской сцене, он первый стал *не театрален* на театре».

«Дом Щепкина» — так называют Малый театр, когда желают отметить его историческое почетное место в русском искусстве. «Дом Щепкина» — это значит превосходная школа актерского мастерства, сценической правды и высокого служения в искусстве народу и родине.

В самый год смерти Щепкина — 1863 — родился К. С. Станиславский. Основывая вместе с Вл. И. Немировичем-Данченко в 1898 году Художественный театр, он взял себе девизом слова Щепкина: «Искусство настолько высоко, насколько близко к природе». Вся деятельность Художественного театра, произведшая переворот в

русском и европейском театре, была утверждением и развитием тех основ неприкрашенной правды и мужественной простоты, которым всегда был верен Щепкин. В своих сочинениях об искусстве актера Станиславский развивает мысли Щепкина, выработанные им в течение без малого 60-летней своей актерской деятельности.

Щепкин нес в своих образах те же высокие идеи народного освобождения и высокой человечности, которыми пламенели Пушкин, Гоголь, Белинский, Герцен. Он был поистине «школою гуманности».

Пример Щепкина всегда перед глазами советского актера: каждым шагом своей жизни, каждым своим словом Щепкин учит художника быть гражданином, быть верным сыном родной страны.

И когда великий артист умер, Герцен, написавший, что Щепкин и Мочалов, без сомнения, два лучших артиста среди артистов Европы, которых он когда-либо видел, продолжал: «Оба принадлежат к тем намекам на сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России».

Это светлое будущее России не в состоянии омрачить никакие испытания и никакие покушения на него врагов русского народа.

Народу, который дал в искусстве Пушкина и Глинку, Гоголя и Щепкина и десятки, сотни других великих имен во всех областях культуры, — такому народу принадлежит широкий и свободный путь в истории.

*1943 год*

# **С. МАРКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МИКЛУХО-МАКЛАЙ**

Описать жизнь Н. Н. Миклухо-Маклая — благодарная, но очень трудная задача. Необычайная жизнь этого человека не укладывается в рамки обычного биографического повествования. Она настолько красочна, что о ней можно написать не одну книгу. Деятельность Миклухо-Маклая была исключительно разносторонней. Мир знал его как бесстрашного путешественника, пламенного защитника темнокожих народов. Он сочетал в себе географа, зоолога, анатома, антрополога, этнографа, художника. Миклухо-Маклай знал семнадцать языков и наречий. Он побывал во всех частях света. Что-то волшебное есть в его скитаниях от древних новгородских стен и невских берегов до тущоб Малакки, от холмов Москвы до коралловых заливов Новой Гвинеи. Сын великого русского народа, он любил свой народ и все человечество, прославляя русскую науку и русское мужество в странах лазурной Океании.

Всю свою жизнь Миклухо-Маклай посвятил изучению человека. На исходе XIX столетия, в эпоху пара и электричества, он прожил много лет среди детей природы, среди людей каменного века. Изучение жизни и быта туземцев стран южного Тихого океана — Меланезии, Микронезии и Полинезии — обогатило не только русскую, но и мировую науку подлинно драгоценными сведениями, добытыми путем неустанного труда и вечного подвига. Один из создателей современной антропологии, Миклухо-Маклай, смело и страстно выступал против расовой нетерпимости, действуя под знаменем подлинной науки.

Вся его жизнь прошла в борьбе с лжеучеными, реакционерами от науки, делившими человечество на активные и пассивные расы, в борьбе с колонизаторами и работоторговцами.

Русский ученый Миклухо-Маклай, более десяти лет общаясь с представителями самых «диких» племен, заявил всему миру, что так называемых «дикарей» не существует в природе, что физические различия, в частности форма черепа, разделение человечества на «длинноголовых» и «короткоголовых», чем тогда увлекались многие антропологи, не могут служить мерилom духовных качеств и особенностей того или иного народа. И в работах на Малакке, и в своих многолетних работах на Новой Гвинее Маклай показал постепенное исчезновение расовых признаков в результате установления хозяйственных и культурных связей между народами. Стараясь быть беспристрастным, Миклухо-Маклай применял все научные методы своего времени с единственной лишь целью — доказать видовое единство всего человечества. Он учил, что папуас, негр, русский, монгол, англичанин представляют собой лишь один вид «*Homo sapiens*» — Человека разумного.

Враги Маклая — мракобесы, реакционеры и работоторговцы, — пользуясь тем, что его творения и материалы о нем не были изданы и исследованы, старались очернить, оклеветать великого ученого и при жизни, и после его смерти. Но лучшие люди его эпохи — Лев Толстой и Тургенев, ученый-коммунар Элизе Реклю и творец антропологии Поль Брока, дарвинисты Геккель и Гексли — признавали Маклая. Отвага, воля и упорство Миклухо-Маклая удивляли его современников, как бы ощущавших в общении с ним его будущее бессмертие.

В памяти нашего народа и всего передового человечества Николай Маклай навсегда останется

ученым, прославленным во всем мире, чистым, бестрепетным и бескорыстным борцом за счастье людей.

## ОТ БОРОВИЧЕЙ ДО МАРОККО

Родина этого замечательного человека — лесные новгородские просторы, где затерялось сельцо Рождественское, что близ города Боровичи. Название сельца давно исчезло с карт: вероятно, Рождественское было простым временным рабочим поселением при постройке железной дороги Москва — Петербург. Из истории постройки этой линии невозможно вычеркнуть имя инженер-капитана Н. И. Миклухо-Маклая, худого темноволосого человека в очках. Участок дороги от Петербурга на Чудово и Мету — дело его рук. Он выстроил опытный участок линии Петербург — Колпино и уложил рельсы на пути к Александровскому заводу, из ворот которого 7 мая 1847 года вышел первый паровоз. Капитан Миклухо-Маклай работал потом на участке дороги Вышний Волочек — Тверь, позже он был первым начальником Николаевского вокзала в Петербурге. Это был отец Николая Маклая.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай родился в 1846 году. С детства он привык к нужде. Ему было одиннадцать лет, когда умер отец, оставивший семью в бедности. Нужда преследовала его в годы отрочества, когда он учился в гимназии; студентом Маклай самолично штопал свой убогий наряд.

Странствия Маклая по земному шару, охватившие все пять частей света, начались в 1864 году. Лишенный возможности продолжать образование в Петербургском университете, Маклай решил перебраться в Европу. Два года он слушал лекции на философском факультете знаменитого Гейдельбергского университета в Германии, затем перекочевал в Лейпциг, где занялся медициной. Через два года мы видим бедного русского студента в покрытой заплатами, но всегда чистой

одежде, расхаживающим по известняковым склонам гор, которые окружают тихий университетский городок Иену. Здесь Маклай обратил на себя внимание знаменитого естествоиспытателя Эрнста Геккеля. Геккель, высокий, светлоглазый, бородатый человек, воинствующий материалист и один из первых последователей Дарвина, полюбил молодого студента, в котором видел будущего натуралиста, и в 1866 году взял его с собой в большое научное путешествие; двадцатилетний Маклай впервые перешагнул порог старой Европы.

Мадейра, Тенериф, Гран Канария, остров Лансерот, знойное марево Марокко, дикий утес Гибралтара, виноградники Испании, улицы Парижа и, наконец, снова тихая Иена — таков был маршрут первого путешествия Маклая. В Гибралтаре наш путник с волнением смотрел на северный склон исполинской известняковой скалы. Здесь, в земном прахе, был найден древний человеческий череп, похожий на те останки, которые недавно были обнаружены в Неандертале. И вот во всех частях света в кабинетах антропологов идет спор: можно ли видеть в бранных останках из Неандерталя и Гибралтара кости наших общих предков? В Париже и Иене Маклай жадно прислушивается к спорам. Парижский антрополог Поль Брока, создатель науки о естественной истории человека, окруженный черепами и берцовыми костями, упорно изучает строение, форму голов древних и современных людей. На полках его лаборатории, оскалившись, стоят черепа древних фараонов и калмыков, средневековых французов и черных африканцев, пиренейских басков и ископаемых людей из пещер Европы.

В 1868 году антропологи делают новое открытие, прогремевшее на весь мир. Скелеты ископаемых людей найдены в Кроманьоне. Снова возгорается полный страсти научный спор о происхождении человека.



Ученые резко делятся на два лагеря: моногенисты стоят за единство происхождения всех народов; полигенисты утверждают, что различные расы имеют различное происхождение, создавая таким образом почву для утверждений о неравноценности рас. Гуманист Брока защищает идею единства человеческого рода. Его работы с черепами не разобщали семью человечества, а содействовали ее единению. Брока, так же как и Маклай, был другом людей. В дни Парижской коммуны герои городских баррикад несли почетную стражу у дверей дома Брока. Бойцы Национальной гвардии с ружьями наперевес охраняли покой ученого-гуманиста.

— Я нахожусь здесь, чтобы гражданин Поль Брока мог спокойно работать на благо Франции, — просто ответил солдат Коммуны, когда его спросили, зачем он стоит в карауле у дверей особняка.

Геккель, Брока, Дарвин — вот великие имена подлинных учителей Миклухо-Маклая. В Иене он сближается со сторонником Дарвина, доктором Антоном Дорном, с которым работает на берегу Мессинского пролива, изучая ракообразных, морских губок и других животных непосредственно в связи со средой. Когда наступила тоска по новым странствиям, Маклая потянуло на раскаленные берега Красного моря. Изучив фауну Средиземного моря, молодой ученый захотел исследовать животных Красного моря и наметить связь фауны красноморской с фауной Индийского океана.

В марте 1869 года, когда поверхность африканских Горьких озер зарябила от первых вод, пущенных по руслу нового Суэцкого канала, Николай Маклай появился на улицах города Суэца. Как истый мусульманин, выбрив голову, выкрасив лицо и облачившись в наряд араба, Маклай добрался до коралловых рифов Красного моря. Его видели в Суакине, Ямбо, Джидде и других местах. Потом Маклай не раз вспоминал, каким опасностям он подвергался. Он болел, голодал, не раз встречался с

разбойничьими шайками. Впервые в жизни Миклухо-Маклай увидел, как люди продают людей, продают просто и деловито, как рабочий скот. Он видел рынки невольников, процветавшие в Суакине и Джидде. И двадцатитрехлетний зоолог вдруг стал заниматься делом, казалось бы, столь далеким от его прямой специальности, — собиранием материалов о работорговле в Египте. Но для него это было лишь частью великой единой науки о человеке в самом широком смысле.

Маклай уже успел повидать мир. Он прошел пешком земли Марокко, побывал на островах Атлантики, бродил по Константинополю, пересек Испанию, жил в Италии, изучил Германию. Теперь он начинает грезить такими странами и народами, где до него никто из белых людей еще не бывал. Эти страны лежали в Тихом океане.

## **ЗАВЕТ КАРЛА БЭРА**

В 1869 году знаменитому русскому академику Карлу Бэру доложили, что его хочет видеть Миклухо-Маклай. Перед старым ученым стоял молодой человек с отрастающей бородкой. Он был одет в тот самый знаменитый иенский сюртук «дыра на дыре», с починкой которого было так много возни и забот. Бэр прочел письмо Геккеля, переданное ему Маклаем, и стал ласково расспрашивать молодого зоолога о его работах.

Карлу Бэру было в то время семьдесят восемь лет, и его заслуги перед наукой были велики. Зоолог, анатом, географ, археолог, антрополог, в последние годы он увлекался изучением первобытных племен. Он собирал человеческие черепа, измерял их, взвешивал мозг и вычислял его объем. Маклай знал бэровские работы о народах Тихого океана, о папуасах и альфурах, знал и о взглядах старого ученого на проблему происхождения человеческого рода: престарелый Бэр был убежденным моногенистом и защитником равноправия рас.

Бэр обласкал юного ученого и поручил ему на первых порах заняться изучением коллекции морских губок, привезенных русскими экспедициями с севера Тихого океана. Эта работа увлекла Маклая. Ему удалось установить, что все виды губок Берингова и Охотского морей можно свести к одному и тому же виду, но применившемуся к местным условиям и соответственно изменившемуся. Идеи Дарвина, совместная работа с Дорном помогли Маклаю в этом важном открытии.

Тонкая рука Маклая невольно дрогнула, когда он рассматривал одну примечательную губку. Она считалась пресноводной, ибо была взята из вод Байкала. Но эта губка по своей природе была почти одинакова с морскими губками Тихого океана.

«...Остаток морской фауны, населявшей когда-то большое Азиатское море...» — так написал торжествующий Маклай о скромной губке с Байкала.

Книги о странах и обитателях Тихого океана начали появляться на письменном столе Миклухо-Маклая. Однажды ему в руки попал труд Отто Финша «Новая Гвинея», изданный в Бремене. В своей книге Финш собрал и изложил многие чужие наблюдения о жизни далекой и загадочной страны. К книге была приложена карта. Маклай долго рассматривал ее. Взор его задерживался на очертаниях северо-западного берега огромного острова.

Постепенно у Маклая сложилось убеждение о необходимости всестороннего исследования Тихого океана. Зоолог, антрополог, этнограф боролись в душе Маклая.

Крепкую стену пришлось пробивать Маклаю. Часами просиживал он в приемной вице-председателя Русского географического общества адмирала Федора Литке, нередко теряя надежду даже увидеть грозного и своенравного адмирала. Тот сначала и слышать не хотел о необычайных требованиях Маклая, подавшего в Совет общества записку о своем желании отправиться на Тихий океан. Но видный деятель общества, замечательный русский географ П. П. Семенов, ловко столкнул адмирала лицом к лицу с молодым путешественником. И всегда скромный, застенчивый Маклай вдруг оказался тонким дипломатом. Он очень искусно завел с Литке разговор о прошлых кругосветных и тихоокеанских походах адмирала, и седой, суровый морской орел Литке, проводя высохшей рукой по белым бакенбардам, растроганный воспоминаниями, сказал, что он будет хлопотать за Маклая.

Литке удалось добиться для Маклая разрешения проезда на борту одного из русских военных кораблей. Затем молодому путешественнику дали из средств

Географического общества 1350 рублей. А нужно было не менее пяти тысяч. Где и как их достать? Нищета и долги тяготили Маклая, но приходилось рассчитывать лишь на собственные силы. Мать Маклая, Екатерина Семеновна, поняла стремления сына. Она продала ценные бумаги, заложила кое-какие пожитки, и молодой ученый облегченно вздохнул.

Корвет русского военного флота «Витязь» вышел из Кронштадта в конце октября 1870 года. Николай Николаевич договорился с командиром «Витязя» о времени и месте встречи в одном из больших портов, а сам отправился в поездку по Европе. Он осматривал музеи, знакомился с учеными. Молодой зоолог испытал законную гордость, узнав, что его труды известны здесь его новым друзьям и знакомым. Незадолго до этого в «Мемуарах» Российской академии наук был напечатан его отчет об исследованиях губок Тихого океана, а в Лейпциге вышел труд Миклухо-Маклая по сравнительной анатомии — «Мозг позвоночных животных».

В Берлине Миклухо-Маклай встретился с известным этнографом Адольфом Бастианом, который показал гостю только что полученные копии знаменитых «говорящих таблиц» с острова Пасхи — загадочные письмена на досках из твердого красного дерева. В Амстердаме путешественник был принят нидерландским министром колоний, распорядившимся выдать Маклаю последние издания голландских карт Тихого океана. В Плимуте английские военные моряки подарили русскому ученому дорогой прибор для измерения океанских глубин.

В Лондоне ему хотелось увидаться с Чарлзом Дарвином, но, к великому горю Маклая, эта встреча не состоялась. Зато он встретился с пламенным апостолом Дарвина — знаменитым биологом и путешественником Томасом Гексли, изучавшим когда-то Новую Гвинею.

Гексли выдвигал предположение об общности происхождения индонезийцев и древних обитателей Европы. В порывистых пальцах Гексли держал копии «говорящих таблиц» с острова Пасхи, которые он показывал на заседании Этнографического общества, где присутствовал и Маклай. Маклай-зоолог постепенно превращался в этнографа и антрополога. Но он по-прежнему жадно изучал решительно все, что могло пригодиться ему в будущем.

Наконец Миклухо-Маклай ступил на палубу корвета «Витязь». В своей каюте он достал книгу Карла Бэра и перечитал запавшие в душу слова:

«...Таким образом, является желательным, и, можно сказать, необходимым для науки изучить полнее обитателей Новой Гвинеи...»

Эти слова Маклай крепко запомнил. В Новой Гвинее жил первобытный человек. Там нужно было искать разгадку происхождения человеческого рода.

## **ЗДРАВСТВУЙ, ПОЛИНЕЗИЯ!**

На «Витязе» Миклухо-Маклай приводил в порядок свои приобретения, сделанные в Европе. Спутниками его стали приборы для антропологических измерений, изобретенные лет десять тому назад Полем Брока. Но в тропической части Атлантики путешественнику пригодился и прибор, подаренный ему английскими моряками. Маклаю удалось сделать важное открытие, казалось бы, в столь далекой от его работ области — океанографии. Он терпеливо опускал в глубины океана термометр, пока не убедился в том, что и глубинные воды находятся в постоянном движении и имеют разную температуру. Это означало, что в океане существует обмен вод полярных и экваториальных. А ведь господствовавшая до этого в науке теория утверждала, что в океане нижние слои воды имеют неизменную температуру.

Третья по счету часть света, которую посетил Маклай, встретила его жарким солнцем и необъятностью неизведанных просторов. Шум Рио-де-Жанейро врывался в открытое окно корабельной каюты. Маклай сошел на берег и долго блуждал по улицам под жарким небом Южной Америки, стоял в порту, разглядывая покрытый островами светлый залив. Запасшись свежей водой и продуктами, «Витязь» отплыл в трудное плавание вокруг мыса Горн. У берегов Патагонии и в Магеллановом проливе Маклай также вел научные наблюдения. В Вальпараисо он не ограничился обычной для путешественников прогулкой по городу и приморскому рынку и обозрением поросших алоэ холмов. Он посетил Сант-Яго — столицу Чили, где в музее хранились подлинники знаменитых таблиц с острова Пасхи.

Наконец перед неуголимым путешественником открылась синяя Полинезия. С палубы корабля виден сказочный остров Пасхи, где высятся гигантские древние статуи, вытесанные из базальтовых глыб мастерами неизвестного народа. Здесь были открыты знаменитые «говорящие таблицы». Маклай знал, что на острове Пасхи обнаружены развалины загадочных дворцов, подземные дома. В могильниках находят черепа, по форме сходные с черепами обитателей Новой Гвинеи. На сказочном острове Маклай впервые сделался свидетелем откровенного разбоя плантаторов. Вербовщик рабочей силы для плантации одного таитянского богача только недавно сжег здесь хижины туземцев, вырубал пальмы, а самих островитян загнал в трюм корабля для отправки их на Таити.

Позже Маклай встретил туземцев с острова Пасхи на острове Мангарева. Он не только видел их, но и подробно исследовал как антрополог. На острове Мангарева Маклай много думал о причинах, вызывающих разницу в окраске кожи у туземцев. Солнце — причина всему, решил он. Здесь же он сделал одно из своих первых важных антропологических открытий. Маклай обнаружил у нескольких туземцев, чистейших полинезийцев, так называемую «монгольскую складку» глазного века. Это давало ему право сделать вывод, что пресловутая складка может встретиться и не у монголов. Следовательно, она не может считаться признаком какой-то одной расы.

Молодой, но уже известный ученый Миклухо-Маклай постепенно становился антропологом. Он измеряет черепа жителей Тихого океана, исследует цвет их кожи, изучает «монгольскую складку». Что руководит им? Он не раз писал и говорил, что в своих исследованиях природы человека всегда старался подходить без всякой предвзятости к представителю любого племени или народа. Антропология — естественная история человека.



Изучая ее, невозможно обойтись без изучения скелета человека, в частности его черепа. И Маклай измерял черепа полинезийцев. Но при этом он был далек от таких, например, мыслей, что череп негра по своему строению наиболее приближается к черепу обезьяны.

Иначе смотрели на дело многие антропологи и этнографы — современники Маклая и Брока. В те годы в науке шла подлинная война. Многие из ученых были в лагере рабовладельцев и плантаторов, доказывавших, что негр или австралиец не равны белому человеку. «Идеи» о таком неравенстве возникли давно — со времен средневековья, когда существовала «теория», что негры и другие «низшие» расы суть неудачные творения господина, который создал их до Адама. Во времена Маклая особым успехом пользовался в Германии четырехтомный труд французского графа Жозефа-Артюра Гобино «Опыт о неравенстве человеческих рас». Последователи Гобино в своих «ученых» сочинениях делили народы мира на активные и пассивные. Они заявляли, что у представителей монгольской расы развит более затылок, чем лоб, и что «примесь монгольского элемента» приводит любую расу «к явному уменьшению емкости черепа, величины мозга, короче говоря, — к поглупению». Досужие лжеантропологи придумали сказку о том, что у некоторых племен волосы растут отдельными пучками. «Научный» термин было нетрудно придумать, и в литературе появилось понятие о «лофокомических волосах» у некоторых темнокожих племен.

Антропология того времени разделяла человеческие черепа по их форме на длинные и короткие. И часто эти термины использовались полигенистами, противниками теории единства происхождения человеческого рода. Полигенисты считали долихоцефалов — «длинноголовых» — представителями «высшей расы», по сравнению с брахицефалами — «короткоголовыми».

Они утверждали, что брахицефалия — неизменный признак «цветных» рас, которым присущи животные инстинкты, а у белой расы существует какой-то особый инстинкт, «возбуждающий и направляющий ее развитие».

Германия уже тогда выступала самой яркой защитницей всего этого ученого мракобесия, связанного с поисками неполноценных рас и народов. Уже тогда в Пруссии и Баварии поговаривали о превосходстве белокурой и длинноголовой германской расы. Еще в эпоху Маклая и Поля Брока немецкие ученые начинали поиски «арийской» прародины белокурых германцев, и король прусский не жалел денег на изучение истории Древней Индии, откуда, по мнению немецких антропологов, пришли в Европу германские завоеватели.

Для торжества длинноголового и белокурого человека необходимо было, чтобы люди с черной или желтой кожей еще чем-то отличались от «избранной» расы. Отсюда понятно повышенное внимание к различным физическим уродствам, присущим, конечно, не целым народам, а отдельным людям. Один немецкий «охотник за феноменами» морочил Европу, уверяя, что он нашел живое «недостающее звено», связывающее обезьяну с человеком, в лице знаменитой «девочки Крао». Купив в Бирме волосатого уродца, он привез несчастную девочку в Европу, где стал ее показывать, как редкого зверя, за деньги. В газетах появились сообщения о «диком волосатом народе» в джунглях Бирмы, о «хвостатых людях» на Борнео, о «безволосом племени» в пустынях Австралии. Но вскоре обман был раскрыт. Знаменитый медик и антрополог Рудольф Вирхов установил, что «девочка Крао» лишь пример редкого уродства и никаких волосатых племен на свете не существует.

Охота за уродами увлекала не только многих лжеученых, но и просто рыцарей наживы. Как зазывалы

под холщовой кровлей балагана на Лейпцигской ярмарке, они стремились привлечь внимание праздной толпы к своим пленникам. Знаменитые сиамские близнецы Энг и Ханг, микроцефалы-ацтеки Махимо и Бартоло, девушки-близнецы из племени замбо, карлики и великаны, зобатые люди — вот кого показывали праздным зевакам за деньги ловкие предприниматели. Начиная с 1875 года это дело было поставлено на широкую ногу. Пресловутый Карл Гагенбек, владелец известного зоологического сада в Гамбурге, стал приобретать «дикарей» целыми партиями, делая на них заказы путешественникам и владельцам гамбургских кораблей, посещавшим воды дальних стран. Предприятие Гагенбека должно было поражать своим размахом его современников, и прежде всего завсегдатаев гамбургского зоологического сада: здесь были патагонцы и огнеземельцы, австралийцы и зулусы, северные лопари и самоеды, калмыки и нубийцы, индейцы и папуасы. Гагенбек возил своих пленников по Европе наравне с передвижными зверинцами, показывал их толпе и любезно разрешал лжеантропологам измерять черепа «дикарей».

Русская наука того времени, по-настоящему чистая и передовая, не могла оставаться равнодушной к борьбе, охватившей весь мир. Она противопоставляла свои выводы и наблюдения злобным откровениям ненавистников «цветных» народов. Еще в 1863 году великий русский физиолог Сеченов писал в своей книге «Рефлексы головного мозга»:

«Умного негра, лапландца, башкира европейское воспитание в европейском обществе делает человеком, чрезвычайно мало отличающимся со стороны психического содержания от образованного европейца...»

Представителем всего передового в русской антропологической науке был Миклухо-Маклай.

## БЕРЕГ МАКЛАЯ

Французский мореплаватель Дюмон-Дюрвиль, исследуя берега Новой Гвинеи, открыл и занес на карту залив Астролябии. Съёмку он делал с борта своего корабля; другие мореплаватели тоже не высаживались никогда на этот берег. Первым белым обитателем бухты Астролябия был русский ученый Николай Миклухо-Маклай.

7 сентября 1871 года корвет «Витязь» лег в дрейф посредине лазурной бухты. Путешественник увидел наяву берег, не раз виденный лишь в мечтах. Маклай первым спустился в шлюпку, за ним следовали его слуги — долговязый швед-китобой Ульсен и молодой полинезиец Бой.

Первый день был целиком потрачен на знакомство с папуасами. Маклай бесстрашно углубился в дикий лес и по узенькой тропинке пришел в деревню. Она была пуста. Но возле деревни в густых кустах Маклай встретил первого папуаса, своего будущего друга Туя, онемевшего от ужаса. Белый гость взял Туя за руку и, легонько подталкивая его, привел в деревню. Вскоре вокруг Маклая столпилось восемь папуасских воинов с черепаховыми серьгами в ушах, с каменными топорами в смуглых руках, увешанных плетеными браслетами. Русский гость щедро одарил папуасов разными безделушками. К вечеру он вернулся на корабль, и офицеры «Витязя» с облегчением вздохнули: пока что «дикари» не съели Николая Николаевича.

На следующий раз, когда Маклай вновь съехал на берег, почтенный Туй уже без особой боязни вышел навстречу к гостю. Так просто произошло первое сближение Маклая со страшными «людоедами». На берегу ручья, близ самого моря, уже кипела работа.

Стучали топоры; матросы и корабельные плотники закладывали первый русский дом на Новой Гвинее — дом Маклая.

Ученые-офицеры с «Витязя» делали топографическую съемку местности. Бухта с коралловыми берегами — часть обширного залива Астролябия — была названа порт Константин, мысы — именами топографов, делавших съемку, а отражавшийся в голубой воде ближайший остров получил гордое имя Витязь.

Новый приятель Маклая, пожилой, степенный папуас Туй, стал знаками жалобно предостерегать Маклая, что вот, мол, корабль уйдет и папуасы умертвят белого человека, который хочет поселиться в новой хижине у ручья. Маклай сделал вид, что не понял Туя. Наступило торжественное и вместе с тем грустное прощание. 27 сентября 1871 года над кровлей одинокой хижины взвился русский флаг. Под его сенью Маклай остался на берегу Новой Гвинее.

Сокровенная жизнь новой страны долго еще была неясна для Маклая: она была прикрыта, как здешние причудливые горы, вечной завесой облаков. Но понемногу эта завеса приподнималась, и Маклай увидел суровое лицо дикой и прекрасной страны. Маклаю помогло знакомство со старым Туем. Они виделись каждый день. Туй уже щеголял в продранной шляпе китобоя Ульсена. Часто Туй приводил с собой толпу папуасов, и они дарили Маклаю живых поросят и кокосовые орехи.

Маклай долго решал, брать ли с собой револьвер, когда впервые шел в деревню Горенду. В конце концов он оставил оружие в хижине, взяв лишь подарки и записную книжку. Папуасы не очень приветливо встретили белого человека. Они пускали стрелы над ухом Маклая, размахивали копьями перед его лицом. Маклай сел на землю, спокойно развязал шнурки

башмаков и... улегся спать. Трудно сказать, что у него было на душе. Но он заставил себя заснуть. Когда, проснувшись, Маклай поднял голову, он с торжеством увидел, что папуасы мирно сидели вокруг него. Луки и копья были спрятаны. Папуасы с удивлением наблюдали, как белый неторопливо затягивает шнурки своих ботинок. Он ушел домой, сделав вид, что ничего не случилось, да и случиться ничего не могло.

Так Маклай «заговаривал» себя от копья, стрелы и ножа из казуаровой кости. Он учился презирать смерть. Папуасы решили, что раз белый человек не боится гибели, то он бессмертен. Туй же настолько привык к Маклаю, что почти безотлучно восседал у входа в белую хижину. Жители окрестных деревень уже называли Маклая по имени. Жизнь на Новой Гвинее шла размеренно. Ученый-отшельник, как правило, вставал на рассвете, умывался водой ясного родника, потом пил чай. Рабочий день начинался наблюдениями за приливной волной океана, измерением температуры воды и воздуха, записями в дневнике. Около полудня Маклай шел завтракать, а потом отправлялся на берег моря или в лес для сбора коллекций.

Затем приходил Туй — преподаватель папуасского языка и топографии. В записной книжке Маклая рос список папуасских слов. Шурша браслетами, Туй не раз поправлял маклаевские наброски к топографической карте. Старый папуас делал это с такой уверенностью, как будто он по меньшей мере половину жизни провел в чертежной Британского адмиралтейства. Но, по существу, ничего удивительного в этом не было. Туземцы Каролинских островов испокон веков умели составлять морские карты, выкладывая их очертания на песке при помощи раковин и отрезков тростника.

Дружба с папуасами крепла. Все чаще Маклай слышал слова «Тамо-рус»; так называли его между собой папуасы. «Тамо-рус» означало — «русский человек».

Тяжело жилось Маклаю в его хижине. Швед Ульсен совершенно вышел из повиновения. Трус и лентяй по природе, он ничего не хотел делать, вечно ныл и боялся всех без различия папуасов. Даже в Туе долговязый швед видел будущего убийцу, лишь на время скрывающегося под личиной друга. Полинезиец Бой часто болел и в конце концов умер. Все заботы по дому ложились на Маклая.

Маклай свято чтит и уважал обычаи своих соседей. Число друзей быстро росло. Туй познакомил Маклая со своим сыном Бонемом. Потом с Маклаем подружился поселянин из деревни Бонгу, по имени Бугай. Это он пустил по всему побережью слух, что Маклай не только «Тамо-рус», но и «Караан-тамо» — «человек с луны». Маклай принимал в своей хижине туземцев с острова Витязь (Били-Били) и с небольшого островка Ямбомба. Колле из Бонгу, Дигу, мальчик Сирой — немало было приятелей у бородатого «лунного человека».

Многие из новых друзей не раз приглашали Маклая к себе и устраивали в честь него пиры. Только тогда белобрысый Ульсен бросал свое вечное нытье. Он, ухмыляясь, принимал подношения папуасов — рыбу, сладкий картофель, свинину и неизбежные кокосовые орехи.

Как-то заболел Туй. Об этом сообщили Маклаю. «Тамо-рус» стал врачевать своего друга. Исцеленный Туй устроил пир в честь русского чародея и лекаря и даже пожелал обменяться с ним именами. То же произошло однажды и на острове Витязь, где состоялось знакомство с влиятельным туземцем Каином. Многие из островитян хотели дать имя Маклая своим детям, но «Тамо-рус» не дал на это согласия. А женщины из Горенду, окружив гостя, потребовали, чтобы он обязательно дал имя новорожденной. Маклай подумал, подумал и назвал папуасскую девочку Марией.

Получив доступ в деревни, Маклай исподволь очень осторожно начал собирать коллекцию папуасских черепов. Черепа своих родственников папуасы выбрасывали обычно в кусты возле хижин, зато нижняя челюсть свято сберегалась подвешенной к потолку хижины. Маклай сбился с ног, отыскивая целый череп, но так и не находил его.

Больше года прожил Маклай в хижине на берегу океана. Больной, часто голодный, он успел сделать многое. Он посадил в землю Новой Гвинеи семена полезных растений и вывел тыквы с Таити, бобы, кукурузы. Около его хижины прижились плодовые деревья. Многие папуасы, заразившись примером Маклая, сами приходили на его огород за семенами. Так, Туй и Безу в одно прекрасное время прилежно принялись за разведение огромных тыкв.

Насмотревшись на Ульсена, ревностно скоблившего свой упрямый подбородок дешевой матросской бритвой, Туй однажды подобрал осколки бутылочного стекла, валявшиеся около маклаевской кухни, и с помощью этих осколков сбрил себе бороду. Тую стали подражать его черные приятели.

Маклаю приходилось ходить с ножницами в сумке и исполнять обязанности цирюльника. Он собирал коллекцию образцов волос папуасов и, чтобы не обидеть их, отрезал пряди своих густых волнистых волос и выменивал их на пучки черных волос папуасов. Благодаря этой мене они охотно давали Маклаю не только выстригать волосы, но и заодно делать антропометрические измерения. Маклай установил, что волосы папуасов ничем не отличаются от волос европейцев. Такие термины лжеантропологов, как «прерывистая рассадка», «лофокомические волосы», теперь можно было сдать в архив как ненаучные понятия.



Уже первые измерения черепов папуасов убедили Маклая в том, что среди обитателей этой части Новой Гвинеи есть и «длинноголовые» и «короткоголовые» люди. А ведь лжеантропологи учили, что форма черепа той или иной расы всегда неизменна. У некоторых папуасов ученый снова нашел «монгольскую складку». Нечего и говорить, что на берегах бухты Астролябия китайцев, как и на Мангареве, не бывало никогда. Следовательно, и этот якобы неизменный «расовый признак» нужно было теперь вычеркнуть из учебников антропологии.

Маклай составил словарь наречия папуасов и открыл в районе горной деревни Теньгум-Мана знаки, вырезанные на деревьях. Маклай решил, что и среди папуасов есть люди, которые уже живут первой мечтой о письменности. «Тамо-рус» накопил бесценные наблюдения об искусстве и промыслах папуасов. В тишине своей хижины он набрасывал начало статьи о папуасах — художниках и творцах. Статью эту Маклай решил послать Полю Брока в Париж. В белом доме на берегу океана друг Туя написал также «Антропологические заметки о папуасах Берега Маклая в Новой Гвинее». Это был подарок седому Карлу Бэру.

«Моим стремлением было, следуя совету К.-Э. Бэра, наблюдать людей по возможности без предвзятого мнения...» — писал Миклухо-Маклай. Его совесть была спокойна: он не лгал перед собой.

Из гостя Маклай превратился в близкого друга папуасов. Он вылечил Туя, спас от смерти папуаса Саула, был свидетелем рождения и похорон папуасов, сидел почетным гостем на званых пирах. Он вникал в безутешное горе женщины Кололь, оплакивающей сдохшую свинью, которую она когда-то кормила своей грудью, как это было здесь зачастую принято.

«Я готов остаться на несколько лет на этом берегу», — писал он в своем дневнике.

Берег Маклая! Это была целая страна. Вокруг залива Астролябия, в окрестных горах жило не менее трех-четырёх тысяч папуасов. Маклай по праву первооткрывателя жадно изучал страну. Он уже знал хорошо дороги в деревни Бонгу, Мале, Богатим, Горима, Гумбу, Рай, Карагум. Он поднимался в горы, закрытые облаками, плавал по лазурным заливам, открыл неизвестную реку, на которую ему указал верный Туй. «Тамо-рус» вместе с Каином плавал на остров Тиар и нанес на карту архипелаг Довольных Людей и обширный пролив. Научные коллекции его росли день ото дня. Он открыл новый вид сахарного банана, ценные плодовые и масличные растения. Тетради его были полны записей, заметок и чудесных маклаевских рисунков, среди которых мы находим много портретов его темнокожих друзей. Хижина на мысе Гарагасси была целым научным институтом, который вел один человек. Болезни, голодовки, змеи, ползающие по письменному столу, подземные толчки, сотрясающие хижину, наглость Ульсена — ничто не могло помешать Маклаю в его великом труде.

Он полюбил страну и ее жителей. В декабре 1872 года за Маклаем прибыл корабль «Изумруд». Моряки отдали русскому путешественнику воинские почести, встретив его могучим троекратным «ура» после команды «по реям». Офицеры и матросы были изумлены, когда бородатый отшельник заявил им, что он еще подумает, ехать ли ему сейчас в Россию.

Наступили дни великой скорби на Берегу Маклая. Папуасы умоляли не покидать их. Маклай сказал своим друзьям, что он рано или поздно, но вернется сюда. Последнюю ночь «Тамо-рус» провел в кругу островитян.

Когда Маклай, простившись с народом, который стал ему родным, смотрел в бинокль на зеленые берега острова, он услышал грохот барумов — длинных

папуасских барабанов. Они гремели по всему Берегу Маклая.

## НОВЫЕ СТРАНСТВИЯ

Маклай с нетерпением ждал времени, когда «Изумруд» бросит якорь в гавани Манилы на Филиппинах. Как нарочно, корабль подолгу задерживался в пути. Но зато Маклай получил возможность видеть города и население Молуккских островов. Он побывал в Тидоре — столице одного из султанств на одноименном острове. Здешние султаны распространяли свое влияние на западное побережье Новой Гвинеи и острова Папуасии. Тидорцы не только вели торговлю с новогвинейцами — они превращали папуасов в невольников. Султаны обычно снаряжали тайные экспедиции для ловли рабов, так называемые «хонтии». Нахмутив брови, Маклай слушал рассказы о разбоях охотников за людьми. Не так давно жирный тонкоголосый Амир, принц тидорский, обратил в рабство и увез на своих судах сто папуасов с берега Папуа-Ковиай.

В порту Тернате, у подножия вулкана, путешественник видел плантации, на которых работали черные рабы, похищенные малайскими моряками. В лавках китайских и арабских купцов продавали перья райских птиц, драгоценную кору тропических деревьев, жемчуг. Все это было добыто руками рабов. В Макассаре, на острове Целебес, Маклаю показали худого косматого австралийца, пойманного где-то на своей родине Целебесскими купцами. Таким образом друг папуасов узнал, что молуккские работорговцы совершают свое черное дело даже на Австралийском материке. Маклай наблюдал местные типы. Здесь, на скрещении дорог из Азии в Австралию и Океанию, он имел возможность видеть представителей многих племен. Он вспоминал статью Бэра «О папуасах и альфурах». Альфуры жили в

глубине Целебеса. Их считали родственными папуасам. Об этих людях говорили, что они проводят ночи на деревьях, ходят нагими, украшают хижины черепами убитых врагов.

Наконец показался скалистый остров Коррехидор, почти преградивший вход на рейд большого залива. Шумная Манила, столица Филиппин, раскинулась по берегам бухты: рвы, крепостные стены, бастионы, форты, собор XVI века, выгнутый каменной дугой старинный Испанский мост, прядильни, огромные табачные фабрики, торговые склады... Разноязычная толпа шумела на улицах города, на берегах его каналов. Здесь можно было встретить представителей пятидесяти народностей, населяющих острова.

Маклая прельщали рассказами о всяких чудесах Филиппин: о знаменитом кратерном озере близ Манилы, о петушиных боях, о редкостях здешнего музея. Но путешественник отверг все соблазны. 22 марта 1873 года он исчезает из-под надзора лекаря «Изумруда» и, едва передвигая больные ноги, бродит в порту в поисках знающего проводника. Вместе с ним Маклай плывет в лодке рыбака через обширный Манильский залив. Прямо по носу виден вулкан Маривелес. После ночлега в деревне Лимай он идет в Лимайские горы и в лесу встречает тех, кого он так давно хотел видеть.

На краю лесной поляны стояли наклоненные пальмовые щиты. Под этими легкими переносными кровлями укрывались от зноя или непогоды бродячие чернокожие негритосы, тайна происхождения которых еще не была решена учеными. Маклай казался великаном по сравнению с этими людьми: их рост не превышал 1 метра 44 сантиметров. Недаром их и называли «негритосами», по-испански — «маленькие негры». Некоторые антропологи относили их к «расе пигмеев», но ни один ученый не знал в точности, к какой группе народов они принадлежат.

Больше двух дней провел Маклай среди бродячего народа. Негритосы дали гостю пальмовый щит, и он укрывался на ночь этим зыбким навесом. Лаской и уговорами Маклай добился того, что негритосы позволили сделать измерения их голов. — И — о радость! — в сумке Маклая лежал дорогой трофей — череп негритоса. Череп имел отличную сохранность. Туземцы разрешили выкопать его из могилы в горах близ деревни Пилар.

Маклая растрогала судьба забитых черных людей. Оттесненные малайцами в глубь лесов и гор, они скитались по дебрям, лишенные пищи и пристанища. Но эта маленькие люди заботились о детях, стариках, больных. У них существовал замечательный обычай: каждый негритос, добывший себе охотой скудную пищу, перед тем как съесть ее, был обязан громко и несколько раз прокричать приглашение разделить с ним еду.

Здесь, на Филиппинах, Маклай совершил новое крупное открытие: негритосы вовсе не негры! Несомненно, они принадлежат к племени папуасского происхождения. Пусть антропометрические измерения показывают, что негритосы на самом деле короткоголовые, но ведь и среди папуасов Новой Гвинеи есть и длинноголовые и короткоголовые типы. Теперь Маклай уже твердо знает, что отличия формы черепа никак не могут противоречить родству племен. Обычай, язык и другие признаки, бесспорно, указывали на родство негритосов с папуасами.

Маклай покинул русский корабль в Гонконге, пересел на торговое судно и через Сингапур прибыл на Яву, в город лихорадок — Батавию. Первая слава ожидала его в яванской столице. О нем узнали колониальные газеты. Господин Джемс Лаудон, генерал-губернатор Нидерландской Индии, пригласил русского ученого в свою резиденцию близ прекрасного горного города Бейтензорга.

Радужный Лаудон сделал все для того, чтобы Маклай мог отдыхать и работать на холме Бейтензорга. Дворец яванского наместника был расположен в центре знаменитого Ботанического сада. Семь месяцев провел отшельник Новой Гвинеи среди благоухающих зарослей огромных орхидей, под сенью редчайших пальм, на берегу светлого пруда, где цвела Виктория регия.

О Маклае стали писать русские газеты. В богатой батавской библиотеке он мог видеть номера петербургского «Голоса», «Кронштадтского вестника», «Санкт-Петербургских ведомостей», со статьями о нем. Но Маклай не любил славы. Все свое время он посвящал научным занятиям. Написав несколько статей о своем первом пребывании на Берегу Маклая, отважный путешественник стал готовиться к новому походу. Он хотел проникнуть на берег Папуа-Ковиай, на западе Новой Гвинеи. Европейцы боялись посещать эти места. Малайцы в один голос уверяли, что жители побережья Папуа-Ковиай — самые страшные людоеды и разбойники. Но Маклай не побоялся этих рассказов, и в декабре 1873 года покинул Бейтензорг.

Заросли вечнозеленых гвоздичных деревьев окружали город Амбоина, расположенный на одноименном острове. Столица «гвоздичного царства» славилась на весь мир как место добычи дорогих пряностей. Маклай-этнограф с увлечением наблюдал здесь местных жителей. Они представляли собой смесь малайцев с альфурами, арабами, китайцами и голландцами. На большой морской лодке «урумбае», с экипажем в шестнадцать человек, Маклай отплыл с Молуккских островов и вскоре достиг страшного берега Папуа-Ковиай. Здесь он открыл проливы Елены и Софии, исследовал местность и внес значительные исправления в старые карты побережья. Маклаю удалось выбрать замечательно красивое и удобное место для постройки временной хижины: мыс Айва высился между проливами

Софии и Елены. Новая страна манила к себе путешественника. Он бесстрашно двинулся в глубь Новой Гвинеи, поднялся на высокий горный хребет и увидел внизу, под собой, светлую поверхность озера Камака-Валлар. В водах озера Маклай открыл новый вид губок, собрал коллекцию любопытных раковин. Близ островов Каю-Мера и Драмай был открыт мыс, который получил имя Лаудона. На островке Лакахия Маклай нашел выходы каменного угля. В заливе Телок-Кируру путешественник едва не подвергся нападению враждебно настроенных туземцев. Это удивило Маклая. Но в Айве путешественника ждало еще большее несчастье. Он не узнал ни своей хижины, ни своего рабочего кабинета. Жилище было разграблено, в нем царил разгром; стол, на котором Маклай писал заметки, был залит кровью. Все пожитки Маклая, даже ланцеты и антропометрические инструменты, были унесены неизвестными грабителями. Лужи крови и разлитого красного вина стояли на полу.

Что тут произошло? Двести папуасов из гор близ бухты Кируру, украсив себя перьями райской птицы, вымазавшись с ног до головы черной краской, появились близ хижины. Пятеро спутников Маклая, карауливших жилище, напуганные страшным видом черных дикарей, не могли оказать никакого сопротивления. Возле хижины в это время находились береговые папуасы. На них сначала и напали пришельцы. Папуасы хотели скрыться в хижине, но их там и умертвили. Убит был также и преданный Маклаю старик, начальник папуасов острова Айдума, вместе с женой и дочерью. Тело девочки дикари изрубили в куски на столе Маклая...

Из Айвы пришлось перебраться на остров Айдума. Друзья-папуасы скоро сообщили, что второй отряд горных жителей, человек в триста, снова пришел в Айву, чтобы убить Маклая. Узнав, что белый человек живет



уже в другом месте, разбойники стали подготавливать новый набег.

Происшествие это не испугало «Тамо-руса». Он знал, что все эти кровавые затеи — дело рук начальника нескольких папуасских сел, «майора острова Мавары», по имени Саси. Этот угрюмый великан в желтом арабском жилете, с белым платком на голове, был отъявленным бандитом и охотником за рабами. Собрав шайку разбойников, он появился возле Айдумы. Бесстрашный Маклай, узнав об этом, утром спокойно напился кофе, взял с собой двух верных людей и пошел к пироге негодяя. Саси казалось, что он видит страшный сон. К его лодке идет бородатый белый человек, грозный, не боящийся ничего. В руках у него револьвер и крепкая веревка. Саси так растерялся, что забрался в каюту своей лодки. Маклай приказал ему выйти. Великан молчал. Тогда Маклай сорвал тростниковую кровлю каюты, нагнулся к Саси, схватил его за горло одной рукой, а другой приставил револьвер к его виску. Верный папуас Майберит связал «майора». Маклай сам увез своего пленника и сдал его голландским властям, как торговца рабами, подстрекателя и убийцу. Песня Саси была спета.

На Айдуме Маклаю удалось открыть один вид кенгуру, весь образ жизни которого говорил о том, что он приспособился к местным условиям. У животного были крепкие когти. Кенгуру не скакал, как его австралийские собратья, а лазил по деревьям, где и проводил большую часть своего времени.

Антропологические измерения, произведенные на берегу Папуа-Еовнай, показали, что среди здешних папуасов, в основной массе длинноголовых, встречаются и короткоголовые, брахицефалы. Так подтвердились наблюдения, начатые еще на северо-восточном берегу Новой Гвинеи и продолженные на Филиппинах. Теория обязательной «длинноголовости» папуасов снова

оказалась несостоятельной. Из работ Маклая снова было видно, что в составе одного и того же племени могут встречаться люди с разной формой черепа.

В июне 1874 года смелый исследователь опасно заболел. Недуг приковал его к койке госпиталя в Амбоине. Рожистое воспаление лица и головы, невралгия, перемежающаяся лихорадка измучили этого маленького худого человека. В госпитале его навестил однажды командир британского военного судна «Василиск» Джон Моресби: слава удивительного русского уже гремела по всему Тихому океану. Капитан подарил больному карту пути, пройденного «Василиском» вдоль северо-восточного края Новой Гвинеи. На ней значился Берег Маклая.

## СРЕДИ ЛЮДЕЙ ЛЕСА

Слова «оран-утан» по-малайски означают: «человек леса». Так туземцы называют таинственные племена, обитающие внутри Малаккского полуострова. Никто из ученых никогда не видел живого орана Малакки. Лишь по слухам было известно, что они, подобно негритосам, черны, малы ростом, дики, нелюдимы, и европеец должен бояться их отравленных стрел. Маклай занял у кого-то сто пятьдесят фунтов стерлингов, простился с Лаудоном, у которого отдыхал после болезни, и отправился искать диких оранов.

В Сингапуре — Львином городе, откуда были видны горы Суматры, Маклаю удалось добыть письмо к махарадже Джохорскому, властелину части малаккских стран. Махараджа жил на противоположном берегу узкого и болотистого пролива, в своей столице, более похожей на большую деревню, застроенной складами для хранения слоновой кости, перца, малаккской камфоры и каучука. На счастье Маклая, махараджа Джохорский оказался пытливым человеком, стоявшим на голову выше других малаккских князьков. Он признался, что в его стране нет человека, который мог бы сказать, что он прошел всю страну от края до края, и что во дворце нет даже карты его владений. Русскому ученому владыка Джохора выдал открытый лист — приказание всем старшинам Джохора давать Маклаю проводников и носильщиков. Не теряя ни дня, Маклай отправился в путь.

Скоро с канонерки махараджи Маклаю пришлось пересесть на простую утлую лодку. Потом пошли пешком через леса, где ревели тигры. Стоял декабрь — время дождей и разлива рек. Первых оран-утанов Маклай встретил в лесах, на верховьях речки Палон.

«Мне кажется, что я прочел начало интересной, старой, с наполовину стертыми строками, книги и теперь с нетерпением жду продолжения», — писал он в своем дневнике.

В оран-утанах Джохора Маклай видел остатки первобытных меланезийских племен, когда-то населявших всю Малакку. В них была видна сильная примесь малайской крови. Они были очень малорослы, темны кожей, но хорошо сложены и, как заметил Маклай, не по росту сильны. Три оран-утана сопровождали Маклая в пути. С ним был еще и папуасский мальчик Ахмат, воспитанник Маклая. Пятьдесят дней пробыли путники в дебрях Джохора. Караван Маклая вспугивал стада диких вепрей. Устья рек кишели крокодилами. Приходилось идти по пояс в воде или плыть на лодке по затопленным лесам, между огромными пнями, поваленными стволами деревьев и крепкими лианами. Часто попадались свежие следы тигра. Огромные змеи нередко пересекали дорогу Маклая. Он писал свои заметки при свете смолистых факелов, питался дикими лимонами, спал в жилищах оран-утанов. Ему удалось открыть горячие ключи, осмотреть старые оловянные копи на реке Нидао, собрать образцы таинственных ядов из растительных соков и зубов змей, которыми ораны отравляли свои стрелы. Руслу рек Сомброн и Индао привели Маклая к берегу моря. От устья Индао он повернул на юг и достиг знакомого пролива между Малаккой и Сингапуром. В феврале 1875 года он вновь сидел во дворце махараджи Джохорского. Маклая трясла лихорадка, он с трудом пересиливал слабость, но говорил о новом походе в глубь Малакки. Махараджа качал головой, слушая русского. Шутка ли сказать — он хочет пройти сушей прямо в Сиам!<sup>[25]</sup>

Могущественный губернатор британской «Колонии Проливов и Сингапура» сэр Эндрью Кларк любезно

принял северного гостя. Он потащил Маклая с собою в Бангкок — отдохнуть на корабле «Плутон», поглядеть на диковинную сиамскую столицу. Король сиамский, двадцатидвухлетний Параминдр Мага Чулалоконгорн, в то время владел доброй половиной Малаккского полуострова; ему подчинялись бесчисленные раджи, султаны, князьки Малакки. Пользуясь расположением и поддержкой сэра Эндрью Кларка, Маклай стал смело стучаться в золоченые двери королевского чертога.

Как во сне, русский путешественник разглядывал город, похожий на ларец из слоновой кости, пагоду Ват-Ченг, загоны для королевских слонов, храм Ксетуфона, где показывали след от ноги Будды, плавучий город на реке Менам, рынки, где высятся стены из мешков с кардамоном и другими пряностями.

Король сиамский выдал грамоту «русскому князю». С этим документом Маклай появился снова у махараджи Джохорского. Тот сначала убеждал путешественника отменить новый поход в страну «лесных людей», но, видя упорство Маклая, махнул рукой и дал ему письмо к владельцу соседнего княжества Паханга. Достигнув столицы Паханга, приморского города Пекана, Маклай двинулся прямо к тропическим лесам княжества Келантан, где до Маклая не бывал еще ни один белый человек. Плот и лодка, скрипучая повозка, а чаще всего собственные ноги несли Маклая к цели его странствий. Он проходил пешком до сорока километров в день, брел по грудь в воде, изредка оступаясь и падая в обрывы. К северу от порожистого русла реки Паханг, где золотые зерна таились в речном песке, он увидел цепи высочайших гор Малакки с вершиной Гуну-Тахан. Проводники с боязнью показывали на ее лесистые склоны: они были обителью огромных человекообразных обезьян «бру», перед которыми туземцы испытывали суеверный ужас.

В горных ущельях между странами Тренгану, Келантан и Паханг Маклай сделал замечательное открытие. Здесь неутомимый исследователь, отыскивающий родственные народы, разбросанные по островам Тихого океана, нашел, как жемчужину разорванного ожерелья, меланезийские племена Малакки. Это-то и были «люди леса», о которых рассказывали сказки, — племена оран-семангов и оран-сакаев.

Пугливые, низкорослые, чернокожие люди проводили ночи на деревьях. Они были бедны, как птицы или звери. Все их имущество состояло из тряпья на бедрах и ножа. Они скитались в диких лесах, давали своим детям имена в честь деревьев, добывали камфору, которую выменивали у малайцев на ножи и ткани. И они ничем не походили на малайцев, ростом напоминали негритосов Филиппин, а обликом — папуасов Новой Гвинеи.

Таблицы Брока помогли Маклаю установить цвет кожи «людей леса». Он сделал измерение формы голов и пришел к выводу, что оран-сакаи и оран-семанги склонны к короткоголовости, так же как и филиппинские негритосы. Так ему удалось дочитать до конца старую книгу жизни малаккских племен. Теперь Маклай знал, что в самой глубине полуострова обитают не менее пяти чистых меланезийских племен, не смешанных с малайцами. Они были остатками древнейшего населения страны. Маклай сделал достоянием науки места обитания меланезийцев Малакки, изучил их облик, образ их жизни, верования и язык.

Сто семьдесят шесть дней пробыл путешественник на Малакке. От «людей леса» он ушел — через владения семи малайских князей — в богатый город Патани, побывал в стране Кедах, подвластной Сиаму, и закончил путешествие в городе Малакке.

## ЧЕРНЫЕ ОДИССЕИ

Подходил к концу 1875 год. Николай Николаевич пользовался последним гостеприимством Джемса Лаудона в Бейтензорге и заканчивал заметки о странствиях среди «людей леса». Простодушный и скромный, он не знал, как росла его слава. Знакомства с ним искали самые известные исследователи. В Сингапуре русского ученого разыскивал Мариа д'Альбертис, бывший гарибальдиец и путешественник по Океании. Одоардо Беккари, знаток Борнео, не искал встречи с Маклаем на Яве. Один из лучших исследователей тропической флоры, австралийский ботаник Фердинанд Мюллер, вызвался дать примечания к статье Маклая о растениях Новой Гвинеи. Сингапурская «Дэйли таймс» писала о походе Маклая в страну оранов. Появись в ту пору Маклай на улицах Петербурга или Москвы — его сразу бы узнали в лицо; журнал «Пчела» поместил портрет отважного путешественника, гравированный по особому заказу в Париже. Изображениями Маклая были украшены страницы «Нивы», «Живописного обозрения», «Иллюстрированной недели», «Всемирной иллюстрации» и других русских изданий. Русские картографы уже нанесли на карту Новой Гвинеи гору Миклухо-Маклая, близ залива Астролябии. Это был как бы прижизненный памятник — редкая честь для ученых. Но никто не знал, что столь знаменитый человек скитается уже много лет без крова, семьи, делает долги, чтобы с помощью занятых денег совершать свои опасные и далекие походы.

На досуге Маклай читал сочинения одного из самых любимых своих писателей — И. С. Тургенева. На письменном столе путешественника стоял портрет

Тургенева, подаренный им Маклаю когда-то в Веймаре. А книги Тургенева «Тамо-рус» выписывал себе даже на Яву. Он старался не порывать связей с русскими людьми: делился с писателем своими планами, посылал ему оттиски своих статей.

Маклай часто не имел средств даже для того, чтобы заплатить за переписку своих статей. Он с ужасом видел, что все его труды могут погибнуть, не увидев печатного станка. Вечное скитание и болезни мешали засесть за большие книги. Приходилось ограничиваться предварительными сообщениями в батавийском научном журнале, письмами в Русское географическое общество.

Стены дворца в Бейтензорге становятся тесными. Маклай вспоминает слово, данное папуасам: ведь они ждут «Тамо-руса», глядя в просторы океана. Маклай благодарит Джемса Лаудона за любезный прием и гостеприимство. Длинный тонкий палец русского путешественника скользит по морской карте Микронезии, по очертаниям Каролинских островов. Карты пестрят русскими названиями коралловых земель: остров Суворов, Беринг, Румянцев, Чичагов, Сенявин, Римский-Корсаков, Хромченко. Русские мореплаватели когда-то открывали их.

На легкой шхуне «Морская птица» Маклай отплыл из яванского порта Черибон. Путь его лежал к Целебесу, а оттуда — к разноцветным рифам Западных Каролин. В мае 1876 года он уже был на острове Вуап (Яп). Про Яп Маклай читал немало забавного: легковверные мореплаватели восемнадцатого столетия рассказывали о вуапском крокодиле «га-ут», плачущем, как ребенок, о ящерицах, живущих на деревьях... На северной стороне Вуапа стояла деревня Киливит. Ее гостем и сделался Маклай.

Кроме мыслей о науке, Маклая волновали мысли о тяжелой жизни бесправных племен Океании. Он собирал сведения о разбоях белых купцов и работоторговцев.



Подолгу он беседовал с торговым приказчиком (тредором) Томом Шоу. Том Шоу около тридцати лет прожил в Океании и был живой историей Микронезии. Женой его была туземка, с островов Гилберта, а сын, метис, ловкий малый, умел неплохо стрелять из пушки. У семейства Шоу было собственное орудие, укрепленное на палубе пироги. Шоу-сын принимал участие в междоусобных войнах островитян.

Местное население промышляло добычей трепанга — морского животного, высоко ценимого в китайской кухне. Сильные и ловкие туземцы как рыбы ныряли в зеленую глубину между скал. Но ловцы трепанга, «нанятые» европейскими шкиперами, в полном смысле слова вымирали. Был случай, когда из шестидесяти семи туземцев с промыслов вернулись живыми только семь. Гамбургские приказчики не привыкли стесняться. Когда усталый черный водолаз отказывался идти в воду, белые хозяева пускали пули над головой ловца. «Во время путешествия, — писал Маклай, — мне много раз приходилось видеть бесчестную эксплуатацию, которой подвергаются туземцы со стороны белых, и я намерен представить при первой возможности краткое изложение тех доходящих до преступления несправедливостей, которых мне пришлось быть невольным свидетелем...» Здесь, как и на многих других островах Тихого океана, немцы подготавливали захват богатств, которые они не открывали и не исследовали. На Вуапе только что побывала команда прусского военного корвета.

Туземцы Вуапа, как и искусные мастера острова Пасхи, отличались умением строить прекрасные здания на каменных основаниях, большие гробницы и мостовые. Маклай побывал у подножия ступенчатых пирамид Вуапа и, исследовав их, решил, что они очень похожи на гробницы островов Таити. Сын начальника одной из деревень, чертя концом тростника на песке, рассказал

Маклаю предание о бесстрашном моряке Анагумане. Вуапский Одиссей плавал в далекую страну У-Канат. Люди этой страны и научили морехода добывать огонь и строить жилища из камня. Сказания о дальних скитаниях не были здесь случайны. Каролинцы давно славились как отличные пловцы, мореходы и географы. Они умели выкладывать на песке из тростника, раковин и камней настоящие навигационные карты, знали хорошо тридцать три звезды южного неба, указывавшие черным Одиссеям дорогу в океане. Красные и черные челноки каролинцев легко сновали между коралловых рифов. Старые моряки учили детей, чертя на влажном песке берега знаки созвездий и изображения островов.

Маклай побывал на многих островах. Всюду он неустанно вел свои дневники. Он посещал общественные хижины вуапцев, которые представляли собой нечто вроде клубов. Эти собрания могли быть также гостиницами, казармами и местами для ночных плясок. В таких клубах можно было видеть огромные каменные жернова, иногда в несколько тонн весом. Это были деньги, так называемые «фе». Их вывозили сюда с островов Палау. Жернов, хранящийся в клубе, представлял собой общественный капитал.

Маклай побывал на многих островах. Всюду он находил новое, важное и нужное для науки о человеке, которой он служил. И всюду он искал жемчужины своего разорванного ожерелья и находил их, пытливо проникая во все, казалось бы, мелочи жизни смуглых людей Микронезии.

От базальтовых скал Палау кораблик «Морская птица» долетел до островов Адмиралтейства. Здесь произошла знаменательная встреча с большой туземной пирогой, мачта и рея которой были украшены какими-то черными прядями. Присмотревшись, Маклай понял, что это человеческие скальпы. Вскоре выяснилось и их происхождение. Шкипер Голл год тому назад нанял

жителей Вуапа ловить и коптить трепанга у островов Адмиралтейства. Около архипелага Хесус-Мария Голлу повстречалось множество лодок с туземцами. С перепугу шкипер открыл по ним огонь. Мало того, он послал в погоню за мнимыми врагами всех своих водолазов и коптильщиков. Их-то и перебили уже не на шутку обозленные туземцы. Голл позорно бежал от места побоища, а победители стали сдирать скальпы с несчастных ловцов трепанга. Человеческие волосы на мачтах, люди с ожерельями из собачьих и человеческих зубов, нанизанных попеременно с украшениями, продетыми сквозь носовую перегородку, богато татуированные, — вот что увидел Маклай.

Он рассматривал туземцев, поднявшихся на палубу «Морской птицы». У многих пожилых людей на спине или груди были привешены какие-то странные предметы вроде метелок. Тонкие ветки, собранные в пучок, были прикреплены к ручке, выточенной из берцовой кости человека. Маклай был первым, кто открыл обычай ношения «руен-римата» — костей отца или ближайших родственников, если они были знатными или выдающимися людьми. Маклай безошибочно разыскивал в толпе туземцев людей явно папуасского типа, рассматривал привезенную ими на корабль утварь — круглые чаши с искусной резьбой, плетеные сосуды, пропитанные смолами и древесными соками, каменные колья и кинжалы. Даже Маклая озадачили размеры огромных зубов у одного из исследуемых туземцев. Вот уж поистине находка для какого-нибудь расового ненавистника, который на основании такого факта поспешил бы открыть новую «неполноценную» расу!

На островах Адмиралтейства Маклай, как всегда, бесстрашно сошел на неведомый тропический берег, в районе деревень Пуби и Лонеу. Он видел огромные барабаны из древесных стволов — «барумы». Такие барумы когда-то гремели в его честь на Берегу Маклая.

Он раздавал подарки, и островитяне позволяли делать измерения голов или сравнивать цвет их кожи с таблицей Поля Брока.

На островке Андра он вновь нашел людей с непомерно большими зубами и зарисовал их. Измерение голов показало, что туземцы островов Адмиралтейства были среднего роста, имели длинные головы, но у них наблюдалась сильная склонность к короткоголовости. Каждый новый результат измерения Маклая бил по старым антропологическим понятиям. Он снова убедился в том, что среди меланезийцев встречаются люди и с короткой формой черепа. Он отметил, что волосы меланезийцев растут так же, как и у белокурых европейцев: никаких пучков, ничего похожего на платяную щетку. А зубы? Огромные людоедские клыки, о которых так много разглагольствовали лжеученые, пытавшиеся разделить расы даже и по форме зубов. Маклай установил, что это не что иное, как гипертрофия зубной ткани, встречающаяся лишь у отдельных людей и которую нельзя принять за особенность целого племени.

Очень скоро тесная каюта на «Морской птице» была завалена и заставлена всякой всячиной, которую Маклай приобрел у туземцев — наконечниками копий, щитами, домашней утварью: ведь недаром он был не только зоологом и антропологом, но и этнографом.

В начале июня кораблик подошел к главному острову архипелага Агомес — Луб, где было много кокосовых пальм, но очень мало людей. Маклай подумал о том, что это признак убыли населения, когда-то многочисленного, судя по богатству пальмовых насаждений. Так оно и было на самом деле. И без того нищих островитян вконец разорили тредоры в другие «цивилизованные» варвары.

Именно здесь недавно свирепствовала команда европейского брига. Она сожгла цветущую агомесскую деревню, спалила пальмы, угнала свиней. В довершение

всех несчастий в 1875 году море залило низменные места. Вода долго не спадала, и гнилостная лихорадка истребила многих жителей.

Маклай изучал причины вечных войн между архипелагами Агомес и Ниниго. Плодом раздора были кокосовые орехи. На ореховый промысел к Агомесу часто устремлялись целые флотилии с Ниниго. Агомесцы не желали уступать пришельцам своего хлеба — кокосовых пальм. У подножий пальм часто завязывались кровавые побоища. Агомесцы часто мстили жителям Ниниго и устраивали ответные набеги, захватывая рабов. Одного из таких пленников Маклай видел своими глазами на острове Луб.

Скитания черных Одиссеев, походы за рабами, браки с пленницами — все это заставляло Маклая думать о законах переселения племен Океании, искать общих законов возникновения и развития человеческого рода.

А «Морская птица» летела на всех парусах в синем-синем просторе. Легкий туман покрывал острова, то белые, то изумрудные. Маклай давал русские названия архипелагам — «Шашечница», «Отшельник»... В последних числах июня 1876 года путешественник почти не сходил с палубы шхуны и вглядывался в даль. Показался Берег Маклая...

## АРХИПЕЛАГ ДОВОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Заскрипели доски трапа, когда матросы стали сгружать со шлюпки припасы, ящики, бочки, подарки для старых друзей Маклая. 27 июня он высадился на побережье возле Горенду. Звонкие папуасские барумы забили радостную тревогу. Все старые знакомые, особенно близкие, были живы. Маклая встречали Туй, его сын Бонем, Саул, горбоносый Каин, Коды-Боро, который когда-то по собственному почину, но чрезвычайно усердно искал невесту для Маклая. Барумы гремели и в Горенду, и в Бонгу, и в Богатиме, на острове Витязь, на Кар-Каро и в горных деревнях. «Маклай вернулся! Тамо-рус с нами!..» Это было живым чудом, сказкой папуасского народа. «Людоеды» плакали от радости при встрече со своим другом. Маклай расспрашивал, как живет маленькая Мария, что делает Дигусли и Теньгум-Маня, жив ли Далу из Бонгу. Папуасы наперебой приглашали Маклая поселиться, каждый — в своей деревне. Он выбрал Бонгу, вернее — ее окрестности. Корабельные плотники с помощью папуасов уже строили там жилье. Теперь это был настоящий дом из крепкого строевого леса. Новоселье свое Маклай справлял в кругу папуасов, двух слуг пелаосцев и повара-малайца.

Жители Берега Маклая рассказывали новости, накопившиеся с 1872 года. Во-первых, здесь с того времени произошло несколько землетрясений. Когда земля тряслась, многих папуасов изувечило падавшими кокосовыми орехами. Хижину Маклая в Гарагасси съели белые муравьи, но посаженные им пальмы целы. А огороды и сады папуасов каждый год приносят плоды. Если Маклай желает, его завтра же угостят печеной таитянской тыквой.

Миклухо-Маклай не умел отдыхать. Спустившись к устью речки Морель, он покинул шлюпку и побрел через холмы, покрытые густой травой «унаном». Вскоре он увидел четыре горные вершины. Перепрыгивая через расщелины, оставшиеся после землетрясения, преодолев глубокие овраги, он достиг деревни Марагум-Мана, побывал в селе Рай и пришел к берегу реки Гебенсу. Из горных деревень Маклай принес черепа, утварь и... вечную лихорадку. В августе, рискуя жизнью, он взобрал на пик Константина, откуда увидел лежавший у его неутомимых ног Берег Маклая и сияющий океан.

В очередном отчете Русскому географическому обществу Маклай писал:

«...Те же райские птицы и бабочки будут летать в Новой Гвинее даже в далеком будущем, и собирание их будет восхищать зоолога: те же насекомые постоянно наполняют его коллекции, между тем как почти наверное при повторных сношениях с белыми не только права и обычаи теперешних папуасов искажутся, изменятся и забудутся, но может случиться, что будущему антропологу придется разыскивать чистокровного папуаса в его примитивном состоянии в горах Новой Гвинее, подобно тому, как я искал оран-сакай и оран-семанг в лесах Малайского полуострова...»

Здесь, в неведомой стране, Маклай думал, что он близок к вечным тайнам природы. Давняя мечта его сбылась: он наблюдал законы зарождения человеческого общества, изучал человека в его первобытном состоянии, со всеми его радостями и горем. Он убедился в высокой нравственности папуасов, в любви их к детям и семье, в их миролюбии. Он исследовал как антрополог еще сто пятьдесят папуасов и все более убеждался в том, что форма черепа не может быть решающим признаком расы.

Вот он идет рядом с Каином, человеком с умным, пристальным взглядом. На плече Каина лежит

свесившаяся из уха огромная серьга, а в курчавых волосах торчит огромный гребень. В руках Каина копье, стерегущее Маклая от нападения любого врага. Вдвоем они плывут к острову, который назван Каином «Домом Голубей», там они сажают новые кокосовые пальмы.

Папуас Гассан сопровождает «Тамо-руса» на архипелаг Довольных Людей, или на остров Тамо Митебог, где хижины, подобно русским новгородским избам, украшены резными венцами, но не коньками, а изображением рыбы.

Кисем с острова Витязь, как и Каин, оказался неплохим гидрографом и мореходом. Маклай взял Кисема, Гассана, Каина и Саула в экспедицию на двух судах. Они высадились в деревне Телята. Там их встретил папуасский патриарх, самый древний старец берега. Он сказал Маклаю, что до его первого появления в Гарагасси здешний край никогда не видел белого человека.

Степенный, гладко выбритый Туй, с остатками ульсеновской шляпы на голове, нередко появлялся на пороге светлого дома. Он докладывает: Маклая приглашают на свадьбу в Горенду. Молодой парень Мукау женится на Ло из Гумбу. «Тамо-рус» их отлично знает. Маклай идет на празднество и записывает в одной из своих книжек подробности наивных свадебных обычаев своих друзей.

Был и такой случай. К Маклаю прибежал встревоженный Коды-Боро, «сват» из Богатима. Заикаясь, он рассказал: два бездельника из Горимы, некие Абун и Малу, проболтались, что хотят убить «Тамо-руса». Коды-Боро умолял «лунного человека» не ходить в Гориму. Но Маклай, как всегда безоружный, пустился в путь. Он перешел по пояс в воде реку Киор, достиг Горимы и разыскал своих будущих убийц. Он сказал им, что верит жителям деревни, что он им никогда не причинял зла. Он добавил, что устал, хочет



спать и ему очень некогда. И если уж Малу и Абун действительно хотят его убить, пусть поторопятся. После этой речи Маклай улегся спать, завернувшись в свое каучуковое одеяло, которое всегда носил с собой. Наутро Абун принес Маклаю подарок — живую свинью, позвал Малу, и они пошли провожать «лунного человека» до дому. Они шагали рядом с Маклаем таща связанную свинью, подвешенную к жерди, концы которой покоились на плечах папуасов. Оба имели пристыженный вид.

Однажды Туй и Саул озадачили Маклая совершенно неожиданным заявлением. Поселяне Бонгу и Горенду заключили между собой военное соглашение и на днях выступят против горных папуасов. Туй придумал хитрый способ известить врагов: он пристал к Маклаю с просьбой, чтобы тот... напустил землетрясение на горных жителей. Но «Тамо-рус» твердо заявил, что ни войны, ни землетрясения не будет. Войны он не допустит, пока живет здесь. И ретивые воины, покорные воле Маклая, попрятали свои копья и дубины.

Маленький худой человек окончательно сроднился с темнокожим народом. Он часто болел, его трепала лихорадка, мучила невралгия. Он терял остатки сил, но не сдавался болезням и не оставлял начатых работ. Он продолжал сравнительно-анатомические исследования вновь открытых им видов животных Новой Гвинеи. Ему удалось описать людей и природу Берега Маклая на большом пространстве, миль на двести вокруг Бугарлома. Маклай в совершенстве изучил все обычаи папуасов, строение их семьи и общины, знал их язык, искусство.

В конце 1877 года в залив Астролябия случайно зашла английская шхуна. Маклай решил отправиться на ней в Сингапур — привести в порядок коллекцию, засесть за книги и статьи о своих открытиях. Еще в Бугарломе он написал статью о ловле трепанга на

островах Тихого океана. В ней он писал о бесправном положении туземцев, о всем том, что видел своими глазами. Он предлагал учредить в Океании особые станции международной защиты темнокожих племен.

Наступил тяжелый час расставанья... Маклай собрал папуасов и сказал им, что далеко не все белые люди дружески ведут себя с представителями черных племен, что сюда, на Берег Маклая, рано или поздно придут злые белые люди. Он учил туземцев, что делать в этом случае, как держать себя с пришельцами. Но может случиться и так, что здесь появятся белые друзья Маклая. Они будут вести себя с папуасами как братья. Они подадут особый «знак Маклая», и тогда папуасы должны доверяться во всем братьям «Тамо-руса». А Маклай еще вернется сюда — один или со своими друзьями.

Так говорил Маклай. Папуасы слушали его в глубоком молчании. Он уехал, провожаемый плачем и протяжным и глухим стуком барумов.

## СТРАНА ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ

В гербе Австралии должен быть помещен черный лебедь, окруженный лучами золотого солнца. Как прекрасна эта страна, в которой, по словам поговорки, молодеют даже старики! Маклай сначала не думал о поездке в страну Черного Лебедя. Но врачи сингапурского госпиталя не советовали, а прямо приказывали Маклаю ехать под целительные лучи австралийского солнца. Он умрет, если не выполнит этого приказа.

Маклай подумал о судьбе своих коллекций, о ненаписанных статьях и книгах. Нет, он не хочет умирать! В июле 1878 года, покинув сингапурский госпиталь, он появился в Сиднее. Синие бухты, утесы, яркие кроны деревьев, ярчайший желтый песок садовых дорожек, цветы и светлые здания — все это оправдывало прозвище «королевы юга», данное городу. Путешественника приютил сначала русский вице-консул в Сиднее Е. М. Паули, а потом — руководитель Австралийского музея Вильям Маклей, вместе с которым Маклай издал позже труд о хрящевых рыбах. Консул Паули мог показать сиднейскому новоселу, так долго не видевшему печатного слова, ворох европейских и русских изданий. Новостей было много. В 1876 году в Юрьеве угас дряхлый Карл Бэр. Перед смертью он занимался разведением цветов и писал статью о заслугах Петра Великого в области русской географической науки. Лев Мечников, русский географ и солдат освободительной армии Гарибальди в прошлом, принес первые переводы научных статей Маклая знаменитому географу Элизе Реклю; изгнанный из императорской Франции, Элизе Реклю в это время собирал материалы для своей «Всеобщей географии».

Американский ученый, великий друг ирокезов Морган, выступил в печати с письмом в защиту индейцев. Это совпало с хлопотами Маклая о судьбах племен Тихого океана. «Тамо-руса» порадовала статья в газете «Голос». «Голос», издававшийся Андреем Краевским, бывшим журнальным соратником Белинского, сообщал тридцати тысячам своих подписчиков о жизни отважного соотечественника в Новой Гвинее. «Если... Миклухо-Маклаю удастся сплотить в одно целое разбросанное население северо-восточного берега и образовать самостоятельную колонию, то это будет большая заслуга перед человечеством. Для нас же может быть утешительной мысль, что представителем бескорыстных, истинно человеческих стремлений в этих далеких странах является русский гражданин...»

Появилось много новых работ о малайских странах, описаний Тихого океана. Маклай набросился на книги, как голодающий на хлеб. О его новогвинейских подвигах писал журнал «Космос», а «Глобус» помещал биографию Маклая. Благородный и мудрый охотник за черепами Поль Брока напечатал у себя в Париже маклаевскую статью об искусстве папуасов. Имя Маклая появилось на страницах англо-австралийского журнала «Аргус», а свои записки об островах Вуап, Палау и архипелаге Адмиралтейства он увидел напечатанными в «Известиях» Географического общества.

Пять стран мира отдавали должное трудам Маклая. Но мало кто знал, что яванские и сингапурские купцы напоминали русскому ученому, что его долги достигли суммы в десять тысяч рублей в переводе на русские деньги. Заимодавцы требовали возвращения долга и процентов, иначе они не отдадут бесценных коллекций «Тамо-руса», пошедших в качестве залогов. Лишь один из всех кредиторов Маклая, китаец Ва Ли-пуа, отказался взять с него проценты, узнав, что деньги были ему нужны для научных работ. Зато вполне «белая» фирма

«Дюммлер и К°», старалась вытянуть жилы из своего должника.

Письма в Русское географическое общество, содержащие просьбы о помощи, остались без ответа. Литературный заработок был смехотворно мал. Маклая угнетали постоянные заботы о куске хлеба и средствах на научные работы, а тут, как будто в насмешку, кто-то даровал скромному Маклаю громкий титул «барона».

Вскоре нищий папуасский барон перебрался на жительство в небольшую комнату при Австралийском музее. Туда принес он в старом клетчатом саквояже головы людей черного племени, умерших в сиднейских госпиталях. Пятьдесят рисунков исследованного мозга, фотографии и пояснительный текст вошли в золотой фонд мировой антропологии.

Страна Черного Лебедя влекла к себе Маклая. Он слышал о том, что скромные незабудки, похожие на цветы его новгородской отчины, растут в Голубых горах, у подножий эвкалиптов и пальм. Но ни время, ни средства не позволяли ему поехать в прекрасные Голубые горы. Он изучал мозг австралийской ехидны, применяя новые методы и поправляя прежних зоологов. Подолгу он бродил по берегу бухты Ватсон-Бей, вспоминая учителя своей юности, дарвиниста Антона Дорна, руководителя Морской зоологической станции в Неаполе. Неутомимый исследователь решил устроить подобную же станцию в Ватсон-Бее. Начались бесконечные хлопоты. Маклай тревожил покой министров и сановников, пока не получил участка земли для станции, сам ходил с подписным листом по богатым домам Сиднея и добился того, что Морская зоологическая станция — гордость ученой Австралии — была открыта. Маклай сам делал чертежи ее зданий, руководил постройкой и оборудованием. Он работал без отдыха. Приступы невралгии часто длились у него сутками. Приходилось прибегать к большим дозам

лекарств, чтобы немного забыться в коротком и тревожном сне. К нему нередко возвращалась и «денга» — мучительная лихорадка тропических стран; от нее пухли суставы пальцев, и Маклай не мог держать перо. Тогда он диктовал кому-нибудь свои статьи и письма.

Из отдыха ничего не вышло. Наоборот, Маклаю стало тесно в стенах Австралийского музея, и он подписал очередной вексель. Деньги для путешествия на этот раз дал ему Вильям Маклей. Вечный скиталец Океании стал собираться в новый поход...

## СТРАНА ЛЮДОЕДОВ

На рассвете 29 марта 1879 года шхуна «Сади Ф. Келлер» покинула порт Джексон. Шкипер Веббер вез товары в город Нумею — главный порт Новой Каледонии. Вскоре с палубы шхуны Маклай увидел ее берега и узкий полуостров Дюкос с голыми дикими холмами. Правее оконечности Дюкоса темнел остров Ну, прикрывавший собою вход в бухту. Здесь была темница героев Парижской коммуны. Великий географ Элизе Реклю, скованный цепями, прошедший восемнадцать тюрем, задышавшийся в тесном этапном вагоне, лишь благодаря заступничеству ученых всего мира набежал ссылки в Новую Каледонию. Это было тогда, когда от берегов Франции отошла вереница черных кораблей с осужденными коммунарами. Уцелевшие от расстрелов палача Парижской коммуны генерала Галифе, от пыток и издевательств были согнаны, как скот, на каменистый берег Новой Каледонии. И вот уже семь лет, как благороднейшие люди земли томятся здесь, на Дюкосе, в соломенных хижинах Соснового острова, в каторжной тюрьме острова Ну. Коммунаров пытали: им надевали на пальцы пуссэт — острый железный перстень, отрезающий суставы, били кнутом, расстреливали у вкопанных в раскаленную землю высоких красных столбов. Сумасшедший дом был переполнен безумными, самоубийцы бросались с утесов в море или вешались на сандаловых деревьях. На каторжан натравливали островное население; туземцы рыскали в тропическом лесу, охотясь за беглыми ссыльными. Тех, кого удавалось поймать живьем, приносили в Нумею привязанными к жерди. Так на Берегу Маклая носят обычно свиней...

Маклаю казалось, что на этой земле еще не высохла кровь, пролитая во время восстания канаков — туземных жителей. Уцелевшие черные повстанцы жили теперь вместе с белыми узниками. А на покрытой могилами желтой земле Дюкоса, где нет ни воды, ни деревьев, ни трав, в жалкой хижине живет «ссылная № 1», год тому назад поднявшая канаков против их общих врагов, пламенная участница коммуны — Луиза Мишель.

Губернатор Новой Каледонии капитан Жан Ольри был настолько любезен, что пригласил Маклая осмотреть тюремные здания. Русский был представителем великой страны, и Ольри прекрасно это понимал. Он принял меры и постарался спрятать от зорких глаз Маклая все то, что было невыгодно для островного начальства. Маклай увидел лишь чисто подметенные полы тюремных камер, больницу и мастерские, где выделывают мебель из черного дерева. Арестанты не ели тюремный хлеб даром; недавно они построили на острове первый водопровод. Многие спрятали здесь от глаз русского. Он не видел «Нумейской официальной газеты», где можно было встретить объявления о продаже черных рабов. Его не познакомили с владельцем универсального магазина в Нумее, немцем, торговавшим меланезийскими невольниками. Но как ни оберегал Жан Ольри своего гостя от неприятных впечатлений, Маклай все же видел черных невольников на плантациях. Ему удалось увидеть в Нумее настоящую продажу рабов с публичного торга.

Наблюдая канаков, Маклай пришел к выводу, что они, несомненно, родственны папуасам. Островитяне жили общинами, разводили кукурузу и саго, ловили рыбу. Они поклонялись священному дереву, увешанному шкурками летучих мышей. Но канаки вымирали от чахотки и марсельской водки, смешивались понемногу с каторжниками, переведенными на поселение, и



привозными рабами плантаций — меланезийцами, неграми и индусами. На острове не было певчих птиц, здесь водились лишь большие нетопыри, крысы, скорпионы и болотные змеи. Изображение скорпиона можно было бы поместить в гербе Нумей или на кокарде капитана Жана Ольри...

Вот какого пути придерживался Маклай в это путешествие 1879-1880 годов: Новая Каледония — острова Лифу — острова Адмиралтейства — архипелаги Ниниго и Луб — островок Андра — Соломоновы острова — архипелаг Луизиады — южный берег Новой Гвинеи — острова Торрессова пролива — восточный берег Австралии. Миклухо-Маклай побывал в самом сердце Океании, в местах, куда не отваживались проникать белые путешественники. Научные открытия Маклая были огромны. Нелишне будет сказать, что в этот поход путешественник провел двести тридцать семь дней на берегах неисследованных островов и сто шестьдесят дней в плавании по бурному морю.

Маклай прошел по цепочке островов от Новой Каледонии до усеянного подводными камнями Торрессова пролива. Он вновь посетил острова Адмиралтейства, где впервые собственными глазами наблюдал случаи людоедства. Но это не испугало его. Он спокойно бродил по деревням людоедов, ел туземной резной ложкой несоленый суп из мяса диких голубей и спокойно спал на открытом воздухе под сенью большого фикуса. Из «страны людоедов» он увез много рисунков, антропометрических измерений и составленный им словарь местного языка. Маклай побывал в порту Морсби, в юго-западной части Новой Гвинеи, и открыл тайну «желтых людей» побережья. Ему удалось установить, что в жилах этих папуасов текла кровь с полинезийской примесью: по-видимому, когда-нибудь сюда бурей или волнами были занесены челны с жителями Полинезии. На Соломоновых островах и

Луизиадах он проследил переходы от полинезийского к папуасскому типу и сделал драгоценные наблюдения над жизнью темнокожих туземцев. На острове Четверга больной странник уже не мог двигаться. Чужие люди снова помогли ему. Он лежал в доме Честера, английского чиновника Северной Австралии. Честер не думал, что Маклай останется в живых. Но он выжил.

## ГОСПОДИН ОТТО ФИНШ

Мыс Йорк, самая северная точка Австралийского материка, устремляется своим острым носом в Торресов пролив. Близ него расположен поселок Соммерсет, где находится фактория для лова перламутра. Вокруг Соммерсета еще скитались остатки чернокожих австралийцев. Они влачили жалкую жизнь, питаясь личинками и червями. В то время ни один этнограф еще не решил, к какой расе можно причислить австралийцев. Изучением этого народа Маклай занялся тотчас же после выздоровления. Собственные наблюдения подсказали ему вывод: они не похожи ни на жителей Полинезии, ни на меланезийцев. Может быть, прав Томас Гексли, выделивший австралийцев в особую группу? Но сложный вопрос о происхождении австралийцев и об их положении в семье человечества нельзя было решить сразу. Обойдя весь материк по восточному побережью, Маклай углубился внутрь Австралии.

Май 1880 года застал Маклая в столице австралийского штата Квинсленд — зеленом и красивом Брисбэйне. Город жил добычей и вывозом кедрового дерева, ловлей устричных раковин, торговлей. Здесь Маклая встретили очень тепло. В комнату при местном музее, где он поселился, часто заглядывали разные люди: то землемер из межевой службы, приглашающий ученого воспользоваться приборами для работ, то госпитальный врач, который решил обрадовать Маклая известием, что в мертвецкой его ждет свежий труп чернокожего... Изучая мозг представителей темнокожего племени, Маклай не нашел никакой существенной разницы между мозгом австралийца и европейца. Этим он ответил лжеученым, утверждавшим,

что мозг преступника, «дикаря» и обезьяны почти одинаков по своему строению.

Вот в двери стучится незнакомый посланец радости... Газета Краевского отыскала отважного соотечественника даже в Австралии. Специальный корреспондент «Голоса» утешает Маклая: скоро кончатся его бедствия. «Тамо-рус» не верит своим глазам, перечитывая газетные вырезки. Оказывается, на свете есть люди, которые не оставляют в беде. Путешественник Одоардо Беккари, исследователь Борнео, поместил в русской печати письмо с призывом о помощи Маклаю. Беккари требовал вырвать сокровища науки из рук купцов и банкиров, заплатить банкирам долги. «Честь и достоинство русского общества требуют принятия немедленных мер о пособии знаменитому русскому ученому...» — писала петербургская газета. Более того, «Голос» уже перевел в Сидней деньги, собранные по подписке.

Но находились люди, которые не помогали, а мешали Маклаю работать. На страницах берлинского антропологического журнала появилась неумная сплетня о русском исследователе, художественно обработанная путешественником Финшем, книгу которого о Новой Гвинее когда-то изучал Маклай. Так произошло их первое заочное знакомство.

Из Брисбэйна Маклай совершил поездку в глубь Австралии — для поисков «безволосого племени», о котором писали европейские антропологи. Конечно, все эти сообщения оказались очередной досужей выдумкой. Вблизи городка Сен-Джордж, у реки Баллоны, действительно жили безволосые люди. Но это было не племя, а лишь одна семья, страдавшая наследственным уродством.

Посетив безволосых людей, Маклай на некоторое время вернулся к исследованиям мозга животных Австралии. Попутно он занялся палеонтологией. Около

горы Глен-Инес он отрыл кости ископаемого чудовища. Это было животное вроде кенгуру, но величиной со слона.

В Квинсленде Маклай собрал подробные сведения о тайных похищениях и обращении в рабство жителей Тихого океана. Потом он пустился снова в путь... Он увидел весь восточный берег Австралии, от мыса Йорк до южной оконечности Виктории. И вот перед ним шумит славный город Мельбурн, сладко дышат магнолии в зеленых чащах Ботанического сада. Маклай спешит порадовать своими открытиями Фердинанда Мюллера, знатока растений Океании. Он отдает Мюллеру образцы «аписа», сок которого столь чудодейственно пропитывает ткани и делает их непромокаемыми. Бедный доверчивый «папуасский барон»! Он не знал, что Мюллер «затеряет» свидетельства этого замечательного открытия...

Еще одно несчастье подорвало силы Маклая. Он доверил на честное слово все свои коллекции, собранные в последний раз в Океании, шкиперу Вебберу. Шкипер исчез вместе с грузом. Вскоре прошел слух о его смерти.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса, сэр Генри Паркер, решил помочь бездомному «папуасскому барону» и пригласил его поселиться в небольшом коттедже на участке сиднейской выставки. Утешение, как всегда, Маклай находил в напряженной работе. Он всколыхнул весь ученый Сидней, по его почину было создано Австралийское биологическое общество. В прямую зависимость от создания Морской зоологической станции нужно поставить и открытие зоологического сада в Сиднее. Теперь Маклаю можно было вдоволь наблюдать за поведением необычайных австралийских животных — сумчатого утконоса и ехидны, мозг которой он так долго изучал.

Тем временем колониальная горячка в Германии росла. «Этнографические выставки» Гагенбека пользовались большим успехом в Германии. Папуасов и огнеземельцев показывали вместе с первой гориллой, доставленной в Берлин. В Гамбург все чаще и чаще привозили цветных людей со всех концов света. Немецкие фирмы прочно укреплялись в Новой Британии, процветали в Камеруне, немецкие плантаторы захватили земли на Фиджи, заключили «дружественный» договор с островами Тонга. Они сумели спить туземных вождей острова Новой Британии и купить у них за 261 доллар чудесную бухту Мекадо. Там была устроена немецкая угольная станция и заложены первые плантации.

В Меланезии выросла германская колония «Порт Бретон», рядом с немецкими торговыми станциями. Кайзеровские фрегаты и корветы не раз появлялись в Океании. Когда в 1880 году сильно пошатнулись дела одной фирмы, германский канцлер Бисмарк немедленно внес в рейхстаг предложение о ее субсидировании. Вскоре на Тихом океане возникла «Германская ассоциация торговли и плантаций Южных морей».

В это время по следам Миклухо-Маклая в Океании появился и господин Отто Финш. Еще в 1867 году он выпустил книгу «Новая Гвинея и ее обитателя». Новую Гвинею он наблюдал в... собственном рабочем кабинете. Жил он в то время в Бремене. Труд его о Новой Гвинее был всего лишь полным сводом сведений, выбранных из книг бременской и лейденских библиотек. На Тихом океане Финш побывал лишь в 1879 году. Он снимал гипсовые маски с лиц живых туземцев и усиленно занимался разрешением проблемы, где в Океании лучше всего устроить места для прусской ссылки. «Знающий ученый, работающий с Брэмом, трудолюбивый собиратель материалов» — так говорили об Отто Финале.

Три года скитался Финш по Океании. Он был на палубе военного корабля «Ариадна», когда немцы захватывали острова Самоа. Он был всюду, где в будущем кайзеровская Германия раскинет свои плантации, возведет поселения, выстроит тюрьмы. У него прекрасные средства для научных работ. «Германской ассоциации торговли и плантаций Южных морей» уже обещана субсидия в десять миллионов марок...

А в это время Маклай мечется по комнатам своего нового коттеджа. Он узнал, что в Сиднее среди бела дня замышлено истребление двух тысяч человек. Коммодор<sup>[26]</sup> Вильсон готовится к походу на Южный берег Новой Гвинеи. Там произошло убийство белых людей и туземных миссионеров, и Вильсон по долгу службы был обязан наказать папуасов.

Маклай знал мирных поселян деревни Кало. Их теперь убьют, всех без разбора. Он идет, почти бежит по темным улицам и просит доложить о себе коммодору Вильсону. И коммодор дал слово солдата постараться быть справедливым. Маклай сам отправился на военном корабле к месту происшествия. Он был прав. Жители всей деревни не могли отвечать за убийство, совершенное одним человеком. Вильсон сдержал слово, и при высадке десанта в Кало был наказан только один убийца — некий Квайпо. Он был застрелен, а хижина его сожжена. Так Маклай спас жизнь двух тысяч людей.

## СЫН ОТЕЧЕСТВА

Наступал 1882 год.

Маклай рвался на родину. Он знал, что есть такая болезнь — ностальгия, когда люди умирают в тоске по отчизне. Он всегда подчеркивал свою роль служителя русской науки, мечтал об издании книг о своих путешествиях — в первую очередь на родном языке. Он отказался от лестного предложения одного европейского научного общества, которое было готово купить все его сочинения. Маклай считал своим долгом сообщать прежде всего русским ученым о том, как он живет и работает в океанских странах. Все свои записки, коллекции и даже собственный череп — вместилище ясной и строгой мысли — он завещал родной стране.

Долгое время он только мечтал о поездке на родину. Он не мог ехать из Сиднея в Петербург без гроша в кармане. Но мечта Маклая сбылась, когда в Мельбурн пришла эскадра старого севастопольца, контр-адмирала Асланбегова, завершавшая двухлетний поход в океанах. С замирающим сердцем поднялся он по трапу клипера «Вестник», где его приняли как родного. На «Вестнике» он прибыл в Сингапур, а оттуда, пересаживаясь с одного корабля на другой, отправился в дальнейший путь. Ему надолго пришлось задержаться в Александрии, потому что в это время в Египте кипела война. В самом городе происходили кровавые события. Но и они не помешали Маклаю заниматься наукой. Он виделся с исследователем Африки, директором музея в Каире Георгом Швейнфуртом. Швейнфурт изучал карликовые племена Африки. Два ученых обсуждали проблемы родства негров с папуасами под грохот пушек, когда ядра разрывались на глиняных улицах древней Александрии. И снова один из вездесущих русских



корреспондентов разыскал здесь Маклая, чтобы известить родину о скором его приезде. Отечество встречало своего прославленного сына...

1 октября 1882 года всемирно известный ученый Миклухо-Маклай выступил на собрании Русского географического общества. Тихим голосом, просто и без всякой рисовки Маклай сообщил об итогах своих работ за эти годы. Ему не удалось обобщить свои труды в толстых книгах. Но мог ли он писать их? На Малакке он прошел пешком всю страну и сто семьдесят шесть дней находился на ногах. Во время похода по Меланезии он сто шестьдесят дней пробыл в море, а двести тридцать семь суток — среди людоедов. Отдыхать пришлось лишь двенадцать дней. Потом госпиталь в Амбоние, больница в Сингапуре, где он пролежал семь месяцев, новогвинейские лихорадки, ностальгия, рожа, борьба со смертью на острове Четверга... Болезни так вымотали его, что в 1878 году он весил всего девяносто три фунта. Он рассказывал о днях, проведенных в хижине на Берегу Маклая, о скитаниях в лесах Малакки и Филиппин, о южном побережье Новой Гвинеи, об островах Тихого океана. Но он поведал не только о причудливых цветах людских стран, редких животных и коралловых грядах. Он говорил о человеке первобытного общества.

Все собрание затаив дыхание слушало Маклая. Секретарь Географического общества Семенов-Тянь-Шанский тут же заявил, что он будет добиваться издания маклаевских трудов. На большее общество не имеет средств. Но ведь еще не все коллекции выкуплены у банкиров. Нужны деньги для продолжения начатых работ, на жизнь и, наконец, на лечение... А на очереди большое путешествие в Африку, где Маклай надеялся окончательно разрешить загадку происхождения черных племен Океании и Малакки путем сравнения их с племенами Африки.

...Несколько раз Маклай перечитывал бумагу Русского географического общества. Горькая обида сжимала его сердце. Географическое общество готово было поддержать его, но оно само не имело ни средств, ни возможностей для этого: «К сожалению, Общество поставлено в полную невозможность оказать ему необходимую помощь как по недостатку собственных средств, так и потому, что предметы исследований М.-Маклая не входят непосредственно в круг деятельности Географического общества, точно определенный его уставом и ограниченный лишь изучением отечества и стран сопредельных...»

А по блестящим паркетам ученых зал уже ползла, как змея, сплетня, раздавались подлые смешки. Завистники и глупцы нашлись и там. «Помилуйте, — говорили они, — Маклай не сказал нам ничего нового. Он ничего не написал о Новой Гвинее, уж лучше прочесть обстоятельные компиляции Отто Финша или раскрыть Дюмон-Дюрвиля». Кто-то пустил глупую басню о том, что Маклай и не жил среди папуасов, а больше отсиживался в Калькутте. Почему именно в Калькутте — этого не знали и сами клеветники. Находились и такие, которые подавали Маклаю записки во время его докладов, спрашивали, каково на вкус человеческое мясо. Какая-то любознательная дама приставала к Маклаю с расспросами, умеют ли дикари плакать. Он спокойно ответил: «Умеют, — и с горечью прибавил: — Зато черные люди редко смеются...»

Но Маклай знал, что у него есть и друзья. Неизменный его доброжелатель «Голос» поместил теплое обращение к путешественнику, подписанное петербургскими студентами. Студенты Харьковского университета прислали ему телеграмму. П. Н. Полевой, внук одного из русских тихоокеанских пионеров, напечатал о Маклае большую журнальную статью. Полевой писал: «Рано или поздно этот подвиг должен

быть оценен по заслугам и достоинству». Суровый сибиряк Н. М. Ядринцев, ученый этнограф и публицист, порадовал Маклая большой статьей в своем «Восточном обозрении». «Дикарь перед судом науки и цивилизации» — так называлась эта статья. Ее содержание во многом совпадало со взглядами Маклая. Для настоящей науки нет слова «дикарь», а есть человек, находящийся еще в первобытном состоянии. Он полноправный член великой семьи человечества. Никаких низших рас не существует в природе. Их «вымирание» от причин, якобы predeterminedных свыше, выдуманно хозяевами плантаций, где черные рабы действительно вымирают от голодовок и непосильной работы.

Ядринцевская статья была смелым призывом к защите черных пасынков человеческой семьи. Ядринцев в ту пору был в Петербурге, слышал доклады Маклая, где тот подробно касался похищения людей в рабство разными средствами, на которое он насмотрелся всюду — от Новой Гвинеи до Малакки.

Славу Маклая не могли омрачить ни злобные выдумки реакционеров и завистников, ни деланное равнодушие к великим успехам русского ученого. О его труде и упорстве писали журналы и газеты всего мира — от Петербурга до Брисбэйна, от Саратова до Парижа. Известный художник Константин Маковский написал прекрасный портрет «Тамо-руса». Московское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило Маклаю золотую медаль.

Миклухо-Маклай спешил. Он не успел даже побывать в Киеве и повидаться с матерью и братом. Старший брат сам приехал к Николаю Маклаю в Петербург. Брат нашел прославленного ученого в темных номерах дешевой гостиницы, где тот писал доклады о положении рабов стран Тихого океана. Маклая тревожила судьба друзей, оставленных им на произвол судьбы в Новой Гвинее. Они простились, быть может, навсегда.

Маклай покинул Россию в декабре 1882 года, когда мороз уже сковал синий лед на Неве. Снова его охватили тревога и тяга к новым скитаниям. В Берлине он зашел к Рудольфу Вирхову. Ученый приветливо встретил Маклая и поручил ему сделать доклад в Антропологическом обществе.

В зале общества Маклай лицом к лицу столкнулся с Отто Финшем. Доверенное лицо вновь учрежденной «Немецкой компании Новой Гвинеи», Финш не зря появился в Берлине. В это время он уже готовил экспедицию по захвату Меланезии. Маклая поразило на заседании большое количество людей с отличной военной выправкой, покрытых густым тропическим загаром. Кто они, эти обер-лейтенанты науки? Тут были знатоки Африки, готовящие захват Занзибара, Камеруна и Того, изверги, которые впоследствии вспарывали животы неграм и снимали скальпы с живых туземцев. Тут можно было встретить командиров морских канонерок, рыскавших в Тихом океане, ученых-разведчиков, вернувшихся из Австралии и Бразилии, лжеантропологов, «изучавших» цветные племена с пистолетом в руке.

Миклухо-Маклай не скрывал своей тревоги за участь черных племен. Он давно предвидел угрозу, нависшую над Океанией. Еще в 1881 году он записал в своей тетради: «...за миссионерами непосредственно следуют торговцы и другие эксплуататоры всякого рода, несущие с собой болезни, пьянство, огнестрельное оружие и т. д. Эти благодеяния цивилизации едва ли уравниваются умением читать, писать и петь псалмы...»

В Париже Маклай побывал у И. С. Тургенева, с которым был знаком еще с 1867 года. Больной писатель встретил героя Океании пожатием уже беспомощной руки. Они говорили о России, о счастье, о человеческой судьбе, о назначении человека. Как страшный сон,

Маклаю вспомнилась Новая Каледония. Он попросил Тургенева достать записки коммунаров об их жизни на островной каторге. Тургенев выполнил эту просьбу. Париж, музеи и научные общества... И снова старая знакомая дорога: Порт-Саид, Красное море, Индийский океан — как звенья в цепи вечных скитаний. Вот и тропическая Батавия. На рейде — русский военный корабль «Скобелев». Несмотря на поздний час, Маклай добился встречи с контр-адмиралом Копытовым и убедил его зайти по пути во Владивосток на Берег Маклая. Он спешил. Ведь Отто Финш тоже торопился в Океанию из Берлина.

## «ЗНАК МАКЛАЯ»

Тоска и неясные тревоги не покидали Маклая. 16 марта 1883 года он, опершись на светлые поручни, смотрел с палубы корабля на знакомые берега. Вот он, пролив Изумруда, остров Кар-Кар, зеленый простор Берега Маклая, встающий над океанской синевой. Волнение и приступы лихорадки так мучили его, что он лишь через два дня смог пойти в Бонгу. Где Туй? Он не вышел навстречу, как в прошлый раз. Случилось что-то неладное. Бонгу превращена в кладбище, многих знакомых хижин нет. Не слышно смеха детей и пения женщин. Они ушли в горы, на побережье остались лишь старики. Здесь побывали белые люди. Они искали золото, зачем-то старались проникнуть в дом Маклая. Но папуасы не пустили незваных гостей. Так рассказывал Саул...

Туя уже нет в живых. Когда он умер, труп его, по обычаю предков, посадили на корточки, оплели листьями и три недели жгли костер у пальмовой гробницы. Бонем, сын Туя, хранит нижнюю челюсть старика: это все, что осталось от друга «Тамо-руса». Зато удалось увидаться с горбоносым Каином. Пришел и старый приятель Марамай — с кольцом в носу и кабаньими клыками на груди. Там, где когда-то высоко поднималась кровля Большого Дома бородатого отшельника, где желтели дорожки огорода, высились лишь остатки крепких свай. Но посаженные Маклаем плодовые деревья буйно раскинули ветви над развалинами. Русские матросы немало поработали тут. Они расчистили густой кустарник и посадили новые полезные растения — подарок Маклая папуасам. Он привез саженцы и семена тыкв, кофейного и цитрусового деревьев, манго, новые виды хлебного

дерева. «Тамо-рус» щедро раздавал своим друзьям куски красной китайки, малайские ножи, зеркала, бусы, топоры. Саулу были вручены мешки с кофейными зернами; он должен был внести их в горные деревни, где зерна лучше взойдут. С корабля на берег перевезли целое стадо домашних животных. Маклай закупил для папуасов еще в Амбонии коз, коров и горбатого бычка-зебу. Для них построили загон. При виде быка, мотавшего рогатой головой, бедные папуасы кинулись на деревья, некоторые стали искать спасения в море.

Теперьгодились мореходные таланты Каина, Марамая и Гассана. Маклай и Копытов взяли их с собой в качестве лоцманов и переводчиков при работах по промеру порта Алексей. Черные помощники очень боялись стука корабельной машины. С волнением Маклай следил, как на русской карте появляются порт Алексей, что в бухте Астролябия; впадающая в него с севера река Миклухо-Маклая, пролив Сарычева, лежащий между материком и островом Скобелева. В синем лоне порта покоились острова Лебедева, Смирнова, Азелева. Мысы побережья были названы в честь Мещерского, Чупрова и других русских офицеров. В бухте Астролябия на Берегу Маклая есть и второй большой залив — порт Константин.

И вот последний поход по Новой Гвинее! Маклай, Каин и амбониец Ян плывут в туземной лодке по реке Аю, меж зарослей лиан и диких бананов. По руслу светлого протока они достигают лесного озера Аю-Тенгей, бросают весла и выходят на благоуханный берег. Людоеды деревни Бомбаси приветливо встретили «лунного человека», о котором они так много слышали от жителей побережья. Маклая угощали вареными овощами. Очень любезно папуасы рассказали гостю о всех обычаях, связанных с людоедством. Простившись с приветливыми хлебосолами, Маклай отправился обратно. Каин и Ян тащили большой лук, разные стрелы,

копья: ими ученый пополнял коллекции новогвинейского оружия. На пути попадались цветущие плантации туземцев. Маклай задумчиво растирал на ладони черную тучную землю. Когда он взошел на берег Скобелева, грянул крупный тропический ливень. Дождь шумел до полуночи. Адмирал Копытов принял Маклая в своей каюте: он не мог нахвалиться прекрасной якорной стоянкой близ острова Сегу.

...Маклай проснулся до восхода солнца, вышел на мостик и развернул походную тетрадь. Утренний ветер шелестел бумагой, старался согнуть плотные листы. Маклай зарисовывал архипелаг Довольных Людей, вершины гор Мана-Мана-Боро. Кто знает, приедет ли он еще раз сюда!

Через день «Скобелев» поднял якорь и, оставляя за собой высокую волну, пошел проливом Изумруда, удаляясь от берегов Новой Гвинеи. Долго смотрел Маклай на зеленые берега...

В Гонконге Маклай узнал, что работоторговцы не оставляли Новой Гвинеи в покое. В марте 1883 года бригантина «Фанни» отправилась туда «вербовать» рабочую силу для промыслов и плантаций Квинсленда. Маклай чувствовал, что не может молчать. Вместе со знакомым исследователем Южной Новой Гвинеи, миссионером Чалмерсом, он написал гневное письмо английскому министру колоний лорду Дерби:

«...Мы уверены, что ни один туземец добровольно не покинет своего жилища на долгий период, требуемый плантаторами и другими нанимателями, чтобы работать на них».

Маклай возвратился в Сидней в пору хрустальных летних ливней. Вечный скиталец стоял у пепелища. Коттедж в парке Выставки, где он жил в свой последний приезд, сгорел от неизвестных причин. В пламени погибла часть многолетних работ Маклая и разные экспонаты, в том числе препарированный мозг



меланезийцев. Погорелец перебрался в домик при Морской станции на берегу Ватсон-Бей. Там он жил одиноко, в большой нужде. Частым гостем Маклая был Отто Финш, уже прибывший в Австралию. Немец знал все о работах русского ученого: что он пишет, какие коллекции собирает, что думает о самых насущных проблемах изучения Океании и ее народов. «Тамо-рус» был доверчив как ребенок. А Отто Финш уже успел собрать много денег для учреждения будущей колонии «Компании Новой Гвиней». Немецкий черный орел уже взлетел над Африкой. Очередь была за Океанией.

В феврале 1884 года русский путешественник и ученый Николай Миклухо-Маклай женился на молодой вдове Маргарите Робертсон, дочери сэра Робертсона, бывшего премьер-министра Нового Южного Уэльса. Семья Робертсон жила в окрестностях Ватсон-Бея, в имении «Клобелли». В письмах к брату Маклай жаловался: он такой неудачник, что ему даже брак насилу удался. Кто-то внушил Робертсону, что на женитьбу надо получить разрешение русского императора, поскольку Маклай — российский гражданин. Больших трудов стоило уговорить австралийского политического деятеля обойтись без милостей царя.

Зловещее немецкое знамя поднималось в тот год над Африкой и Океанией. Уже в апреле Бисмарк заявил о германском «протекторате» над бухтой Людерица в Юго-Западной Африке. Немецкие авантюристы свирепствовали в Восточной Африке. Гамбургские купцы торопили правительство с захватом Того и Камеруна и с нетерпением рассматривали карты Невольничьего берега — страны масличной пальмы и каучука. На острове Фиджи звучала немецкая речь: там были основаны прусские колонии. За один лишь 1884 год немцами были основаны фактории и плантации на островах Милан, Наморек, Мажуро, Архно, Эбон, Ликнэб.

Сорок немецких кораблей побывало в Джалуите в течение этого года.

Маклай напряженно следил за событиями. Он еще верил в благородство сильных мира сего. Он писал князю Бисмарку о том, чтобы «вообще все белые взяли на себя защиту прав темнокожих туземцев островов Тихого океана от бессовестной, несправедливой и зверской эксплуатации (похищение людей, рабство и т. п.)». Как бы в ответ на это осенью 1884 года Отто Финш поднял германский флаг над Берегом Маклая...

В одном из своих сочинений Финш сознался, что при захвате Новой Гвинеи он выдал себя за «брата Маклая». Недаром он так часто старался видаться с русским ученым. Ему был нужен «знак Маклая», чтобы с его помощью овладеть доверием папуасов. При всем своей величии Маклай часто был простодушен. Он никогда не лгал, ничего не скрывал, особенно когда дело касалось любимой науки. Мы не знаем в точности, что было «знаком Маклая» — примета, условный предмет или своеобразный пароль. Но «знак» существовал, и, руководствуясь им, папуасы легко могли отличить белых друзей от недругов.

Папуасы спрашивали «брата Маклая», когда «Таморус» вернется. Они с гордостью показывали незваным гостям подарки Маклая, называя их по-русски: «топор Маклая», «нож Маклая». Они знали русские слова: «арбуз», «тыква», «хлеб»... Как, вероятно, хохотали над ними немецкие лейтенанты!..

Нет больше Берега Маклая! На немецких картах появляются новые названия: Земля императора Вильгельма, архипелаг Бисмарка, Новый Мекленбург, Новая Померания, Гавань Финша. Немецкий флаг повис над Соломоновыми островами и Маршалским архипелагом. Горели туземные деревни. В красном пламени и густом дыму витал немецкий черный орел с окровавленным клювом.

## МЕЧТА О ЛАЗУРНОЙ СТРАНЕ

Снова Маклай ехал в холодный Петербург. Немецкие газеты следили за каждым его шагом. Ползли гнусные сплетни: Миклухо-Маклай нашел в Новой Гвинее золото, но скрыл это, чтобы завладеть им без лишних свидетелей; Миклухо-Маклай хочет объявить протекторат России над островами Тихого океана... Сплетню подхватили некоторые русские газеты. Реакционный орган «Новое время» открыл целую кампанию против ученого. Газетный писака с темным уголовным прошлым, прикрывшись псевдонимом Житель, обвинял Маклая в... измене России. Он писал, что «папуасский король» хочет учредить республику на островах Тихого океана. Его поддержал другой журналист, близкий к официальным кругам. Дело доходило до прямых доносов: писали, что Маклай по субботам принимает у себя, на Тележной, 18, неблагонадежных и подозрительных людей — своих будущих помощников и подданных...

...Он был измучен постоянной борьбой за кусок хлеба, за право на спокойный труд. Ему удалось вырвать свои коллекции из рук сингапурских и яванских банкиров. Но теперь его богатства были в руках начальника станции Николаевской дороги. Ирония судьбы... Ведь когда-то именно эту должность занимал отец Маклая, инженер-капитан Миклухо-Маклай.

«Что касается моих коллекций, то они продолжают мирно пребывать на товарной станции Николаевской железной дороги. Несмотря на мои хлопоты, Академия наук и на этот раз, вероятно, желает оправдать установившуюся за ней репутацию, что она существует только для немцев, и решительно отказала мне в каком-

либо помещении для моих коллекций, которые я намеревался поднести ей в дар...»

Так писал в одну из петербургских газет в 1886 году уже седой и согбенный Маклай. Он знал, что кто-то в Академии наук уже начал переговоры с Отто Финшем относительно приобретения у него этнографических коллекций из Новой Гвинеи.

Наконец после долгих хлопот и мучений открылась выставка. Ее успех можно сравнить только с тем успехом, который ровно через год имела выставка великого открывателя Центральной Азии — Николая Михайловича Пржевальского. Маклай открыл для России лазурный мир Океании, показал родине жизнь далеких племен, их искусство, промыслы, обычаи. Он вплотную подошел к истокам происхождения человеческого рода.

Но Маклай был обречен. Болезни, подвижнический образ жизни, непосильная работа подорвали его силы. Он еще мечтал, что сумеет найти отважных и честных русских людей, которым он может доверить «знак Маклая». Он думал, что эти люди смогут жить в мире с темнокожими людьми, как он жил когда-то с Туем и Саулом. Он хотел спасти тех своих черных друзей, до которых еще не дотянулась рука Отто Финша, прийти к ним на помощь.

Маклай ездил в Москву. Там его разыскал в Лоскутной гостинице антрополог Анучин. Ученик Поля Брока был поражен видом героя Тихого океана. Маклай постарел, истаял, был похож на пламя гаснущей свечи. Он зябко поводил плечами, жаловался на давнюю свою невралгию. Географическое общество медлило с изданием его трудов; обещания царя издать книги Маклая за его, государев, счет остались на бумаге. Все идет прахом... Он не имеет возможности работать. Анучин стал выговаривать Маклаю: нельзя Николаю Николаевичу так разбрасываться. Конечно, он — талант, но таланту нельзя простить того, что он раскидывает

всюду жемчужины своего дарования. Эта щедрость только вредит науке. Посудите сами — антропология, анатомия, этнография, филантропическая деятельность. Нельзя так увлекаться! Маклай машет тонкой рукой, когда знаменитый коллега покидает его комнату.

Некоторые ученые-педанты пожимают плечами, передают друг другу газетные сплетни, но никто не может отнять у Маклая его славы, трудной славы героя и подвижника. Его знает народ. Безвестный деревенский самородок Иван Киселев пишет «Тамо-русу» о желании сопутствовать ему в путешествии в Лазурную страну. Две тысячи русских людей — всех возрастов и разного общественного положения — выразили желание ехать с Маклаем на Тихий океан. Но мечта о Лазурной стране рассеялась как дым: все они не имели ни гроша за душой, а на жалкие добровольные средства надеяться было нельзя! В октябре 1886 года специальный «комитет», созданный по указке царя, отказал Маклаю во всякой поддержке. «Считать это дело окончательно конченным; Миклухо-Маклаю отказать», — начертал на докладе «комитета» Александр III.

«Тамо-рус» мужественно перенес и этот удар. Он знал, что лучшие люди мира и отчизны с ним. Всю свою жизнь он ощущал незримые нити, которые связывали его с Тургеневым, Мечниковым, Геккелем, Бэр, Реклю, Геккелем, Полем Брока... Последняя золотая нить протянулась в Ясную Поляну. Вот драгоценное письмо с высокими буквами. Оно получено в октябре 1886 года. Что значит все «комитеты» по сравнению с этим простым и великим словом!

«...Не знаю, какой вклад в науку, ту, которой вы служите, составят ваши коллекции, но наш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, — в науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, и вы сослужите большую и

хорошую службу человечеству. На вашем месте я бы описал подробно все свои похождения, отстранив все, кроме отношений с людьми... Пишите мне и не возражайте на мои нападки на научные наблюдения, — я беру эти слова назад, — а отвечайте на существенное...» — так обращался яснополянский отшельник к «лунному человеку». Лев Толстой писал эти строки больным, когда он не вставал с постели. Но он не мог не написать их. И Маклай решил принять совет Толстого и рассказать миру о своем опыте общения с первобытным человеком.

А что делалось в том, другом, страшном мире? Немецкий разбой поверг в пламя Камерун, страну Того, Занзибар. Имперский консул на островах Самоа устраивал заговоры и перевороты, сажал на престол самозванных туземных «королей». Некий доктор Аркинг печатно объявил, что его опыт прививки проказы цветному человеку вполне удался. В кайзеровской Германии взошли новые ростки науки ненависти к человеку. Появились новые творцы оскорбительных для человечества «теорий», оправдывающих захваты, колониальные войны ссылками на неравенство народов и племен. «Если со всей европейской изнеженностью будешь поставлен в необходимость подчинить себе варваров в каком-нибудь Конго или еще где-либо, тогда на практике, своими руками, поймешь, как нужно обращаться с грубыми народами, тогда поймешь, что «варварство» средств не является чем-то произвольным...» — так рассуждал в то время модный немецкий философ Фридрих Ницше.

В 1886 году Маклай снова отправился в Сидней. Он ехал туда за семьей, коллекциями, материалами. По пути он побывал в Аделаиде, описал железную дорогу Аделаида — Мельбурн, разузнал все, что касалось замечательного опыта австралийца Джемса Брауна по насаждению эвкалиптов в бесплодных пустынях. Маклай

установил, что австралийские животные быстро приспосабливаются к новой среде. Европейский кролик в Австралии научился взбираться на деревья, переплывать реки, перелезать через изгороди: чем не открытый когда-то Маклаем в Новой Гвинее «древесный» кенгуру? Вечная любознательность не покидала Маклая. Но в Сидней он приехал совершенно больным. Его хотели уложить в больницу, уговаривали поехать в санаторий в Голубых горах, но он не соглашался. Надо было спешить на родину, где его ждут большие труды.

Он разбирает свои бумаги... Шестнадцать записных книжек, шесть толстых тетрадей, планы, карты, собственные рисунки, газетные вырезки, журнальные статьи, дневники разных лет. Маклай хотел для начала подготовить два тома: первый — о Новой Гвинее, второй — о Малакке и островах Океании. А чем объединить работы по зоологии и анатомии, «Записку о Панамском канале», воспоминания о встрече с Тургеневым, антропологические статьи, записи об африканском походе и еще многое, что он написал? Надо собрать для издания на русском языке десятки статей по самым разным вопросам. Они рассеяны по страницам батавских, английских, австралийских изданий. А письма в защиту туземцев, научная переписка! Нужно нанимать людей, для того чтобы снять копии с сотен рукописей. Ему придется просмотреть все рисунки, чтобы сделать к ним подписи. Надо спешить. Другие исследователи Новой Гвинее уже выпустили записки о своих странствиях. А он, который сделал больше всех путешественников, не может издать свои книги.

С Берега Маклая приходили тяжелые вести. Правитель немецкой Новой Гвинее продолжал выселение папуасов из приморских деревень. Туземцев оттеснили в горы, в дикие леса: деревни сравнивались с землей. Об этом немцы открыто писали в своих

колониальных вестниках. Особенно немцы были ожесточены на жителей острова Били-Били. Впоследствии всех их поголовно сослали к устью реки Гогол в наказание за «мятеж». Немецкому правителю Берега Маклая было приказано уничтожить все следы пребывания великого «Тамо-руса» на берегах бухты Астролябия. Этот приказ был исполнен с примерным прилежанием.

Маклай терзался мыслью, что он невольно обманул папуасов, внушив им мысль о своем возвращении. Часто он повторял свою любимую индийскую пословицу: «Всего вернее на свете слово честного человека». Ведь Саул или Каин не могли знать, почему Маклай не вернулся к ним. И страшно было подумать, что чужие, жестокие люди могли злоупотребить «знаком Маклая»...

В Сиднее пришлось пережить еще один удар. Вся работа Морской зоологической станции, которую с таким увлечением основывал когда-то Маклай, находилась под угрозой. Какому-то коммодору очень понравилась бухта Ватсон-Бей, и он захотел устроить там корабельную стоянку. И станцию решили закрыть.

Странник Океании возвращался в Россию. Он навсегда покидал страну Черного Лебедя, гостем которой он пробыл так долго. Прощайте, прекрасный Сидней, гостеприимный хранитель музея Вильям Маклей, аллеи Ботанического сада, благоуханные сады Параматты!...

В тесной каюте корабля «Неккар» Маклай почти не мог встать с койки. Приступы невралгии длились целыми днями. Он потерял сон. Но он все еще жил мечтой о встрече с Львом Толстым. Вот он идет по чистым тульским полям, через березовые рощи, через луга, покрытые незабудками, туда — в обитель великого знатока человеческих сердец. Там он расскажет все о своих скитаниях по земному шару, о том, как он испытывал счастье под кровлей хижины, окруженной



зарослями багровых цветов, где на высоком дереве клубился аметистовый питон, где смерть не раз приближалась к нему. Он хотел рассказать Толстому о счастье жить и трудиться на пользу науки о человеке, о том, как он искал человека в диком малайском оране, в океанском людоеде, в робком и забитом негритосе Филиппин. Маклай беспокоился, получил ли Лев Толстой портрет, который был послан ему в подарок. «Тамо-рус» боялся взглянуть на себя в зеркало — так он постарел и осунулся. Большие, когда-то синие глаза были красны от бессонницы, седина покрывала виски, белые нити блестели в бороде. Невралгия сводила судорогой бледное узкое лицо, боль гнездилась где-то в глубине щеки в скулах, и боль эту нельзя было унять ничем — ни теплом, ни растираниями. Но он не сдавался. Он работал над составлением первого тома своих «Путешествий».

## РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

По прибытии в Петербург Маклай слег окончательно. Больному не разрешали работать, отняли даже карандаш и тетради. Тогда он стал диктовать свою автобиографию. Радость его была безмерна, когда он получил только что отпечатанную свою книжку «Отрывки из дневника 1879 года». Книжку эту он немедленно послал в Ясную Поляну. Пусть Лев Толстой видит, что его письмо не осталось напрасным.

Однажды, несмотря на строгий надзор, к Маклаю в руки попал случайный газетный листок. Он пробежал заголовки телеграмм и откинулся на измятые подушки. Газета сообщала, что Германия объявила об окончательном присоединении Новой Гвинеи к Германской империи. Комедия «протектората» была окончена! Лазурная страна навсегда отнята у Маклая, а его темнокожие друзья навеки отданы в когти черного орла. «Тамо-рус» потребовал перо. Никто не может теперь запретить ему писать. Он напишет всего несколько строчек. Это телеграмма германскому канцлеру, его светлости князю Отто Бисмарку, гневный крик благородного и смелого сердца:

«Туземцы Берега Маклая протестуют против присоединения их к Германии...»

Маклай сказал это за всех — за Саула, Бонема, Каина, за всех туземцев новой германской колонии. Телеграмма полетела по заиндевшим проводам в холодный и жестокий Берлин...

Вскоре после этого Маклай совершал свое последнее путешествие — по проспектам столицы в огромный дом клиники Виллие при Военно-медицинской академии. Светлая палата как бы собирала лучи зимнего солнца. Больной лежал на простой железной койке, покрытой

грубым казенным одеялом. Он сознавал свой близкий конец и беспокоился о составленном уже давно завещании. Главное свое богатство — мозг — он оставляет русской науке, ей он завещает все свои бумаги, коллекции, все написанное и напечатанное им.

Шесть недель он провел в жестоких страданиях. Лихорадка, невралгия, водянка... На нем не было живого места. Русские медики умели храбро отстаивать человеческую жизнь. Но горячее сердце Маклая билось все глуше и глуше. Сколько тяжелых видений прошло перед бессонными глазами! Палачи, торговцы рабами, узники Новой Каледонии, каторжный перстень, дробящий кости, бесстыдные скупщики жемчуга и лжеученые, похитители чужой славы...

Он так ослаб, что не мог поднять исхудалой левой руки, на которой были видны узоры татуировки. Верный своему правилу — проверять исследования на самом себе, он сделал эту татуировку, когда изучал нравы туземцев Тихого океана. Теперь синие узоры были еще отчетливее видны на бледной коже. Это был знак Океании...

Маклай умер на больничной постели в 9 часов 30 минут пополудни в субботу, 2 апреля 1888 года. Хоронили его на Волковском кладбище. На незаметной могиле великого сына русской земли поставили деревянный крест с короткой надписью. Из родных был брат Михаил Миклухо-Маклай, геолог.

Профессор Модестов сказал на свежей могиле, что отечество хоронит человека, который прославил Россию в далеких углах необъятного мира, и что этот человек был одним из самых редких людей, когда-либо появлявшихся на нашей старой земле.

*1944 год*

**Н. АСЕЕВ**  
**ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ**  
**МАЯКОВСКИЙ**

В нынешнем, 1943 году исполнилось пятьдесят лет со дня рождения Маяковского. Трудно мне его представить убеленным сединами, старящимся человеком, исполненным тем осторожным благоразумием, которое охлаждает порывы и о котором он сам сказал с таким убийственным презрением:

Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье.  
Пусть серебро годов вызванивает уймою.  
Надеюсь, верую: вовеки не придет  
ко мне позорное благоразумие.

Трудно представить себе успокоившимся этого человека, вечно находящегося в движении, во взволнованности своим собственным трудом и трудом товарищей, человека, живо откликающегося на всякое движение жизни, заинтересованного всем происходящим, принимающего участие во всем совершающемся.

Высокий, широкогрудый, большеглазый, громкоголосый, встает он передо мной во весь свой размах, как бы заполняя собою весь кругозор.

Гордый, чуть откинутый назад широченный разворот плеч, большие ширококостные руки и ноги, крепкая мускулистая шея, поддерживающая колонной тяжелую голову с крупными, резко и в то же время жестко очерченными характерными чертами, — весь он был «весомый, грубый, зримый» и вместе с тем необычайно привлекательный: взгляд долго не мог оторваться от этого необычного вида человека. Широко разлетевшиеся надбровные дуги, великолепный купол лба, широкие крылья прямого носа, упрямый изгиб губ — углами чуть

книзу, — точно вылепленный, волевой подбородок, две рано наметившиеся мужественные складки возле углов рта. Весь овал головы, какой-то удивительно пропорциональный, приятно, без приторности правильный и вместе с тем никогда и ни у кого больше не встречавшийся. И все это освещали глаза — великолепно-карие, то задумчиво-строгие, то насмешливо-добродушные, то горящие гневной энергией, широко раскрытые, никогда не щурившиеся на мир, опушенные густыми ресницами, горячие, умные, говорящие глаза.

Много осталось портретов Маяковского. Но ни один из них не может передать полностью впечатление от этих глаз, потому что выражение их менялось в зависимости от услышанного, от замеченного, вошедшего в поле их зрения. И потому так жалко, что не сохранилось снимков Маяковского в движении, в беседе, что кино так бедно и обидно мало сохранило нам его живое обличье.

И однако: на портрете ли двадцатидвухлетнего юноши в пиджаке с широкими отворотами; на карточке ли элегантного молодого человека, уже умеющего повязать галстук по-модному; в кепке, чуть сдвинутой набок, и в пальто реглан; на этих ли снимках последних лет — коротко стриженная голова с уже легшей на лбу мужественной поперечной складкой, — везде светятся эти смелые, непокорные, открытые на весь мировой простор, ясные глаза.

«Глазастый дьявол! Всего тебя в глаза вбирает!» — сказал о нем один из долго не соглашавшихся с ним слушателей, впоследствии ставший его горячим поклонником. И правда: если кто встречался с ним взглядом, тот обязательно замечал правдивость, открытость, честность и физического и душевного взгляда Маяковского.

Молодым юношей встретил я Маяковского на улицах Москвы еще до первой войны с Германией, в 1913 году. Нам, тогдашней молодежи, уже были известны его стихи, отпечатанные на стеклографе, а не типографским способом, так что мы видели самый почерк автора. Всем своим обликом и содержанием отличались эти стихи от выверенных, строгих видом и формой стихов в дорогих книгах, которые продавались тогда в магазинах. Говорилось в стихах Маяковского о совершенно простых, будничных вещах: о матери, о солнце, об уличных вывесках, обо всем видимом и окружающем нас повседневно, но говорилось так, такими словами, что все видимое и примелькавшееся глазу вновь вставало, как будто окрашенное в новые, свежие цвета, становилось значительным и заново ощутимым, близким и дорогим.

А у мамы больной  
пробегают народа шорохи  
от кровати до угла пустого.  
Мама знает —  
это мысли сумасшедшей ворохи  
вылезают из-за крыш завода Шустова.

И сразу становилась понятна эта «больная мама», у которой в комнате комод и не так-то уж заполнены мебелью пустые углы, и ясно, что квартира где-то не в центре, а против завода Шустова. Но главное — это то, что «мама знает». Мама знает все о сумасшедших мыслях своего сына стать великим поэтом революции, о его гордости и отваге, о тяжести будущих задач. Мать знает все, и не осуждает своего сына, и верит в него, и болеет за него. Вот что чувствовалось, воспринималось за этими странно расположенными строками, изданными на плохой бумаге.

То же и о земле:

Земля!

Дай исцелю твою лысеющую голову,  
лохмотья губ моих в пятнах чужих позолот.  
Дымом волос над пожарами глаз из олова  
дай обовью я впалые груди болот.

И опять-таки страстная нежность сыновней привязанности чувствовалась в этих строках, за внешней грубостью и кажущимся косноязычием скрывающих большую боль и заботу о старящейся земле и матери, с грудью впалой и лысеющей головой. Поэт говорил о сыновнем расставании. Земля! Разве он думал расставаться с ней? Да! Вот с той землей прошлого, леса которой — он знал это — поредеют, груди гор которой впадут под напором новой человеческой энергии, но которая все останется любимой и близкой человеку, ее сыну и наследнику!.. Эта страстная нежность расставания молодости со своим прошлым и была в строчках Маяковского. Было и еще многое, чего не перескажешь. Были вывески и звезды, дождь и мостовые, небо, потолки харчевен и дыры небоскребов, был многоименный обычный мир, не допускающийся в стихи других поэтов из-за его обычности, каждодневности...

В других стихах все было чинно, торжественно, недвижно. Другие стихи того времени трактовали о тонкости чувств избранных счастливых, у которых и радости и печали были особенными, никогда не повторявшимися в опыте других людей. У Маяковского же все было привычное, близкое, всеми переживаемое. Но высказано это все было какими-то необычными для тогдашней литературы словами — меткими, торопливыми, как речь на бегу, и вескими, как крупный



шрифт в книге. И все это было повернуто наново, все было не похоже на сказанное и повторенное в стихах других поэтов. В особенности нам нравилось это:

Я сразу смазал карту будня,  
плеснувши краску из стакана;  
я показал на блюде студня  
косые скулы океана.  
На чешуе жестяной рыбы  
прочел я зовы новых губ.  
А вы  
ноктюрн сыграть  
могли бы  
на флейте водосточных труб?

Сразу было непонятно — про что. Но потом, вчитываясь, начинаешь ясно видеть. Ведь студень-то похож в действительности на океанскую воду, мутно-зеленую и колеблющуюся. А «косые скулы» — опоясавшее горизонт бесконечное пространство воды и неба! Значит, он хочет сказать, что, и не видя океана, можно его представить себе тарелкой студня в дешевой харчевне! Значит, не только богатым путешественникам доступно его видение! Мир доступен для всех — было бы лишь желание его увидеть. Это было открытием.

И «смазанная карта будня» вдруг засверкала новыми красками — красками молодой фантазии. В самом деле, разве кто прислушивался к мелодиям дождя, звенящего по водосточным трубам? А ведь это самая близкая музыка для не имеющих приюта людей, которым не приходилось ходить в концертные залы того времени. И флейты водосточных труб, и струны телеграфных проводов имеют своих слушателей, бредущих под дождем по дорогам и мостовым, не знающих, где преклонить голову на ночь. Вот о них-то и говорил

Маяковский. Говорил резко, громко, без обиняков и сочувственных вздохов, потому что сам он умел слышать все то, что слышали они.

Мы стали прислушиваться к его голосу.

Стихов у него тогда еще было мало. Но уже тогда немногие его строки заронили в молодежи жажду слышать и обдумывать эти трудно дающиеся слова, которые, раз понятые, давали возможность по-новому ощущать окружающее.

Поэтому, когда я встретился с Маяковским на бульваре и, до того не видав его, сразу узнал, — я подошел к нему и начал разговаривать. Через пять минут, услышавши, что я читал и понимал его стихи, он был уже со мною как со старым знакомым. Не помню точно, как именно и о чем мы говорили, помню только, что он поразил меня тем, что разговаривал без околичностей, без обиходных условных «вежливостей». Когда я сказал, что пишу стихи, он спросил меня, про что я пишу. Тогда для меня этот вопрос был неожидан — ведь нельзя же в двух словах рассказать темы своих стихов! Да и, сказать по правде, мне неинтересны стали сразу все мои стихи. Я встретился с огромным явлением, я это чувствовал, и мне хотелось наблюдать и понять его, а не говорить о себе. А он шел рядом, такой большой, и отечески осматривал меня своими океанами-глазами. Я чувствовал, что встреча эта для меня неизгладима по своим последствиям, что я уже всей душой на его стороне, что я согласен — и рад быть согласным — с каждым его словом, хотя слова эти не были какими-нибудь пророческими или многозначительными. Говорили о стихах, о том, что кому нравится. Помнится, он сказал, что никакой художник еще не придумал такого пейзажа города, как тот, что отражается в стеклах идущего трамвая, — и притом бесплатно.

Когда я расстался с ним где-то у тогдашних Мясницких ворот, мне сейчас же захотелось его опять увидеть. Но адреса своего он мне не дал, и встретиться пришлось лишь годом позже. Узнать о его жизни тоже было не у кого. Говорили разное. Выяснил я только, что он учится в школе живописи, а по костюму его я понял, что заработки у него неважные. И только много позже я узнал, что родился он в Грузии<sup>[27]</sup>, под Кутаиси, в селении Багдади, которое теперь носит его имя, что его семья состояла из отца, служащего в казенном лесничестве, матери и двух сестер.

Отец его был замечательным по прямоте, великодушию, широкому гостеприимству человеком, память о котором до сих пор еще хранят тамошние старожилы, жители окрестных грузинских селений. Высокий ростом, Владимир Константинович Маяковский передал свои черты сыну не только по внешности. Он был веселый, открытый, справедливый человек, никому не позволял говорить с собой сверху вниз, любил шутку, правдивое слово, смелый взгляд. Это он и передал своему сыну в наследство.

Мать Маяковского, до сих пор здравствующая, Александра Алексеевна<sup>[28]</sup>, очень скромная, тихая, но, несмотря на внешнюю мягкость характера, непреклонная в своих убеждениях и взглядах, женщина, самоотверженная и стойкая в несчастьях. И это тоже перешло к сыну и помогло сформировать его характер непреклонного борца и стойкой убежденности человека. Сестры, Людмила Владимировна и Ольга Владимировна, были сверстницами и участницами его детства не только по семейной близости, но и по общности дум, стремлений, интересов.

Маленький Маяковский рос среди привольной природы Грузии, слушал шум ее рек, видел хрусталь ее небесной синевы.

Когда умер отец Маяковского, тот был еще мальчиком. Но мальчиком-затевалой, вожакom, бравшим руководство иногда и над более взрослыми ребятами. Близкие его рассказывали мне, что Маяковский, бывало, обязательно настоит в своем в игре ли, в споре ли. И это не было простым упрямством. Нет, он умел уже тогда доказать, убедить, увлечь. Это в нем осталось навсегда.

В семье было шумно, людно. Люди Маяковские были общительные, не запирались на замок; постоянно бывала молодежь, велись споры, отстаивались мнения. Молодежь была по большей части революционная. Маяковский с детства прислушивался к спорам и толкам о революции. Потом его — по летам еще мальчика, по росту уже обогнавшего сверстников — приняли в социал-демократический кружок.

Революция 1905 года в Грузии проходила бурно, и Маяковский всей молодой своей душой был с ней. Он учился тогда в гимназии в Кутаиси в четвертом классе.

Вот как вспоминает он об этом сам:

«Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника, Исидор, от радости босой вскочил на плиту — убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю все живописно: анархисты в черном, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты. Речи, газеты. Из всего — незнакомые понятия и слова. Требую объяснений. В окнах белые книжицы: «Буревестник». Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Первая: «Долой социал-демократов!» Вторая: «Экономические беседы». На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир».

С тех пор он не изменил революции.

Вскоре после смерти отца семья переехала в Москву. И там у Маяковских продолжала собираться революционная молодежь. Подполье, участие в

пропагандистской деятельности, первый и второй аресты — и вот Маяковский уже юноша со сложившимся мировоззрением.

Во время одиннадцатимесячного заключения в Бутырской тюрьме — начало литературной деятельности. Пробовал писать про революцию — оказалось, не хватает умения. Подражать уже существующему не захотел.

После освобождения из тюрьмы взялся за живопись. В результате — знакомство с товарищами по искусству, думы о новом искусстве, споры, замыслы. Но во всем этом неизменная мысль о том, что и то модное искусство, каким восхищались тогда, и быт устарели, отжили, изнашивали себя. Революция ведь и должна была сломать все это! Нужно готовиться к новому, еще не виданному на земле.

Под прикрытием «странности» и «непонятности» Маяковский заговорил о «жирных в их домах-скорлупах», о том, что «даже переулки засучили рукава для драки», о том, что «если бы вы так голодали, — дали востока и запада вы бы глодали, как гложут кость небосвода заводов копченые рожи». И странно и жутко — весело звучали тогда в тишине реакционного застоя эти строки, привлекая к себе внимание своей грубостью и непохожестью ни на какие другие.

Стойте!  
На улицах,  
где лица —  
как бремя,  
у всех одни и те ж,  
вчера родила старуха — время  
огромный  
криворотый мятеж!

Вот эти мятежные, взволнованные, смелые слова и были дороги тогдашней молодежи своей особой силой и резкостью на фоне академического, зализанного, гладенького искусства.

Настал 1914 год. Началась империалистическая война. Маяковский уже был вождем молодого тогдашнего искусства. Ждали, что скажет о войне новый поэт. И вот раздались гневные непреклонные строки, взбудоражившие сознание не только любителей стихов:

Вам, проживающим за оргией оргию,  
имеющим ванную и теплый клозет!  
Как вам не стыдно о представленных к Георгию  
вычитывать из столбцов газет?!  
Знаете ли вы, бездарные, многие,  
думающие, нажраться лучше как,  
— может быть, сейчас бомбою ноги  
выдрало у Петрова поручика?..

Это било по лицу, хлестало по совести, выводило на свет всех, кто устроился удобно, сделав войну источником своей наживы, чинов, орденов, полученных за угождение веред начальством, состояний, нажитых на поставках в армию.

Смелость Маяковского становилась совсем «неудобной». Этот рот надо было как-то зажать. И вот — это звучит как глупая, бездарная шутка, но это не было шуткой, это было всерьез — поэта попытались объявить сумасшедшим. Был созван негласный консилиум врачей-психиатров в доме, куда под каким-то предлогом зазвали Маяковского. Но врачи не могли в нем найти никакой «ненормальности». Как разъярился Маяковский, узнав об истинной причине приглашения! Он ответил гневноиздевательским стихотворением, помещенным в «Сатириконе».

Так определились отношения Маяковского со старым обществом.

Вскоре Маяковским была написана его крупнейшая вещь того времени — «Война и мир», которая привлекла внимание Максима Горького и была напечатана в издаваемом им журнале «Летопись». Но легенда о непонятности, грубости, непоэтичности Маяковского прочно утвердилась за ним, пущенная напуганными его резкостью и правдивостью охранителями старого.

И только Октябрьская революция разрубила путы сплетен и клеветы, связывавшие его молодость. Он сразу, без раздумья и колебания, пошел на работу с большевиками. 17 ноября 1917 года на митинге Союза деятелей искусств раздался его голос: «Нужно приветствовать новую власть и войти с ней в контакт».

С той поры деятельность Маяковского — у всех на глазах. Что сделано им за годы Советской власти, видимо и знаемо всеми. Всего этого не охватишь в небольшом очерке. На это нужны целые исследования.

Но вот что нужно и важно помнить: Маяковский с малых лет был революционером, новатором. Этому своему назначению он не изменил никогда. «Все сто томов его партийных книжек» действительно пронизаны единым стремлением отдать себя всего на службу революции. Многогранно и безотказно применял он свой гений к самым, казалось бы, мелким вопросам повседневья, считая ничто не мелким, если дело касалось нового строительства страны. Лирика и эпос, трагическое и сатирическое, шутка и гнев — все сверкало и переливалось в его строках, объединенных одной целью, одной направленностью — служить Родине, служить революции.

В годы гражданской войны и в первое послевоенное время Маяковский работал в созданных тогда агитационных плакатных «Окнах РОСТА». Он писал лозунги, стихотворные подписи, грозные и острые, как

боевое оружие, метко поражавшие врага, моментально расходившиеся по стране; их читали и заучивали в красноармейских массах на фронтах. Он сам рисовал плакаты. Ни одно крупное событие в жизни страны, в боевых делах на фронте не проходило мимо «Окон РОСТА» — и отклик следовал буквально через несколько часов после получения известия о событии.

Часто Маяковский оставался ночевать в редакции «Окон».

Особый стиль и характер этих «Окон», сделавший их агитационно-сатирической, плакатно-боевой летописью тех лет, создан Маяковским.

И сейчас, во время Великой Отечественной войны, глядя на повсеместно по всей стране расходящиеся «Окна ТАСС», как забыть нам, что зачинателем этого дела и творцом лучших его традиций был Маяковский?

Для него же из ежедневной работы в «Окнах РОСТА» начали вырастать и закрепляться постоянные привычки общения с большим читателем, с беспредельными просторами раскинувшейся страны.

Естественным было вслед за этим непосредственное знакомство с аудиторией, аудиторией не специально подготовленных к литературным спорам знатоков, а с непредубежденным слушателем заводской, красноармейской, комсомольской массы. И здесь народ узнавал в нем своего трибуна. Везде Маяковский пользовался огромным сочувственным вниманием.

Ни один поэт не изъездил столько земли и не выступал столько, сколько Маяковский.

Он ездил по нашей стране, он выступал в городах многих стран мира. Армавир, Баку, Бердичев, Варшава, Владикавказ, Вера-Круц, Вятка, Воронеж, Гавана, Гавр, Гагра, Детройт, Днепропетровск, Запорожье, Казань, Калуга, Кенигсберг, Керчь, Киев, Кишинев, Кливленд, Луганск, Минск, Мехико-Сити, Новочеркасск, Новороссийск, Нью-Йорк, Полтава, Пермь, Питсбург,



Прага — вот далеко не полный список городов, где он побывал и выступал.

И это не было простое чтение стихов. Каждое его выступление превращалось в своеобразный митинг. Куда бы за границей ни приезжал Маяковский, с ним прибывал советский воздух.

И всюду, где выступал Маяковский, с ним приходило волнение и порывистость, нарушались благодущие и застои.

Из этих поездок Маяковским был вынесен огромный опыт, в них закалялось его оружие — оружие стиха, наполненного живой мыслью, жарким убеждением в правоте высказываемого.

Лучший поэт нашей, советской эпохи был страстным патриотом своей Родины. Он любил могучие ее просторы, ее землю, ее воздух, ее великий народ. С какой гордостью предъявлял он всюду на планете, где побывал, свою «пурпурную книжицу», свой советский паспорт: «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»

Но он знал и постоянно помнил, что все завоеванное в нашей стране и великую стройку новой жизни еще придется отстаивать в кровавых битвах с врагом.

Он видел, знал и повторял, что отпущенное нам судьбой время мирного труда — это, в сущности, перемирие. Он чуял «гарьку», которую доносило из-за рубежа. И до конца жизни — особенно упорно в последние свои годы — он не переставал бороться с теми, кто думал, что можно «завернуть» боевое знамя и отдохнуть у «ясности вод», он призывал к повседневной мобилизационной готовности: «Где же вы небосвод узрели мирный?»

Он предостерегал против «угрозы вражьей»: «Нет фронтов, но опасность есть!»

Он кидал лозунги: «Рабочий, крестьянин, будь готов! Будь горд, будь рад стать красноармейцам в ряд», «Нас

тянут, товарищ, к войне от сохи. Держи, товарищ, порох сухим!»

И он назвал имя того зверя, который уже изготовлялся толкнуть мир в пропасть чудовищной войны, — фашизм.

Во всех уголках земного шара  
рабочий лозунг будь таков:  
Разговаривай с фашистами языком пожаров,  
словами пуль, остротами штыков.

Родина и революция — понятия, которые у него были неразрывно связаны.

Такие величественные произведения о нашем времени и его делах, как «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», вошли во все хрестоматии.

Такие глубоко народные произведения, как «150 000 000» и «Мистерия-Буфф», еще не нашли полной и следуемой им оценки. А я помню, как слушали рабочие мастерских временного ремонта во Владивостоке «Мистерию-Буфф» в моем, не авторском чтении. Слушали затаив дыхание, с восторгом и надеждой, слушали, отрезанные тогда от Советской России, чуя в этом произведении великую связь народа, его чувств и стремлений, соединенных в одну неодолимую силу.

«150 000 000» также еще не доведены до слушателей, как бы им должно дойти. Чтецы предпочитают более легкие и знакомые вещи.

Есть многие замечательные произведения, которые в толстых томах полного собрания сочинений тонут в редакционных примечаниях. Поэмы «Летающий пролетарий», «Пятый интернационал», «Рабочим Курска» считаются неоконченными или неудачными. Но насколько же они законченнее и удачнее многих, чем иногда, на недолгий срок, восхищались критики! И

театральные произведения Маяковского тоже, надо сказать, еще не имели настоящего своего воплощения, не имели настоящего мнения о них народа.

«Тысячи тонн словесной руды» переплавлены Маяковским в жгучее слово. Лозунги-рифмы, плакаты и агитки, устные выступления, из которых каждое само по себе уже литературное произведение, остались за ним точно необозримое вспаханное поле. Работа его в кино, его сценарии еще ждут своих режиссеров и постановщиков.

Нет, о Маяковском никак нельзя сказать, что он уже весь досконально известен, до конца прочтен, «исчерпан»!

Я к вам приду в коммунистическое далеко, —

заявляет он сам в своем последнем — «Во весь ГОЛОС».

Мой стих трудом громаду лет прорвет  
и явится весомо, грубо, зримо...

Страстно всю свою жизнь он вглядывался в грядущий день.

Со многим, что им создано, еще придется встретиться будущему.

Сейчас, во время Великой Отечественной войны, зазвучали полным звучанием многие давно написанные его строки. Разве они не кажутся нам написанными вчера, а не двадцать лет тому назад?

Маяковский был выразителем лучших чаяний предреволюционной молодежи. А когда рухнул старый мир, сметенный бурей Октября, ни один современный поэт не смог сравниться с Маяковским по влиянию на массы.

В душах и сердцах сотен тысяч людей живет и продолжает совершать свою огромную работу слово Маяковского — они и понесут его в будущее.

Вот одно из многих десятков писем, полученных мною, писем умных и душевных, которые говорят, как происходило рождение читателя Маяковского.

«Мне сейчас 31 год. Самое яркое, самое важное, что было в моей жизни, это — Маяковский. Я вам пишу, потому что теперь, собирая всякие материалы, относившиеся к его творчеству, к его жизни, может быть, вы и не знаете, какое колоссальное влияние он имел в свое время на молодежь.

В нашей жизни (так как я была не одна) Маяковский появился в начале двадцатых годов, когда мы учились в семилетке... В ней еще очень мало было нового, преподавали бывшие учителя гимназии. В семье, в быту медленно происходила ломка прежних, дореволюционных традиций, понятий. А здесь еще нэп. Все было в головах девочек смутно, непонятно. И вот на этом сером фоне — два томика стихов «12 лет работы», случайно попавшие нам в руки с портретом Владимира Владимировича... А потом — и он сам на трибуне, как символ новой жизни, нового человека.

Произошла настоящая революция в начинавшем кое-как складываться сознании. Сперва дерзкое отрицание всего, что было до сих пор «святыней». Затем утверждение нового, настоящего и будущего. Маяковский стал для нас знаменем, жизненным путеводителем. Он первый дал нам понятие о советской этике, о партийности. Он учил нас тому, чему должна была учить советская школа, в то время еще не умевшая учить, тому, чему должны были учить старшие, в то время имевшие еще порой неустойчивые или просто неверные взгляды на вещи. Мы стали читать Ленина, Маркса, новую литературу. Никогда не верьте, что Маяковский непонятен. Нам было по 14-15—16 лет, у нас

не было даже среднего образования, но мы не могли не понять его. То, что не доходило через голову, шло через сердце.

Мы не были знакомы с Владимиром Владимировичем: он нас не знал. Мы знали его хорошо, знали и слышали много раз. Большею частью ходили на его вечера зайцами (не было денег). Как-то раз в аудитории Политехнического музея сидели на сцене под роялем во время выступления Маяковского. Публики было много, в зрительном зале не умещалась.

Смерть Маяковского мне была невыносимо тяжела, как смерть бесконечно близкого человека. Время идет, а я до сих пор не могу (и не хочу!) с ней освоиться. Чрезвычайно близко мне ощущение его друзей, его товарищей, что на шумных улицах Москвы им физически не хватает большой, жизнеутверждающей фигуры Маяковского».

Так воздействовал Маяковский на создание молодого советского племени, так завоевывал он себе своего читателя. Это было трудной повседневной, но благодарной работой. И понятными и еще более правдивыми (если можно быть еще правдивее) становятся его строки в обращении к В. И. Ленину, одном из самых задушевнейших его стихотворений:

Товарищ Ленин, я вам докладываю  
не по службе, а по душе.  
Товарищ Ленин, работа адская  
будет сделана и делается уже!

То, что проникло в массы из сделанного Маяковским, навсегда врезалось в их сознание, навсегда завоевало ему признание и приверженность к нему. Большой, яркий, бесстрашный, не похожий ни на кого, живет он в памяти своих незнаемых друзей. Конечно, растут новые

поколения, которым вновь и вновь нужно рассказывать о Маяковском. Конечно, вновь и вновь заносит его память пылью, поднятой временем. Но пыль уляжется, а его «Во весь голос» не смолкнет.

Сколько говорили (иногда и говорят) о якобы недоступности и непонятности Маяковского широким массам читателей. Но эти читательские массы доказали свою любовь и внимание к Маяковскому, пройдя стопятидесятитысячной прощальной процессией мимо его гроба, заполнив до отказа улицы, по которым двигалось погребальное шествие. Такой глубокой взволнованности смертью писателя Москва на переживала со дней похорон Льва Толстого.

Оно, это читательское сочувствие, воссоздает и упрочивает облик писателя на века. Маяковский был узан народом как органическая часть своего революционного естества. Народ узнал своего поэта. Никакие многотысячные тиражи изданий не в состоянии удовлетворить спроса на них читателя. Почему сделал это народ?

Потому что он разобрался и без присяжной критики (а иногда и вопреки ей) в том, что сделал Маяковский. Народ понял, как трудно было его поэту наступать на горло «собственной песне» ради песни общественной, как трудно было ему «смирять себя самого», свою «звонкую силу поэта», впрягая ее в общий воз, чтобы «выволакивать республику из грязи»! Народ воспринял и оценил весь размах этой «звонкой силы», добровольно взвалившей себе на плечи долг своего времени, ответственность за него.

Долг этот:

...реветь медногорлой сиреной  
в тумане мещанья, у бурь в кипеньи.  
Поэт всегда должник вселенной,

платящий на горе проценты и пени.

Народ почувствовал и услышал в поэзии Маяковского большой разговор с собой и со временем. Молодой яростный спор о роли и месте искусства в жизни разросся в стремительную защиту всего нового, рожденного революцией, в нападение на все останавливающее рост этого нового, в отстаивание прав самой жизни.

Вся поэзия Маяковского — это поэзия бойца революции, борца за нашу Родину.

Так вырастали и его поэмы. Закаленным пером бойца написана вдохновенная жизнью и делом Владимира Ильича Ленина поэма о нем. С каждым годом жизни поэта росло в нем чувство родной земли, близости к своему времени и своему народу. И проверенной правдой звучали строки второй по силе поэмы революции — «Хорошо!». «Я земной шар чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо. А в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше!»

Эту «боевую, кипучую, бучу» любил Маяковский, как свою родную стихию, не со стороны, а как участник и создатель ее кипения.

И «буча» отвечала ему ответным кипением. Строки переплескивались с ее думами и заботами: они были одной крови, одной масти. Потому и ненавидели так остро и неумолимо эти строки все, кому они были приговором или казались таковым, все напуганные и самой «бучей», и строками, ее прославляющими.

Устаешь отбиваться и огрызаться.  
Многие без вас отбились от рук.  
Очень много разных мерзавцев  
ходят по нашей земле и вокруг.

Так обращается он к портрету Ленина с жалобой на мешавших ему и его делу врагов. Он еще не знал, как именно ведется против него кампания этих «мерзавцев». Ему не было известно, что на счету у вредителей и диверсантов он стоит вторым номером — после Горького. Снять его со счетов русской культуры было для них очень существенным. Но, не зная, а чувствуя этот невидимый темный хоровод, покушавшийся на дело всего советского строя, Маяковский очень беспокоился. Он срывал с себя липкую паутину клеветы, глумления, издевательств, малодушия, которыми оплетали его враги. Он думал, что это общие остатки прошлого, от которых нужно очищать республику. А то были специально против него направленные подрывные меры раздражения, расстройства его творческого начала, отравления его энергии постоянным ядом недоброжелательства, презрительного глумления, саботажа по отношению ко всей его деятельности.

А в это последнее время своей жизни он ставил перед собой огромные задачи. Свою работу, работу за десятерых, он рассматривал как свой долг.

Я помню, как он мне говорил о совершенно новом стихе, о совершенно иной форме обращения к читателю, задуманной им в период написания «рассказов» о «вселении в новую квартиру» и о «приобретении одного чемодана», — стихом, по-новому использующим разговорную речь, обиходный язык рабочего! К этому же относятся его строки о том, что «теперь для меня равнодушная честь, — это чудные рифмы рожу я. Мне как бы только почище уесть, уесть покрупнее буржуя». Вот это стремление обратиться к какой-то новой простоте стиха, но не опрошенности его владело им в последние годы его работы. Он его, этот стих, еще только разрабатывал в упомянутых произведениях. Окончательный результат этих замыслов он берег для



поэмы о пятилетке. Мы не увидели этой поэмы. В минуту физической ослабленности великий поэт потерял равновесие. Ему показалось, что выхода из круга неприязни и нелюбви к нему нет. Если бы он видел, сколько любви и дружеского участия его окружает, если бы он знал, как раздавит время его врагов!

14 апреле 1930 года, в 10 часов 15 минут, в своем рабочем кабинете на Лубянском проезде выстрелом из револьвера он покончил с собой.

В оставленном письме, адресованном «всем», он писал:

«В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил...»

Этим заканчивается его временная биография и начинается другая, более полная и величественная, — в веках.

## КОМУ РОДНЯ МАЯКОВСКИЙ

Маяковский начал свою деятельность еще до Октябрьской революции. Его вступление в литературу было ознаменовано возмущением и отрицанием со стороны того общества, в недрах которого он был рожден, но строй которого был ему ненавистен в своих застывших, переставших расти и развиваться формах.

К тому времени умер Лев Толстой. Им был проложен новый путь в искусстве — путь внутреннего показа вещей и явлений, вне зависимости от установленных на них общепринятых взглядов и мерок. Выворотив подкладку общественного строя, обнаружив без пощады ту правду, которая была спрятана за пышной и лицемерной внешностью его, Лев Толстой тем самым подготовил в литературе поколение людей, увидевших трезвыми глазами всю гниль и неправду правящих классов, всю несправедливость взаимоотношений трудящейся массы населения и правящей, привилегированной его верхушки.

Еще никому из исследователей литературы не приходило на мысль проследить эту связь на первый взгляд так далеко отстоящих явлений, какими были Толстой и Маяковский.

А между тем связь эта явна и непреложна, если подойти к этим двум людям без предубеждения. С силой, небывалой до него, Лев Толстой обнажал в своих произведениях ложь и фальшь, заплесневелость, ханжество и несправедливость в окружающем его обществе. Был ли это суд в «Воскресении», семейный быт в высших слоях общества, отображенный в «Анне Карениной», ореол славы завоевателя и придворный быт, разоблаченный в «Войне и мире», — всюду великий писатель, взрыхляя сознание русского человека,

обращал его разум к одной главной мысли: вот этого не должно быть. Это было требование разрыва с общественной неправдой, и последний шаг в жизни Толстого был, как известно, попыткой физического ухода от всего прошлого, от всего, что его окружало всю жизнь.

Конец жизни Толстого был началом времени Маяковского.

Нельзя предположить без натяжки, что методы художественного воздействия, политическое мировоззрение Маяковского складывалось совсем под другими — революционными — влияниями.

Но где, как не у величайшего художника своего времени, мог он воспринять правдивость и прямоту выражения, точность гневного обращения, адресованного к определенным явлениям жизни? А главное — это непреодолимое стремление повернуть предметы и явления той неожиданной стороной, которая обществом считалась неудобной, скрываемой от художественного освещения или в видах неэстетичности показываемого, или из-за того, что показ грозил бы подорвать самые «основы» общества.

Стоит вспомнить хотя бы то же самое «Воскресение», или «Смерть Ивана Ильича», или «Живой труп», или сцены петербургских салонов в «Войне и мире», разоблачающие пружины общественного механизма и всей деятельности государственных и частных людей, чтобы понять, почему так жадно воспринимались сотнями тысяч читателей прямота и резкая правда в описании и крупнейших общественных явлений, и мельчайших деталей окружающего, свойственные художественному методу Льва Толстого.

Но именно эта взятая от величайшего художника нашего времени прямота и правда легла в основу художественного метода Маяковского. После короткого периода «бунтарства в искусстве» Маяковский сразу

взял бескомпромиссный, социально-обличительный тон. И страстность этого тона обожгла слух современников неслыханной смелостью заявлений. Так именно была воспринята его первая, обратившая на себя внимание широких кругов поэма «Облако в штанах». «Долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию — четыре крика четырех частей» — так характеризовал сам автор содержание своей поэмы в предисловии ко второму изданию.

Эта поэма заставила сплотиться друзей и насторожила врагов. Изуродованная цензурой, испещренная многоточиями, она переходила из рук в руки взволнованной молодежи, необычайная по своему виду, по силе и смелости гнева и горя и страсти. Многие в ней еще не было доказано, многое только намечалось к выражению. Но главное было то, что в поэзии так еще никто не говорил, так близко никто не подходил к повседневному, к его внутреннему смыслу и значению. Революция, изменение целей и смысла жизни — вот что было внутренним содержанием этой поэмы, всей взметанностью своих строк, всей нарушенностью принятых пропорций говорившей о чем-то новом, близком, готовом к рождению.

И недаром в этих «четырех криках четырех частей» поэмы отчетливо проглядывала родственность с построением образов у Льва Толстого. Один великий бунтовщик передавал свои родовые черты другому, младшему. Но черты преемственности узнавались не сразу, проступали на молодом лице в другом обличье, в другой судьбе. Не только в последней части, как того хотел бы, по замыслу, автор, но и в остальных трех то и дело выступает на сцену эта борьба с высшим авторитетом, с непреклонной силой, изобретенной людьми, якобы вершащей их судьбы, определяющей их участь. Самое первоначальное название поэмы, запрещенное цензурой, говорит об этом. «Тринадцатый

апостол» — так первоначально должна была называться поэма. И евангельский этот образ, конечно, был преемствен от Толстого.

Следующее, наиболее значительное произведение Маяковского уже зримо названо так, что оно перекликается с величайшим произведением Льва Толстого. «Война и мир» — так озаглавил Маяковский свое предреволюционное видение мира («мир» здесь взят в смысле «вселенная»). Та же страстность и непримиримость, как и в начальных его произведениях, но уже более мужественная, более определенно направленная против конкретных явлений действительности, нашедшая новые краски и образы в самой безобразности этой действительности.

Хорошо вам.

Мертвые сраму не имут —

такими словами начинается пролог к поэме. Может ли быть, чтобы Маяковский, остерегавшийся всякой стилизации, как проказы, применил такой оборот только ради торжественности начала? Нам кажется — нет. Он применил этот оборот (как и другие многочисленные библейские и евангельские образы — рядом с ультрасовременными в этой поэме) сознательно, так же, как часто применял их, в цитатах ли, в эпиграфах ли, сам Лев Толстой: ради широкой известности их в народной среде, доступности их и художественной убедительности для широкого круга читателей.

Вся страстная полемичность, вся иногда кажущаяся грубость Маяковского стоят в прямой связи с поиском той правды, которая обуревала обоих этих неукротимых людей и заставляла их прибегать к еще неслыханным средствам художественного воздействия.

Вот почему те, чье спокойствие было нарушено творчеством и Толстого и Маяковского, пытались выискивать в их творчестве человеческие слабости и уязвимые места, которые бы помогли объявить их обличительный, гневный, страстный способ разговора оригинальничаньем, сумасбродством не знающих меры эстетически дозволенного проповедников.

Вместе с Октябрьской революцией перед Маяковским открылся широкий путь свободного высказывания без цензурных рогаток. То, что он говорил, совпадало с тем, что хотел бы высказать народ в подавляющем большинстве своем. Но долго еще держалось над Маяковским привязчивое недоброжелательство людей, воспитанных в привычках и идеалах старого мира. Главным в обвинениях, предъявляемых Маяковскому, была его безродность, оторванность от традиций русской литературы, от ее великих имен. Нам кажется, что настало время разоблачить эту неправду.

Мы говорили о связи между Маяковским и Львом Толстым, о том, что великий русский писатель был в числе ближайших учителей и воспитателей великого поэта революции. Но это не значит, что и от других имен русской литературы Маяковский был оторван.

Державинская ода (которая выражала участие поэзии в жизни государственной и была признаком возмужалости поэзии, не боящейся принять и на себя ответственность за дела и события своего времени) — державинская ода была возрождена Маяковским, хотя, конечно, и не в ее первоначальном виде.

Еще его дореволюционные сатирические оды: «Гимн судьбе», «Гимн здоровью», «Гимн ученому», «Гимн обеду», «Гимн взятке» — были, по существу, не чем иным, как перевернутыми наизнанку одами. Он сообщил оде бичующую силу сатиры:

Слава вам, идущие обедать миллионы!  
И уже успевшие наесться тысячи!  
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны  
И тысячи блюдищ всяческой пищи.

Так начинается «Гимн обеду». Конечно, сейчас же это прославление обеда сменяется на злое и убийственное высмеивание носителей «желудочной идеологии», но сам принцип оды остается. И если вспомнить хотя бы такую идиллическую оду Державина, как «К моему соседу», станет ясным, что Маяковскому было знакомо величественное разворачивание свитка этого жанра, хотя применил он его совсем с иными намерениями. То же можно наблюдать и в его «Гимне судье», сравнив это произведение с одой Державина «Властителям и судьям», и не только по близости их тематической. И здесь, как в уже описанном нами случае, прямое обличительное содержание державинской оды у Маяковского смещено и заменено сатирически-издевательским.

Как бы готовясь к будущим великим событиям, Маяковский искал величественных форм выражения своих чувств. И недаром торжественные интонации «Памятника» Державина, пройдя через горнило пушкинского стиха, отразились в последних строфах «Вступления в поэму о пятилетке» у Маяковского. Стих его вобрал в себя все достижения русского стиха. Этим и объясняется такое многообразие ритмов у Маяковского, такая свобода в обращении со словом, которому он был полновластный хозяин.

Да, надо говорить и о родстве его с Пушкиным. Как в свое время Пушкин, Маяковский стал преобразователем русского стиха, сообщившим ему свободу и гибкость разговорной речи. Как и Пушкину, Маяковскому были свойственны быстрота, яркость, неожиданность

поэтического темперамента. Как при существовании Пушкина не был мыслим в художественной литературе никакой иной «властитель дум» людей, любящих и понимающих поэзию, так и во время деятельности Маяковского стало правилом, если не подражать ему в самом понимании задач поэзии, то во всяком случае, считаясь с работой Маяковского, изобретать какие-то параллельные ему пути для своей работы в поэзии. Могут возразить, что Маяковский не целиком завоевал поэтическую арену, что наряду с ним жили и действовали поэты, инакомыслящие и инакопишущие. Конечно, мы не имеем в виду полного затмения Маяковским других индивидуальностей, как не было этого и при Пушкине. Но все-таки главной, объединяющей вокруг себя фигурой поэзии оставался Маяковский, как главной объединяющей и дающей жизнь поэзии прошлого века фигурой остался Пушкин.

И при Пушкине жили и Баратынский, и Языков, и Вяземский, и после его смерти жило много других хороших и просто поэтов. Но все же они жили при Пушкине или после него: летосчисление существования новой русской поэзии ведется от него или в применении к нему. Точно так же летосчисление новейшей русской поэзии со времени советского ее существования может вестись только в применении к творчеству Маяковского.

Как известно, Пушкин неоднократно возвращался к мысли о том, что развитие русского стиха ушло от понимания его народом, изменив внутреннему соответствию строю народной речи, ее ритму, ради усвоения правил стихосложения, пришедших к нам от чужих литератур. Сам Пушкин не раз заявлял о ему уже надоевших формах ямба, им же самим привитого к дичку русского стихосложения.

Четырехстопный ямб мне надоел:  
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву



Пора бы его оставить, —

пишет Пушкин в «Домике в Коломне».

При этом нужно принять во внимание, что пушкинский четырехстопный ямб (которым написан, например, «Евгений Онегин») был сам по себе чрезвычайно емким и гибким размером, позволявшим вести речь свободно и широко по сравнению со стихом ломоносовским и даже державинским. И все-таки сам Пушкин уже искал для себя новых выразительных средств. Что же можно было сказать об этом размере через сто лет его существования? «Мальчики», которым он был «в забаву», состарились и успели умереть, а новые поколения не придумали ничего взамен ему и другим вместе с ним родившимся формам стиха. А между тем сам Пушкин указал «младому, незнакомому племени» дорогу, по которой он думал вести русский стих.

Дорога эта была в обращении к народной русской речи, к говору людских масс, к их пониманию размера, благозвучия, композиции речи, как проявилось это понимание в пословицах, поговорках, прибаутках, сказках, песнях, заговорах и заклинаниях. К этому он и стремился, прислушиваясь к говору московских просвирен, к сказкам Арины Родионовны, к песням о Стеньке Разине.

Но ему нужно было строить большое и безалаберное хозяйство русской книжной речи, засоренное галлицизмами, испытавшее на себе все влияния, начиная от греческого церковного языка, кончая книжными иностранными терминами, внедрившимися вместе с проникновением научных и технических знаний. Пушкину нужно было создать заново русский стих и русскую прозу, драму и лирику. Создать заново, дать ей самостоятельность и независимость.

Гениальный Жуковский при всей его одаренности был в значительной мере не столько самостоятельным творцом, сколько тончайшим передатчиком музыки чужих образов, чужих напевов. Лермонтов еще только начинал показывать свои силы. Языков, Дельвиг? Они были тоже зависимы от ранее развившихся литературных традиций. Пушкин как бы один отвечал за судьбы русской поэзии. Жизнь была коротка, а замыслы огромны. Проза и лирика, драматургия и полемика, эпиграммы и роман в стихах, повести и переводы! Какое неуемное сердце, какой размах постоянного кипения в труде, в горячке забот и задач!

Разве не похоже это на судьбу Маяковского? Разве не волевым напором, постоянным кипением, разгромом врагов и сбором друзей новой поэзии, новых задач, поставленных перед нею, характерен был этот неисчерпаемый источник тревоги и радости своего времени? Нет, они вовсе не были в разных столетиях — Пушкин и Маяковский. Они были вместе в одном тысячелетии: память о таких не меряется менее крупными отрезками времени!

Стихи и драматургия, кино и плакаты, лозунги и марши, эпиграммы и устные выступления в сотнях городов, на тысячах эстрад, с проповедью о новом — вот многообразие деятельности Маяковского. Изменились методы воздействия, изменилась аудитория, но неизменен облик труда поэта, живущего в самой гуще задач своего времени.

И наконец — и это главное, — надо сравнить взгляды на задачи и пути дальнейшего развития поэзии у Пушкина и Маяковского.

Пушкин часто задумывался над народным стихом. Он понимал, что после того, как книжная речь наберется сил, когда язык литературный приобретет богатство опыта, когда он пройдет первоначальную, подражательную стадию развития, — можно и должно

будет обратиться к языку народному, к его строю и складу, внесение которых в литературную речь и будет истинным завершением развития литературного языка.

«В зрелой словесности проходит время, — говорит он, — когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию».

Это чрезвычайно важное высказывание Пушкина дает ключ к остальным его мыслям о развитии нашей словесности. Его же работа над сказками, его «Песни Западных Славян» и в особенности «Песни о Стеньке Разине», начало сказки о медведице «Как весенней теплой порою», наконец, «Сказка о попе и работнике его Балде» говорят об этих поисках Пушкина. Он искал русский стих безразмерного склада, ритма, идущий от внутреннего, душевного движения, переживания, а не внешне выверенный по метроному. Этот поиск речи, «точной и нагой», как называл ее Маяковский, замедляющейся и убыстряющейся в зависимости от внутреннего движения чувства, после Пушкина был ослаблен и затерялся в подражаниях образцам.

«Странное просторечие», о котором говорил Пушкин, была не та книжная речь, что установлена была незыблемым канонem для литературного языка. Даже Некрасов, пытавшийся обновить и вывести русский стих из однообразного повторения все тех же знакомых метрических форм, сообщить ему живость движения разговорной речи, не смог преодолеть груза книжности, общепринятых образцов и оборотов, условных красот и сравнений. И в Некрасове больше выразилась сила русской тоски, сила горя народного, чем сила цветения, яркости, смелости, бесконечного оптимизма народного искусства.

Но в творчестве Льва Толстого русская литература вновь поднялась на крепкие ноги речевой народной

норы. Уже не писатель «сочувствовал народу» — народ сочувствовал писателю, видя в нем своего выразителя, и не только по тематике, а по строю мыслей, по способу их выражения.

И вот родился поэт, как будто порвавший все связи с традициями, отказавшийся от них, провозгласивший себя наново начинающим культуру поэзии. Казалось бы, что эти заявления ставят его вне всякой преемственности, делают безродным. На самом деле именно этот поэт — Маяковский — был ближе всех к выполнению заветов и Пушкина и Толстого.

Отказался он от книжности, от «условленного», избранного ограниченным кругом книжного языка. Отказался, потому что наступил зрелый период «русского искусства, требующий нового, своего, становления».

И переход Маяковского на сторону «улицы», которая была далека от книжной поэзии, был именно тем шагом, который предрек Пушкин для поэзии, шагом к «странному просторечию», казавшемуся странным или грубым, неизящным тем, кто привык к велеречивой напряженности книжного условленного языка.

Грубость Маяковского? А разве и к Пушкину не были обращены упреки в огрублении поэтического языка? Как возмущались языком «Руслана и Людмилы»! Этот язык объявляли «несоответственным» языку того слоя публики, который был «призван» судить литературные произведения.

Прочтите вновь заметки Пушкина о своих произведениях. Вы увидите, как много в них общего с полемикой Маяковского в отношении своих критиков. Перечитайте «Сказку о попе и работнике его Балде», вы почувствуете, как близко она стоит к «150 000 000» Маяковского. Окиньте непредубежденным взором всю широту, многосторонность, задорность и темпераментность деятельности обоих поэтов. Вы

узнаете родовые черты великого предка в его потомке, принявшем на свои плечи груз обязательств постоянного движения вперед, борьбы с застоем, остыванием родной литературы.

И хоть бесчувственному телу  
Равно повсюду истлевать,  
Но ближе к милому пределу  
Мне все б хотелось почивать.

*(Пушкин)*

Где б ни умер, умру поя.  
В какой трущобе ни лягу,  
знаю — достоин лежать я  
с легшими под красным флагом.

*(Маяковский)*

И это ощущение своей близости к родине, к ее самому кровному, сокровенному смыслу так же роднит, так же сближает их через столетие, легшее между ними.

Черты огромной заинтересованности в существовании своей страны, в существовании ее культуры, гордость ею, верность ей до последнего вздоха отмечают строителей ее, ее преобразователей.

Раскрытие гения Маяковского произошло вместе с раскрепощением духа народного, вместе с Великой Октябрьской революцией. В ней он увидел рост своей Родины, в ней почувствовал «зрелое время словесности», время, которое раскрыло все родники ее скрытых неисчерпаемых сил. С огромной страстностью, с безоглядной смелостью бросился поэт на помощь своей стране, поставив свое искусство на службу

революции. В этом он видел главную и неотложную задачу литературы. Ряд фундаментальных поэм создан им за это великое время. «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Про это» — произведения, по которым будут изучать нашу эпоху потомки. И наряду с этим огромная работа по газетам, по лозунгам, по обслуживанию самых разнообразных сторон новостройки народной культуры, наряду с этим попытка заново переосмыслить народное зрелище, кино, театр! Нет, такого темперамента, такой силы поэтической многогранности не видела наша литература со времен Пушкина!

В коротком очерке обо всем не расскажешь. Мы называли Державина, Пушкина, Льва Толстого. Но, разумеется, ими не исчерпывается список «литературных» предков Маяковского. Можно бы многое сказать о родовых связях Маяковского с великим творчеством Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Блока, о том литературном и личном влиянии учителя и воспитателя, которое оказал на Маяковского Горький. Маяковский — великий представитель нашей культуры не только по своим личным качествам. В нем сосредоточились все лучшие традиции, которые были свойственны наиболее крупным явлениям нашей поэзии: самостоятельность, неподвластность чужим влияниям, самобытность и право на собственный голос, завоеванное годами яркого, неукротимого труда, становящегося рубежом и мерой своей эпохи.

И Маяковский, великий русский поэт, через Державина, Пушкина, Льва Толстого принял на себя эти родовые черты негибимой, свободной, все преодолевающей на своем пути русской культуры.

*1943 год*

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

История популярнейшей горьковской серии «Жизнь замечательных людей», отметившей в 1983 году свое 50-летие, имеет немало ярких страниц. Одна из них, — подготовка и выпуск биографий прославленных соотечественников — патриотов и борцов — в грозные годы Великой Отечественной войны. Когда вся страна обратилась в единую крепость, только один вид человеческой деятельности имел право на существование: сражение. Сражались те, кто сжимал в руках оружие. Сражались и те, кто стоял у мартиролов и станков. Талантом своим сражались музыканты, художники. Наконец, сражалось слово: писателя, поэта, ученого. Война прервала обычный ход жизни, на время отставила до поры множество привычных начинаний. Естественно, что это коснулось и работы издательств.

В ту тяжелую годину издательство «Молодая гвардия» печатало лишь самую необходимую литературу для нужд фронта: плакаты, листовки, методические пособия по военному делу, наиболее яркие произведения советских писателей. За все время войны — начиная с сорок первого и до победного сорок пятого — три привычные буквы ЖЗЛ ни разу не украсили книжного переплета. Но зато плоть от плоти уже признанных народом книг стали небольшие, формата 60X90, книжечки о великих русских людях. Они — напоминание о тех, само звучание имени которых было святыней национального чувства, знаменем гордости Отечества. Пушкин и Лев Толстой, Нахимов и Ушаков, Павлов и Менделеев, Репин и Щепкин, Глинка и Чайковский и многие другие. Великие полководцы, писатели, художники, музыканты, ученые из глубин

своего времени вставали соратниками в борьбе народной за правое дело.

Эти книжки, легко умещавшиеся в кармане солдатской гимнастерки, явились весомым вкладом в духовный арсенал воина. Они были рядом с хранимым в тайниках сердца тем самым уголком Родины, от которого вели каждого бойца тропинки жизни. Они по-своему, ненавязчиво, но властно вставали в единый строй с основополагающими идеями того строя и того образа жизни, за который сражались советские воины, полноправные наследники всего лучшего, что создал в великой своей общности великий народ.

В дни шестидесятилетнего юбилея «Молодой гвардия» ветераны издательства не раз вспоминали о прямом боевом задании, которое выполняла «Молодая гвардия» в военные годы — о подготовке и выпуске биографических книг серии «Великие русские люди». Засвидетельствовано это и документально.

На творческом совещании представителей Центрального Комитета комсомола, Союза писателей СССР, редакторов издательства «Молодая гвардия» 6 сентября 1943 года перед серией были поставлены следующие задачи:

«Первая: в форме популярного очерка, доступного самому широкому молодому читателю, рассказать о выдающихся представителях русской науки, техники, искусства, литературы. Показать великую и историческую роль нашего народа в создании общечеловеческой культуры. Показать, как гений русского народа самостоятельно прокладывал пути во всех областях человеческих знаний.

Цель: воспитание советского патриотизма, национальной гордости у нашей молодежи.

Вторая: показать основные черты характера передовых людей науки и культуры как патриотов Родины, неустанно работавших над тем, чтобы поднять



наш народ к вершинам науки и культуры. Показать характерные черты в деятельности этих людей: умение отдаваться целиком любимому делу; железное упорство и настойчивость в достижении цели; решительная борьба с косностью, рутиной, консерватизмом.

Цель: вызвать у молодого читателя желание подражать, помочь формированию сильных, смелых характеров.

Третья задача: дать общие познания в той области, в которой работал герой книжки. Пробудить у молодого читателя интерес к данной отрасли знаний, творчества великого человека, то есть дать толчок, побудить читателя обратиться к другим книгам, более углубленно ставящим эти вопросы <sup>[29]</sup>».

«Великие люди русского народа» — такое название получила серия в 1943 году. Вышло 14 выпусков этой серии:

Сафонов В. Л. КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ.  
Югов А. К. ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ.  
Сидоров А. А. ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН.  
Гумилевский Л. И. НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ ЖУКОВСКИЙ.  
Дурылин С. Н. МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ ЩЕПКИН.  
Мясников А. С. АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН.  
Асеев Н. Н. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ  
МАЯКОВСКИЙ.  
Евгеньев Б. С. АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАДИЩЕВ.  
Бугославский С. А. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА.  
Осипов К. СТЕПАН ОСИПОВИЧ МАКАРОВ.  
Струминский В. Я. КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ  
УШИНСКИЙ.  
Нагорный С. Г. ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ СЕДОВ.  
Тарле Е. В. ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ НАХИМОВ.  
Зонин А. И. ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ УШАКОВ.

В следующем, 1944 году серия стала называться «Великие русские люди», и в течение 1944–1945 годов

тоже было выпущено 14 ее выпусков:

Гудзий Н. К. ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ.

Черный О. и Черная Е. ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ.

Ильин М. А. МАТВЕЙ ФЕДОРОВИЧ КАЗАКОВ.

Дурылин С. Н. МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ.

Водовозов Н. В. ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ.

Гумилевский Л. И. ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЧЕРНОВ.

Марков С.Н. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МИКЛУХО-МАКЛАЙ.

Коштоянц Х. С. ИВАН МИХАЙЛОВИЧ СЕЧЕНОВ.

Водовозов Н. В. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ.

Сергеев И. В. ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ.

Холодковский В. В. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛОБАЧЕВСКИЙ.

Головин Г. И. АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ.

Гремяцкий М. А. ИЛЬЯ ИЛЬИЧ МЕЧНИКОВ.

Ильин М. А. ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БАЖЕНОВ.

...Перелистываешь реликвии того грозного военного времени. Да, пожелтели страницы. Да, сделались иными языковые обороты писателей-биографов — традиции серии остаются, требования возрастают. Возможно, что о любом из героев памятной биографической серии сегодня можно было бы рассказать иначе. Но у славных реликвий есть право на долгую жизнь и благодарную память. Ведь едва ли найдется много даже самых страстных книголюбов, у которых сохранились хотя бы отдельные части этой военной эпопеи славы и величия народа: ведь книжки эти, случалось, горели в объятых пламенем танках, намокали на переправах через реки, оставались в карманах шинелей, покрывавших — с другими в ряд — солдатские тела...

В нынешнем сборнике дорога не только сохраненная память.

Эти выпуски и сегодня созвучны с нашим временем, они учат новые поколения Страны Советов горячей любви к социалистической Родине, учат жить судьбами своего народа, продолжать и приумножать его славные героико-патриотические и интернационалистские традиции. И в этом — незыблемое родство тех давних очерков с сегодняшними изданиями серии «Жизнь замечательных людей».

## КОММЕНТАРИИ

Очерк «Александр Сергеевич Пушкин» — шестой в числе выпусков серии «Великие люди русского народа» и 116-й по общему счету серии «Жизнь замечательных людей». Опубликованный впервые в 1943 году, он был переведен на сербский, словенский и болгарский языки.

Отечественная Пушкиниана огромна. Пожалуй, ни об одном русском писателе не написано так много, как о Пушкине. К фигуре великого поэта неоднократно обращалась и серия «Жизнь замечательных людей». В 1936 году в рамках серии была издана книга П. Е. Шеголева «Дуэль и смерть Пушкина», вып. 11-12 (83-84). Три издания выходила книга известного писателя и литературоведа Л. П. Гроссмана: в 1939, 1958 и 1960 годах. Кроме того, очерки о Пушкине были изданы в книге основателя серии М. Горького «Портреты замечательных людей» (1936) и сборнике А. Луначарского «Силуэты» (1965).

Публикуемый в настоящем сборнике очерк написан Александром Сергеевичем Мясниковым (1913-1982), писателем, критиком и литературоведом. Окончив Московский областной педагогический институт и аспирантуру при МГПИ имени В. И. Ленина, он начал свою литературную деятельность в годы Великой Отечественной войны. Работал редактором, затем главным редактором Гослитиздата (ныне — издательство «Художественная литература»). В дальнейшем заведовал отделом литературы и искусства журнала «Коммунист», возглавлял кафедру теории литературы Академии общественных наук, руководил отделом комплексных теоретических проблем Института мировой литературы имени А. М. Горького. В 1953 году издал книгу «М. Горький. Очерк творчества». Автор ряда

брошюр и статей, посвященных творчеству Белинского, Горького, Маяковского, Блока, Брюсова, Куприна, Вересаева, А. Н. Толстого, Шолохова. Очерк «Александр Сергеевич Пушкин» — единственное выступление А. С. Мясникова в серии «Жизнь замечательных людей».

\* \* \*

Очерк «Лев Николаевич Толстой», впервые опубликованный в 1944 году, был первым выпуском серии «Великие русские люди» и 125-м по общему счету книг, выходявших в серии «Жизнь замечательных людей». К художественной биографии великого писателя серия ЖЗЛ обращалась неоднократно. Изданная в 1936 году книга М. Горького «Портреты замечательных людей» включала в себя и очерк о Льве Толстом. Много лет спустя горьковский очерк был переиздан в его книге «Литературные портреты», вышедшей в рамках серии тремя изданиями: в 1963, 1967 и 1983 годах. Также двумя изданиями и в те же годы была выпущена книга «Лев Толстой», написанная писателем В. Б. Шкловским.

Автор публикуемого очерка о Льве Толстом — один из выдающихся ученых-филологов, Николай Каллининович Гудзий (1887–1965). В 1911 году он закончил Киевский университет. В 1938–1947 годах возглавлял отдел древнерусской литературы и литературы XVIII века в Институте мировой литературы имени А. М. Горького. С 1922 года и до конца жизни Н. К. Гудзий — профессор Московского университета. В 1945 году Академия наук Украинской ССР избрала его своим действительным членом. Долгое время он заведовал отделом древнеукраинской литературы Института литературы имени Т. Г. Шевченко (Киев). Научные интересы Н. К. Гудзия были необычайно широки. Его

работы посвящены «Слову о полку Игореве», «Житию протопопа Аввакума», «Слову о гибели Русской земли». Учебник и хрестоматия по древнерусской литературе Н. К. Гудзия неоднократно переиздавались и широко известны за рубежом. Крупный знаток жизни и творчества Льва Толстого, он активно участвовал в 90-томном (юбилейном) академическом издании сочинений писателя. Им написана монография «Лев Толстой», неоднократно переиздававшаяся и переведенная на ряд иностранных языков. Опытный текстолог, он подготовил научные издания «Анны Карениной», «Воскресения», «Крейцеровой сонаты» и других произведений Толстого.

Перу Н. К. Гудзия принадлежит также ряд книг и статей, посвященных творчеству Пушкина, А. Н. Островского, Лескова, Тютчева и других писателей и поэтов XIX века. В 1968 году издательство Московского университета выпустило книгу «Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзии». Очерк «Лев Николаевич Толстой» — единственное выступление автора в серии «Жизнь замечательных людей».

\* \* \*

Книга о великом русском флотоводце адмирале П. С. Нахимове была двенадцатой по счету в биографической серии издательства, начатой в 1943 году, и 123-й — по общему счету серии ЖЗЛ. Она была выпущена типовым тиражом 25 тысяч экземпляров. Накопленный к этому времени опыт показывал, что первоначально задуманный объем книжек серии 1,5–2 печатных листа явно недостаточен для сколько-нибудь обстоятельного изложения биографии выдающегося человека. Книга «Павел Степанович Нахимов» имела 136 страниц (более 5 авторских листов), и в последующем издании серии приближались, а порой и превышали такой объем. Как и

все другие выпуски серий «Великие люди русского народа» и «Великие русские люди», книга о Нахимове более не переиздавалась и, подобно им, представляет собой библиографическую редкость.

Общественная значимость биографии великого флотоводца была в 1944 году тем ощутительнее, что незадолго до ее выхода 3 марта 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден орден Нахимова для награждения офицеров Военно-Морского Флота и медаль Нахимова, которой награждались матросы и старшины. Орденом Нахимова первой степени было произведено 80 награждений, второй степени — более 460. Медаль же получили свыше 13 тысяч человек. Книга о великом адмирале помогала отчетливо соотнести его подвиг с подвигами защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Автор предлагаемого читателю очерка — академик Евгений Викторович Тарле (1875–1955). После окончания в 1901 году Киевского университета Е. В. Тарле начал преподавательскую деятельность; сперва в Петербурге, затем в Дерпте и потом снова в Петербурге. В 1922 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1927-м — академиком. Круг научных интересов Е. В. Тарле был чрезвычайно широк — история международных отношений, рабочего движения, внешней политики, история Франции. Ученый много занимался проблемами европейской истории начала и середины XIX века. Широко известны его монографии «Континентальная блокада» (1913–1916), «Жерминаль и прериаль» (1937), «Нашествие Наполеона на Россию» (1938) и др. Был удостоен Государственной премии СССР — за двухтомное исследование «Крымская война» (1941–1943) и за участие в подготовке многотомного издания «История дипломатии». В серии «Жизнь замечательных людей» перу академика Е. В. Тарле, помимо очерка

«Павел Степанович Нахимов», принадлежат книги «Наполеон» — 1936-й, вып. 4-6 (76-78) и «Талейран» — 1939-й, вып. 1(145).

\* \* \*

Книга «Константин Дмитриевич Ушинский» — десятая в числе выпусков серии «Великие люди русского народа» и 121-я по общему счету серии «Жизнь замечательных людей» — вышла в свет в конце 1943 года. Ее объем — 72 страницы, тираж 25 тысяч экземпляров. Переиздание осуществляется впервые с момента выхода.

В самой личности великого русского педагога и его творческом наследии заключался немалый патриотический заряд, в особенности на фоне попыток вражеской пропаганды принизить роль русского народа и его культуры в истории человечества. Глубоко обоснованные К. Д. Ушинским идеи народности в воспитании, его убежденность в том, что важнейшим выражением народности и основным предметом начального обучения должен быть родной язык, оказывались действенным подспорьем в идеологической борьбе.

Как сами труды К. Д. Ушинского, так и работы о нем широко издавались в советское время. Перед войной увидели свет его «Избранные сочинения» (М., 1939). В 50-е годы было издано полное собрание его трудов. В специальной литературе разбирались отдельные стороны творчества великого педагога. Известно также немалое количество его научных и научно-популярных биографий, наиболее полная и обстоятельная из которых принадлежит автору публикуемого очерка. Книга называется «Очерки жизни и педагогической деятельности К. Д. Ушинского» (М., Учпедгиз, 1960).



Автор предлагаемого вниманию читателей очерка — Василий Яковлевич Струминский (1880–1967), советский ученый в области теории и истории педагогика, профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР. Основные научные труды В. Я. Струминского связаны как раз с творчеством К. Д. Ушинского. В. Я. Струминский осуществил редактирование собрания Сочинений Ушинского, исследовал целый ряд отдельных направлений в деятельности великого педагога (книга «Основы и система дидактики К. Д. Ушинского», М., 1957 и др.). В. Я. Струминскому принадлежит заслуга раскрытия с позиций советской науки огромных достижений и заслуг Ушинского и разоблачение вульгаризаторских искажений облика педагога-патриота и глубокого мыслителя. В серии «Жизнь замечательных людей»

В. Я. Струминский выступил единственный раз как автор публикуемого в настоящем сборнике очерка.

\* \* \*

Очерк «Николай Егорович Жуковский», включенный в настоящий сборник, был впервые и единственный раз опубликован отдельной книжкой в серии «Великие люди русского народа» в 1943 году. Он был четвертой книжкой этой серии и 114-й среди книг, выпущенных в серии «Жизнь замечательных людей». Тираж составлял 25 тысяч экземпляров, объем — 36 страниц небольшого формата.

Правомерность включения в серию издававшихся в годы суровых испытаний биографической серии жизнеописания Н. Е. Жуковского — «отца русской авиации» была самоочевидна. Его трудами и трудами его учеников советская авиация превратилась в грозную для врагов Отечества силу. Академия, носящая имя Н. Е.

Жуковского, на протяжении десятилетий была главной кузницей кадров как авиационных инженеров, так и авиационных командиров. Вместе с тем перед автором стояла задача в самых общих чертах очертить масштабы научного творчества Н. Е. Жуковского — крупнейшего ученого в области математики, механики, гидравлики и многих других важнейших теоретических и прикладных научных дисциплин.

Очерк «Николай Егорович Жуковский» принадлежит перу известного советского писателя Льва Ивановича Гумилевского (1890–1976). Выступивший впервые в печати еще в 1910 году как беллетрист, автор рассказов, повестей и романов, Л. И. Гумилевский в дальнейшем обратился преимущественно к жанру научно-популярной и научно-художественной литературы. В 1936 году была издана его книга «Творцы паровых турбин», в 1943 году — «Железная дорога», в 1945-м — «Крылья Родины», впоследствии не раз переиздававшаяся. Л. И. Гумилевский был одним из создателей жанра научно-художественной биографии в нашей литературе. Много лет продолжалось его творческое содружество с серией «Жизнь замечательных людей», в рамках которой, помимо включенного в настоящий сборник очерка, были изданы его книги о советских и зарубежных ученых и изобретателях — «Рудольф Дизель» (1933 и 1935), «Густав Лаваль» (1936), «Бутлеров» (1951 и 1952), «Вернадский» (1961 и 1967), «Зинин» (1965), «Чаплыгин» (1969). В серии «Великие русские люди» в 1944 году был издан и очерк «Дмитрий Константинович Чернов». Книги Л. И. Гумилевского не раз переводились на многие иностранные языки и издавались за рубежом. Они неоднократно отмечались на конкурсах и выставках в СССР и за границей.

Книга «Климент Аркадьевич Тимирязев», изданная в 1943 году, была по счету второй в серии «Великие люди русского народа». Ее порядковый номер в ряду выпусков серии «ЖЗЛ» — 112. Небольшого формата, объемом 52 страницы, она была выпущена тиражом 25 тысяч экземпляров и не переиздавалась вплоть до включения в настоящий сборник. Книга была сочувственно встречена прессой — рецензии на нее поместили на своих страницах «Комсомольская правда», «Литературная газета» и ряд других печатных органов. На совещании в издательстве «Молодая гвардия» ее приводили как пример удачного разрешения проблем, поставленных перед биографической серией.

Способствовала успеху книги и сама фигура К. А. Тимирязева — не только крупнейшего ученого, но и убежденного, стойкого патриота своей Родины, с первого дня Советской власти отдавшего ей весь свой авторитет и пламенную пылкость своей души. Вместе с тем перед книгой стояла и еще одна задача — дать читателю представление о подлинном Тимирязеве, поскольку черты его личности невольно связывались в те годы с обликом талантливо сыгранной Н. П. Черкасовым в популярном тогда фильме «Депутат Балтики» роли профессора Полежаева, прообразом которого был К. А. Тимирязев, хотя, разумеется, о тождестве вымышленного героя со своим прообразом не приходится и говорить.

Книга серии «Великие люди русского народа» вошла неразрывной составной частью в число достаточно многообразной литературы о К. А. Тимирязеве. В ней, помимо неоднократно издававшихся собраний сочинений самого ученого, широко представлены различные сборники документов и материалов о жизни и деятельности выдающегося естествоиспытателя, а также научные и научно-популярные биографические очерки, из которых можно отметить книгу В. Л.

Комарова, Н. А. Максимова и Б. Г. Кузнецова «Климент Аркадьевич Тимирязев», выпущенную в 1945 году издательством Академии наук СССР.

Автор публикуемого в настоящем сборнике очерка — Вадим Андреевич Сафонов, один из старейших советских писателей. Он родился в 1904 году, печатается с 1923 года. Биолог по образованию, В. А. Сафонов многие свои книги посвятил популяризации биологических проблем. Лауреат Государственной премии СССР (1949). Неоднократно выступал в серии «Жизнь замечательных людей». Помимо публикуемого очерка, перу В. А. Сафонова принадлежат книги о Гумбольдте («А. Гумбольдт», 1936, и «Александр Гумбольдт. На горах — свобода», 1959) и очерк об А. К. Нартове в сборнике «Мастера крепостной России», изданном в рамках серии ЖЗЛ в 1938 году.

Текст очерка В. А. Сафонова в настоящем издании дается с незначительными сокращениями за счет тех суждений, которые явно ошибочны с точки зрения сегодняшних достижений биологической науки.

\* \* \*

Книжка «Илья Ефимович Репин», впервые опубликованная в 1943 году, была третьей по счету в серии «Великие люди русского народа» и 113-й в числе книг, выпущенных в серии «Жизнь замечательных людей». До этого серия ЖЗЛ уже обращалась к фигуре прославленного художника. В 1933 году ее 21—22-м выпуском стала книга И. Э. Грабаря «Репин». Много лет спустя серия вновь вернулась к образу замечательного живописца: двумя изданиями (в 1958 и 1960 гг.) вышла в свет биография Репина написанная С. А. Пророковой. Кроме того, художественно-биографический очерк о Репине издан в книге известного советского писателя

Корнея Чуковского «Современники. Портреты и этюды», выдержавшей в рамках серии несколько изданий (1962, 1963, 1967).

Автор публикуемого в настоящем сборнике очерка о Репине — Алексей Алексеевич Сидоров (1891–1978), крупнейший советский, искусствовед, член-корреспондент Академии наук СССР (1946), заслуженный деятель искусств РСФСР (1947). По окончании Московского университета (1913), он был оставлен на кафедре истории и теории искусств. В 1913–1914 годах командирован за границу для продолжения специального образования. Преподавал в Московском государственном университете (с 1925 г. — профессор) и других высших учебных заведениях. Работал в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институте истории искусств Академии наук СССР.

А. А. Сидорову принадлежит свыше 500 научных и популярно-критических работ. Им написаны фундаментальные труды по истории русского рисунка и искусству книги. Многочисленны его работы, посвященные жизни и творчеству старых мастеров и советских художников. В серии «Биографии художников и скульпторов» им созданы яркие портреты Леонардо да Винчи, Уильяма Хогарта, А. А. Шовкуненко, В. Н. Яковлева и многих других. Помимо публикуемого очерка «Илья Ефимович Репин», в серии «Жизнь замечательных людей» А. А. Сидоровым написана книга «Вагнер» (1934).

\* \* \*

Книжка «Михаил Семенович Щепкин» — пятая по счету в серии «Великие люди русского народа» и 115-я в числе выпусков, выходивших в серии «Жизнь замечательных людей». Изданная впервые в 1943 году и

переведенная затем на китайский язык, она не была первым обращением серии «ЖЗЛ» к фигуре знаменитого артиста. Еще в 1933 году третьим выпуском серии стала биография Щепкина, написанная известным театроведом Ю. В. Соболевым.

Автор публикуемого в настоящем сборнике очерка «Михаил Семенович Щепкин» — Сергей Николаевич Дурылин (1877–1954), писатель, литературовед и искусствовед. В 1914 году он окончил Московский археологический институт. Печататься начал в 1907 году. Выступал как поэт и прозаик. Сотрудничал в издательстве «Посредник». В 20-х годах принимал деятельное участие в работе Государственной академии художественных наук. С 1945 года работал в Институте истории искусств Академии наук СССР. Им написаны многочисленные работы по истории литературы, театра, изобразительных искусств: «Рихард Вагнер и Россия» (1913), «Как работал Лермонтов» (1934), «Русские писатели в Отечественной войне 1812 года» (1943), «Мария Николаевна Ермолова» (1953) и др. Автор ряда статей и книжек о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Островском, Достоевском, Гаршине. Помимо публикуемого очерка о Щепкине, С. Н. Дурылиным в серии «Великие русские люди» написана книжка «Михаил Юрьевич Лермонтов» (1944) и в серии «Жизнь замечательных людей» биография художника М. В. Нестерова (в 1965 и 1976 гг.).

В 12-м томе историко-биографического альманаха «Прометей», выходящего в серии «Жизнь замечательных людей», опубликованы (переизданы) воспоминания С. Н. Дурылина о Льве Толстом.

\* \* \*

Очерк «Николай Николаевич Миклухо-Маклай» — седьмой по счету в серии «Великие русские люди» и 131-й по общему счету выпусков серии «Жизнь замечательных людей». Он датирован 1944 годом. Его объем — 96 страниц стандартного для всей этой серии биографий формата, тираж типовой — 25 тысяч экземпляров. Как и все другие очерки настоящего сборника, он переиздается впервые.

Посвященный деятельности замечательного русского путешественника и ученого — географа, биолога, этнографа и антрополога, — очерк в особенности посвящен вкладу Н. Н. Миклухо-Маклая в разоблачение лживости тезиса буржуазной науки о неравноценности человеческих рас. Своевременность и актуальность именно такого поворота в освещении деятельности замечательного путешественника тем более закономерны, что бредовые идеи «расовой теории» прочно входили в идейный арсенал гитлеровского «рейха».

Очерк о Миклухо-Маклае не был первым обращением серии «ЖЗЛ» к фигуре прославленного ученого. Еще до войны, в 1938 году, ее 14-м (134-м) выпуском стала книга писателя и ученого Н. В. Водовозова «Миклухо-Маклай». И много лет спустя серия вновь вернулась к этому яркому образу: двумя изданиями (в 1961 и 1965 гг.) был выпущен научно-художественный биографический очерк «Миклухо-Маклай» писателя М. С. Колесникова. Вообще же литература о замечательном путешественнике и естествоиспытателе весьма обширна, так же как и публикации его наследия. Избранные его сочинения под названием «Путешествия» изданы в двух томах издательством Академии наук СССР в 1940–1941 годах, собрание сочинений в пяти томах в 1950–1954 годах. Выходили его отдельные произведения. В собрание сочинений включены большие и подробные статьи ведущих советских ученых,

содержащие анализ открытий Н. Н. Миклухо-Маклая в тех или иных научных дисциплинах.

Публикуемый в настоящем сборнике очерк написан Сергеем Николаевичем Марковым (1906–1979). Известный советский поэт и прозаик С. Н. Марков в своем творчестве не раз обращался к теме великих русских географических открытий и фигурам отважных путешественников и землепроходцев. Широко известны в этом плане такие его книги, как «Люди великой цели» (1944), «Юконский ворон» (1946), и в том же 1946 году «Русски на Аляске». В 1948 году вышла в свет его книга «Подвиг Семена Дежнева». Очерк о Н. Н. Миклухо-Маклае — единственное выступление С. Н. Маркова в серии «Жизнь замечательных людей».

\* \* \*

Вышедшая в 1943 году книжка «Владимир Владимирович Маяковский» была седьмой по счету в серии «Великие люди русского народа» и 117-й в числе выпусков серии «Жизнь замечательных людей». Отдельной книжки о Владимире Маяковском серия «ЖЗЛ» больше не выпускала, однако очерк о поэте был опубликован в книге известного советского писателя Корнея Чуковского «Современники. Портреты и этюды», выдержавшей в рамках серии нескольких изданий.

Автор предлагаемого очерка о Владимире Маяковском — известный советский поэт Николай Николаевич Асеев (1889–1963). Окончив Курское реальное училище, он учился затем в Москве в Коммерческом институте и одновременно на филологическом факультете университета. Печататься начал в 1911 году, в 1914 году вышли его первые поэтические сборники. С Маяковским Николай Асеев познакомился в 1913 году. Дружба и творческое



общение с поэтом оказали большое влияние на писательскую судьбу Асеева. Он входил в литературную группу «ЛЕФ», возглавляемую Маяковским, сотрудничал в журналах «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ». Вместе с Маяковским много разъезжал по стране, издавал в соавторстве с ним книжки агитационных стихов. Сам Маяковский считал Асеева своим учеником. Широко известно его высказывание: «...есть у нас Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя». Асеев — автор поэмы «Маяковский начинается», отмеченной в 1941 году Государственной премией. В 1961 году он издал сборник литературно-критических статей «Зачем и кому нужна поэзия», куда включил и свои воспоминания о Маяковском. Его поэтический сборник «Лад» (1961) был удостоен в 1962 году Ленинской премии. В 1980 году издательство «Советский писатель» выпустило в свет сборник «Воспоминания о Николае Асееве».

# ИЛЛЮСТРАЦИИ

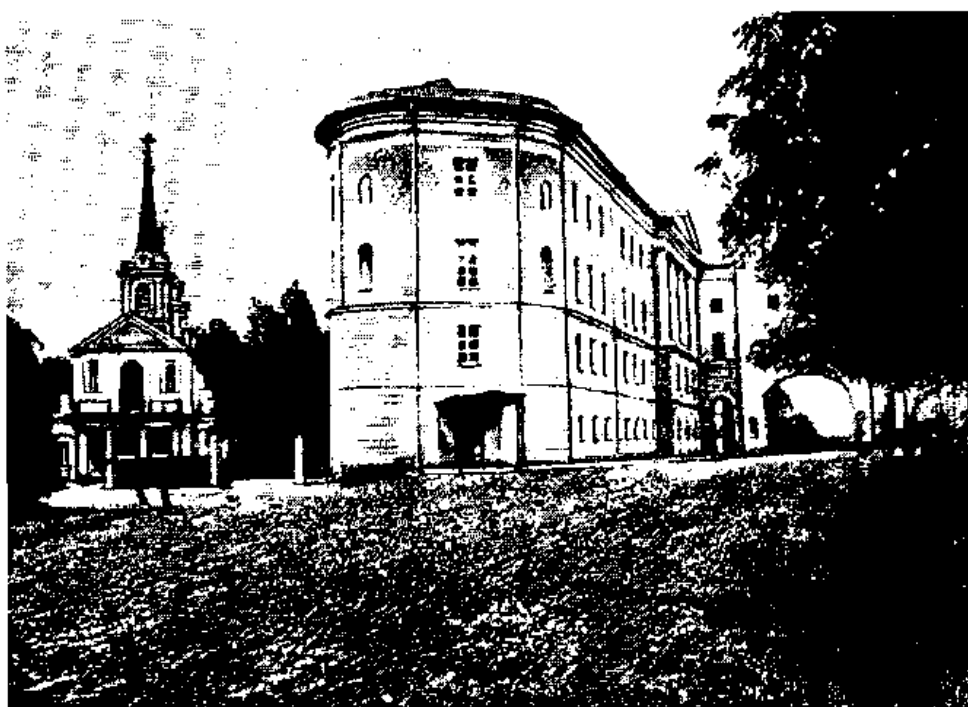


Так выглядели книжки о великих русских людях,  
выходившие в 1943—1944 гг.

Пушкин-лицеист.  
Позднейший портрет.  
Акварель.



Царскосельский лицей.  
Фотография.



Арина Родионовна,  
няня А. С. Пушкина.  
Барельеф В. Серякова.



Сельцо Михайловское.  
Литография  
П. Александрова. 1837.





А. С. Пушкин.  
Портрет  
работы  
О. Кипренского.

Письменный  
стол  
А. С. Пушкина  
в кабинете  
его последней  
квартиры  
на Мойке.



Л. Н. Толстой.  
Фотография.  
60-е годы XIX в.



# ВОЙНА И МИРЪ.

СОЧИНЕНІЕ.

Графа Л. Н. Толстого.

ТОМЪ ПЕРЫЙ.

ИЗДАНІЕ ПЕРВОЕ.

МОСКВА

ТРАКТОРАТЪ И ДРУЗЬЯ ПЕЧАТНИКИ ВОРОВЪ, ДЕНЪ ДИЛЕТТА  
1869.

Титульный лист  
романа  
«Война и мир».  
1868.

Л. Н. Толстой  
в Ясной Поляне.  
Фотография. 1907.



Л. Н. Толстой  
и А. П. Чехов.  
Гаспра.  
Фотография. 1901.



Л. Н. Толстой  
в яснополянском  
кабинете.  
Фотография. 1908.

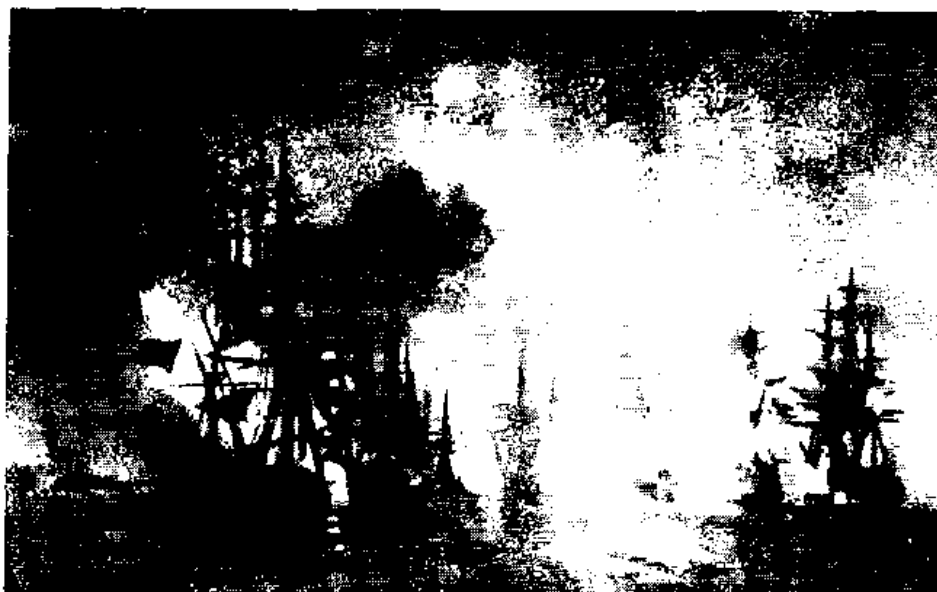








Наваринское сражение 8 октября 1827 г.



Синопское сражение 18 ноября 1853 г.



Адмирал П. С. Нахимов. Гравюра Л. Серякова.

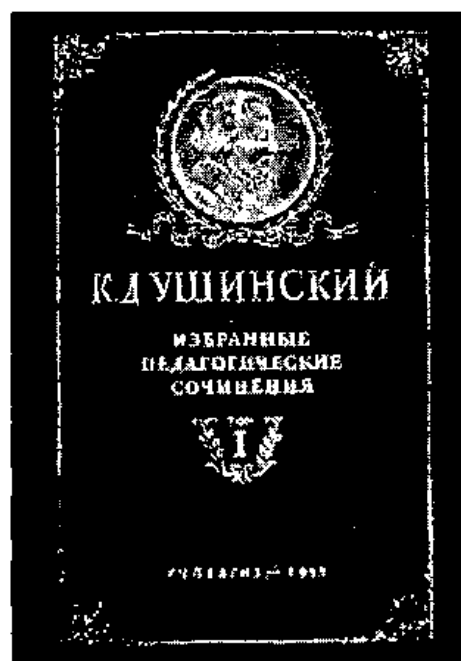
Матрос  
Петр Кошка.  
Гравюра  
Л. Серякова.



5 октября 1855 г.  
П. С. Нахимов  
на батарее.  
Фрагмент  
картины  
И. Прянишникова.



К. Д. Ушинский.  
Гравюра. 1859.



Обложка первого тома  
«Избранных сочинений»  
К. Д. Ушинского,  
изданных Учпедгизом  
в 1953 г.



К. Д. Ушинский с семьей.  
Фотография. 1864.

К. Д. Ушинский  
в последние  
годы жизни.  
Фотография.



# Модель оладья (Сравнение)

Следующий пример показывает  
разницу между двумя способами  
моделирования, и описывает, как  
каждый из них может быть применен  
к различным случаям.

В № 1-м и 2-м Вост. Вост. 1. Сдвиг  
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вост.  
каждый из них может быть применен  
к различным случаям, и описывает, как  
каждый из них может быть применен  
к различным случаям.

Вост. оладья, оладья, оладья,  
оладья, оладья, оладья, оладья,  
оладья, оладья, оладья, оладья,  
оладья, оладья, оладья, оладья,

Вост. оладья, оладья, оладья, оладья,  
оладья, оладья, оладья, оладья,  
оладья, оладья, оладья, оладья,

Фрагмент  
черновой  
рукописи  
К. Д. Ушинского.



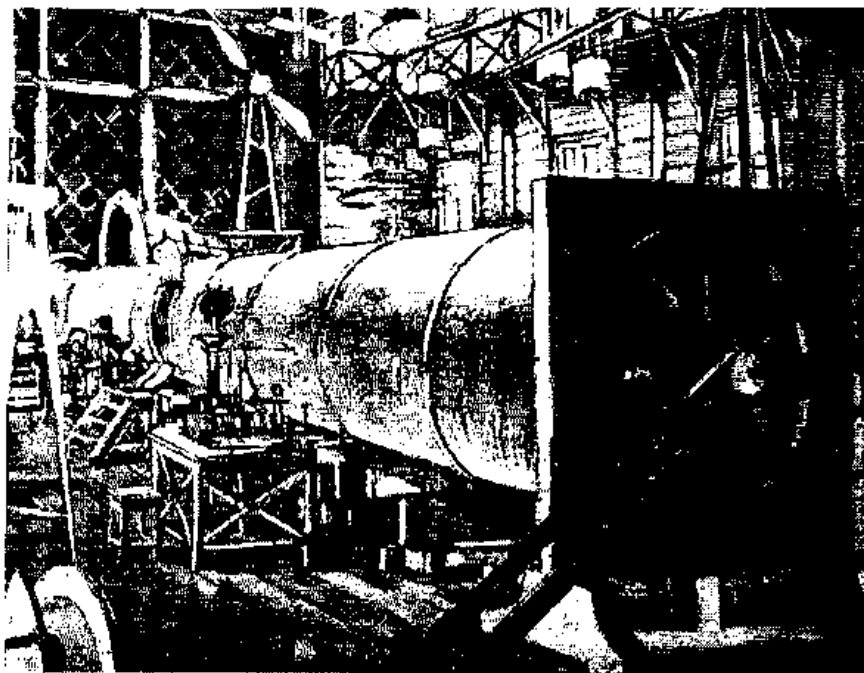
Н. Е. Жуковский с дочерью. Фотография.



Уголок кабинета  
Н. Е. Жуковского  
в его московской  
квартире  
в Мыльниковом  
переулке  
(ныне ул. Жуковского).



Аэродинамическая  
труба  
Н. Е. Жуковского  
в первой в России  
аэродинамической  
лаборатории.  
Подмосковный  
поселок Кучино.  
1904.



Постановление  
Совета Народных  
Комиссаров  
в ознаменование  
пятидесятилетия  
научной  
деятельности  
Н. Е. Жуковского.

№ 146. В. 11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ.

В ознаменование пятидесятилетия научной деятельности профессора  
и Н. Е. ЖУКОВСКОГО и в огромном заслуге его, или "отца русской авиации"  
Совет Народных Комиссаров П о с т а н о в и л:

1. Предоставить профессору Н. Е. ЖУКОВСКОМУ от соответствующего члена  
Академии предоставлять ему права отпущения курсов более раннего научно-  
го характера.

2. Назначить ему ежемесячный оклад содержания в размере ста тысяч  
/100.000/ рублей с распределением на этот оклад всех необходимых  
повышений тарифной ставки.

3. Установить изданию имени Н. Е. Жуковского во всех научных трудах  
по математике и механике с утверждением имени в составе профессора Н. Е.  
Жуковского, а также представителей, по одному, от Государственного уни-  
верситета, от Российской Академии Наук, от Военно-технического  
факультета Московского Государственного университета и от Московского  
Воскресенского Общества.

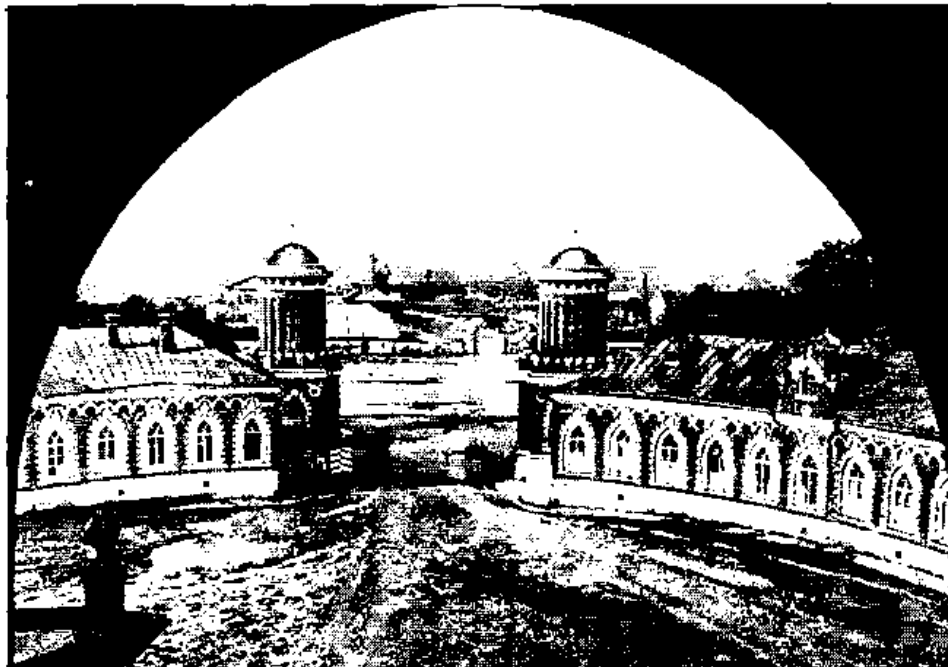
4. Издать труды Н. Е. Жуковского.

Исполн. Козлов  
1-го декабря  
1920 г.

Председатель Совета Народных  
Комиссаров

Уполномоченный Директор Совета Народных  
Комиссаров

М. Ф. Казаков.  
Въездные ворота  
и флигели  
Петровского  
подъездного  
дворца — ныне  
Военно-воздушная  
инженерная  
академия имени  
Н. Е. Жуковского.  
Фотография  
начала XX в.





Обложки биографических очерков издательства  
«Молодая гвардия» (1943—1944 гг.).

РОССИЙСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ФАКУЛЬТЕТ

Инженерный факультет  
МЭИ и СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ОТДЕЛ.

Москва, Кремль

27. IV. 20

Дорогой Клементий  
Аркадьевич! Доброго  
утра! Ваш заветный  
камень и доброе слово. Я  
был упрям в детстве,  
иногда даже рассуждал  
иногда про себя "за советом"  
Вашего Крестного, спасибо  
тебе за это - ведь упрямство  
иногда бывает, иногда

и добротой!

Ваш  
Клементий  
(Клементий)

Письмо В. И. Ленина К. А. Тимирязеву.  
27 апреля 1920 г.



К. А. Тимирязев.  
Фотография.



К. А. Тимирязев в одежде доктора точных наук Кембриджского университета. 1911. Фотография.



Первый в России вегетационный домик, созданный К. А. Тимирязевым в 1872 г. в Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии (ныне академии имени Тимирязева). Фотография.



И. Е. Репин в мастерской. Фотография.

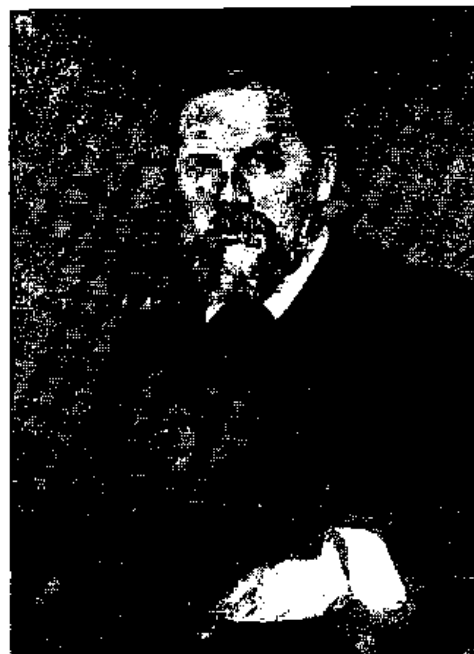


И. Е. Репин. Бурлаки. 1870—1873. Масло. Русский музей.

И. Е. Репин.  
Портрет  
П. М. Третьякова  
(фрагмент). 1883.  
Масло.  
Государственная  
Третьяковская  
галерея.



И. Е. Репин.  
Портрет  
И. Н. Крамского.  
1882. Масло.  
Государственная  
Третьяковская  
галерея.



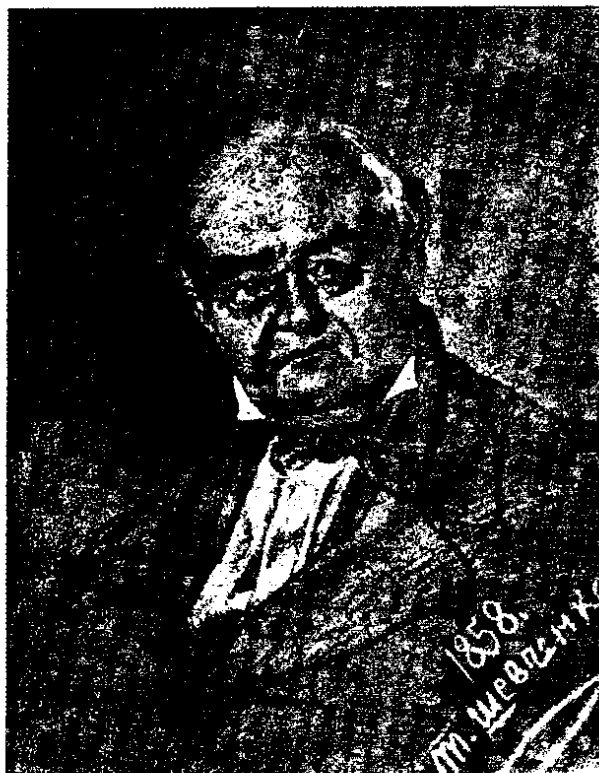




И. Е. Репин. Запорожцы. 1878—1891.  
Масло. Русский музей.



И. Е. Репин. Не ждали. 1884. Масло.  
Государственная Третьяковская галерея.



М. С. Шеркин.  
Портрет работы Т. Г. Шевченко.  
1858.



М. С. Щепкин в роли  
Чупруна в водевиле  
«Москаль-чаривник».

Дом М. С. Щепкина  
в Москве в Большом  
Спасском переулке  
(ныне  
ул. М. Н. Ермоловой).  
Фотография  
конца XIX в.



Сцена из комедии  
А. С. Грибоедова  
«Горе от ума».  
Слева направо —  
И. В. Самарин,  
М. С. Щепкин  
и Г. С. Орлов.

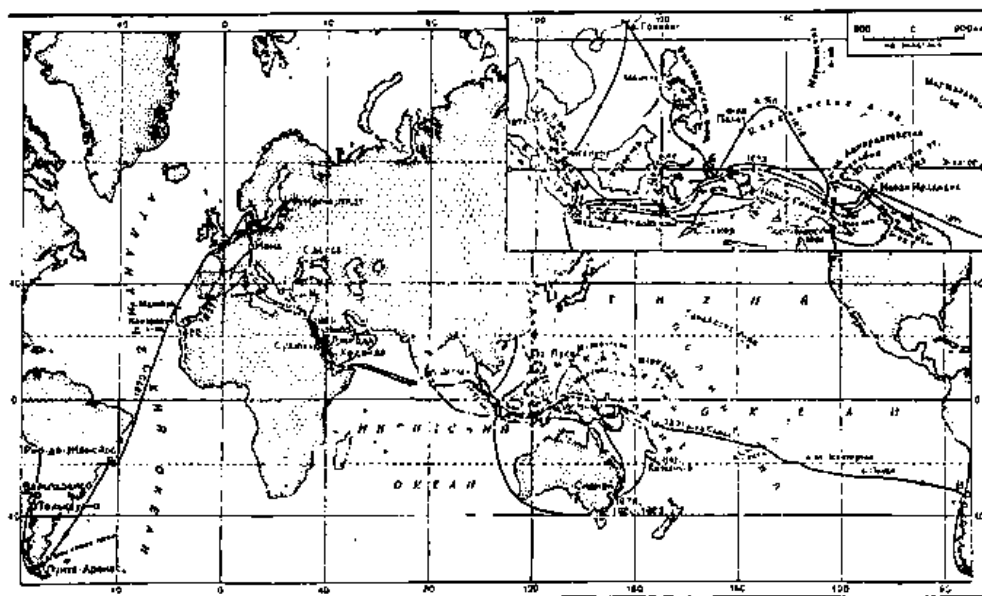


М. С. Щепкин.  
Портрет работы Н. В. Неврева. Масло.

Н. Н. Миклухо-Маклай.  
1870. Фотография.



Путешествия  
Н. Н. Миклухо-Маклая.  
1870—1883.





Н. Н. Миклухо-Маклай  
с Ахматом.  
1874—1875 гг.  
Фотография.

Хижина  
Миклухо-Маклая  
на Новой Гвинее  
(рисунок Н. Н. Миклухо-  
Маклая).





Микронезийская  
девочка Мира  
(рисунок  
Н. Н. Миклухо-Маклая).



Папуасы (рисунки  
Н. Н. Миклухо-Маклая).

**КОММУНАЛЬНЫЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ**

**7.8 НОЯБРЯ Ж.**

МЫ ПОЛТЫ ХУДОЖНИКИ, РЕЖИССЕРЫ - АКТЕРЫ  
ПРАЗДНИМ ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ

**ОКТАБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

Революционный спектакль  
ЧЕЛН БУДУТ ЗОЛЫ

1. КАРТ  
БЕЛЫХ И  
ЧЕРНЫХ НЕ  
УЖЕ ОТ КРАС  
НОГО ПОТОПА  
2. КАРТ КОРОМ  
ИЛИ ТАК ПОДСО  
ВЕРЖАЮТ НЕЖА  
СОВЕТСКИЕ РЕ  
ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
ВЕРИТЕЛЬНО  
ЧЕРНЫМ  
3. КАРТ КД  
В КОТОРОМ  
ИЗВОНЕ СЯ  
МОЖЕ ВОЛНУ  
ВУЛЯ И ЧЕРТЫ  
ПОСЛАНЫ



4. КАРТ  
КАМ ИЛИ  
КАМ ИЛИ  
О МАЙУСАМПОС

5. КАРТ  
КАМ ИЛИ  
КАМ ИЛИ  
КАМ ИЛИ  
КАМ ИЛИ  
КАМ ИЛИ

6. КАРТ  
КАМ ИЛИ  
КАМ ИЛИ  
КАМ ИЛИ  
КАМ ИЛИ  
КАМ ИЛИ

**„!МИСТЕРИЯ БУФФ!“**

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ САТИРИЧЕСКОЕ  
ХУДОЖНИЧЕСКОЕ СПЕКТАКЛЬ

**В. МАЯКОВСКИМ.**

ВМЕСТЕ С Д. В. БУ. МАЯКОВСКИМ ВСТУПАЮЩИМ

8-го ноября „МИСТЕРИЯ-БУФФ“ открытый спектакль.  
НАЧАЛО В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

Афиша первого  
представления  
«Мистерии-буфф»  
В. В. Маяковского.  
1918.



1) Если революция не придет сама, то придет к нам



3) Если пана добьют, то пана добьют



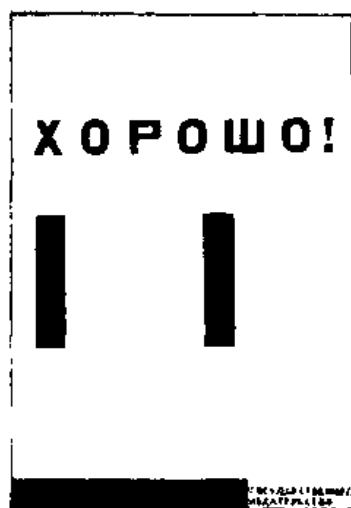
5) Пока не укрепится красное знамя, революция не может быть нам брошена

«Окна сатиры  
РОСТА»,  
Текст и  
рисунки  
В. В. Маяковского.





В. В. Маяковский. 1919. Фотография.



Обложка поэмы  
В. В. Маяковского  
«Хорошо!». 1927.



В. В. Маяковский.  
1927. Фотография.



В. В. Маяковский с молодежью. Фотография.

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 38, с. 252.

Даты всюду приводятся по старому стилю.

**3**

То есть в любом месте, где откроется книга.

Ленин В. И. Соч., т. XII, с. 332–333.



Там же, с. 333.

Ленин В. И. Соч., т. XIV, с. 400.

Ленин В. И. Соч., т. XIV, с. 333.

Ленин В. И. Соч., т. XIV, с. 407.

Ленин В. И. Соч., т. XV, с. 102.

Ленин В. И. Соч., т. XIV, с. 400.

Цит. по «Учительской газете» от 23 февраля 1941 года.

До крайних пределов (*лат.*).



# 13

То есть построенная на данных опыта, практики.

Позже советские историки техники установили, что аэроплан А. Ф. Можайского совершил полет с помощью установленной на нем паровой машины. *(Примеч. ред.)*

Гироскопы — разнообразные приборы, действующие по принципу волчка. Эти приборы широко применяются в технике, в военном и морском деле. Движение Земли и планет — гироскопическое.

Удостоверения, выдававшиеся студентам после внесения их в составленные для полиции списки.

Тимирязев был в Париже в 1870, 1877 и 1884 годах.

П. С. Мочалов (1800–1848) — знаменитый актер-трагик, сподвижник Щепкина по Малому театру.

Одну из горьких повестей о гибели таланта-самородка — крепостной актрисы — Щепкин рассказал А. И. Герцену, и тот включил рассказ Щепкина в свою повесть «Сорока-воровка».

Ныне Большой театр СССР в Москве.



Счет взят на ассигнации; рубль на ассигнации равнялся  $33\frac{1}{2}$  копейки серебром.

Политический журнал, издававшийся А. И. Герценом в Лондоне и запрещенный в России.

Платок.

Своего рода *(латин.)*.

Прежнее название нынешнего Таиланда. (*Примеч. ред.*)

В английском и некоторых других флотах чин, промежуточный между контр-адмиралом и капитаном 1-го ранга.

**27**

7(19) июля 1893 года.

Очерк впервые опубликован в 1943 году. (Примеч.  
*ред.*)



См.: Архив издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Протокол и стенограммы творческих совещаний. Опись № 1, д. 68, с. 8-9; д. 94, с. 56-57.